ISSN 0130-6545

3.1998

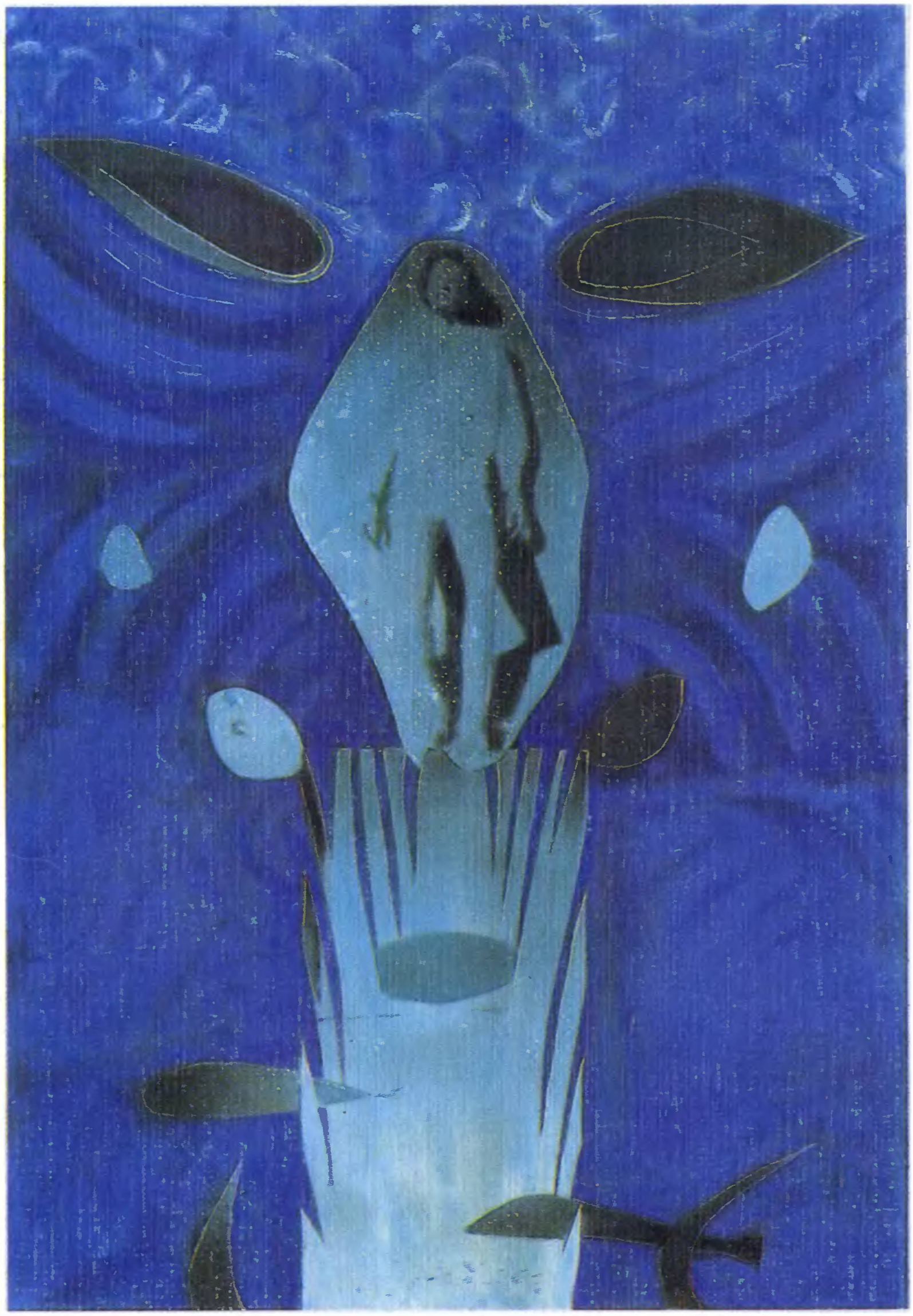
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА
Итака навсегда

ДУГЛАС КОУПЛЕНД
Поколение Икс

ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ
В гуще грозы



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

ПОКОЛЕНИЕ ИКС

МОСКВА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 15 460 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2214 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

3 март 1998

СОДЕРЖАНИЕ

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА — Итака навсегда (*Роман. Перевод с итальянского Э. Двин*)..... 5
НАЙДЖЕЛ ДЖЕНКИНС — Дракон с двумя языками: литература Уэльса (*Перевод с английского и вступление Ольги Кельберт*)..... 77
ЙОЗЕФ РОТ — Бюст императора (*Рассказ. Перевод с немецкого А. Кацуры*)..... 85

Литературный гид

ПОКОЛЕНИЕ ИКС

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ — Певцы неизвестного поколения..... 99
ТАМА ЯНОВИЦ — Рабы Нью-Йорка. Спички (*Рассказы. Перевод с английского Веры Пророковой*)..... 108
ДУГЛАС КОУПЛЕНД — Поколение Икс. *Сказки для ускоренного времени* (*Роман. Перевод с английского В. Ярцева под редакцией С. Силаковой*)..... 121
СВЕТЛАНА СИЛАКОВА — Поколение дворников И(кс) сторожей..... 220
ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ — Поколение Икс: последнее поколение?..... 226

Статьи, эссе

ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ — В гуще грозы (*Вступление и перевод с испанского Анатолия Гелескула*)..... 235

Галерея «ИЛ»

О. ХЛЕБНИКОВА — Величайшее из искусств..... 250

У книжной витрины..... 251

Авторы этого номера..... 255

© «Иностранная литература», 1998

В следующем номере «ИЛ»

«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» —роман крупнейшего американского писателя, Нобелевского лауреата **Сола Беллоу**.

Рассказы **Милорада Павича** и **Зигфрида Ленца**.

В рубрике *«NB»* — один из кумиров европейской молодежи 90-х шотландский писатель **Ирвин Уэлш**, чья острая и почти всегда шокирующая проза отражает мироощущение тех, кто пытается искать в современном постиндустриальном обществе альтернативные жизненные пути.

Влияет ли литература на общественные нравы? — этим вопросом задается **Олдос Хаксли** в эссе «ПИСАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ», опубликованном в 1936 году, но не потерявшем актуальности и в наше время.

Цветные иллюстрации номера — работы немецкого художника СПИРИДОНА НЕВЕНА ДЮМОНА (1967—1995):

На 1-й стр. обложки — «Без названия» (1993).
На 2-й стр. обложки — «Без названия» (1994).
На 3-й стр. обложки — «Вид города I», фрагмент (1995).
На 4-й стр. обложки — «Я натурщик, фотограф и живописец — теперь я выживу и на Луне» (1991).

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Б. Никитская, 46

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://russia.agama.com/r_club/journals/inostran/soderj.htm

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61, E-mail inolit@adicom.ru

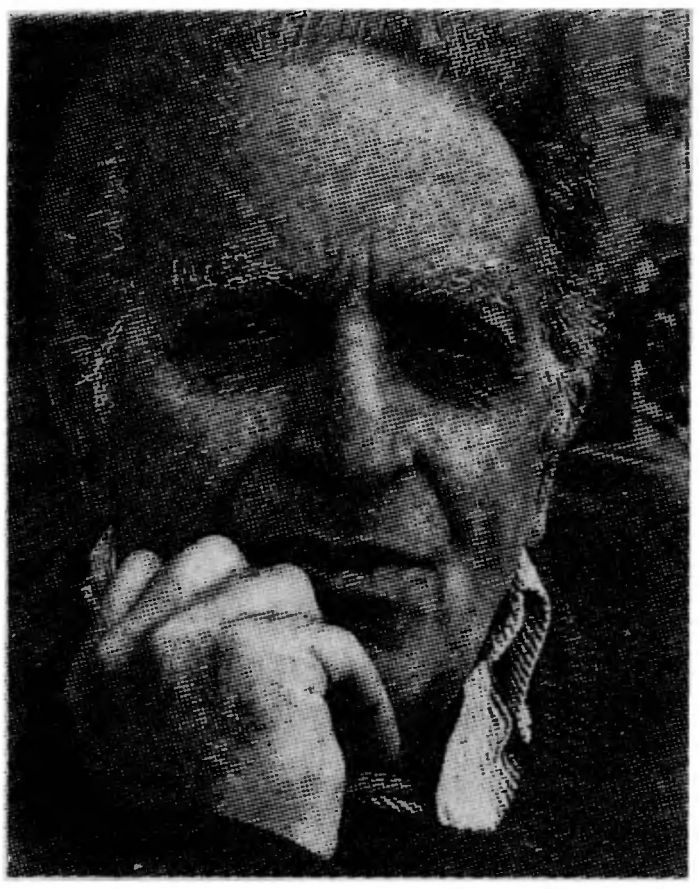
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 23.02.98. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,72. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,63. Заказ №3186.

Тираж 15 460 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



ЛУИДЖИ МАЛЕРБА

Итака навсегда

РОМАН

Перевод с итальянского Э. ДВИН

Одиссей

Я часто спрашивал себя, почему вода в море соленая, если реки, впадающие в него, — нет, и дождь, льющий с неба, тоже несоленый. Ответа я так и не нашел и вновь задаю себе этот вопрос сейчас, когда, разбуженный ветром от долгого сна, я сижу на каменистом берегу, который вроде должен быть берегом Итаки, хотя узнать его трудно.

Растерянно оглядываюсь вокруг, но не узнаю ни каменистого берега, ни этой иссушенной земли, на которой растут оголенные морскими ветрами деревья, ни очертаний гор, ни неба цвета морской воды. И еще я спрашиваю себя: откуда взялись эти принесенные дождями обломки красного пористого камня, скатывающиеся по склонам горы? С каждой грозой какой-то кусочек мира уносит в море вода, увлекающая за собой почву и камни, роющая рвы и обнажающая корни деревьев. Неужели настанет время, когда исчезнут острова и горы и насыщенное землей море превратится в большую равнину?

Много лет тому назад я исходил все холмы моей Итаки, охотясь на оленей и кабанов, но не помню, чтобы нога моя ступала по этим пористым камням, обломки которых валяются вокруг, обкатанные ветром и морскими волнами. Откуда берется в морской воде соль? Откуда взялись эти усеявшие морской берег красные пористые камни? Так где же я нахожусь? Куда высадили меня феакийские моряки — на берег Итаки или куда-то еще? Никогда не доверял морякам — самым лживым людям на свете.

Тяготы войны и долгого путешествия сделали меня подозрительным, вот я и думаю, что высадившие меня здесь феакийские моряки завладели щедрыми дарами, которые царь Алкиной погрузил для меня на судно, и оставили меня на берегу первого же попавшегося на пути пустынного острова, чтобы избавиться от обременительного пассажира. По беспокойному выражению их лиц я понял, что им не терпелось, помотавшись по морю, возвратиться к себе домой. Но, с другой стороны, если бы они хотели завладеть моими сокровищами, то могли бы бросить меня как-нибудь ночью в глубокое соленое море и не приставать к этому обрывистому берегу. А может, они просто решили похитить сокровища, но не предавать меня смерти собственными руками из жалости, свойственной порой даже самым жестокосердым людям?

© Arnoldo Mondadori Editore, 1997
© Э. Двин. Перевод, 1998

Но вон что-то поблескивает под густыми ветвями оливкового дерева у входа в глубокую пещеру. Да это же те самые золотые и серебряные кубки и чаши, которыми царь феаков одарил меня перед моим отплытием. Сейчас я укрою их получше ветками и заложу камнями, чтобы они не попались на глаза какому-нибудь бродяге.

Так я и не знаю, эта земля — моя Итака, островок, затерявшийся в океане, или берег незнакомой страны? Не знаю, кто здесь живет — добрые люди или гиганты с единственным глазом во лбу. Я оглядываюсь и не могу понять, моя ли это родина, и спрашиваю себя, как может эта скудная и дикая земля быть тем краем, о котором я мечтал все долгих девять лет войны и еще десять лет опасных путешествий и разных приключений. Каждый знает, что воспоминания о родных местах обманчивы. Вдали от них, среди опасностей, мой каменистый остров представлялся мне зеленым цветущим садом, хотя на самом деле здесь могут найти себе прокорм лишь овцы и козы, глодающие жесткую траву на каменистой почве, да стада свиней, жиреющих на желудях в верхней, лесистой части острова. В конце концов я понял, что не следует путать мечты с действительностью.

Но, убеждая себя, что годы Троянской войны были очень долгими, я кривлю душой, потому что они-то как раз промелькнули в моей жизни особенно быстро. Мучительные и все же счастливые годы. Могу даже похвастать: мое участие сыграло решающую роль в победе ахейцев. Я говорю «победа», но не уверен, можно ли назвать этим словом уничтожение города и творившиеся у его стен жестокости, о которых я сам столько рассказывал на долгом обратном пути, представляя их славными подвигами.

Я уехал с Итаки как царь, а возвращаюсь в свой дом тайком, в отрепьях нищего, которые нашел в одной из пещер на берегу моря и которые позволят мне тайно узнать всю правду о том, что произошло здесь за время моего отсутствия. Верны ли дошедшие до меня слухи, что мой дом полон женихов, настойчиво домогающихся руки Пенелопы и жаждущих занять мое место во дворце и на супружеском ложе? Как ведет себя Пенелопа с этими претендентами? Каким стал Телемах, которого я оставил младенцем? Сохранились ли мои владения и чем занимались в мое отсутствие казначеи, слуги и служанки?

Неужели двадцать лет пущены по ветру? Двадцать лет забвения... Неужели никто не соберет воедино рассказы участников войны о подвигах Ахилла, троянца Гектора и микенца Агамемнона — воинов, сильных духом, но недалеких, — об их ярости и жестокости, а главное, о придуманном мною деревянном коне, позволившем нам захватить Трою и возвратить прекрасную Елену царю Спарты Менелаю.

Когда я вспоминаю о том, сколько тягот и мук пришлось перенести, сколько жизней загубить ради такой неверной женщины, как Елена, у меня голова идет кругом. Но если я и забуду, из-за чего началась эта самая нелепая война на свете, то мне хотелось бы, чтобы на скрижалях истории сохранились для грядущих поколений события, которым не суждено повториться, ибо они уже принадлежат древности.

Ни одной женщине на свете не дано больше родить таких героев, как Ахилл, Гектор и Агамемнон. Спарта Менелая и Микены Агамемнона возвеличились благодаря звону оружия. Жить им суждено столько же, сколько и камням, из которых они построены, и теперь они — крошечный кусочек истории. Но память обманчива, а история лжива, потому что люди хотят помнить и слушать сказки, а не суровую и простую правду.

Чего со мной только не случилось за эти двадцать лет, но кто скажет, сколько всего случилось на Итаке за время моего отсутствия? Если я не узнаю даже свою родную землю, остававшуюся такой в веках, то как же должна была измениться Пенелопа и смогу ли я теперь узнать своего сына Телемаха, тогда — младенца в колыбели, а ныне — мужчину? Какие чувства могут они испытывать ко мне, мужу и отцу, на столько лет покинувшему родину и семью?

В общем, надо действовать осмотрительно, вступить в свое царство неузнан-

ным и со всеми предосторожностями, которые диктует мне опыт. Как знать, могу ли я рассчитывать на Телемаха и на верность Пенелопы, о которой я думал постоянно — и в грохоте сражений, и в реве морских бурь.

Дети остаются твоими детьми, даже если ты для них незнакомец, даже если в силу обстоятельств они настроены по отношению к тебе враждебно, но жена, предавшая тебя, становится чужой, потому что вас не связывают узы кровного родства. Все эти годы я не сомневался в Пенелопе, зато сомнения охватывают меня именно теперь, когда ноги мои ступают по иссохшей земле моей Итаки.

Когда грозные волны обрушивались на мой корабль, когда ветер ломал крепкие мачты, на которых держались паруса, мысли мои устремлялись к Пенелопе, дожидавшейся, как я надеялся, моего возвращения, это они давали мне силу выдерживать невзгоды, которыми боги, завидуя моим успехам, хотели затруднить мое возвращение. Так почему же я боюсь, что мое многотрудное возвращение окажется бесцельным? Почему как раз тогда, когда вера могла бы подкрепить мои иссякающие силы, боги вновь ополчились на меня и помутили мой разум всеми этими сомнениями? Многие годы в ушах у меня стояли радостные вопли богов после каждодневного пиршества на Олимпе; сейчас же они смолкли, а блестящая раковина, в которой я слышал голос Пенелопы, осталась на судне. Мне не хватает этой раковины больше, чем криков пьяных богов. Но стоит ли оплакивать раковину, если вскоре я смогу услышать голос самой Пенелопы?

Подняв глаза к небу, я вижу в вышине черных соколов с их квадратными крыльями и парящим полетом — так и кажется, что они неподвижно висят в густой небесной сини. Если память мне не изменяет, соколов нечасто можно было увидеть в небе Итаки. Неужели земли здесь больше не возделываются, отчего на них развелось множество гадов — добычи хищных птиц?

Пенелопа

Я сосчитала дни, месяцы и годы. Получившаяся цифра приводит меня в ужас. День за днем я устремляла свои мысли к любимому Одиссею. Ночь за ночью тысячу раз перебирала в памяти наши счастливые дни и часы любви. Когда-то я пыталась разделить и его тревоги и в конце концов скрепя сердце смирилась даже с его отъездом на войну, бывшую, возможно, справедливой для Спарты и Микен, но несправедливой к нашей супружеской жизни и, уж конечно, вредоносной для Итаки.

Троя была так далека от наших дум и от нашего счастливого острова, а война так чужда нашим интересам, что Одиссей охотнее остался бы дома, со своей семьей и обожавшими его подданными. Но как помешать ему уехать на войну, если к нему взывали все остальные народы Эллады? Я пыталась задержать мужа, но его старая няня Эвриклея отказалась помочь мне в этом. Достаточно было перебить ему руку или ногу рукояткой секиры. Разве это трагедия? Трагедией стал его отъезд.

Маленькую Итаку, счастливую и процветающую, омывали воды океана, наши стада паслись в горах, укрытые от глаз грабителей, женихи мирно управляли своими землями. Но когда отсутствие их царя Одиссея против ожидания слишком затянулось, они начали проявлять признаки беспокойства, а потом и вовсе вторглись в наш дворец, стали здесь пировать и требовать, чтобы я изменила своему супругу с одним из них и приготовилась к новой свадьбе. Проклятье богов пало на мой дом, превратившийся для меня в тюрьму, а для женихов — в пиршественный зал. Я никогда не смогу предать супружеское ложе, а если бы меня к этому и вынудили, между претендентами начались бы такие распри, что Итака и вовсе погибла бы.

Никогда еще я так сильно не нуждалась в мужской поддержке. Слишком затянулось твое отсутствие, мой любимый супруг, и я молю богов о том, чтобы любовь моя не обернулась горькой обидой, так неоправданно долго твое отсутствие. Троянская война завершилась уже много лет тому назад, а о твоем возвращении ходят

противоречивые слухи, порой такие же неожиданные, как порывы борея. Я гоню от себя мысли о том, что ты стал жертвой бурь, бушевавших на море, но не знаю, можно ли верить тем, кто говорит, что ты жив, но находишься во власти сирен и колдуний, и даже тем, кто возвещает о твоем скором возвращении на Итаку.

А еще больше, чем чар сирен и колдуний, я боюсь мысли, что ты попал в сети одной из тех порочных женщин, которые по воле богов возникают на пути мужчин, и что именно в этом истинная причина твоего долгого отсутствия. Даже самые стойкие мужчины легко становятся жертвой подобных искушений. Много слухов достигло моих ушей, и я старалась не поддаваться им, опираясь на свою веру и любовь. Я слабая и одинокая женщина, но за эти годы сумела превратить свое ложе в неприступную крепость, тогда как ты бродишь невесть где по белу свету.

Мне удалось обмануть этих жадных и дерзких женихов сказкой о саване, который я тку днем (и распускаю по ночам), но чувствую, что их подозрения усиливаются, и мне не по себе, когда они перешептываются и противно ухмыляются.

Да, знаю, я не должна выдавать свои чувства, но эти долгие годы ожидания подорвали мое мужество. Слезы сами собой льются из глаз во сне, и когда я ночью просыпаюсь, чтобы распустить на станке полотнище, сотканное днем, подушка моя мокра от слез.

Одиссей

Свинопас Эвмей — человек неотесанный, но благородной души, а главное, он сохранил верность своему царю Одиссею даже после двадцати лет моего отсутствия. Я предстал перед ним в обличье нищего, в рваном плаще и с нищенской сумой через плечо, согбенный и опирающийся на палку. Должно быть, я действительно очень сдал или так хорошо сыграл свою роль, что Эвмей не признал меня. Часто, когда мне доводилось охотиться в этих местах, он видел меня вблизи, у ограды, за которой паслись свиньи, да и во дворце, когда доставлял свинину к царскому столу. Он не узнал меня. Так-то и лучше.

Эвмей пригласил меня к себе в дом, где он живет вместе с молоденькой дочкой Галатеей, которая помогает ему пасти свиней, готовит еду и чинит одежду. Я переступил порог этого дома впервые: не подобает царю входить в жилище пастуха, и раньше, когда я хотел войти туда, меня удерживали люди из свиты. А теперь, в нищенских отрепьях, я был радушно принят под крышей, где не мог находиться в царских одеждах.

Его хижина с соломенной кровлей сложена из белых камней, скрепленных глиной, но в ней чисто и дым очага не закоптил стены единственной большой комнаты. Пол в хижине глинобитный, а лежанка, предложенная мне Эвмеем, — просто камень, покрытый овечьими шкурами. Утвари в домике мало, но достаточно, чтобы сварить бобовую или полбовую похлебку и поджарить пару кусков мяса. В большой глиняной посудине плавали в рассоле маслины, которыми мы и закусили перед ужином, выплевывая косточки в очаг.

Мне удалось убедить Эвмея, что сам я с Крита, отпрыск тамошнего царя, девять лет сражался под стенами Трои вместе с Одиссеем, а вернувшись на родину и снарядив небольшой флот, вновь пустился в плавание, чтобы достичь Египта и заключить там торговые сделки. Но, сказал я, мои спутники нарушили договор и ограбили меня, и жизнь мне удалось спасти лишь благодаря моей богине-покровительнице. Я сказал также, что из той далекой страны меня увезли на финикийском корабле, чтобы продать в рабство. Во время плавания к берегам Фессалии, когда мои надсмотрщики причалили к острову, чтобы поохотиться и запастись пресной водой, мне удалось бежать с корабля и спрятаться в густом кустарнике.

— И вот я здесь, перед тобой, в нищенском рубище, на незнакомой мне земле.

— Это Итака, родина Одиссея, — сказал Эвмей.

Я столько жара вложил в свой рассказ, что меня самого растрогала печальная участь обездоленного и превратившегося в нищего царского сына. Бедняга Эвмей отнесся ко мне очень участливо, и было заметно, что он и дальше слушал бы мое повествование как прекрасную сказку о приключениях, но я сказал, что прорицатель из меня не получится и чем дело кончится, мне неизвестно.

Никто не умеет рассказывать сказки лучше меня, но даже сознавая, что моя история — чистая ложь, я, к стыду своему, сам горько расплакался. Впервые я лил столько слез после того, как в царстве феаков я слушал Демодока, красочно воспевающего историю с троянским конем.

Что могло внезапно исторгнуть такие потоки слез из глаз хитроумного и мужественного Одиссея, этого непревзойденного лгуна и ловкого сочинителя всяких историй? Я отнес эту поразительную слабость за счет трудностей, которые подточили не столько силу моего тела — оно-то еще крепко хоть куда, — сколько мой дух, который подобным образом реагирует на слова, слетающие с моих же уст. Я не собираюсь рвать из-за этого на себе волосы, но, не сумев сдержать слез, я не могу побороть и огорчения по этому поводу.

Старина Эвмей, судя по всему, поверил каждому моему слову, а когда я сказал, что был товарищем Одиссея под стенами Трои, он обнял меня, вновь предложил погостить в его доме и выразил свою печаль оттого, что царь его так долго отсутствует. Он так демонстрировал свою верность, что я заподозрил было, не узнал ли он меня и не продиктованы ли его слова расчетливой лестью. Но потом я понял, что бедный пастух тревожится о судьбах острова и царства, которое уже двадцать лет держится на хрупких плечах Пенелопы и которое, по его словам, вот-вот будет ввергнуто в хаос братоубийственной войной, поскольку женихи из окрестных земель засели во дворце и требуют, чтобы Пенелопа выбрала себе среди них преемника Одиссея.

Эвмей назвал это братоубийственной войной, но потом признался, что был бы не против, если бы женихи перерезали друг другу глотку, да только жаль Пенелопу. У пастуха свои соображения насчет того, как решить судьбу царства.

Я же предпочел бы проникнуть во дворец под видом нищего, посмотреть на соперничающих друг с другом женихов, а потом, воспользовавшись подходящим моментом, пустить в ход оружие. Ясно, что я не смогу действовать в одиночку и не знаю, сумею ли вести себя так, чтобы меня не узнала моя собственная жена. Но как Пенелопа, которая, по словам Эвмея, хранит верность Одиссею, справляется со столь многочисленными претендентами на ее руку? На какие уступки идет она, чтобы не давать полной воли этим захватчикам?

Я засыпал вопросами Эвмея, который часто гоняет свиней на убой во дворец — для пиров женихов. Встречается ли с женихами Пенелопа? Кому из них она отдает предпочтение?

— Не может быть, — сказал я Эвмею, — чтобы такая красивая молодая женщина, как Пенелопа, могла держать их на расстоянии, ничем не поступаясь. Кто из женихов, по-твоему, пользуется ее особым расположением?

— Откуда тебе ведомо, чужеземец, что Пенелопа красива и молода?

— Одиссей часто мне рассказывал о ней. В перерывах между битвами воины всегда подолгу беседовали о своих женщинах.

Эвмей — простая душа, он не способен ни в чем подозревать свою царицу, которую любит, по его же словам, как богиню Олимпа.

— Но и у богинь Олимпа, — возразил ему я, — есть свои любимцы, и нередко богини ведут себя очень вольно, совсем как блудницы.

Эвмей на эти мои слова обиделся и, размахивая руками, стал громко упрекать меня:

— Попридержи язык, если не хочешь, чтобы тебя выгнали из этого дома. Что за непристойные речи слышат мои уши от чужестранца, которого я приютил под

своей крышей? Как смеешь ты говорить о блудницах и бросать тень на царицу Пенелопу?

— Быть может, мой язык подвел меня и я оскорбил богинь Олимпа, — ответил я Эвмею, — но уж Пенелопу я никак не хотел оскорбить.

— Я знаю, — заметил Эвмей, — что в главных у женихов ходит Антиной, но это не значит, что его выбрала Пенелопа. И еще я слышал, что между женихами бывают ссоры и что Антиной, самый красивый и смелый из них, сумел всех себе подчинить. Больше я ничего не знаю, и то, что я тебе сказал, о чужеземец, — всего лишь болтовня служанок из дворца, а они все сплетницы и ненавидят друг дружку не меньше, чем женихи Пенелопы.

— Но сколько их, этих женихов?

— Мне известно, что они заполонили весь дворец, вот их сколько. А считать их я не считал.

— Десять? Пятьдесят?

— Мне доводится каждый день пересчитывать своих свиней, а женихов Пенелопы я никогда не считал. Думаю, их скорее пятьдесят, чем десять.

Я понял, что в одиночку мне не справиться с женихами, которые гораздо моложе меня, и прежде чем выступить против них с оружием в руках, надо как следует разузнать, чего они стоят. В надежде, конечно, что боги и фортуна меня не оставят своей милостью.

Пенелопа

Я сопротивляюсь осаде женихов дольше, чем Троя сопротивлялась осаде ахейцев, но не измерить временем дела, мысли и чувства женщины, у которой нет, в отличие от Елены, ни стен, ни оружия для защиты. Я прожила не сдаваясь месяцы и годы, я сравнивала свою личную войну с той далекой войной, которую вели осажденные троянцы, и все еще надеюсь, что в один прекрасный день появится Одиссей и изобретет нового коня, чтобы дать мне свободу. Это было бы справедливее, чем сражаться из-за прелюбодейки Елены, которую Одиссей предусмотрительно не взял в жены[1] и из-за бегства которой с Парисом разразилась ужасная война, тысячи людей были убиты и целый город уничтожен.

Время в разных местах идет по-разному, дни и годы осады Трои не сравнить с днями и годами моего одиночества здесь, на Итаке. А десять лет, прожитых мной и Одиссеем в разлуке после окончания войны? Кто тут потерпел поражение? Кто победил?

Да, я сумела продержаться дольше, чем троянцы, но женихи все еще осаждают меня, твердо решив сломить мою волю и опустошить мои закрома, дожидаясь, когда одиночество доконает меня и сделает легкой добычей. Немногим боги дарują привилегию скрашивать надеждой промежуток между одним днем и другим, между одним годом и следующим. Бедная царица Пенелопа, где твоя корона? Сколько боли, сколько горечи, сколько бессонных ночей ждут тебя еще?

Прошлой ночью мне приснилось, будто на мне броня из вороненого железа и я держу меч — такой большой и тяжелый, что он оттягивает мне руку до самой земли. В таком виде я вошла в зал, где с шумом и грубыми песнями пировали женихи. Увидев меня, они онемели от страха, а когда я грозно подняла меч, бросились наутек, и дворец быстро опустел.

Не знаю, какой смысл вложили боги в этот мой сон; правдивое ли это пророчество или ложное обещание? Но к чему отыскивать скрытый смысл в таком ясном сновидении? Я лишь думаю, какую роль может сыграть в моей злосчастной

---

[1] Согласно легенде, Одиссей, явившись в Спарту в числе претендентов на руку прекрасной Елены, предпочел взять в жены ее двоюродную сестру Пенелопу. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

жизни это ночное видение. Побуждает ли оно меня к чему-то? Но к чему? Что я могу сделать? Ни ответа, ни отзвука ниоткуда. Небо немо, а боги далеко. Нет, не так: небо далеко, а боги немы.

Сны — они как крики чаек, которые я толкую то так, то этак в зависимости от настроения. Последние дни в голосах чаек мне слышится страх, словно должно произойти что-то ужасное, но я хорошо понимаю, что все это плод моего неспокойного воображения и что не следует прислушиваться к глупым морским птицам, которые без всякой причины поднимают такой шум у меня над головой.

Одиссей

Каждое утро Эвмей приносит маткам, кормящим потомство, два котла вареной репы, сдобренной оливковыми жмыхами. Он повел меня смотреть матку, которая не может кормить всех своих новорожденных тринадцать поросят, потому что сосцов у нее только двенадцать. Каждый из двенадцати поросят завладел своим сосцом и не подпускает к нему тринадцатого, лишнего. Так что его Эвмей будет выпаивать козьим молоком, пока тот не научится есть самостоятельно.

— Тринадцать — несчастливое число, не знаю, удастся ли нам спасти поросенка, — заметил Эвмей, верящий в магию чисел.

— Тогда я скажу тебе, что на острове феаков правят тринадцать царей, и тринадцатый из них — Алкиной — самый богатый и могущественный. А когда Одиссей потерпел кораблекрушение вблизи этого острова, то всех двенадцать его матросов поглотили волны, а он, тринадцатый, спасся.

Эвмей посмотрел на меня с подозрением.

— А откуда ты знаешь это об Одиссее? Не мог же он у стен Трои рассказывать тебе о том кораблекрушении!

— Торговцы плавают по морям и заходят в порты. От них и можно услышать разные вести.

Мы со свинопасом вышли из загородки с матками в загон для остальных свиней, которых он сбил в стадо, чтобы с помощью Галатеи погнать его пастись в дубовую рощу. Было ясно, что он обидится, если я не пойду с ним. Пастух рассказал мне, что дважды в год, весной и осенью, ему приходится вырубать подлесок, чтобы свиньям было легче добывать корм — желуди, падающие с дубов. Кроме дочки Галатеи ему помогают еще двое парнишек, которые собирают на полянах желуди в корзины, чтобы запастись ими на зиму.

Свиньи издавали довольное хрюканье, роясь в сухих листьях, потом, приподняв головы, жевали найденные на земле желуди.

Каждый раз, выводя свиней на пастьбу, Эвмей прихватывает с собой лук и пучок стрел, чтобы поохотиться на диких кроликов.

— Когда я доставляю свиней женихам, мне перепадает только голова, а то и вовсе уши и хвост. Вот я и стараюсь подстрелить хоть кролика, чтобы Галатея могла изжарить его на вертеле или стушить в вине.

Когда мы брели с ним по лужайке, я вдруг увидел приближающуюся к нам стаю диких уток, не мешкая выхватил лук у Эвмея и, когда утки оказались у нас над головой, выпустил стрелу. С одного выстрела я сбил хорошую утку и, подобрав ее с земли, отдал Галатее.

Эвмей просто опешил от моего быстрого и точного выстрела, и в глазах его застыло удивление.

— Никогда еще не видел такого! — воскликнул он.

— Я с детства тренировался в стрельбе из лука, а во время Троянской войны у меня было предостаточно практики, — ответил я.

— Я тоже неплохой стрелок, но никогда еще мне не удавалось подбить утку на лету. Один Одиссей это умел.

Да, мне следует быть осторожнее, не то Эвмей заподозрит подвох. Я вернул ему лук и стрелы, и мы пошли под палящим солнцем к небольшому полю, на котором он выращивал репу.

— Репу тоже собираем на зиму, свиньи хорошо ее едят, да и для людей она годится — испеченная на жаровне, да еще с оливковым маслом, которого у нас на острове вдоволь, и щепоткой соли.

Домой мы возвратились на закате, свернув сначала к ручью, чтобы напоить свиней. Эвмей помыл колеса телеги, на которой он доставляет свиней в город, потом мы вошли в дом, сели у огня и стали есть приготовленную Галатеей похлебку из полбы и утку, зажаренную на вертеле и сдобренную листьями кресса, вероники и водорослями. Ели мы все это с маленькими лепешками, испеченными на раскаленном камне, а запивали свой ужин красным смолистым вином.

После ужина я терпеливо выслушал добряка свинопаса, захотевшего рассказать мне о своей жизни, о детстве, проведенном с отцом — царем с острова Сирос, о том, как похитили его морские разбойники финикийцы и продали в рабство Лаэрту — царю Итаки, ставшей ему второй любимой родиной. Рассказ его продолжался до поздней ночи, пока сон не смежил нам веки и мы не уронили голову на грудь.

Из всего сказанного за это время я уяснил себе, что Телемах в надежде узнать что-нибудь обо мне пустился в опасное и долгое плавание и достиг Пилоса в Мессении, чтобы поговорить со старым Нестором, а потом добрался до Спарты, где живут Менелай и Елена, возвращенная под супружеский кров после падения Трои.

Эвмей слышал от какого-то бродячего торговца, что две недели тому назад Телемах на своем судне уже покинул Спарту и в скором времени должен вернуться. Однако я заметил, что его тревожит возвращение Телемаха, так как он опасается, что женихи устроят ему засаду.

В общем, я прибыл на Итаку как раз вовремя, чтобы присмотреть за сыном, и решил поскорее отправиться в город прямо так, в обличье нищего, чтобы не дать женихам захватить Телемаха врасплох. Им мешает присутствие на острове сына Одиссея и его законного наследника.

— Беда, — сказал Эвмей, — что в такой опасный момент Одиссей находится где-то далеко от Итаки. То ли он потонул в морской пучине во время бури, то ли не устоял перед соблазном приключений, ведь Троянская война уже десять лет как окончилась. Слышал я, что некоторые воины вместо того, чтобы вернуться домой, заделались разбойниками.

— Так-то ты думаешь о своем царе?

— Да ты неверно меня понял! Я говорил о воинах, которые не хотели возвращаться к своим женам. А Одиссей — царь, и жена у него красивая и честная, он любил ее.

Помолчав немного, он высказал свое мнение:

— По-моему, у человека от войны с головой что-то происходит.

— Есть люди, которые рождаются воинами, — сказал я. — Ахилл, Агамемнон, Гектор, Аякс были героями меча и лука, и Одиссей ни в чем не уступал им, владел оружием так же ловко, но все же он был другим. Одиссей любил военные хитрости и всегда говорил, что в новых войнах победу будут приносить не грубая сила, а главным образом точный расчет и хитрость. Он даже утверждал, что эпохе меча и лука пришел конец и на смену ей приходит эпоха чисел и слов.

Эвмей удивленно посмотрел на меня:

— Что он хотел этим сказать? Перед отъездом с Итаки Одиссей был первым по стрельбе из лука, а вот говорил ли он насчет чисел и слов, не знаю. Он любил рассказывать всякие истории, что верно, то верно, и всегда умел найти такие слова, что его все слушали.

— Даже под стенами Трои все любили слушать его рассказы, — заметил я.

— Слава о его подвигах докатилась и сюда, до Итаки, и все говорят, что Троя

пала, когда в город вкатили придуманно́го Одиссеем деревянного коня, в брюхе которого сидели воины. Но кому все это нужно, если сначала война, а потом долгий обратный путь держат его вдали от Пенелопы и сына Телемаха, которым сейчас угрожает такая опасность?

— Значит, тебе что-то известно о заговоре против Телемаха?

— Глашатай Медонт опасается, что Телемаху, когда он возвратится из Спарты, придется худо. Телемах очень молод и неосмотрителен. Все наши беды начались с той бессмысленной войны, из-за которой уехал с Итаки наш царь, а госпоже острова угрожает опасность. У Менелая похитили жену, а нам-то что? Да и похитили ли? Ходят слухи, что Елена сбежала с Парисом по собственной воле. А Менелай из-за супружеской измены втянул в войну всех ахейцев.

— Вообще-то только Агамемнон, царь Микен и брат Менелая, сразу же откликнулся на призыв отправиться на войну. Остальные ахейцы и не думали посылать в такую даль свои корабли и людей.

— Одиссей тоже пустил в ход и хитрые речи, и обман, чтоб только не ехать, но, как видно, Троя была назначена ему судьбой.

— Даже Ахилл, герой Ахилл, не хотел плыть в Трою, — сказал я. — Родители отправили его на Скирос ко двору царя Ликомеда, где его переодели в женское платье. И именно Одиссей, уже присоединившийся к остальным ахейцам, раскрыл обман и изобличил его. Он явился ко двору царя Ликомеда под видом торговца и стал показывать женщинам свой товар, подложив под ткани, драгоценности и шелковые ленты еще и оружие. Молодой Ахилл сразу же заинтересовался оружием и пренебрег всем остальным: так стало ясно, кто он. С переодеванием было покончено, и Одиссей легко уговорил его взойти на корабль и присоединиться к остальным. Об этой истории многие тайком рассказывали друг другу под стенами Трои, но сам Ахилл ни с кем о ней не говорил, да никто и не осмеливался спрашивать его.

— Может, эта история не очень украшает героя, — сказал Эвмей, — но я считаю, что Ахилл тысячу раз был прав, спрятавшись у Ликомеда, потому что в Трое его убили.

Пенелопа

Следует ли мне благодарить богов за то, что Телемах похож на отца — Одиссея? Ох уж эти мужчины, никогда не делятся с женщинами не только своими планами, но даже мыслями. Ни жены, ни матери никогда не удостаиваются их доверия.

Одиссей сорвался вдруг с места и направился на войну с Троей, оставив Телемаха еще младенцем в колыбели, а Телемах, в тайне от меня, подался на Пилос и в Спарту, надеясь услышать что-нибудь об отце от Нестора и Менелая. Скажи он об этом мне, разве стала бы я его удерживать? Конечно нет. Так зачем же он велел старой няне Эвриклее сообщить мне о своем отъезде лишь тогда, когда он уже плыл в сторону Пелопоннеса?

По правде говоря, Одиссей не мог уклониться от опасного плавания, хотя и предпочел бы остаться на родине и поражать своими стрелами диких кабанов, а не троянцев. Да и мне не удалось удержать его дома. Но потом до меня стали отовсюду доходить слухи, что он сражался, как герой, и что Троя пала благодаря ловко придуманному им деревянному коню. Вот это меня и тревожит, тревожит, что военный опыт разжег его тщеславие и гордыню. Чем еще объяснить бесконечные отсрочки, нежелание возвратиться, как не опасениями, что мирная жизнь царя на Итаке, рядом с супругой, сыном и друзьями, не сможет удовлетворить его жажду славы?

Этими мыслями я не поделюсь никогда и ни с кем и забуду их в тот самый день, когда по воле богов я увижу Одиссея на пороге нашего царского дворца. Между

тем друзья превратились во врагов, а слуги — в предателей, но надежда никогда не покидала меня, я тоже научилась хитрить, как Одиссей, и, вглядываясь в горизонт, жду, когда наступит час мщения. Месть — вот награда за мое многотерпение.

Едва вышедший из детского возраста Телемах стал не менее беспокойным, чем отец, и таким же, как он, лжецом, подозрительным и снедаемым любопытством. Но, великие боги, как мог он подумать, что я помешаю ему отправиться на поиски достоверных вестей об отце? Старая Эвриклея сказала сегодня, будто Антиной — самый сильный и вспыльчивый из женихов — что-то затевает против моего сына, и это наводит меня на мысль, что Телемах уже возвращается. Но возможно, Эвриклея ошибается, ибо Антиною известно, что любая обида, причиненная Телемаху, — обида, причиненная мне, а это ему невыгодно. И он всегда демонстрировал свою лицемерную привязанность к подраставшему Телемаху и однажды даже подарил ему лук из ясеня с пучком стрел и кожаным колчаном. Эвриклее всюду мерещатся опасности; возможно, подозрения ее преувеличены, но все же не следует закрывать глаза на опасения старой няни.

Со множеством трудностей приходится мне справляться без помощи мужчины, а теперь вот надо еще защищать Телемаха. Я знаю, что меч не подходит женским рукам, и завидую тем, кто может разить врага оружием, пусть и рискуя собственной жизнью. Какое это, должно быть, несказанное удовольствие — прикончить врага мечом. И как же несчастен тот, кто принужден, постоянно пребывая в одиночестве, чувствовать свое бессилие. Мне ясно, что нужно найти силу в самой себе, а не в оружии, с которым я не умею обращаться, и не в богах Олимпа, которые не слышат моих молений, силу, чтобы противостоять наглой и шумной толпе женихов.

Мысли мои постоянно с болью устремляются к Одиссею, и часто мужество покидает меня. Его отъезд на Троянскую войну был для меня несчастьем, но я не могу винить во всем Одиссея, поступившегося даже собственным достоинством, лишь бы не участвовать в этой бессмысленной затее[1]. На войну поднялись все ахейцы, силы их стянулись из всех городов, со всех островов Эллады; тогда говорили, что война продлится не больше года. Эта надежда дала мне силу, провожая Одиссея, не лить горьких слез. Но летом дела обернулись совсем по-иному из-за упорного сопротивления осажденных, из-за героизма Гектора и его товарищей, из-за капризов фортуны. Война продлилась не год, а девять лет.

Многие из воинов, сражавшихся под стенами Трои, уже давно возвратились домой, спят в своих постелях со своими супругами, восседают за столом со своими детьми, занимаются своими делами. Некоторых на родине ждала беда, как, например, Агамемнона, справедливо наказанного Фатумом за то, что в момент отплытия он принес в жертву свою дочь Ифигению, чтобы боги даровали ему попутный ветер. Лишь Одиссея нет до сих пор, и гнев, зарождающийся у меня в глубине души и тревожащий мой сон, я усмиряю лишь опасением, что его поглотило бурное море и он попал в мрачное царство Аида.

Зловещие крики чаек нарушают мое одиночество и навевают грустные мысли. Сегодня я не спущусь в большой зал, где пируют и напиваются женихи, а певец Терпиад пытается заглушить звуками цитры и своим высоким голосом поднятый ими отвратительный шум.

---

[1] Согласно легенде, Одиссей, не желая ради войны оставить любимую жену и новорожденного сына, притворяется безумным, но его уличают в притворстве.

Одиссей

Мне с трудом удалось задремать на постели, которую устроил для меня мой добрый Эвмей, я часто просыпался среди ночи и потом долго не мог заснуть. Похоже, что мужество мое, такое несгибаемое в прошлом, стало таять, как воск на огне. Что за неведомый недуг одолел меня, о боги Олимпа?

Утром возвратился из плавания Телемах и, прежде чем отправиться в город и во дворец, явился сюда, к верному Эвмею, ибо захотел, чтобы именно он передал весть о его возвращении Пенелопе.

Я смотрел на него удивленно и с волнением. И вообще не узнал бы его, если бы Эвмей не сказал мне, что это сын Одиссея. Он высок, тонок и похож, пожалуй, больше на Пенелопу. У него, как и у матери, голубые глаза, а лицо широкое, как у меня, и странная улыбка, не знаю уж, от кого она ему досталась. Быть может, так улыбается мой старый отец Лаэрт?

Прежде чем открыться ему, я постарался немного успокоиться: не хотелось представать со слезами на глазах перед сыном, знающим меня лишь по легендам о моих подвигах. Именно сейчас, когда я стою на теплой земле родины, мне все время приходится сдерживать эти позорные потоки слез, извергающиеся из моих глаз в самые неподходящие моменты. Руки мои еще сильны, и я знаю, что, сжимая в них меч или лук, еще могу внушать страх, но душа моя измучена и не выдерживает сильных волнений.

Когда Эвмей пошел пасти свиней, я отвел в сторонку Телемаха, который поначалу поглядывал на меня с подозрением, и не спеша стал рассказывать ему об осаде Трои, о моем обратном пути и пребывании на острове феаков. По мере того как я говорил, его интерес к моему рассказу возрастал, а когда речь зашла о феаках, он сразу же спросил, не встречал ли я на том острове Одиссея.

— Конечно, — ответил я. — Мы приплыли на Итаку на одном и том же корабле, и сейчас перед тобой не кто иной, как Одиссей — твой отец, переодетый нищим.

Телемах смотрел на меня, ничего не понимая. Он не мог поверить, что под нищенскими лохмотьями скрывается его славный отец Одиссей, вести о подвигах которого разнеслись чуть ли не по всему свету. Он смотрел на меня недоверчиво, но когда я описал ему наш дворец и комнату, в которой он рос, и нашу с Пенелопой спальню, и каморку, в которой хранится мой лук, и даже бронзовые подставки в форме львов для поленьев у камина, и навес, под которым зимой хранятся дрова, а потом спросил его, жива ли еще няня Эвриклея и по-прежнему ли она любит съедать утром ломоть хлеба с медом, Телемах обнял меня, плача от волнения.

— Жаль, что я сам не узнал тебя, но когда ты покинул Итаку, я был еще совсем мал и не могу тебя помнить. Но почему же тебя не узнал даже пастух?

— Я оделся в нищенские отрепья именно для того, чтобы меня не узнали. И потом, когда я уходил, Эвмею не было и двадцати лет и видел он меня, лишь когда я охотился в этих местах. То есть не очень часто.

Я объяснил Телемаху, что пока только он один должен знать о моей тайне, ибо, прежде чем сразиться с женихами, я хочу проникнуть во дворец неузнанным и вместе с ним составить план действий. Для того-то мне и пришлось прикинуться нищим.

Телемах был рад тому, что я оказал ему такое двойное доверие, и в свою очередь признался, что Антиной однажды пригласил его на охоту, но почему-то плохо прицелился и его стрела не попала в оленя, а оцарапала горло ему, Телемаху. Он даже показал мне тонкий шрам на шее.

— С тех пор я не доверяю больше ни Антиною, ни остальным женихам.

— Они будут снова пытаться убить тебя, но мы нападем на них внезапно и устроим настоящее побоище.

— Дело трудное, но, наверно, не такое уж невозможное для человека, сумевшего хитростью взять Трою, — сказал Телемах, и в голосе его звучала гордость.

— Женихи молоды и хорошо владеют оружием. Они явились сюда с Самоса, Дулихия, Закинфа и самой Итаки и будут зубами держаться за привилегии, вырванные силой. Но их расслабили неумеренная еда и вино, и это делает их более уязвимыми.

— Наш верный Эвмей, — сказал я Телемаху, — отправится во дворец и, как ты решил, сообщит о твоем прибытии Пенелопе. И только. Потому что даже твоя мать не должна догадаться, что под этим жалким рубищем скрывается Одиссей. Конечно же, ничего не должен знать и Эвмей, так радушно принявший меня в своем доме, а то как бы у него не вырвалось неосторожное слово в разговоре с Пенелопой или служанками. Я хочу в таком виде явиться по твоему повелению во дворец, чтобы собственными глазами увидеть, что там делается, и подготовить вместе с тобой план разгрома женихов. А что до Пенелопы, то я сам хочу убедиться в ее преданности. Никому не верю. Верю только собственным глазам, и одного взгляда мне будет достаточно, чтобы понять не только явное, но и тайное. Лишь мне решать, когда настанет момент открыться.

— Пенелопа ненавидит претендентов на ее руку, и презрение ее к ним велико, как самая высокая гора. Но я понимаю, почему ты не хочешь открыться даже ей. Раз ты так решил, я согласен с тобой.

Мне было ясно, что история с троянским конем стала уже настоящей легендой, которая разнесла мою славу по всему свету. Я сражался и сотни раз рисковал жизнью, я устраивал отчаянные военные вылазки и вышел из них невредимым, но сейчас даже в глазах Телемаха я всего лишь человек, создавший троянского коня. Он с уверенностью сказал, что если уж Троя пала благодаря мне, то я обязательно придумаю какую-нибудь хитрость, чтобы одолеть бешеных женихов, замышляющих отстранить нашу семью от управления Итакой.

— Хитрость или удача, — сказал я ему, — помогут нам отправить их кормить червей. Но запомни, что удача не случайный дар небес, она сопутствует лишь смелым. Хотя сам я всегда верил не только в смелость и хитрость, но и в удачу, никогда не покидавшую меня в моменты опасности.

Пенелопа

Поутру пришел Эвмей, пригнал двух свиней для пира женихов. Прислал ко мне в покои служанку, сказав, что ему надо что-то сообщить. Добрая весть.

— Вернулся Телемах, — сказал он, — и сегодня же явится к тебе во дворец. Я тоже счастлив, моя царица, так что позволь мне сегодня вечером выпить большой кубок вина, чтобы отметить возвращение Одиссеева сына.

— Телемах и мой сын, — ответила я.

Я так ждала возвращения Телемаха, а теперь боюсь за его жизнь. Женихи страшно взбудоражены и с раздражением воспримут его появление во дворце. Возвращение сына Одиссея расстроит их планы, и если бы они не боялись навсегда лишиться надежды на мою благосклонность, то его бы уже давно убили. А сам Телемах, долго ли он сможет терпеть присутствие тех, кто хочет занять место его отца?

Я научилась жить замедленно, портя глаза и пальцы за работой на станке, на котором я тку, а потом распускаю смертный покров для Лаэрта.

Каждый день я вглядывалась в небо, ища в нем доброе предзнаменование, но небо и боги Олимпа равнодушны к моим надеждам.

Сколько раз мне удавалось подавить свой гнев против женихов, но как долго еще мне удастся денно и нощно скрывать свои чувства за завесой притворства? Кричат вокруг чайки — хозяйки света, реют в воздухе у меня перед глазами, и кажется, будто они хотят что-то сказать. Мне неведом их язык, но если они могут читать в моем сердце, пусть их охватит великая жалость к Пенелопе.

Одиссей

Когда мы с Телемахом и верным моим Эвмеем подходили ко дворцу, на нас налетел с жестокими оскорблениями некий Меланфий, козопас женихов.

— Куда ты ведешь этого попрошайку? Этого грязного оборванца? Во дворец, чтобы он набил утробу объедками? Лучше бы ты заставил его мести хлев — там его место.

С этими словами Меланфий пнул меня ногой. От гнева я чуть было не потерял над собой власть, но сумел сдержаться и не проломить ему череп, у меня хватило самообладания не сорвать неосторожным поступком план, который придумали мы с Телемахом.

Итаку не узнать. Никогда не думал, что мой город можно довести до такого запустения. Фасады домов облупились, словно изъеденные проказой, мостовые совершенно разбиты, а канавы заросли бурьяном: никто их не прочищает. Внезапные порывы ветра поднимают облака пыли и сухих листьев. Палестра[1] совершенно заброшена, и посреди нее выросло фиговое дерево.

В двух шагах от входа во дворец, у самой ограды, скопилась целая гора отбросов — объедки, оставшиеся от пиршеств; кости скота с приставшими к ним ошметками мяса, сочащиеся кровью шкуры, кучи гнилых овощей.

Старый пес, приютившийся возле этой помойки, где он и кормился, едва завидев меня, замахал хвостом, с трудом поднялся с земли и подошел ко мне. Я сразу же узнал его, бедного своего Аргуса. Столько лет он ждал меня и так отощал, что все ребра у него наперечет, но не от недостатка пищи, а от никого не щадящей старости. Бедный мой верный Аргус, если бы люди оставались такими преданными, как ты и как пастух Эвмей, мое возвращение было бы поистине благословенным и счастливым. Но мне довелось вернуться в обличье нищего, я оброс неопрятной бородой, едва передвигаюсь, согнувшись и опираясь на палку, — чтобы никто меня не узнал.

И снова я еле сдержал слезы: Аргус упал, и стало ясно, что он уже никогда не поднимется, ибо волнение от встречи со столь долго отсутствовавшим хозяином убило его. Я только протянул руку, чтобы погладить его по голове, он на мгновение открыл глаза, и тут же тень смерти легла на них. А сколько мы вместе с ним гонялись по густым зарослям кустарника за дикими кабанами, и как он радовался удачной охоте, бедный мой пес Аргус.

Мне оказал гостеприимство живущий в горах бедный пастух; меня пнул на дороге подлый козопас; меня с любовью признал старый дряхлый Аргус, не вынесший столь сильного волнения... Вот так встретили Одиссея в его собственном царстве после кровопролитной войны и после всяческих приключений, пережитых им на пути домой. Где праздничные стяги и радостные песни подданных, где венки из цветов, которыми награждают победителей, возвратившихся на родину? Где жена и ее ласки? Не только мои глаза, но и мое сердце под отрепьями нищего источает горькие слезы.

Вслед за Телемахом и Эвмеем я направился в большой зал замка, опираясь на палку, как старик, нуждающийся в отдохновении и пище, но остановился на пороге, как и подобает человеку, ждущему подаяния.

Женихи пировали под пение Терпиада и почти не заметили нашего прихода. Лишь Антиной в знак приветствия махнул рукой Телемаху и протянул в его сторону кубок с вином. А кое-кто из женихов только кивнул Телемаху, словно он не наследник трона, а обычный гость.

Телемах велел Эвмею подать мне хлеб, и я опустил его в свою суму; потом он посоветовал мне попросить милостыню и у женихов, когда Терпиад закончит пение.

И тут Антиной стал упрекать Эвмея:

---

[1] Гимнастическая школа для мальчиков с 12 до 16 лет.

— Зачем ты привел в город еще одного попрошайку? Нам и так уже некуда деваться от всякого сброда, пожирающего отбросы! Ты ноешь каждый раз, когда надо заколоть свинью для нашего пира, а сам, бесстыжий, хочешь добавить еще одного обжору к тем, что и так не дают нам покоя ни днем ни ночью.

Эвмей ответил Антиною, что всяких певцов, ремесленников, целителей, фокусников, кулачных бойцов, шарлатанов и плутов охотно принимают во дворце и щедро осыпают дарами, а когда приходит нищий, который и вправду нуждается, никто не желает ему помочь.

Ободренный словами Эвмея, я тоже обратился к Антиною, чтобы умерить его гордыню.

— Похоже, — сказал я, — ты и горсти соли пожалеешь для бедного голодного нищего, который придет к тебе в дом, раз ты пожалел для меня кусок хлеба, к тому же тебе не принадлежащего.

Заносчивый Антиной, обвиненный в том, что он ест чужой хлеб, схватил скамейку и запустил ею в меня, задев мне плечо. И снова я сдержался, крепко сжав зубы; я уже хорошо знал, что из всех женихов Антиной самый могущественный и всеми признан как первый претендент на руку Пенелопы. Я упал на пол, словно этот удар раздробил мне кость, чем вызвал безудержный смех женихов. Выходит, боль человека — забавное зрелище. Но для них я не человек, а нищий.

Все это происходило в то время, когда Пенелопа благоразумно оставалась в своих покоях наверху.

Как долго я смогу выдерживать эти жестокие муки притворства, не знаю. Насколько же легче биться с врагом лицом к лицу или строить под стенами Трои деревянного коня с вместительным брюхом для ахейских воинов. Здесь Одиссей больше не Одиссей. Сначала меня пнул ногой подлый козопас, потом ударил в плечо Антиной. Его первого ждет смерть, когда пробьет час мщения.

Пенелопу я еще не видел. Но как тяжко мое возвращение. Сколько унижений, сколько обид! Если бы я не испытал радости встречи с Телемахом, если бы меня не утешила верность пастуха Эвмея и бедного пса Аргуса, я бы не знал, какого бога молить, чтобы он даровал мне силу вынести такой прием.

Телемах тоже сумел сдержать гнев, когда Антиной нанес мне удар. Он проявил ровно столько чувств, сколько необходимо, чтобы защитить бедного попрошайку, пришедшего во дворец вместе с ним. Несколько слов в мою защиту, и только. Ни жеста, ни фразы, выдающих правду.

Телемах ушел наверх, чтобы поздороваться с матерью, а я остался дожидаться его на пороге большого зала. Он долго оставался в покоях Пенелопы, но я уверен, что о моем прибытии, как и было условлено, ничего ей не сказал, так как хорошо знает, что на женщин никогда не следует полагаться, и, думаю, он учится правильно оценивать все, что происходит в мире, а вернее — в том затерявшемся в океане маленьком мирке, куда вписаны события нашей жизни. За стенами дворца есть далекие города, деревни, леса, безграничное море, реки, пещеры, дикие животные, цветущие сады. Пока же Итака для меня просто тюрьма, здесь мне больше ничего не принадлежит; теперь надо силой, хитростью и полагаясь на удачу отвоевывать мое царство и терпеливую пленницу — мою супругу. Я все время твержу себе, что я не Одиссей, а обыкновенный, одетый в рубище нищий, молча сносящий обиды.

Когда Телемах спустился из верхних покоев, глаза у него были красные, словно перцем натертые. Он старался прятать от меня лицо, чтобы я этого не заметил. Но я понял, что он долго плакал вместе с матерью. В общем, кругом одни только слезы, просто невозможно вынести все это море слез.

Какая беда, что и я заразился этим недугом. Достаточно чуть-чуть поволноваться, как глаза мои сразу же набрякают влагой, словно туча перед дождем, а когда слез сдержать не удается, меня охватывает жгучий стыд. И я все спрашиваю себя: может, это из-за усталости, накопившейся за время долгих странствий по пути домой? Или это свидетельство страданий и очищение от накопившейся тайной вины?

Телемах сказал мне, что безутешная Пенелопа сохранила свою красоту, несмотря на грусть и душевную боль, испытываемые ею постоянно; что она всегда заботится о своей одежде и ежедневно ополаскивает настоем крапивы свои длинные черные волосы. Больше он не сказал ничего, а я не стал его ни о чем расспрашивать.

Пенелопа

Наглостью женихов, как и дымом от жарящегося мяса, которое они каждый день пожирают, как голодные волки, заражен сам воздух: им невозможно дышать. Стены дворца пропитаны горькой вонью еды, поглощаемой на пирах. Эти самозванные женихи ведут себя так, словно дома они всегда голодали и теперь хотят отъесться за счет Одиссея в его владениях. Они надеются, что его нет в живых, они хотят этого, и все же в их душе гнездится какое-то беспокойство, потому что никаких определенных известий до острова не дошло. Призрак Одиссея делает их самих раздражительными, а их повадки — чрезмерно наглыми.

Я тоже не очень верю в то, что Одиссей вернется, хотя Телемах кроме слухов о приключениях отца на обратном пути и о его пленении на острове Цирцеи привез еще известие — быть может, придуманное им для моего утешения, — будто Одиссей уже покинул остров феаков и плывет к Итаке.

Закрыв глаза, я так и вижу корабль, несущийся под парусом по морским волнам, и мне кажется, что он спешит к родному острову. Иногда я слышу вой ветра и грохот волн, разбивающихся о борта судна, и голос Одиссея, отдающего команды матросам. Но слишком уж много лет этот образ и утешает меня, и тревожит.

Мысли об Одиссее преследуют меня повсюду: во время редких прогулок по берегу моря и по пыльным улицам Итаки в сопровождении моей верной Эвриклеи, в садах, окружающих город, куда я хожу каждую осень во время заготовки фруктов на зиму и винограда для вина. Когда я смотрю, как прессы выжимают оливки и амфоры наполняются зеленоватым душистым маслом, мне всегда кажется, что за мной стоит тень Одиссея. В погребах, где выдерживают и хранят вино, крестьяне всегда угощают меня суслом, которого я не люблю, но всякий раз мне приходится ободрять их и хвалить за труды, как это сделал бы Одиссей.

Крестьяне так рады моим приходам и потом еще долго обсуждают их. Они разглядывают мои одежды, считают морщинки на моем лице, вспоминают и повторяют мои слова. Я их царица и не могу вечно сидеть взаперти в своих покоях, я должна показываться своим подданным, говорить с ними, раздавать мелкие подарки.

Однажды я даже была в горах, где живет пастух Эвмей, которого я вижу иногда во дворце, когда он пригоняет свиней для пиров; он встретил меня со слезами. Говорить со мной он не осмеливается, но я узнала от няни Эвриклеи, что Эвмей хранит верность своему царю и ненавидит женихов, пожирающих животных, за которыми он так заботливо ухаживает. Весь домашний скот на острове принадлежит Одиссею, а в его отсутствие — мне и Телемаху, но женихи ежедневно забивают и крупную и мелкую скотину, не платя за это ни единой монетки. Я однажды говорила об этом с Ктесиппом, самым богатым из всех женихов, и он ответил, что намерен со временем рассчитаться со мной. Но наступит ли это время?

Долгими одинокими вечерами, когда из горящего очага душистый дым от ветвей оливкового дерева и кипариса достигает моих покоев, меня вдруг охватывает желание поговорить об Одиссее, но я не знаю с кем. И тогда я, как безумная, целую ночь напролет твержу его имя. Но я не безумная, нет, не безумная, хоть и терзаюсь горькими мыслями. Безумие — роскошь, которую я не могу себе позволить.

А теперь еще явился этот бродяга, который, кажется, был вместе с Одиссеем под стенами Трои: он так долго странствовал по морю и по суше, что, возможно, и слышал какие-нибудь последние новости. Так говорит наш добрый Эвмей, приютивший его у себя дома в горах.

Я сомневалась, не знала, позвать ли мне этого человека сюда, в свои покои, чтобы втайне от всех услышать от него что-нибудь об Одиссее, но Эвриклея не посоветовала делать этого, прежде всего потому, что не приличествует царице приводить в свои покои нищего, к тому же она опасается, как бы он не стал рассказывать всякие небылицы, хитростью заставив меня оказать ему гостеприимство.

— Все они, эти бродяги, такие: напускают на себя таинственность и утверждают, будто им известно все — и прошлое, и настоящее, и будущее, а сами обирают тех, кто попадается на их удочку, — сказала мне старая няня.

— В отличие от женихов, — сказала я, — которые все берут только у Пенелопы.

Не понимаю я Телемаха. С чего это он, едва вернувшись на остров, оделяет защитой и дружбой первого встречного попрошайку. Странное, легкомысленное поведение, недостойное сына хитроумного и подозрительного царя Итаки. Разве что этот бродяга действительно благородного происхождения и в такое состояние его привела злосчастная судьба, если верить словам Эвмея и Телемаха. Лишь в подобном случае он заслуживает нашего внимания, так как, возможно, побывал в тех местах и знает тех людей, которые нас интересуют.

Эвриклея твердит, что неприлично приводить нищего в мои покои, но чьего осуждения мне опасаться? Уж конечно не Антиноева, который, говорят, побил несчастного, нарушив тем все законы гостеприимства. Но что я говорю? Выходит, что я уже считаю Антиноя хозяином во дворце? Лишь от большой усталости я могла приписать право принимать гостей в моем доме самому злобному и наглому из самозваных женихов. Таким образом я принижаю себя самое, собственное свое достоинство, память об Одиссее, положение Телемаха, добрых духов, помогавших мне все эти годы. Нет, Антиной не имеет никакого права оказывать кому бы то ни было гостеприимство. Этот дом не его и никогда не будет ему принадлежать.

Я прислушалась к совету Эвриклеи и решила встретиться с бродягой в большом зале, но не в присутствии женихов. Если он что-нибудь знает, пусть услышу об этом я, не они.

Многое за эти дни изменилось под небом Итаки. Кажется, будто горизонт внезапно расширился, он уже не ограничен стенами, окружающими дворец, и глаза мои вглядываются в даль в надежде заметить луч доброй надежды. Телемах возвратился из своего путешествия и говорит, что где-то за морем Одиссей еще жив. Если верить слухам, таким туманным, словно их занесло к нам ветром, Одиссей отчалил от острова феаков, где его приняли как почетного гостя, и теперь плывет к Итаке.

А что, если, как сказал нам один финикийский торговец, он влюбился в дочь царя феаков Навсикаю? Или сама Навсикая влюбилась в него? В обоих случаях это беда.

На протяжении многих лет рассказы об осаде Трои тревожили нас, но до сих пор никто еще не приносил достоверных вестей о скором возвращении Одиссея, и слышали мы одни лишь сказки о сиренах, колдуньях, морских чудовищах, сказки, которые рассказывают по вечерам у горящего очага. Надо все же послушать этого старика, приплывшего на Итаку из далеких стран. Если он сообщит мне добрые и правдивые вести, я обязательно щедро вознагражу его и дам все, что он попросит. Но если я замечу, что он плетет всякие небылицы, лишь бы доставить мне удовольствие и воспользоваться моим гостеприимством и дарами, как подозревает Эвриклея, то я сумею, не ведая жалости, прогнать его: пусть никто не думает, будто можно устраивать забаву из моего горя.

Никогда еще, как сейчас, когда Телемах вернулся на Итаку, я так не мечтала о возвращении Одиссея и о его мести ненасытным женихам, которые каждый день режут быков и свиней, так что дым от мяса, жарящегося на вертелах, поднимается до самого неба, а запасы вина в наших погребах и вовсе подходят к концу.

Мое отвращение к Антиною, который, судя по всему, избран главным претендентом на мою руку, объясняется не его внешним видом — надо признать, он хо-

рош собой, — а его наглыми и злобными выходками. Как-то ночью я проснулась от шума, долетавшего снизу; подкравшись на цыпочках к лестнице и глянув вниз, я увидела, как он, пьяный и совершенно голый, пляшет посреди большого зала, а все остальные хлопают в ладоши. Пляшущий голый мужчина — отвратительное зрелище.

Одиссей

Я попросил Телемаха сделать так, чтобы моя встреча с Пенелопой состоялась не при женихах, а после захода солнца, когда все они вместе с голыми рабынями в масках отправятся на праздник бога Диониса, который устраивают при луне в заброшенной палестре. Кто знает, какие мысли пришли бы в голову женихам, если бы им стало известно, что какой-то жалкий нищий удостоился беседы с царицей. Уже одно то, что Телемах вернулся, их очень обеспокоило, и когда он появился в большом зале, они встретили его холодно, почти как чужака, о чем-то стали переговариваться и обмениваться многозначительными взглядами.

Но была и другая причина моей просьбы: я надеялся, что в слабом свете лампад меня труднее будет узнать. И хоть я напялил отрепья нищего и мне — еще не старому — удавалось прикидываться глубоким стариком, я боялся, что Пенелопа узнает меня или у нее возникнет какое-то подозрение. У женщин вообще глаз наметанный, но когда перед ними мужчина — старый или молодой, богатый или бедный, — они видят его насквозь и даже читают в его сердце. Женщины существа опасные, а Пенелопа, несмотря на кажущееся простодушие, еще опаснее других.

К сожалению, произошел случай, из-за которого пошли прахом все мои намерения молча сносить любые унижения, лишь бы ни у кого не возникло подозрений относительно того, кто я в действительности. Попрошайка по имени Ир, клянчащий милостыню на дорогах и в предместьях города, каким-то образом заполучил право побираться и во дворце. Увидев мою суму, набитую объедками со стола женихов, он решил, что его авторитет главного нищего Итаки подорван.

— Пошел вон, грязный старик, — крикнул он, увидев меня сидящим на пороге дворца, — не то я вытащу тебя отсюда за ноги! В этом месте с разрешения моих щедрых покровителей имею право находиться только я.

— Здесь, под портиком, мы могли бы сидеть оба, не мешая друг другу, — возразил я ему, — но тебе, видно, не терпится, чтобы я отделал тебя как следует, жалкая тварь, не гляди, что я старик по сравнению с тобой.

Женихи, уже в масках в честь бога Диониса, стали науськивать нас друг на друга, надеясь увидеть бесплатное представление; они были уверены, что Ир легко со мной справится.

Почувствовав поддержку женихов, он стал осыпать меня новыми оскорблениями, не предполагая, что под рубищем нищего скрывается настоящий Одиссей.

— Да я тебя сейчас изобью до смерти, — вопил обнаглевший Ир, — вышибу тебе все зубы! Я моложе и сильнее тебя, попробуй ударь, раз ты такой храбрый, посмотришь, что будет.

В предвкушении спектакля больше всех оживился Антиной.

— Сейчас мы увидим редкое зрелище, — сказал он громко, чтобы слышали остальные. — Зрелище, которое не смогут показать нам даже мимы в театре.

Привлеченные его словами женихи стали в круг и начали подстрекать нас к драке.

Ир принял бойцовскую позу, а я, подойдя к нему, сбросил с себя свои лохмотья. В первую минуту он испугался, увидев, что я крепок и мускулист, но его жалкий умишко не способен был оценить это по достоинству. Он сделал шаг вперед и ударил меня кулаком в плечо. В ответ я нанес ему внезапный удар в челюсть, да так, что кости у него хрустнули и изо рта потекла кровь. Ир рухнул на пол, стеная

и дрыгая ногами, к тому же он сильно прикусил зубами язык. Я взял его за ноги и выволок наружу, а женихи, удивленно и весело смеясь, захлопали в ладоши. Бросив его у порога, я сунул ему в руку посох и сказал на прощанье:

— Ступай сторожить дворец, отгоняй от него бездомных псов!

Разве мог я снести такие оскорбления и позволить какому-то попрошайке выгнать меня из дворца? Он хотел вышвырнуть меня на улицу, но это нарушило бы мои с Телемахом планы. Женихи убедились, что я не так слаб, как казалось с виду, но это их не тревожило, им не приходило в голову, что мое присутствие может помешать их вольготной жизни. К тому же я их развлек, сокрушив одним ударом своего соперника, присутствие которого им и самим, как видно, надоело.

Когда солнце зашло и женихи отправились в палестру, уведя с собой нескольких служанок, чтобы предаться разнузданной оргии в честь Диониса при свете луны, мы с Телемахом остались одни, и я помог ему вынести из зала все оружие. Он сказал присутствовавшим при этом рабыням, что от дыма очага все оружие почернело и пора его очистить от копоти. Свое объяснение Телемах адресовал главным образом Меланфо, самой вредной из всех служанок, которая наряжалась в маскарадный костюм, чтобы присоединиться к остальным, уже ушедшим в палестру. Эта шпионка обязательно донесла бы обо всем женихам.

Когда я нес пучок стрел в кладовую, Меланфо подошла ко мне, выставив напоказ обнаженную грудь.

— Уберешься ты наконец отсюда со своими вшами или будешь вечно мозолить всем глаза!

Меланфо — злобная шлюха, но я сдержал себя, хотя ее ядовитый язык еще сильнее распалил во мне жажду мести.

По приказанию Телемаха слуги вновь развели огонь в большом каменном очаге, где еще тлели угли, на которых недавно жарилось мясо. Вскоре языки пламени охватили кипарисовые поленья, уложенные на бронзовых решетках, и большой зал озарился красноватым светом, отбрасывавшим пляшущие блики на стены.

От потрескивающих дров по всему дому распространился пьянящий запах кипарисовой смолы.

Пенелопа

До сих пор добрые духи благоволили ко мне, но обман с саваном, который я ткала днем и распускала ночью, теперь раскрыт Меланфо, и она, конечно, уже поведала обо всем Антиною. Он с недавних пор и впрямь стал еще нахальнее, чему, вероятно, есть причина. Похоже, что Меланфо часто проводит ночи в постели с Антиноем, где и рассказывает ему обо всем. И я еще должна принимать ухаживания этого циничного развратника?

Когда Меланфо явилась в мои покои в маске и бесстыдно обнаженная — скорее всего для того, чтобы стащить какой-нибудь браслет или ожерелье, как она это делала уже не один раз, — я сказала ей:

— Берегись, оставь свои грязные интриги! Молись богам, чтобы царица не рассердилась на тебя, не то плохо тебе придется, когда к нам возвратится царь Одиссей. Но даже если он погиб в море на пути в Итаку, есть еще Телемах. Он уже взрослый и сумеет примерно наказать тебя. Ты пронюхала, что я хочу поговорить с тем бродягой и узнать у него что-нибудь об Одиссее, и попыталась убрать его отсюда. Не забывай, жизнь человеческая хрупка: один удар меча — и покатится в пыль твоя голова, полная злобных замыслов. Запомни хорошенько: заступничество Антиноя не спасет тебя.

Услышав это, худшая из моих служанок испуганно втянула голову в плечи и молча вышла из покоев.

Я оделась, умастилась душистыми снадобьями, приколола к волосам куплен-

ный у заезжего торговца нежный цветок мака из красного египетского льна, чтобы принять старика бродягу со всеми почестями, приличествующими особе княжеского рода. Судя по всему, он и впрямь из княжеского рода, как говорит Телемах, хотя злая судьба превратила его в нищего попрошайку. Не знаю уж, кому верить. Многие из женихов тоже похваляются благородным происхождением, а в действительности они вышли из семей неотесанных лесорубов, как, например, Ктесипп, или волопасов, как Амфином.

Как бы ни была я удручена, я все же царица Итаки и должна выглядеть, как подобает в моем положении всегда, но в особенности перед чужеземцем. Не хочу, чтобы он, покинув остров и вновь пустившись в странствия по белу свету, говорил всем, будто царица Итаки появляется перед чужестранцами, не блюдя приличий, диктуемых священным долгом гостеприимства.

Одиссей

По правде говоря, Пенелопа не выглядит такой уж страдающей и изможденной, какой рассчитывал увидеть ее я. Послушав Эвмея, да и Телемаха, я был уверен, что глаза ее все еще прекрасны, но поблекли от слез, а на красивом лице — следы горестных переживаний. Признаюсь, я предпочел бы увидеть ее менее привлекательной и цветущей и таким образом убедиться, что мое долгое отсутствие оставило какой-нибудь заметный след в складках у рта, во взгляде, в дрожи и неуверенности голоса. Ничего подобного! Странно, но мое положение побуждает меня желать, чтобы женщина, которую я люблю всей душой, была менее соблазнительной.

Пенелопа вошла в зал с большим красным цветком в волосах, в белой легкой льняной тунике, под которой угадывались совершенные линии молодого еще тела. Ее лицо затмевает по красоте образ, который я сохранил в своей памяти. Меня просто поразили ее строгий профиль и гладкая, как мрамор, кожа. Мужчины не знают, какой профиль у их женщин, они почти никогда не смотрят на них в профиль. Им известна каждая черточка лица, которое они видят прямо перед собой, цвет и блеск глаз, форма губ, румянец щек, линия волос надо лбом, а вот на профиль они редко обращают внимание.

Теперь я понимаю, что женихи засели во дворце и пытаются завладеть не только богатствами моего царства, но и вниманием такой красивой и привлекательной женщины. А этот красный цветок из тонкого льна, который Пенелопа приколола к волосам? Кто ей его подарил? Быть может, Антиной или кто-то другой из претендентов на ее руку? Мне бы радоваться, что я нашел Пенелопу такой уверенной в себе, такой горделивой, а я, наоборот, страдаю и терзаюсь сомнениями.

Пенелопа предложила мне сесть на скамью перед своим креслом, придвинутым по такому случаю к очагу. Вопреки моим ожиданиям, она не стала сразу же расспрашивать меня об Одиссее, а пожелала узнать все обо мне — откуда я прибыл, каково мое происхождение и какие путешествия я совершил, прежде чем судьба выбросила меня, отчаявшегося бродягу, на берег Итаки. И тут я повторил долгий рассказ о своей юности, прошедшей на Крите, о жизни во дворце в окружении прислуги, о морских приключениях, о годах, проведенных у стен Трои, — нарочно не упоминая при этом об Одиссее, — о путешествии в Египет и о бедах, которые навлекло на нас неразумное поведение моих товарищей, и, наконец, о возвращении на финикийском разбойничьем судне и побеге с него во время стоянки у берегов Итаки.

Пенелопа слушала мой рассказ, и ей даже в голову не пришло, что она видит перед собой самого Одиссея.

— Я восхищен, о царица, — сказал я в заключение, — твоей красотой, изяществом и силой духа, позволяющей тебе держаться с таким достоинством.

Мановением руки Пенелопа прервала мои комплименты, сочтя их знаком бла-

годарности за оказанную мне честь, и сказала, что с тех пор, как Одиссей уехал вместе с ахейцами на Троянскую войну, на Итаке все изменилось и остров сегодня процветал бы и славился, если бы она не осталась одна перед натиском женихов, заполонивших и разоряющих ее дом.

Слушая мой рассказ, Пенелопа время от времени перебивала меня, желая узнать всякие подробности о моих приключениях: например, чем кормили меня финикийские пираты и были ли у меня во время этих скитаний связи с женщинами. Странный вопрос, на который я ответил, что на пиратском судне были две проститутки, удовлетворявшие потребности матросов, но не пленников, и что каждый раз, приставая к берегу, пираты искали какую-нибудь молодую женщину, насиловали ее и скрывались прежде, чем местные жители успевали схватиться за оружие. Я сказал убитым голосом, что, отправляясь в свое полное приключений путешествие, я оставил на Крите младенца сына и женщину, которая любила меня. С тех пор я больше ее не видел и теперь, спустя двадцать лет, не смею показаться ей на глаза — такой старый и опустившийся до попрошайничества.

Сидя на скамейке перед внимательно слушавшей меня Пенелопой, я вел свой лживый рассказ с правдоподобной горячностью, сдерживая, однако, свои чувства, чтобы не дать волю слезам, которые с тех пор, как я вернулся на Итаку, слишком часто так и лились у меня из глаз.

Я смотрел на Пенелопу, освещенную красноватыми отблесками огня, и от каждого ее взгляда у меня мутилось в голове: одолеть ее чары мне удавалось, лишь опустив глаза и целиком отдавшись вымышленным воспоминаниям. Наконец Пенелопа сказала, что уже много лет мечтает услышать что-нибудь об Одиссее, но что всякий раз слышит лишь уклончивые, а порой и лживые речи. В общем, если я располагаю точными сведениями, пусть скудными и отрывочными, то она просит поделиться ими, но тщательно взвешивая слова, чтобы не пробуждать в ней пустых надежд.

— Могу сказать тебе, любезная царица, что впервые я увидел отважного Одиссея под стенами Трои, но потом мы встретились еще в конце войны у берегов Тринакрии[1], куда занесли царя бурные ветры, сбив с курса его судно и загнав в пролив между двумя морскими чудовищами — Сциллой и Харибдой. Тогда-то он и рассказал мне, что побывал на острове Крит и нашел прибежище в моем дворце, оказавшемся в руках врагов, которые, однако, отнеслись к нему душевно и проявили о нем заботу, подобающую царю. Достойный прием оказали они и его товарищам по плаванию. Он растрогал меня подробным описанием дворца, более мне не принадлежавшего, и сказал, что моя жена, впавшая в нищету, ждет меня в домике за чертой города вместе с уже выросшим сыном. Я вынужден был заставить его замолчать, ибо каждое слово лишь усугубляло мою душевную муку. Когда яростный ветер борей отлетел во владения Эола и морские валы улеглись, Одиссей вместе со своими товарищами отплыл с Тринакрии, сам встал у руля и направил судно в сторону Итаки. Но насколько мне известно, он потерпел кораблекрушение и добрался вплавь до острова феаков.

По застывшему лицу Пенелопы, не изменившему сурового выражения, потекли слезы, когда она слушала о морских злоключениях Одиссея. Но она быстро взяла себя в руки и спросила, чем я могу доказать, что мой рассказ достоверен. Мог ли я сказать, например, во что был одет Одиссей в те далекие дни, когда он высадился у стен Трои? И что еще помнил я о нем и о его товарищах?

Прежде чем начать говорить, я нарочито поколебался, словно с трудом выуживая из глубин памяти картины двадцатилетней давности. А затем заговорил — медленно, словно передо мной всплывали размытые временем образы.

— На Одиссее, — сказал я, — был пурпурный плащ, застегнутый под подбородком блестящей золотой пряжкой в виде собаки, вцепившейся в оленя. Я хоро-

[1] Тринакрия — старинное название Сицилии.

шо помню эту пряжку, которая у всех вызывала восторг, помню мягкую тунику, в которую был облачен воин. Но были ли эти плащ и туника на нем в момент отплытия с Итаки, или они были подарены ему кем-то во время остановок по пути в Трою — этого я сказать не могу. Наверное, немало даров получил он за время путешествия, ибо должен заметить тебе, любезная царица, что Одиссея очень любили все, но особенно — женщины, всегда смотревшие на него глазами, в которых горело желание. И еще, покопавшись в памяти, я могу сказать, что его всегда сопровождал глашатай — темнокожий, с курчавыми волосами.

При этих словах Пенелопа всхлипнула, но тут же, проглотив комок в горле, сказала, что пурпурный плащ Одиссея она соткала сама, сама накинула мужу на плечи и скрепила золотой пряжкой.

Одна из служанок поспешила утешить царицу и протянула ей чашку с горячим настоем, сдобренным медом. Пенелопа изящным движением взяла сосуд и велела угостить меня тоже этим ужасным питьем в знак благодарности за мой рассказ. Проявив в начале рассказа признаки глубокого волнения, Пенелопа вдруг перестала задавать вопросы, словно у нее совсем пропал интерес к Одиссею, которого, по ее словам, она так любила. Что это? Смирение? Охлаждение? Усталость? Какой пеленой затягивают годы наши чувства! Выходит, нет больше памяти на Итакс?

Я хотел продолжить свой рассказ, чтобы вновь пробудить интерес Пенелопы к ее супругу. И сказал, что во время осады Трои видел, как он бродил вечером по берегу, прижимая к уху блестящую розоватую раковину.

«Говорят, что раковины хранят в себе шум моря, — сказал я Одиссею, — грохот волн, свист ветра, завывания бури, крики чаек. Но мы сейчас на берегу моря, так зачем же ты слушаешь его шум в раковине?»

«Не шум моря я слушаю в раковине, — ответил он мне, — а голос моей супруги, голос любимой Пенелопы, доносящийся до меня с далекой Итаки. Закрыв глаза, я слышу и ее голос, и голос маленького Телемаха: он плачет и лепечет свои первые слова».

— Я был растроган, любезная царица, и в который раз восхитился Одиссеем, умевшим проявлять находчивость в самых тяжелых ситуациях. Я слышал также, что и после страшного кораблекрушения он выплыл на берег, держа в руке свою звучащую раковину, которую часто подносил к уху в минуты грусти.

— Впервые слышу, — сказала Пенелопа, — что Одиссею было свойственно чувство грусти. Это меня удивляет, но верно и то, что мужчины тоже не каменные и изменяются под воздействием времени и обстоятельств. Твой трогательный рассказ о раковине для меня столь же неожидан, как неожидан образ грустящего Одиссея. Порой чувства делают слабыми и сильных людей.

Это замечание Пенелопы было последним, и мне показалось, что голос ее внезапно пресекся. Потом она отвернулась, чтобы посмотреть на языки пламени, которые поднимались над потрескивавшими в очаге дровами. Может, она хотела скрыть новый приступ волнения? Новые слезы?

Пенелопа

Тяготы путешествия после кровопролитной войны, борьба с жестоким океаном, отвага, требующаяся для противостояния соленым ветрам, одинокие ночи под враждебным небом, родина, разоренная ненасытными злодеями-князьями, добивающимися руки его жены, — неужели даже такая злая судьба никогда не смягчит угнездившееся в сердце мужчины недоверие и подозрительность по отношению к любимой женщине?

Если за столькие годы, проведенные вдали от дома, сохранилось чувство, которое мы именуем любовью, если Одиссей действительно тешил себя, полагая, будто слышит мой голос в раковине, зачем же все это превращать в страдания и

отравлять подозрениями? Едва я услышала голос бродяги и взглянула ему в глаза, для меня все стало ясно.

Несмотря на отрепья, на нарочито согбенную спину, на дрожащие руки, которые должны свидетельствовать о старости, несмотря на то, что он время от времени скреб ногтями свое тело под лохмотьями и волосы, слипшиеся от жира и грязи, чтобы все поверили, будто там гнездятся вши и блохи, я сразу догадалась, что на скамейке у горящего очага передо мной сидит мой супруг, о котором я целых двадцать лет вздыхала, проводя долгие бессонные ночи и мучительные дни во дворце, захваченном разнузданными женихами.

Выходит, что после десяти лет скитаний по белу свету, хотя путь домой можно было одолеть за один год, Одиссей наконец возвращается и проявляет явное недоверие к собственной жене. Он раскрывается перед Телемахом, который сразу принял его как друга, но не хочет, чтобы его узнала та, что столько выстрадала из-за отсутствия супруга. А Телемах ведет себя по-мужски, как учит его отец Одиссей, и не удостаивает доверием даже собственную мать.

Как могу я радоваться возвращению Одиссея, если он упорно прикидывается нищим стариком и мне нельзя погладить его всклокоченную бороду и лицо, опаленное солнцем и задубевшее от соленого ветра, и тем более обнять его, чего я так желаю? Иногда, проснувшись утром, я чувствую, как слезы подступают к горлу, чувствую, что весь мир обрушился на меня и я задыхаюсь под его обломками. Но почему Одиссей не хочет мне помочь? Почему скрывается от своей супруги?

Ну что ж, я тоже стану играть в эту игру, и посмотрим, кто сумеет выйти из нее победителем.

Одиссей

Пенелопа не узнала меня. Она позвала служанок и приказала подобрать мне приличные одежды, обещала, что меня будут кормить во дворце — в знак признательности за мой рассказ, и, наконец, спросила, можно ли сжечь мое кишащее вшами тряпье.

— Конечно, царица, — ответил я, — но не сегодня. К тому же я хотел бы навсегда сохранить суму — верную спутницу моих долгих скитаний по морю и по суше, в ней я держал еду, благодаря которой выжил. Тебе не понять, как может привязаться бродяга к какой-нибудь одежке или вещи вроде этой. Когда у тебя нет дома и ты бродяжничаешь в одиночку, то бывает, что постоянным твоим спутником становится какой-нибудь предмет, вроде этой сумы, которой я дорожу как талисманом, пусть даже она залоснилась от жира и грязи.

Тогда Пенелопа приказала рабыням выстирать мою суму в кипятке с золой.

Никак не могу понять, почему Пенелопа пользуется любым предлогом, чтобы увести разговор в сторону. Она не спросила, когда я видел Одиссея в последний раз, здоров ли он был, какое у него было настроение и о чем он говорил. Ничего. Поистине странно, что ее интерес к новым подробностям о жизни Одиссея ослабел, как только она поняла, что я говорю правду. По-моему, ее даже больше занимают рассказы о давних временах и об осаде Трои, хотя она слышала их уже тысячи раз от тысяч людей, чем вести о возвращении мужа.

Выходит, любовь Пенелопы навсегда осталась в том далеком прошлом? Поэтому она плакала, когда я описывал ей пурпурный плащ и золотую пряжку? Может, она боится услышать от меня что-нибудь дурное об Одиссее и его последних приключениях? Я даже на мгновение не хочу поверить, что ее любовь ко мне с годами ослабела, и меня охватывает гнев при мысли о притязаниях молодых женихов. Но можно ли знать, какой была ее жизнь все эти бесконечные двадцать лет?

Пенелопа пользуется любым случаем, чтобы показать Телемаху, самым верным служанкам и даже пастуху Эвмею, как раздражает ее присутствие женихов,

расположившихся во дворце. Но какой женщине в мире не лестно видеть вокруг столько знатных и молодых претендентов на ее руку? Уж не оттого ли она расстраивается, что с каждым днем редеют ее стада?

— Ты, вероятно, еще помнишь, любезная царица, сказал я ей, — о тех далеких днях, когда Одиссей уплыл на Троянскую войну, которую ты справедливо считала бессмысленной. Быть может, не прошла горькая обида тех злосчастных дней и сейчас тебе не хочется знать, остался ли Одиссей в живых или обретается среди теней Аида? Если это так, я не стану испытывать своими бесполезными рассказами твое желание жить в покое с новым супругом.

Я ждал, что Пенелопа рассердится на меня за эти вызывающие слова и начнет уверять в своей верной любви к Одиссею, о которой говорил мне и Телемах, и даже пастух Эвмей. Так нет же, слезы ее вызывал мой рассказ лишь о самых давних событиях, похоже, она смирилась и плакала об утраченном счастье, которого уже не воскресить.

Пенелопа упорно смотрела на языки пламени в очаге, говорила тихо, словно стесняясь чего-то, и под конец все-таки спросила, думаю ли я, что Одиссей еще жив, и в таком случае известно ли мне что-нибудь о заключительном отрезке его путешествия. Тогда я стал усиленно расцвечивать факты, желая понять, что́ у нее действительно на уме. Я повторил: мне доподлинно известно, что Одиссей, потеряв в море всех своих товарищей, приплыл один, без одежды, на остров феаков, был принят там с царскими почестями и осыпан дорогими подарками.

— С острова феаков, — сказал я, — Одиссей должен был отплыть в сторону Итаки. Я даже думал, что увижу его здесь, но, по-видимому, плавание оказалось более длительным, чем можно было предположить, либо из-за морских бурь, либо из-за беспокойного характера и любопытства, побуждающего Одиссея заходить в каждый порт, попадающийся на его пути, чтобы узнать новых людей и собрать новые дары. А не проявляет ли он малодушие, ибо сомневается в верности супруги и боится, что на Итаке его примут не так, как он рассчитывает. Как может знать великолепный Одиссей, осталась ли Пенелопа верна ему или отдала предпочтение кому-нибудь из женихов?

Услышав о скором возвращении Одиссея, Пенелопа не проявила радости, на которую я рассчитывал, а сказала только, что надежда никогда не покидала ее, а потом позвала служанок и велела им омыть мои ноги как почетному гостю.

— Так что теперь ты сможешь сидеть за нашим столом рядом с Телемахом: женихи станут относиться к тебе с уважением, а прислуживать тебе будут служанки и подавальщики. Другие служанки приготовят тебе на ночь ложе с мягкими шерстяными покрывалами, — сказала она и добавила, что враждебно настроенные боги, вероятно, никогда не дадут ей возможности вновь увидеть Одиссея, раз уж они так противятся его возвращению, сея на его пути множество препятствий. Если же сам Одиссей поддался своей страсти к приключениям, то его путешествие с острова феаков на Итаку может продлиться еще лет десять.

Как тут поверить словам Телемаха? Где она, исстрадавшаяся и выплакавшая все глаза Пенелопа, которая бессонными ночами ищет утешения, считая звезды в небе? А добрый и простодушный Эвмей? Сколько вздора нагородил он мне в своей лачуге! Похоже, Пенелопа просто не желает верить в возвращение Одиссея. Может быть, его внезапное прибытие нарушит планы относительно ее нового брака с одним из женихов? Конечно же, предпочтение отдается Антиною — наглому, сильному и заносчивому Антиною, который уже и сейчас ведет себя во дворце как хозяин, отдает приказания прислуге и во всем превосходит остальных претендентов. Как же горька правда и как далеки от нее представления и помыслы наивного Телемаха!

— Ни одна нечистая женщина не прикоснется к твоим ногам, — сказала Пенелопа. — Это сделает старая няня твоего друга, богоподобного Одиссея. Такой высокой чести никто не удостаивается.

— О чем еще можно мечтать, моя обожаемая царица, — ответил я, — как не о

том, чтобы ко мне прикоснулись руки, ухаживавшие за человеком, которым я так восхищался и который вернется к себе на родину не в отрепьях и не впавшим в нищету, как я, несчастный, а победителем, с ценными дарами, полученными им от феаков и правителей городов, в которых он побывал на обратном пути.

Повинуясь жесту Пенелопы, старая Эвриклея поднесла мне серебряную лохань, смешала в ней холодную воду со снятым с огня кипятком, и сказала, что почитает за честь омыть ноги гостю — другу царя, которого она держала на руках и за которым ухаживала со дня его рождения. Старая няня глянула мне в глаза и сразу сказала, что не встречала человека, который был бы так похож на ее господина Одиссея.

Казалось, Эвриклея принюхивается ко мне, как собака, узнавшая хозяина, совсем как мой пес Аргус. Она даже ощупала меня, чтобы убедиться, что ее не обманывают глаза, ослабевшие от старости, но еще такие проницательные. А я сказал, что мне уже не раз говорили о нашем сходстве с Одиссеем, хотя сейчас из-за перенесенных злоключений и по воле невзлюбившего меня бога я выгляжу старше своих лет.

Когда старая Эвриклея с губкой в руках стала мыть мне ногу, она увидела глубокий шрам на голени от клыка разъяренного кабана: он вонзил мне его в плоть, когда я, совсем еще молодой, охотился на горе Геликон вместе со своим благородным дедом Автоликом. Этот дикий зверь выскочил из зарослей кустарника и ударил меня прежде, чем я прикончил его копьем. Рана затянулась, но остался глубокий, неизгладимый шрам, и старуха, притронувшись к нему дрожащей рукой, взглянула мне в глаза и чуть было не заговорила, сорвав тем самым все мои тайные планы.

Я сразу же зажал старой няне рот рукой и знаком велел ей молчать. Эвриклея на мгновение растерялась, но сразу поняла, что мне необходимо ее молчание, и, спохватившись, проглотила слова, которыми хотела выразить радость и волнение, читавшиеся в ее глазах.

Пенелопа заметила, что Эвриклея отпустила мою ногу и вода расплескалась по полу, но отнесла это за счет слабости рук старой няни и не догадалась, что меня узнали, потому что Эвриклея поднялась за свежей водой и оливковым маслом, чтобы умастить мои ноги.

Поднялся и я — вроде бы помочь ей — и тихонько, так, чтобы Пенелопа не услышала, сказал, что никто не должен знать о возвращении Одиссея, ибо это может погубить и меня, и мой дом. Итак, ни слова никому, даже Пенелопе. Эвриклея шепнула мне, что хоть она и стара, но сердце у нее крепкое, как скала, а воля — железная. По-моему, она была счастлива, что ее и ее царя объединяет теперь такой важный секрет.

После омовения, когда Эвриклея смягчила мои ступни и икры маслом, мы в молчании принялись за легкий ужин. Наконец Пенелопа сказала, что пришло время расходиться, и попросила старую няню проводить меня туда, где мне уже приготовили постель.

Я последовал за неуверенно ступающей Эвриклеей через зал и шел медленно, делая вид, будто опираюсь на палку. Я понимал, что на Эвриклею положиться будет надежнее, чем на Пенелопу — такую сомневающуюся и погруженную в свои мрачные мысли.

Показав мне мое ложе, Эвриклея, прежде чем попрощаться, еще раз заверила меня, что сердце ее тверже камня, а воля крепче железа. Подождав, когда я улягусь на большую воловью шкуру, она укрыла мне плечи мягкими овчинами, а поверх всего положила шерстяное покрывало. И только потом ушла, пожелав мне спокойной ночи.

Лежа без сна, одолеваемый мыслями, встревоженный речами Пенелопы, такой далекой, а возможно, смирившейся или даже решившей сдаться домогательствам самого знатного из женихов, я обратил внимание на то, что за колоннами поднялась какая-то возня: это возвратившиеся из палестры служанки устраивались на ночь вместе с самыми молодыми женихами.

Я слышал в темноте их перешептывания, хихиканье, сладострастные стоны, доносившиеся с постелей, сооруженных на скорую руку за колоннами и в углах большого зала. Безумная ярость затопила мое сердце, мне хотелось схватить меч и залить все вокруг кровью этих осквернителей моего дома, но нужно было подавить жажду мщения и дождаться подходящего момента, когда можно будет прикончить их всех до единого, заколоть, как скот. Только такой расправой я смогу смыть оскорбление и очистить Итаку от незваных гостей.

Терпи и эту муку, говорил я себе, как ты терпел козни злых богов, по чьей воле твои товарищи были сожраны Циклопом или погибли в морской пучине.

Пенелопа

Приходится подавлять в себе воспоминания, которые на протяжении долгих лет определяли каждый мой жест, каждую мысль. Легкие, почти парящие в воздухе жесты и тяжелые, как свинец, мысли. Узнав в этом нищем страннике Одиссея, я с душевной болью поняла, что он утратил всякое доверие к женщине, делившей с ним годы счастья и молодости, радость, любовь и плотские утехи. Наши лучшие годы канули в прошлое, и Одиссей уже утратил способность распознавать тайные желания, на которые имеет право не только его жена, но и вообще каждая женщина.

Одиссею пришлось бороться с возникавшими на его пути сиренами, циклопами, морскими чудовищами, вот он теперь и сомневается во всем, никому не доверяет, полагая, будто все еще сражается с ополчившимся против него миром. Потому-то его возвращение так безрадостно и омрачено подозрительностью. Могу ли я простить Одиссею холодность, которой он отгораживается от жены, смотря на меня как на бездушный предмет?

Когда старая няня мыла ему ноги губкой, я старалась спрятать лицо в тени, но следила за каждым его движением, ибо хотела видеть, как Одиссей поведет себя, когда его узнают, а не узнать его было невозможно. Я видела, как встрепенулась Эвриклея, видела, как Одиссей зажал ей рот рукой, чтобы она молчала, и как он потом поднялся, босой, чтобы помочь ей сменить воду в лохани.

До чего же простодушен наш хитроумный Одиссей! И какими наивными считает он ближних своих! При осаде Трои его хитрость не раз приносила ахейцам победу, да и на обратном пути ему с помощью обмана удалось одолеть Циклопа, морских чудовищ и преодолеть тысячи других препятствий. Но с тем же упорством, которое ему помогает избежать многих опасностей, он ищет повсюду все новые трудности, а не найдя их, создает сам, словно ему постоянно надо испытывать свою доблесть и ум. Но я ведь не враг, замышляющий против него всякие козни, и не неверная жена. Что ж, если он сомневается во мне, я дам пищу его сомнениям; если он причиняет мне все новую боль, я поступлю с ним так же.

Я и так испортила ему игру, выказав безразличие к слухам о возвращении Одиссея на Итаку. Мне было легко притворяться, потому что Одиссей уже сидел рядом, у очага, и мне были не страшны ни враждебное море, ни всякие напасти, придуманные богами. Одиссей сидел рядом со мной в своих отрепьях и ломал комедию, опираясь, словно старик, на посох. Такое наивное лицедейство могло бы вызвать улыбку, если бы не мучающие меня дурные мысли и если бы я не боялась мечей и кинжалов женихов, засевших здесь, в его доме.

Возвращение Телемаха вызвало раздражение женихов; рано или поздно оно полыхнет, как огромный костер. И не знают эти ничтожества, что теперь им придется иметь дело с Одиссеем! Его уловка с переодеванием меня не обманула, да и с Эвриклеей она не удалась, но у женихов жалкие мозги и слишком большое самомнение: они не только не поняли, но даже не подозревают, кто скрывается под этими нищенскими лохмотьями.

То, что Одиссей отказался от моего сообщничества и моей помощи, наполня-

ет мое сердце безмерной горечью. И к сожалению, я не могу ни с кем поделиться, так как даже старая верная Эвриклея запугана Одиссеем и молчит. Я разговариваю сама с собой, словно выжившая из ума или пьяная. Это я-то, в рот не берущая вина.

Одиссей испытывал меня и так и этак, как ищет путь ловкий мореход, плывущий между скал, но вряд ли ему удастся раскрыть тайны моей души, потому что и я, когда нужно, умею притворяться: понаторела в этом деле за последние годы, защищаясь от назойливых женихов, от их льстивых слов и от интриг прислуги. Не раз мне доводилось выбрасывать из окна пахнущие смертью асфоделии, которые клали мне на постель злобствующие служанки.

Бедный Одиссей, как я ненавижу тебя и как люблю несмотря ни на что, даже в этих грязных нищенских лохмотьях!

Одиссей

Пенелопа спросила Телемаха, зачем он убрал все оружие из большого дворцового зала и куда его спрятал. Телемах объяснил матери, что от постоянно горящего камина закоптились все сверкающие клинки и он решил оружие пока убрать, а потом велит кузнецу почистить его. Но это оружие, заметила Пенелопа, принадлежит женихам, и прежде чем убирать его из зала, следовало бы спросить у них разрешения. К тому же его могли почистить служанки, как они чистят медные котлы. Не разгневает ли этот его поступок женихов?

— Гнев без оружия не так уж и страшен, — ответил Телемах, — тогда как все эти мечи и копья после моего возвращения могут пойти в ход во время смертельных поединков здесь, в доме, где мы живем.

— Ты очень расстроишься, если женихи перебьют друг друга? — спросила Пенелопа.

— А что, если одной из жертв окажется твой сын, что, судя по всему, отвечает планам женихов? — отозвался Телемах.

Пенелопа ничего больше не сказала.

Я похвалил Телемаха за то, что он не раскрыл перед матерью правды, но, думаю, она почувствовала, что в воздухе сгущается угроза, и поняла, что во дворце может произойти что-то страшное.

У Пенелопы живой ум, она сметлива, но присутствие Телемаха и весть о скором прибытии Одиссея, как бы она ни старалась принять вид, будто не верит этому, делают ее осторожной и неразговорчивой.

Я не хочу сомневаться в верности Пенелопы, но кое-что из сказанного ею об Антиное наводит меня на мысль, что она уже смирилась с тем, что ей придется принять его предложение. Боюсь, как бы она не представила Телемаху свое решение как единственную возможность установить мир. А может, это только мои фантазии и подозрительность?

Телемах, который клятвенно заверяет меня в том, что мать мне хранила верность, боится, что усталость может подорвать в ней силу духа и способность к физическому сопротивлению. Что, если она вот-вот уступит? У меня такого ощущения нет: Пенелопа кажется мне крепкой как скала, но я считаю, что ей еще рано знать о моем присутствии.

Несмотря на непонятные колебания, я убежден, что в нужный момент она будет на нашей стороне; с меня и этого сейчас довольно. Хотя нет, не довольно.

Исчезновение оружия из большого зала, по-видимому, озадачило Пенелопу, и она решила рассказать мне свой сон, словно я — один из тех прорицателей, которые дают толкования ночным видениям.

— Двадцать белых гусей, — начала она свой рассказ, — клевали зерно здесь, в доме, и я, глядя на них, забавлялась. Я люблю всяких птиц, особенно гусей — за их белоснежное оперение. Я считаю их посланцами счастья и мира. Но вот откуда

ни возьмись налетает, хлопая крыльями, могучий орел и своим загнутым клювом перебивает шею всем этим мирным птицам — истекая кровью, они падают на пол. Свершив расправу, орел со слезами приближается ко мне и говорит такие слова: «Не печалься, знай, что гуси, клевавшие зерно в твоем доме, — это женихи. А покончил с ними не кто иной, как суровый Одиссей, возвращающийся домой после долгих странствий, чтобы предать женихов смерти». Сказав это человеческим голосом, орел поднимается в воздух, расправляет крылья, делает два круга по залу, наконец вылетает в окно и исчезает в черном небе.

— Мне кажется, — сказал я Пенелопе, — что сам орел истолковал сон, который тебе привиделся. Странно только, что в этом сне женихи приняли облик птиц счастья и мира. Не знаю, что еще можно добавить к словам большой птицы. Разве только, что и я слышал, будто Одиссей плывет по морю и скоро пристанет к берегу Итаки, чтобы отомстить подлым захватчикам своего дома и супружеского ложа.

При этих словах Пенелопа встрепенулась:

— Как смеешь ты, чужеземец, думать, будто принадлежащее Одиссею супружеское ложе было осквернено каким-то другим мужчиной?

— Моя любезная царица, — сказал я Пенелопе, — я бы сам никогда не осмелился и подумать о подобной подлости. Но вчера ночью, лежа на постели, приготовленной мне по твоему приказанию, я слышал, как служанки, развлекаясь с молодыми женихами в уголках большого зала и за колоннами, отпускали шуточки и болтали, как на базаре. Одна из них сказала, будто Антиной, которому ты отдаешь предпочтение, часто поднимается в верхние покои и проводит ночи на ложе, принадлежащем Одиссею. Так говорила эта служанка, и я лишь передаю тебе ее слова. То, что болтовня служанок тебе отвратительна, мне понятно, но мне кажется, тебе следует знать, о чем говорят в твоем доме. Если же ты считаешь, что я не должен был передавать эту гнусную сплетню, то я смиренно прошу у тебя прощения и обещаю вычеркнуть из памяти те слова, навсегда предать их забвению.

Пенелопа

Не могу понять: все эти сплетни, приписываемые служанкам, Одиссей действительно слышал или просто придумал, чтобы проверить мои чувства? То, что служанки проводят ночи в любовных играх с женихами, я и сама знаю, то, что языки у них ядовитые, как у змей, для меня тоже не секрет, но не могу поверить, что Антиной похваляется тем, что ему доступно мое ложе. По-моему, это унизительно и для его ума, и для его чести. А может, он с молчаливого согласия остальных женихов полагает, будто у него больше, чем у всех, оснований считать себя моим будущим супругом, и потому уже заранее присваивает себе право на меня, распространяя такие слухи? Мне ясно только одно: слова Одиссея выдают, увы, его ужасные подозрения.

Ночью я не раз поднималась с постели и, подойдя на цыпочках к лестнице, слушала стоны служанок, предающихся плотским утехам с женихами, и тогда во мне тоже просыпались чувства и глубокое волнение охватывало все мое существо, а память рисовала образ Одиссея, его слова любви и его тело, крепкое и гладкое, словно отлитое из бронзы. Я даже в мыслях не изменяла ему. Но мне и в голову не приходило, что эти гадюки могут и своей царице приписать склонность к таким же мерзким совокуплениям, как те, которым они сами предаются по ночам.

Признаться, я завидовала служанкам, которые могли удовлетворять свои желания, тогда как я ночи напролет проводила в одиночестве и в воспоминаниях о своем супруге. Но если Одиссей говорит правду, они и мне хотят приписать свои пороки? Они думают, что могут возвысить себя, пачкая грязью царицу? К сожалению, неблагодарность слуг — стихийное бедствие, существовавшее в мире во все века.

Одиссей

Пенелопа дает понять, что Антиною первому, возможно, предстоит заменить меня в нашей постели, но из ее слов неясно, кто выбрал его — женихи или она сама. Похоже, она совсем не верит в мое скорое возвращение, но когда я, как бы устами нищего бродяги, сообщил ей о возможном прибытии Одиссея, она пообещала мне дары и свое гостеприимство.

Похоже, Пенелопа смирилась с присутствием женихов, считая его неизбежным, однако жалуется, что они истребляют ее припасы и стада. Выходит, все дело только в овцах, быках и вине? Что-то незаметно, чтобы она строила планы относительно будущей жизни с Одиссеем. Может, она думает, что если я и возвращусь, то не смогу справиться с этой оравой здоровенных и отчаянных молодцов, решительно намеренных сохранить свои привилегии? О боги Олимпа, помогите мне понять мою супругу. Зачем вы смеетесь надо мной? Что тут смешного?

Почему Пенелопа встревожилась, узнав, что Телемах спрятал оружие женихов? Сколько сомнений, какая путаница у нее в мыслях? Я даже не понимаю, о чем говорит ее сон с гусями и орлом — о страхе или надежде? Я плыву в темноте по незнакомым водам, ветры швыряют меня из стороны в сторону, и отношения мои с Пенелопой все осложняются. Каждое слово, каждый жест оставляют двойственную отметину в моем сознании. Я сумел найти защиту от воды и огня, от железа и других металлов, от камней, болезней, от зверей и одноглазых чудовищ, от птиц, сирен и завистливых богов, но не знаю, как защититься от Пенелопы.

Бедный Одиссей! Не теряя присутствия духа, ты ухитрялся выпутываться из самых трудных ситуаций во время войны и обходить бесконечные западни, расставленные богами на твоем пути, а сейчас смотришь на свою супругу как на готовый исчезнуть призрак, хотя вот она, сидит прямо перед тобой: достаточно руку протянуть, чтобы к ней прикоснуться.

Телемаху хочется отвести меня к моему старому отцу Лаэрту, живущему за городом. Какое наивное желание! Посещение старика отца сразу же выдало бы мое присутствие на острове и встревожило женихов. И это именно сейчас, когда все покои замка так и пронизывают молнии, предвещающие грозу! Служанки цапаются друг с другом и поднимают крик из-за каждого пустяка, как животные, чующие нависшую над ними опасность. Повар поссорился с поваренком и набросился на него с ножом, целая армия муравьев облепила бочку, где хранится мед. Говорят, что одна змея заползла в кухню, а другая впилась в полные молока сосцы коровы. Я провел в ожидании столько лет, подожду еще несколько дней, встречусь с моим старым отцом немного позже.

После того как женихи видели, как я одним ударом уложил драчливого, вздорного Ира, они, возможно, не захотят, чтобы под ногами у них путался такой опасный чужак. К тому же во дворец привел меня Телемах, который настоял на моем присутствии вопреки их желанию и собственноручно налил мне вина, как знатному гостю. Всякий раз, видя, как они переговариваются, я навостряю уши, чтобы понять, не обо мне ли идет речь, но пока я не узнал ничего, что помогло бы мне раскрыть их намерения. Возможно, единственное, что занимает тупоголовых женихов, — это как бы наесться жареным мясом, ежедневно доставляемым моими пастухами, упиться вином из моих подвалов, ночью переспать со служанками и дождаться, когда Пенелопа устанет оказывать сопротивление.

Я так привык жить на ветру, под открытым небом, что, побыв немного в доме, начинаю задыхаться, мне хочется вырваться поскорее на волю, глотнуть свежего воздуха, размять руки и ноги. Когда я шагнул за порог и очутился рядом с Иром, уже смирившимся с ролью сторожа, отгоняющего от дворца бродячих собак, этот попрошайка взглянул на меня с интересом.

— Ты кто такой? Откуда ты взялся? Что у тебя на уме?

— Это не твое дело, — ответил я, но его вопросы меня обеспокоили.

По опыту, который, по правде говоря, ограничивается теми знаниями, которые я приобрел, нося на плечах это рубище, я уразумел, что у нищих, даже таких глупых и наглых, как Ир, глаз наметанный и видят они всегда больше, чем может показаться на первый взгляд. Не хотелось бы, чтобы он меня узнал и поднял тревогу среди женихов.

Я уже привык соизмерять свои поступки с обликом нищего оборванца и потому плюнул себе под ноги и поскорее ушел в дом, даже не взглянув на Ира.

Пенелопа вышла в большой зал лишь поздним утром в шерстяной мантии, расшитой золотыми узорами, и с ниткой лазуритовых бус. Кто знает, может, и мантия, и бусы подарены ей женихами. С уверенностью могу сказать, что, когда я уходил на Троянскую войну, их у нее не было.

Пока я ограничился лишь выражением своего восторга изяществом ее одежд и красотой синих камней, отливавших золотом. Пенелопа поблагодарила меня улыбкой, но когда я спросил у нее, не добывается ли случайно лазурит на Итаке, она сумела уйти от ответа и не сказала, откуда у нее это ожерелье. Тем самым она подтвердила мое подозрение, что это подарок одного из женихов. Наверное, Антиноя, кого же еще.

Пенелопа играет роль царицы. Согласен, она и есть царица, но не помню, чтобы раньше она была такой величавой, такой немногословной, такой холодной. Для начала она изрекла несколько слов, подобающих случаю, — о засухе, которая вредит садам и губит пастбища.

— Зато от засухи и солнца будет добрым и крепким вино, — сказал я.

— Рада за виноградарей, — ответила она, — хотя сама я вина не люблю.

Кроме того, она посетовала на то, что дороги разбиты, а пекарню надо расширить, и сказала, что необходимо вырыть новый водоем, чтобы увеличить запасы воды. Палестра заброшена: там устраивают только оргии в честь бога Диониса. То ли Пенелопа заботится о сельском хозяйстве и городских делах, то ли хочет дать мне понять, что она печется о своих подданных, чтобы я рассказывал об этом повсюду, когда вновь пущусь, как она полагает, в странствия по свету.

Потом она ушла в свои покои и позвала с собой Телемаха, с которым они долго о чем-то говорили.

Сегодня впервые с момента своего возвращения я видел Пенелопу вблизи и при дневном свете. Она так прекрасна! Все та же нежная кожа, те же длинные черные волосы, синие, как море, глаза. Когда я много лет тому назад уезжал с Итаки, она казалась мне такой хрупкой, и я представлял себе, как она страдает без меня, а теперь увидел женщину крепкую духом, уверенную в себе, несущую на себе тяготы управления островом. Я часто рассказывал о ней своим товарищам, но то были рассказы о другой женщине. Я оставил юную, нежную и заботливую жену, а теперь передо мной женщина строгая, загадочная, быть может даже более привлекательная, чем прежде, но другая, совсем другая.

Меня мучает вопрос: это ожерелье из лазурита и этот золотистый плащ, которых я никогда раньше не видел, откуда они? Не сидела же все эти годы Пенелопа у окна, слушая пение птиц или любуясь красками заката. Как же она изменилась! К лучшему? К худшему? Иногда я забываю, что я — Одиссей, и чувствую себя рядом с этой женщиной чужаком в собственном доме. Неотступная мысль об Антиное не дает мне покоя. Он моложе меня и, возможно, моложе Пенелопы. Он силен и отважен.

Несмотря на опасность, я бы, наверное, предпочел, чтобы Пенелопа меня узнала. Втайне я на это даже надеялся. Так нет же, она относится ко мне вежливо, но отстраненно, как можно относиться к нищему бродяге, и проявляет лишь знаки внимания, какие оказывают обычно старикам. Неужели ее обмануло мое притворство или я действительно так постарел? И почему она никогда не смотрит мне в глаза? Я уверен, что Эвриклея признала меня еще раньше, чем нащупала мой шрам, а вот для Пенелопы я всего лишь бедный странник, заслуживающий внимания только

потому, что был с Одиссеем под стенами Трои. Все это огорчает меня до слез. Проклятых слез.

Я сам отказался от одежд, которые мне предложили, и захотел остаться в жалком рубище, чтобы скрыть свое истинное лицо от женихов и, для пущей осторожности, от Пенелопы. Но кажется, я перестарался.

Я явился сюда со страстным желанием отвоевать свою Итаку и испытать верность Пенелопы. А теперь растерян и сбит с толку, словно и впрямь превратился в нищего, роль которого я разыгрывал, чужеземца, который ничего не может понять. Должен признаться, что легче разгадать замыслы врага, чем мысли простодушной Пенелопы. Да это же лиса!

Служанки отнесли на верхний этаж поднос с кусками жареного мяса и кувшин вина. Надо спросить у Телемаха, пьет ли вино Пенелопа. Она не пила его, когда я уезжал, и недавно сказала мне, что оно ей не нравится. Все меня настораживает, все вызывает подозрения.

Телемах спустился перед заходом солнца и передал решение Пенелопы, которое я нахожу просто поразительным. Она призналась ему, что хочет устроить состязание женихов. Такие состязания я сам ежегодно устраивал для всех знатных людей острова и соседних стран. В большом зале устанавливались в одну линию двенадцать секир, и нужно было выстрелить из моего лука так, чтобы стрела прошла через все двенадцать колец на их рукоятках. Но самой большой трудностью было не это. На протяжении многих лет только я один и был в состоянии натянуть свой тугой лук и пропустить стрелу через двенадцать колец.

Главное, что Пенелопа назначила в качестве приза самое себя. Она решила, что выйдет замуж за победителя состязаний.

Я был потрясен решением Пенелопы. Прежде всего это означает, что она намерена положить конец ожиданиям женихов. Пенелопа прекрасно знает, что из этих состязаний многие годы победителем выходил только Одиссей и что никому не удавалось даже натянуть его лук. Но знает она и то, что единственным возможным победителем сейчас может стать только Антиной — первый и самый сильный из женихов. А может, она надеется, что не победит никто и замужество удастся вновь отложить?

Идея Пенелопы устроить состязания совпала с принятым мною и Телемахом решением спрятать оружие женихов. По-видимому, Пенелопа хочет воспользоваться удобным случаем, понимая, что при таком соперничестве не обойтись без смертельных схваток между женихами. А может, она узнала от старой няни о возвращении Одиссея на родину и надеется, что он тоже примет участие в состязании? Нет, не могу поверить, что Эвриклея нарушила клятву, данную своему царю.

Но ведь ясно, что сон с гусями и орлом означает именно расправу над женихами, которую мы и замыслили с Телемахом. Что это — тайное желание? Сокровенная мечта? Совпадение? Возможно, Пенелопа придумала этот сон, вложив в него свои надежды. Интересно, рассказала ли она о нем и женихам? Похоже, что все вдруг полетело кувырком и остров попал во власть мстительного Диониса.

Как теснятся и быстро бегут мысли в темноте! В тревожном сне я метался сильнее, чем море между Сциллой и Харибдой, и проснулся с набрякшими от слез глазами и горечью в душе. Я вынес на свежий воздух воловью шкуру, аккуратно разложил на скамье овчины и шерстяное покрывало, служившие мне постелью, и успокоил Телемаха, сказав, что благодаря старой Эвриклее прекрасно выспался. К чему тревожить его рассказами о моих ночных терзаниях?

Между тем перед дворцом мальчики кололи дрова, одни служанки раздували огонь в большом очаге, другие мели в зале пол, на котором остался еще вчерашний сор. Подметая большой зал, они вполголоса проклинали женихов, которые так испоганили дом и вели себя не как гости, а как неотесанные и расточительные хозяева.

Спозаранку явился с полей подлый Меланфий и привязал под портиком четы-

рех молодых коз — для пира женихов. Козопас не упустил, конечно, случая, чтобы не сказать гадости в мой адрес:

— Если будешь и впредь околачиваться в этом доме, дождешься, что тебя силой вышвырнут отсюда. Ты уже всем опротивел.

Я хотел посоветовать ему помыться морской водой, потому что от него несет козлом, но в который раз сдержал клокотавший у меня в груди гнев и не ответил на его злобные нападки — так мне подсказывало благоразумие. А в это время гнусный Ир, стоя на пороге, начал распевать своим ослиным голосом непристойные песни.

Попозже к дворцу подошел волопас Филесий: он привел на убой корову и вместе со свинопасом Эвмеем вполголоса стал подсчитывать, сколько скота сожрали женихи. Они охотно бы высказали вслух все, что думают, но понимали, что, только держа язык за зубами, могут избежать беды: козопас доносил женихам о каждом их слове. Меланфий ненавидел их, опасаясь, что они помешают ему собирать рога забитых животных, которые он с выгодой для себя продавал финикийским купцам. Однажды по наущению Меланфия Ктесипп связал Эвмея и Филесия друг с другом за руки и, подвесив на старую оливу, целый день продержал на солнце. Всем, кто спрашивал, зачем он это сделал, Ктесипп отвечал, что хотел просто позабавиться, но оба пастуха были уверены, что за всем этим крылись козни Меланфия.

— Я бы уже давно собрал свой скарб, — сказал Филесий, — и ушел пасти коров к другому хозяину, но решил все-таки подождать — может, Одиссей все же вернется на Итаку. Очень мне хочется посмотреть, как наш царь насадит на вертел всю эту ораву бандитов и ворюг. Пусть кровь их польется, как кровь моих бычков, которых режут для пирушек.

Странные речи. Но они подтверждают, что на Итаке все же ходят слухи о моем скором возвращении. Эвмей, ярый враг женихов, хотел бы всех их повесить за ноги и предать медленной смерти, чтобы они успели раскаяться в своих злодеяниях.

Между тем самый прожорливый из всех женихов, Амфином, приказал мерзкому прислужнику Меланфию зарезать коз, корову и другую доставленную пастухами живность, чтобы устроить очередной пир. Огонь уже потрескивал в очаге, над которым две служанки поворачивали брызжущие жиром вертела, а подавальщики, по мере того как мясо прожаривалось, складывали его в корзины и уносили в зал, к столу, за которым уже расселись женихи. Другие служанки смешивали вино в больших серебряных кубках и разносили его пирующим, бесстыдно выставляя напоказ свои телеса.

Наконец Телемах сам принес мне еду и положил на скамейку, стоящую у каменного порога, где я сидел, и налил мне вина в золоченый кубок.

— А теперь, — сказал он громко, так, чтобы его слышали женихи, — ешь и пей рядом с князьями, которые не посмеют больше тебя оскорблять, потому что в моем дворце ты такой же гость, как и они.

Едва я сел за трапезу, как Антиной громко обратился к остальным с обычной для него спесивой речью:

— Телемах возвысил голос, чтобы приструнить нас, но мы, сведущие во многих делах, отнесемся снисходительно к его неопытности. Пусть поблагодарит нас и отца Зевса, что мы даруем бродяге жизнь.

— Я знал, что вы на многое притязаете, но не думал, что вам придет в голову сравнивать себя со всемогущим отцом Зевсом. Может, в вас взыграла гордыня от того количества быков и коз, которые вы каждый день приносите в жертву, чтобы усладить свои божественные ноздри и набить бездонное брюхо?

Произнеся такие слова, Телемах крепко сжал мою руку повыше локтя, чтобы я не беспокоился. Подавальщик в это время нарезáл мясо, а служанки разносили его всем сотрапезникам.

После Антиноя поднялся и заговорил с полным ртом Ктесипп — самый бога-

тый из всех женихов, толстый, надменный и способный на любую подлость соперник Антиноя.

— Теперь выслушайте мое слово, — сказал он. — Гость Телемаха уже получил долю, причитающуюся этому старому, жалкому бродяге. Теперь я хочу сделать ему еще один подарок, пусть знает мою щедрость.

С этими словами Ктесипп быстро выхватил из стоявшей на столе корзины бычью ногу и с силой запустил ею в меня.

Я пригнулся, и нога, не задев меня, ударилась о стену и упала на пол.

— Твое счастье, — сказал Телемах, поднимаясь, — что ты не попал в моего гостя, не то я проткнул бы тебе печенку вот этим копьем и не на вожделенную свадьбу отправился бы ты, а в глубокую могилу, отделанную дорогим мрамором, — всем известно, как ты богат. Тогда ты перестал бы пожирать скотину из моих стад, пить вино из моих подвалов и есть мой хлеб. Знай, о Ктесипп, что я уже не ребенок и мне легче умереть, чем спокойно смотреть, как обижают моих гостей и как насилуют моих служанок в темных уголках дворца. У тебя глупое и унылое лицо, Ктесипп. Как видно, богатство не приносит ни мудрости, ни счастья.

Ктесипп не осмелился ответить на грозные слова Телемаха, а только наклонился над столом и снова вонзил зубы в кусок мяса.

Когда нужно, мне ничего не стоит и шутом прикинуться. Я поднял руки и потряс своим рубищем:

— Если уж богатство не приносит счастья, то что же сказать о бедности!

Все рассмеялись и снова принялись за еду.

Пенелопа

Спрятавшись за занавесом на верхней ступеньке, я слышала их спор и восхищалась тем, как смело и твердо Телемах дает отпор Антиною и Ктесиппу, самому грубому из женихов, который считает, что, раз он владеет несметными богатствами, ему позволена любая подлость. К тому же он превосходит всех остальных в скупости.

После слов Телемаха и его угрозы пронзить Ктесиппа копьем в зале воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь шагами подавальщиков, подносивших к столу все новые корзины с едой, и служанок, подбиравших объедки, бесцеремонно брошенные женихами на пол.

Наконец после долгого молчания поднялся решивший разрядить обстановку Агелай и опять завел свои лицемерные речи, которые я уже не раз слышала за эти дни.

— Друзья, — сказал Агелай, — умерьте свой пыл, поймите, что гнев Телемаха справедлив, и не оскорбляйте угрозами и недостойными действиями чужеземного гостя. Но мне хотелось бы сказать несколько слов Телемаху и царице Пенелопе, поскольку сейчас уже не приходится ждать возвращения к нам великого Одиссея. Все мы знаем, что он волею богов сохранил жизнь в кровопролитной войне, но наверняка погиб во время своего долгого пути домой. Мы прождали десять лет, теперь нам остается лишь склонить голову перед волей богов и убедить нашу царицу и юного Телемаха в том, что пробил час нового бракосочетания. Пусть мудрая Пенелопа выберет из нас самого щедрого, или самого сильного, или самого богатого, а Телемах смирится с будущим, предначертанным богами острову Итака.

На этот раз Телемах ответил осмотрительно, ни словом не обмолвившись о моем намерении устроить состязание в стрельбе из лука:

— Не мне мешать этому браку, если моя мать Пенелопа сделает свой выбор. По такому случаю я раздам щедрые подарки и принесу жертвы богам, чтобы они ниспослали нам долгий мир, который так всем нужен.

Слова Телемаха были рассчитаны на умиротворение женихов, но когда я ус-

лышала, как он говорит о моем будущем замужестве, — пусть его обещания и были притворными, — мне стало не по себе. Я бы совсем пала духом, если бы не была твердо уверена, что Одиссей с нами и что одного его присутствия достаточно, чтобы развеять опасность, таящуюся в речах Агелая. Но почему Одиссей медлит? До каких пор он намерен скрываться под маской нищего? Может, у него есть какой-то свой план или он хочет подтолкнуть Телемаха на борьбу с этими дикими зверями?

И тут вдруг Феоклимен[1], возможно выпивший лишнего, неожиданно взял слово. Его гневная речь звучала как зловещее пророчество.

— Подлые князья, — воскликнул он, — в ваших головах густой туман, а глаза ваши безнадежно слепы. Я вижу: в этом зале прольется кровь, она окропит мраморные стены. Я вижу на полу ваши истерзанные трупы и слышу крики служанок. Громы небесные и грохот землетрясения сольются с воплями жертв, и облака черной сажи заволокут небо. На ваших измазанных салом лицах уже написана грозящая вам участь. Трепещите, непрошеные гости: тени Эреба вьются вокруг, и призрак мстителя — Одиссея — подстерегает вас.

После мгновения тишины в большом зале грянул хохот. Феоклимена обозвали сумасшедшим пьяницей и предложили ему выйти проветриться, чтобы из его отуманенной винными парами головы исчезли образы кровавых сцен. Уж не принимает ли он кровь зарезанных для пира животных за кровь жертв призрака Одиссея, вздумавшего учинить расправу?

Феоклимен поднялся со своей скамьи и, заявив, что его мысли ясны, как морская вода, а руки и ноги крепки, несмотря на все съеденное и выпитое, вышел в темный двор.

Похоже, что возвращение Телемаха и присутствие незнакомого гостя заронили тревогу в душу женихов, они распалились, из-за всякого пустяка поднимают крик и стараются залить вином охвативший их страх. Женихи не догадываются, что в рубище нищего перед ними Одиссей, но с тех пор, как он здесь, они пребывают в странном возбуждении, им хочется поскорее устроить свадьбу. Вот я и подумала, что сейчас самое время предложить им посостязаться в стрельбе из лука. Телемах меня поддержал, а присутствие Одиссея вселяет в меня уверенность.

Я могла бы прямо сейчас выйти в зал, но пирующие выпили слишком много, и я опасаюсь, что винные пары могут побудить кого-нибудь из женихов обойтись со мной недостаточно почтительно и вызвать тем самым гнев Телемаха и Одиссея. Речь идет о жизни или смерти Телемаха, мне сказала об этом верная Эвриклея, которая подслушивает разговоры женихов: теперь достаточно пустяка, чтобы клокочущая в них ярость обернулась против него. Каким бы постыдным ни было пока поведение Одиссея по отношению ко мне, я хотела бы помочь ему как можно скорее свершить акт возмездия. Ведь это и моя месть.

Я вернулась в постель, отложив разговор о состязании на завтра, хотя знала, что мне вряд ли удастся дать отдохновение моим уставшим членам и ноющей голове. Поглядевшись в зеркало, я увидела на своем лице следы новой тревоги, которая проложила мелкие беспощадные морщинки у глаз и в уголках рта. Спрятав морщины под слоем снадобья из меда и оливкового масла, я убрала зеркало в глубокий ларь, решив, что вновь возьму его в руки лишь тогда, когда Одиссей будет Одиссеем, а Пенелопа — Пенелопой.

Одиссей

Каждый вечер к концу ужина Пенелопа выходит из своих покоев, молча садится на подобающее ей место в центре большого стола и утоляет голод несколько-

[1] Прорицатель из Аргоса, скрывавшийся от преследований в Пилосе. Его Телемах привез с собою на Итаку.

ми кусочками мяса, запивая их разбавленным водой медом или вином из кубка. Вчера вечером она не вышла.

Телемах сказал мне, что она сама хочет объявить о состязании в стрельбе из лука, ибо, если сделает это он, женихи могут воспротивиться.

Конечно же, Пенелопа поняла, что обстановка для этого не очень благоприятна после наглого выпада Ктесиппа и после пророческих слов Феоклимена, который, судя по всему, хотел припугнуть чрезмерно разошедшихся женихов, нарисовав катастрофическую картину кровопролития, вполне совпадающую с моими мечтами о мести. Казавшийся безумным Феоклимен был всеми осмеян, да и мне, которому известно, что его семья, семья пастухов, славится своим благоразумием и умеренностью, трудно найти объяснение столь мрачному пророчеству. Не знаю, были ли его слова продиктованы чрезмерным количеством выпитого вина, распространенными Эвмеем слухами о моем скором возвращении или предчувствием, которым порой бывают наделены простые люди.

Но почему Пенелопа решила затеять эти состязания? На мгновение мне представилось, что она узнала меня или что моя старая няня выдала тайну, несмотря на клятвенное обещание молчать, но потом я понял, что мои подозрения необоснованны, хотя я по-прежнему не доверяю женщинам. Никаким женщинам — ни молодым, ни старым, ни служанкам, ни царицам. Скорее всего, не мой приезд, а приезд Телемаха побудил Пенелопу затеять состязания.

Без сомнения, она бы вышла в зал и огласила свое решение, несмотря на неспокойную обстановку, заподозри она, что под лохмотьями нищего скрывается ее супруг. Но я исключаю эту мысль: хоть Пенелопа с годами изменилась, я бы сразу заметил, что узнан ею. Пусть она изменилась, но я — все тот же Одиссей и глаз у меня верный.

Я пытаюсь понять, каковы подлинные причины, побудившие Пенелопу предложить состязание всем этим претендентам на ее руку. Быть может, она хочет пробудить у женихов чувство соперничества и дать наконец Телемаху случай взять управление островом в свои руки? Во всяком случае, в моих интересах, чтобы она выступила со своим предложением в спокойной обстановке и оно не было бы отвергнуто или осмеяно женихами. Их галдеж, крики, споры и словесные перепалки меня бесят, выводят из равновесия, а я должен держать себя в руках и в любой момент быть готовым к действиям.

Еще одна беспокойная ночь, нарушаемая, как и предыдущая, любовными играми женихов и служанок. Шумная болтовня в темных углах, вздохи и визг, похожий на собачий, до самого рассвета.

Удивляюсь, почему Пенелопа терпит подобное осквернение нашего дома. Я убежден, что она не раз в бессонные ночи подглядывала сверху за этими разнузданными оргиями, и не могу поверить, что она могла побороть в себе искушение испытать радости тайных любовных утех. Эта мысль терзает меня с тех пор, как я вернулся, и стоит лишь смежить веки, как мне рисуются картины, рождающие жестокие подозрения и распаляющие кровь. Я ревнив, вот в чем все дело. Тем не менее именно сейчас я начал лучше разбираться в себе, но зато Пенелопа кажется мне еще более загадочной.

Сам я все время твержу, что должен думать только о мести, и, признаться, мне с трудом удается удержаться от супружеской измены здесь, у себя дома, с одной молоденькой служанкой, которая с момента моего приезда вертится вокруг, всячески меня завлекая, несмотря на мой жалкий вид. Может, ее поразила ловкость, с какой я расправился с Иром? Просто безгранична похотливость этих молодых женщин, ведущих себя как проститутки. Но почему Пенелопа держит при себе этих распутных девок? Может, она развлекается, подглядывая за тем, что самой ей не дозволено?

Меня удручает не только наглость и разнузданность женихов, но и моя участь неудачника-мужа, и я вновь и вновь проклинаю долгую Троянскую войну, из-за которой мне пришлось покинуть свой дом; проклинаю и все, что было на обратном пути и что заставило меня блуждать по свету слишком долго.

За столько лет воспоминания о войне уже потускнели. Герои, ее участники, отодвинулись в тень времен, и хоть я был их товарищем и делил с ними трудности и опасности у стен осажденного города, для меня все они остались в прошлом, им нет места в настоящем и будущем. Хотят ли боги, чтобы в сознании людей запечатлелись подвиги, которым уже никогда не повториться? Или они обречены на забвение?

Я искусный рассказчик, умею придумывать всякие истории, рассказывать всякие сказки о людях и событиях, но разве этим должен заниматься человек, до сих пор страдающий от последствий злополучной войны, над жизнью которого все еще нависает угроза? И какие подвиги угодны богам, а на какие сознательно идут простые смертные?

Если все хорошее и плохое происходит по воле богов, тогда что такое Фатум? Но если все за нас решает Фатум, зачем нужны боги?

Пенелопа

Я надела самую красивую свою одежду: хламиду из элидского льна, расшитую золотом мантию цвета морской воды и ожерелье из лазурита, которое приняла от Ктесиппа как частичную плату за животных, забитых для пиров. Может, мне не следовало его принимать, но меня соблазнил, разумеется, не намек, который, вероятно, хотел вложить в свой жест Ктесипп, а немалая ценность ожерелья. Я расчесала свои длинные волосы и скрепила их гребнем из слоновой кости с помощью старой няни, которой показалось подозрительным мое чрезмерное внимание к своему внешнему виду.

— С чего это ты так разоделась? Кому хочешь понравиться, Пенелопа?

— Не могу больше ждать, — ответила я, — а это состязание позволит мне выбрать наконец самого сильного из всех женихов.

Эвриклея посмотрела на меня укоризненно и тревожно.

— Решение устроить состязание мне нравится, — сказала старая няня, — так как я уверена, что ни один из женихов не сможет натянуть тетиву Одиссеева лука.

— Каким бы сильным ни был Одиссей и как бы ловко ни натягивал он тетиву, — ответила я, — надежда на женитьбу, по-моему, удвоит силы и задор претендентов, и тогда мы сможем положить конец этому невыносимому ожиданию и разграблению наших владений.

Мне хотелось посмотреть, не вынудят ли эти слова Эвриклею раскрыть свой секрет.

— Почему ты вспомнила об Одиссее так, словно он живой и находится среди нас?

— Одиссей всегда жив в моей памяти, — ответила я.

Старая нянька, глядя мне в глаза, спросила, не случилось ли чего такого, что побудило меня вынуть лук Одиссея из кладовой и объявить о состязании.

— Я устала, — был мой ответ.

Я уверена, что старая Эвриклея, пораженная тем, что я до сих пор не узнала Одиссея, хотела мне что-то сказать — это можно было прочесть в ее тревожном, вопросительном взгляде, но она зажала себе рот рукой, чтобы не проговориться. Бедная добрая душа, перед каким жестоким выбором поставили ее мои слова!

Я вышла в зал перед самым закатом, когда дом освещен косыми лучами солнца и когда за накрытым к ужину длинным столом собираются все мои женихи. Стоя на нижней ступеньке лестницы, я заговорила громко и отчетливо.

— Ваше ожидание слишком затянулось, — сказала я, — и поскольку все известия, увы, побуждают меня полагать, что на возвращение Одиссея рассчитывать не приходится, я решила объявить о состязании: призом победителю я назначаю себя.

По всему залу пронесся удивленный ропот. Тогда я показала украшенный слоновой костью ключ и, спустившись со ступеньки, направилась к массивной дубовой двери, за которой хранились лук и колчан, полученные когда-то молодым Одиссеем в дар от Ифита, с которым они встретились в Мессене. Они оба отправились туда за возмещением урона, причиненного мессенцами: те похитили много скота и увезли его на своих разбойничьих судах. Одиссей подарил Ифиту острый меч с золотой насечкой, а Ифит ему — тяжелый лук из твердого ясеня. Одиссей с трудом натягивал его тетиву, а длинные стрелы с бронзовыми наконечниками могли пробивать стволы деревьев и даже раскалывать камни.

Я сама сняла со стены лук Одиссея и, вынув его из кожаного футляра, положила на скамью. Две молодые рабыни поставили колчан со стрелами на каменный порог. Затем я приказала воткнуть в пол зала по всей его длине одну за другой двенадцать секир.

— Хорошо помню, — сказала я, — возможно, кто-нибудь из вас тоже помнит, как Одиссею удавалось, согнув лук, пропустить стрелу сквозь двенадцать колец на рукоятках секир. Чтобы успешно выстрелить из этого лука, нужно иметь не только крепкие мускулы, но и твердую решимость провести стрелу через все двенадцать колец. Человеческий разум может раскалить воздух и надвое расколоть небо, но никто еще на моих глазах не проявлял такую силу и волю к победе, как Одиссей. Передо мной молодые князья, крепкие духом и телом, так докажите, что вы не ослабели от чрезмерной еды и питья. Поглядим, способно ли это состязание встряхнуть дремлющие в вас силы. Каждый может воззвать к своему богу и передать луку его волю. Но я хочу, чтобы первым включился в состязание юный Телемах, и если ему удастся сделать то, что удавалось его отцу Одиссею, никто из вас к состязанию допущен уже не будет.

При этих моих словах в зале поднялись крики протеста.

— Ты должна испытать нас, — кричали женихи, — не назначая начало и конец состязания. Разве этого мы так долго ждали? А если победит Телемах, ты что, выйдешь замуж за сына?

Я тотчас ответила:

— Ваше ожидание было скрашено обильной едой и плотскими утехами, и сетовать вам не на что. Я же терпела свое вдовство долго и с болью, которая усугублялась неопределенностью моего положения. Об Одиссее до нас доходят лишь противоречивые слухи, но если мой супруг не возвратился после десяти лет скитаний, значит, он либо окончил свои дни на дне морском, либо погиб на суше при несчастных обстоятельствах. Либо причиной столь долгого отсутствия было не такое уж большое желание вернуться. Что ж, в последнем случае Одиссею будет поделом, если я положу конец своим страданиям и у меня будет новая семья. Но как царица и как мать я не могу отказать Телемаху в его законном праве. Так что, если он сможет сравниться в силе и ловкости с отцом, то вы все уберетесь отсюда, а Телемах останется единственным правителем острова.

Женихи зароптали, но никто из них не посмел воспротивиться воле Пенелопы. Они не хотели обидеть царицу и постепенно успокоились, так как поняли, что никогда этому хрупкому юнцу не удастся выстрелить из Одиссеева лука. Между тем служанки поднесли лук и колчан Телемаху, который сбросил с плеч плащ и приготовился к испытанию. Но прежде он обратился с краткой речью к женихам, в нетерпеливом ожидании ерзавшим на своих скамьях.

— Наступил момент истины, — сказал он. — Уж коли вы действительно пылаете страстью к моей матери, царице, а не явились сюда только затем, чтобы пировать, соберитесь с силами и не отказывайтесь от состязания, если моя попытка окажется неудачной.

Сказав это, Телемах уперся ногами в каменный порог и под изумленными взглядами женихов взял в руки лук. В воцарившейся тишине он трижды, напрягая все силы, попытался натянуть неподатливую тетиву. При четвертой попытке Телемах опер лук о колено, но я заметила, что Одиссей глазами подал ему знак отказаться от дальнейшего состязания.

— Увы, — сказал Телемах, — мне недостает сил, чтобы сравниться с отцом моим Одиссеем. Не знаю, виной ли тому мой юный возраст, или мне не суждено богами отмстить с помощью этого лука за оскорбления, нанесенные мне недругами. Теперь перед лицом царицы Пенелопы испытайте свои силы вы.

С этими словами он повесил лук Одиссея на один из крюков, вбитых в стену, и опустил колчан на пол.

Одиссей

Пенелопа в своей речи перед женихами сказала о том, что я, возможно, не очень спешу вернуться на родину. Только сейчас я начинаю понимать, как переполнили ее сердце обидой долгие, слишком долгие годы моих странствий по пути домой, так что ее намерение устроить это состязание в стрельбе из лука вполне оправданно. Можно ли обвинять Пенелопу, даже если слова ее меня опечалили и наполнили душу горечью, которая вряд ли прибавит мне сил, когда придет мой черед натянуть тетиву?

Уже двадцать лет, как не брал я в руки это благородное оружие, и теперь меня обдает жаром при мысли, что испытание окажется не по силам и мне. Неудачная попытка покроет меня позором и перед женихами, и перед Пенелопой. Случись такое, я опять пущусь по свету в поисках пристанища, снова буду скитаться, как после падения Трои.

Впервые в жизни я чувствую, как меня покидает уверенность в своих силах, которая свойственна даже самому тупому воину. Настоящие герои — Ахилл, Гектор, Агамемнон — никогда ни на секунду не утрачивали веру в свою мощь, никогда в их душу не закрадывалось сомнение. Я же в отличие от них всегда во всем сомневался, и нередко именно сомнение выручало меня в самых трудных обстоятельствах и помогало побеждать. Но с тех пор как я вновь оказался под небом Итаки, чувство неуверенности неотступно преследует меня, будто меня прибило не к родному берегу, а к берегу сомнений и слез.

— Пусть каждый по очереди, начиная справа, выходит вперед и становится на каменный порог.

Так приказал Антиной, взявшийся руководить состязанием, словно он хозяин дома или заранее уверен, что благоволение Пенелопы ему обеспечено. Она же сидела в своем кресле, неподвижная и молчаливая, как изваяние, с устремленным вдаль отсутствующим взором.

Я внимательно приглядывался к ней, надеясь заметить на лице жены тень неуверенности или тревогу, но вдруг увидел на ее губах улыбку. Улыбку, опять вызвавшую у меня замешательство. Что означала эта улыбка, о каких чувствах говорила? Какая тайная уверенность позволяла ей улыбаться в столь напряженный момент? Может, она предложила устроить состязание, заранее зная, кто будет победителем? Никакого подлога тут быть не могло, ибо лук испробовал сам Телемах. Безуспешно. А может, она давала ключ от кладовой, где хранился лук, кому-нибудь из женихов, и тот мог тайком тренироваться? Уж не с Антиноем ли она сговорилась? Ведь он так спокоен, словно уверен в своей победе. Однако не исключено, что ее военная хитрость рассчитана на провал состязания и таким образом она хочет удалить из дворца всех претендентов. Взгляд Пенелопы был устремлен куда-то вдаль, будто все происходящее у нее на глазах к ней не имело никакого отношения.

Мог ли я надеяться, что он остановится на старом, одетом в лохмотья бродяге? Но смею ли я сетовать? Я же сам затеял эту игру.

Первым встал Леод, сын Энопа, самый непритязательный из женихов; он, по словам Эвмея, не раз пытался усмирить гордыню своих товарищей и умерить их жадность. Быстро подойдя к каменному порогу, он взялся за тетиву, силясь натянуть ее и согнуть лук. Сделав две безуспешных попытки, Леод с огорченным видом повесил лук на стену.

— Я не смогу согнуть лук Одиссея, — воскликнул он, — пусть теперь попробует кто-нибудь другой. Но если вы рассчитываете с помощью этого лука завоевать Пенелопу, то заранее готовьтесь свататься к другой женщине, потому что лук согнуть никому не удастся. Говорю вам: это состязание принесет всем лишь бесчестье.

Слова Леода взбесили Антиноя.

— Не порочь других, Леод, если твоя мать родила плохого лучника. Очень скоро ты увидишь, сколько твоих товарищей смогут натянуть тетиву и пропустить стрелу через двенадцать колец. Подло приписывать другим собственные слабости, лучше бы тебе помолчать.

После этих суровых слов Антиноя вышел вперед Эвримах и велел козопасу Меланфию раздуть огонь, разложить на скамье перед очагом овечьи шкуры, а поверх шкур положить большой ком жира, который стал таять от близкого огня. Потом горячими и пропитанными жиром шкурами обернули лук, чтобы сделать его более гибким: этого потребовала готовящаяся к состязанию молодежь.

Пока Меланфий разогревал лук, я наблюдал за Пенелопой, которой, казалось, было в тягость ожидание. Довольно странное отношение к состязанию, в котором на кон ставится твое будущее.

Десять и еще десять женихов один за другим занимали позицию на каменном пороге и пытались согнуть разогретый жиром лук. Но каждая попытка кончалась ничем, и женихи с позором возвращались на место, проклиная сквозь зубы богов.

Я молча наблюдал за происходящим и наслаждался неловкостью молодых претендентов, которые прямо-таки корчились от усилий: вены на шее у них вздувались, лица искажались. И тут пришел черед косоглазого Амфимедонта. Он тоже поднялся на каменный приступок и взял в руки лук. Но Эвримах его сразу же осадил:

— Даже если тебе удастся натянуть тетиву, я убегу из зала, потому что неизвестно еще, куда попадет стрела.

В зале раздались смешки. Обиженный Амфимедонт швырнул лук на пол и вернулся на свое место.

Но и мои взгляды, и взгляды Пенелопы были обращены на Антиноя и Эвримаха — самых сильных из женихов и самых спесивых.

Тогда я медленно поднялся со скамьи и знаком пригласил Эвмея и верного мне пастуха Филесия покинуть зал. Выйдя из дворца, я обратился к пастухам с такими словами:

— Готовы ли вы, — спросил я, — биться с наглыми женихами, если вдруг среди нас появится Одиссей, чтобы свершить акт мести за все понесенные обиды и оскорбления? Или вы выступите на стороне претендентов? Что подсказывает вам сердце? Каков будет ваш выбор?

Оба пастуха не колеблясь ответили, что сила у них в руках удвоится, если по воле какого-нибудь доброго бога перед ними вдруг появится Одиссей, их господин и хозяин.

— Но боги не примут в расчет пожелание двух бедных пастухов, — уныло сказал Филесий.

— Так вот, — заявил я своим верным пастухам, — я — Одиссей и после двадцати лет мытарств вернулся на родную землю в обличье убогого нищего, хотя все еще крепок, как хорошо закаленное железо.

Я показал им шрам, оставшийся от глубокой раны, когда-то нанесенной мне

диким кабаном во время охоты на горе Геликон, раны, которую они хорошо помнят, поскольку сами были свидетелями этого несчастного случая. Эвмей и Филесий онемели от удивления, и глаза их наполнились слезами.

— Сейчас не время плакать, — сказал я, боясь выказать перед пастухами и свое волнение. Что подумали бы они о своем царе Одиссее, если бы увидели его плачущим? — Когда вернетесь в зал, сразу заприте все двери на крепкие засовы так, чтобы никто из женихов не мог выйти. Но сначала удалите всех служанок, потому что зрелище будет не для женских глаз. И никому не говорите, что я здесь, даже Пенелопе, пока я сам вам этого не прикажу.

Оба пастуха, плача, поклялись мне, что вместе со мной пройдут весь путь от начала до конца, что бы ни случилось. Они стали целовать мне руки, обливая их солеными, как море, слезами. На этом острове только и остается, что плакать, подумал я, хотя наступило время утереть слезы и смотреть в оба.

— Теперь мне надо вернуться, — сказал я, — так как никто не должен видеть нас здесь вместе, особенно этот шпион Ир. Через некоторое время вы последуете за мной, а когда Телемах повелит, ты, Эвмей, подашь мне лук и стрелы.

Я возвратился в зал в тот момент, когда Эвримах разогревал лук прямо над огнем очага. Потом он отошел к каменному порогу и попытался натянуть тетиву. С покрасневшим лицом, взмокший от усилия, с шеей вытянутой и напряженной, как ствол дуба, и с набухшими на лбу венами, он после двух неудачных попыток отказался от дальнейшей борьбы, униженно опустил глаза и швырнул лук на пол. Потом Эвримах обратился к сидевшим в зале участникам состязания.

— Горе мне, — сказал он хриплым голосом. — И не только оттого, что мне не придется взять в жены прекрасную и чистую царицу Пенелопу, а еще и оттого, что об этом позоре долгие годы будут помнить даже дети наших детей. Моя неудавшаяся попытка показала, что никто, кроме Одиссея, не сможет согнуть его лук.

— Говори о себе, а не о других, — оборвал его Антиной и сказал, что сейчас пора хорошенько выпить, а утром, после ночного отдыха, возобновить состязание.

— Пусть виночерпии наполнят кубки, а потом боги выберут достойнейшего. Нет, мы не откажемся так просто от состязания, угодного суровой Пенелопе. Не только самим себе, но и ей надо доказать, что мы не хуже Одиссея.

Успокоенные Антиноем женихи снова стали пить вино из серебряных кубков, а я тем временем встал со своей скамьи и топнул ногой, чтобы привлечь к себе внимание.

— Хочу сказать несколько слов вам всем, женихи, но главным образом я обращаюсь к Эвримаху и Антиною: пусть мне позволят испытать свои силы, интересно, ослабили ли их бродячая жизнь и перенесенные тяготы или я еще сохранил былой огонь в крови.

— Что за безумные мысли взбрели тебе в голову, злосчастный чужеземец? — прервал меня Антиной. — По настоянию Телемаха мы посадили тебя, вшивый оборванец, за свой стол, но, как видно, винные пары помутили твой разум, если ты требуешь того, что тебе не подобает, и забываешь о том, что лишь высокое положение позволяет каждому из нас предложить себя в мужья царице Пенелопе. Хмель — дурной советчик, и ты, жалкое ничтожество, рискуешь навлечь на себя серьезные неприятности.

Но тут сразу же вмешалась Пенелопа и сказала громко и твердо:

— Антиной, будет несправедливо обижать Телемахова гостя. Не опасаешься ли ты, что, если ему удастся натянуть тетиву и пропустить стрелу через двенадцать колец, он сможет жениться на мне и занять место Одиссея на царском троне? Или вы все боитесь, что он похитит меня, как Парис похитил Елену, хотя вам хорошо известно, что у него нет даже крыши, под которой можно укрыться от дождя? Я не думаю, чтобы у нашего гостя были такие претензии, просто он хочет испытать свою силу, как в палестре. Так что нечего вам беспокоиться. Оставайтесь на своих местах и давайте вместе посмотрим, на что способен этот чужеземец; если ему не уда-

стся согнуть лук, можете вдоволь посмеяться над ним, если же он станет победителем, то заслужит всеобщее уважение и вам придется прекратить издевательства над ним.

— Мы боимся не того, что ты станешь его женой, добрая Пенелопа, или что он захочет стать царем Итаки, — ответил Антиной, — а того, что на всей Итаке и на всех неведомых землях будут говорить о том, как какой-то безвестный бродяга сумел согнуть лук Одиссея, а благородные женихи позорно ему уступили. На протяжении веков эта постыдная история будет передаваться от отцов к детям, как сказал Эвримах, и имена наши втопчут в грязь. Только это и пугает нас, любезная Пенелопа.

Бедный Антиной, обуянный гордыней, он думал, что даже в отдаленном будущем какой-нибудь праздный певец упомянет его имя и вздумает рассказывать людям о событиях, происшедших на Итаке — островке, затерявшемся в безбрежном океане. Как он заблуждается! Через несколько лет перестанут вспоминать даже Троянскую войну — событие, которое нам, участвовавшим в ней, казалось достойным увековечения. Каких только иллюзий не строят люди относительно будущих времен, не сознавая, что их великие деяния скоро позабудутся так же, как забываются войны между колоннами муравьев. Проклятый Антиной заботится о памяти о себе, когда лучше бы ему сейчас позаботиться о собственной жизни, которой он скоро лишится.

— Дайте ему лук, — суровым голосом сказала Пенелопа. — Посмотрим, на что он способен. Похоже, что, несмотря на бродячую жизнь, наш гость — человек благородной крови, так что, если ему удастся пустить стрелу, это не обесчестит вас — высокородных женихов. А если случайно он окажется победителем, я сама вручу ему богатый плащ и тунику, посох из сверкающей бронзы, острый меч и прочные кожаные сандалии, ибо он, конечно же, захочет вновь пуститься в странствия. Всем известно, что, когда человек привыкает к бродячей жизни, долго скитаясь по суше и по морям, он становится рабом своей страсти к путешествиям. Никому уже не удержать его на месте, и он будет бродяжничать всю жизнь, позабыв о семье, друзьях, привязанностях и о принадлежащем ему добре. И даже вернувшись к себе домой, он уже будет не способен на проявление чувств по отношению к тем, кто был для него когда-то дороже всего. Вот почему, если он окажется победителем, среди даров, полученных от Пенелопы, он найдет пару сандалий из крепкой кожи, сшитых просмоленными нитями, украшенных бронзовыми пряжками и выжженными узорами.

Похоже, сказал я себе, что сейчас Пенелопа видит перед собой не нищего бродягу, а призрак Одиссея. Сколько же горечи и обиды в ее словах! Теперь мне понятно, зачем ей понадобилось это состязание. После стольких лет ожидания она еще может пролить слезу-другую над своей судьбой, но Одиссей навсегда исчез из ее жизни. Думаю, не исключено, что я отдался на волю волн и всяческих приключений вместо того, чтобы прямиком отправиться на Итаку, именно потому, что в глубине души опасался: чувства Пенелопы изменились, и встреча наша будет для меня слишком горестной. Так что, пустившись на эту хитрость с переодеванием, я шел навстречу жестокой правде.

Выходит, я терплю крушение у себя на родине, в своем собственном доме?

Пенелопа

Я не хотела высказываться слишком определенно и лишь намекнула на то, что бродяжничество в чужих землях — мерзкий порок, из-за которого забывают свой дом и близких. Эти слова вырвались из самого моего сердца. Они были обращены к Одиссею, но он в своем рубище даже бровью не повел, не сжал губы, не нахмурился. Невозмутимый и твердый, как скала, Одиссей спокойно и невозмутимо от-

несся к состязанию в стрельбе из лука, которое, казалось мне, должно было пробудить в нем воспоминания о далеких и счастливых днях.

Телемах же, рассказывая мне об этом мнимом бродяге-чужеземце, утверждает, будто он не раз проливал горькие слезы, вспоминая свой дом на Крите и свою супругу, которую он не видел уже двадцать лет. Иными словами, Телемах хотел дать мне понять, что и другие участники Троянской войны долгие годы бродили по свету, храня в душе верность своему дому. Вероятно, он всей душой хотел оправдать притворство отца и в то же время приготовить меня к моменту, когда Одиссей откроется мне. Однако Телемах хороший лгун, и как же он похож на отца даже своими недостатками!

Я, конечно же, продолжаю терпеть эту ложь, но пока все же закажу искусному ремесленнику пару сандалий, чтобы подарить их Одиссею в подходящий момент со словами: «Что ж, отправляйся в новые странствия по белому свету, и пусть ноги твои будут легки; распусти свои паруса в бескрайних морях и отдайся приключениям, до которых, судя по всему, ты так охоч». Многое мне пришлось бы простить Одиссею. Он прирожденный лжец и хитроумный притворщик, что может быть даже достоинством, когда ложь и притворство обращены против врагов — троянцев и вообще против тех, кто становится у него на пути, но то, что он обманывает собственную жену, прикидываясь жалким попрошайкой, — непростительная подлость. Я перенесла столько обид под крышей этого дома, теперь к прежним обидам добавляется новая.

Пусть же продолжится состязание. Предстоит главная схватка между Антиноем и Одиссеем, и я во исполнение условий должна буду уступить сильнейшему. Мне придется либо признать Антиноя наследником Одиссея и единственным владыкой этого царства — если, к несчастью, в состязании победит он, — либо вновь занять свое место рядом со все еще любимым Одиссеем, хотя его притворство отдалило меня от него больше, чем двадцатилетняя разлука.

Каждую ночь мне снилось его твердое, как бронза, тело, снилось, как я целую один за другим шрамы от ран, полученных на войне, но когда нужно, я умею подавлять свои чувства и накажу его за гордыню. Если Одиссей захочет меня завоевать, осада будет потруднее, чем осада Трои, в которой он когда-то участвовал вместе с ахейцами.

В дело вмешался Телемах и сказал, что не мне судить, следует ли продолжать состязание, и что такое решение подобает принимать только ему. Я не против того, чтобы Телемах заставил себя слушать, даже если такая властность направлена и против меня.

— Уходи в свои покои, мать, — сказал он. — Пусть мужчины решают, что надо и чего не надо делать в этом доме.

Я не воспротивилась воле Телемаха, хотя его слова были слишком грубыми. Я поднялась к себе, но с твердой решимостью не сидеть взаперти в такой момент: ведь главным действующим лицом в этом состязании была я. Ни Одиссею, ни Телемаху не удастся превратить меня в предмет домашней обстановки, как бы им того ни хотелось.

У меня есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, так что, как мне доводилось делать сотни раз в менее важных случаях, я спрячусь за занавесом наверху лестницы и буду следить за тем, что происходит в большом зале.

Войдя в свои покои, я глянула на бледную луну, к которой обращалась за советом в долгие бессонные ночи. Как я устала от всего, что происходит в нашем доме! Сколько горьких дум, сколько печали и сколько одиночества накопилось в пространстве между моими покоями и светящейся там, наверху, луной за все эти годы ожидания! Сегодня луна, от света которой растут деревья и волнуется море, холодна и нема, она то и дело прячется за облаками и остается равнодушной к моим переживаниям. С каждым днем отмирает какая-то частичка моей души.

Да, я чувствую себя пустой скорлупкой, но подобает ли мне сдаться именно

сейчас, когда Одиссей готовится взять в руки лук и, возможно, решится моя судьба? Что будет, когда состязание возобновится? В состоянии ли Одиссей после двадцати лет, растраченных на никчемные и утомительные приключения, согнуть лук, как когда-то? Нет, не следует мне предаваться растравляющим душу сожалениям о прошлом. Надо следить из-за занавеса за всем, что происходит внизу, в большом, полном людей зале, где решается моя судьба и судьба Итаки.

Одиссей

Едва взяв в руки лук, я ласково погладил его, как музыкант гладит цитру или моряк — руль, прежде чем отдать швартовы. Я посмотрел, не источен ли червем белый ясень и достаточно ли крепки металлические скобы. Потом протер лук краем плаща, чтобы очистить его от слоя жира. Наконец, поплевав на ладони, я, ухватился за два металлических конца, хорошо проверил, насколько упруга лука, и быстрым движением согнул ее, натянув тетиву.

Гул удивления прокатился по залу. Я огляделся по сторонам и с вызывающим видом подергал тетиву, которая издала веселый вибрирующий звук, весьма зловещий для ушей женихов, вновь примолкших и замерших на своих скамьях.

Те, что помоложе, смотрели на меня растерянно, ибо поняли, что предмет этот мне знаком и я сумею использовать его с искусностью, достойной Одиссея.

Я вновь подергал тетиву, глядя, как женихи начинают подавать признаки нетерпения.

— У тебя в руках лук, а не цитра! — сердито закричал Антиной. Остальные хором поддержали его.

Тогда я неспешно сбросил на пол свой рваный плащ, взял из колчана стрелу и какое-то время постоял неподвижно со стрелой в руке, отчего напряжение в зале возросло.

Примерившись глазом к двенадцати стоявшим в ряд кольцам, я набрал в грудь побольше воздуха. Когда-то, когда я владел луком безукоризненно, стрела даже не задевала колец секир.

— Ну-ка, давай покажи нам, на что ты способен, бродяга!

Наконец я натянул тетиву, согнув лук, прицелился и пустил стрелу, которая со свистом пролетела сквозь все двенадцать колец и высекла сноп искр из мраморной стены в глубине зала.

По залу пронесся тревожный гул, а затем наступила мертвая тишина.

— Не опозорил тебя гость, — обратился я к Телемаху, — которого ты так радушно принял в своем царстве и допустил к участию в состязании. Лук легко согнулся в моих руках, и стрела полетела в нужном направлении. Таков мой ответ на насмешки женихов, невольно глядящих теперь на меня с уважением, хотя им все еще хочется выгнать меня из этого дома, словно они его хозяева. Отныне мне будет отведено постоянное место за царским столом, — сказал я, повернувшись к онемевшим от удивления женихам, — оно принадлежит по праву мне, а не таким охочим до чужого добра бездельникам, как вы. Что ж, принимайтесь опять за еду и питье — ведь это ваше излюбленное занятие и предмет ваших вожделений, пусть играет музыка, может, она вернет вам приятное расположение духа. Правда, ненадолго. Если звуки цитры, пение и запах жареного мяса не смогут развеять ваши страхи, я берусь помочь делу, пользуясь вот этим луком и этими стрелами.

Я сбросил с себя рубище нищего, до сих пор прикрывавшее мою грудь, и заговорил громко, угрожающе:

— Праздник кончился. И уже не двенадцать колец будут мишенью для моих стрел.

С этими словами я пустил стрелу, попавшую в шею Антиноя как раз в тот момент, когда он поднимал наполненный до краев серебряный кубок с вином. Ан-

тиной рухнул на пол, захлебываясь кровью, хлынувшей из раны на шее и изо рта. Упали на пол и кубок с вином, и еда, к которой он уже протягивал руку.

Охваченные ужасом женихи попрятались за колоннами и в углах зала, ища глазами оружие, которое мы с Телемахом предусмотрительно спрятали.

— Ты убил самого благородного и сильного из молодых мужей Итаки, и это преступление станет для тебя смертным приговором, — закричал Ктесипп, не показываясь из-за колонны.

— Почему вы прячетесь? Куда подевалась ваша наглость? Куда подевалась ваша спесь? — сказал я, обращаясь к женихам. — Вы надеялись, что меня нет в живых, и стали грабить мое добро, вы спали с моими рабынями и бесстыдно навязывали себя моей супруге, а теперь вы все умрете собачьей смертью, поплатившись за свою подлость.

Женихи в ужасе попадали на колени, поняв наконец, кто перед ними.

Ответить мне осмелился один лишь Эвримах.

— Если ты действительно Одиссей, — сказал он, — то надо признать, что ты во многом прав. Но Антиной, а он главный из тех, на ком лежит вина за все зло, уже мертв. Это он подстрекал нас всех, не только потому, что рассчитывал стать избранником Пенелопы, но и потому, что хотел убить Телемаха и стать царем Итаки. Теперь мы просим у тебя прощения и готовы возместить золотом и скотом весь ущерб, который причинили тебе за эти годы.

Так я получил подтверждение того, что Пенелопа отличала Антиноя. Это бесстыдно подтвердил Эвримах. Я хорошо знаю, как нетрудно врать, и потому смогу отделить правду от лжи, поглядев в глаза Пенелопы. Самому мне обман дается легко, но так же легко я догадываюсь, когда обманывают другие. Глаза не лгут. Но сейчас главным для меня была месть — пока женихи не опомнились и не приготовились к защите, воспользовавшись численным превосходством и призвав на помощь служанок.

— Даже если вы захотите расплатиться всем своим добром и добром ваших отцов, — крикнул я, — вам не удастся остановить меня. Мне не хочется пачкать вашей грязной кровью стены этого дома, но я без труда найду тех, кто их отмоет, и художников, которые их распишут, после того как отомщу вам за все.

Объятые ужасом женихи выглядывали из углов зала и из-за опрокинутых столов, где они попрятались, а те, кто похитрее, пытались отпереть двери, чтобы спастись бегством.

— Раз так, раз нам не приходится рассчитывать на милость, а наше предложение о щедрой выплате долга отвергнуто, — воскликнул Эвримах, — обнажим наши мечи и все вместе примем вызов спесивого Одиссея.

С этими словами он первым бросился на меня, но я сразу же пронзил его грудь убийственной стрелой. Тут ко мне подбежал с кинжалом Амфином, но Телемах всадил ему в спину стрелу, и тот рухнул на пол, ударившись лбом о каменную ступеньку так, что голова его издала глухой стук, как тыква.

— А теперь беги за оружием в кладовую, — велел я Телемаху, — потому что стрелы на исходе, а я пока продержусь с помощью обоих пастухов.

Эвмей и Филесий прикрывали меня с боков, отражая своими мечами удары наступающих женихов. Мои верные пастухи бились умело и яростно, с каким-то радостным подъемом.

Телемах принес оружие, и расправа продолжилась. Женихи падали один за другим с вытаращенными от ужаса глазами и искаженными смертными судорогами лицами. Но вот козопас Меланфий бросился в кладовку, оставленную Телемахом незапертой, и притащил женихам с дюжину стрел и несколько щитов, а затем побежал туда еще раз — за новым оружием.

— Беги, Эвмей, — сказал я пастуху, — и накажи предателя: он принес оружие и поставил под угрозу нашу жизнь.

Эвмей подбежал сзади к Меланфию, сгребавшему оружие, и сбил его с ног

ударом по затылку. Потом связал ему вместе руки и ноги и подвесил предателя на крюк, вбитый в балку.

— Теперь ты будешь висеть здесь, — сказал он, — пока не испустишь дух, так что у тебя останется время пожалеть о своем подлом прислужничестве женихам, когда здесь не было Одиссея.

Меланфий стенал и со слезами просил прощения, но Эвмей, прихватив побольше оружия, запер дверь кладовой, оставив его на крюке, как свинью, готовую на убой.

Пенелопа

Чайки с громкими криками носятся так низко над дворцом, что мои глаза не поспевают за ними. Эти глупые морские птицы ныряют вниз, едва не задевая крышу, потом взмывают в небо, почти растворяясь в нем, и снова падают; по мере их приближения крики становятся все громче.

Нет ничего необычного в шумном кружении чаек над Итакой, но сегодня их голоса пронзительнее, чем обычно, словно они там, в небе, почуяли, что во дворце происходит что-то ужасное.

Наконец чайки улетели. Лишь одна из них продолжает почти неподвижно парить в воздухе, издавая зловещие вопли, словно хочет мне что-то сообщить. Чувствуют ли чайки запах крови? То, что я увидела из-за занавеса над лестницей, привело меня в ужас. Какое страшное зрелище! Как жаль бедного гордого Антиноя! А ты, глупая чайка, убирайся подальше, не поднимай шума там, где умирают люди.

Мне всегда был невыносим вид крови скотины, которую забивали для пиров. Я готова всю жизнь не есть мяса, только бы не присутствовать при забое этих несчастных животных. И что же? Сегодня мне пришлось увидеть нечто еще более страшное и жестокое: шею молодого здорового Антиноя пронзила стрела, и изо рта несчастного хлынула кровь. Гордый и могучий мужчина за несколько мгновений превратился в жалкое бездыханное тело. Вот так приходит жестокая смерть.

Впервые в жизни я увидела, как убивают человека. В голове и в душе у меня пустота: никаких мыслей, никаких чувств. Мне хотелось заплакать, но глаза мои оставались сухими, как зола.

На протяжении долгих лет я выдерживала наглый напор женихов, а последние дни к тому же боялась за жизнь Телемаха. Я всеми силами старалась отказать женихам в праве распоряжаться достоянием Одиссея, а убедившись, что они как ни в чем не бывало продолжают свои мерзкие кутежи, стала всей душой презирать их. Но сейчас, когда они блеют, как обезумевшие козы, и падают наземь от смертоносных ударов Одиссея и Телемаха, мне их становится бесконечно жаль.

Привлеченная страшными криками в зале, я снова вернулась на свое место за занавесом.

Какое дикое зрелище! Кровь повсюду — на стенах, на полу и на остатках пищи, сброшенной со столов во время расправы. Весь пол усеяли пронзенные стрелами тела, словно трупы диких животных во время охоты. Я слышала крики Одиссея, носившегося из конца в конец зала и возбужденного видом всей этой крови.

Группа еще остававшихся в живых женихов, подбадриваемых Агелаем, пыталась предпринять последнюю атаку на Одиссея, Телемаха и двоих пастухов, которые ловко защищались и сами переходили в наступление. Да, мне было жаль убитых женихов, но теперь я опасалась за жизнь Одиссея и Телемаха, которые с трудом уклонялись от стрел разъяренных врагов и с остервенением наносили ответные удары нечеловеческой силы.

Я привыкла относиться к войнам как к чему-то героическому, все прославляют великие подвиги воинов, отличившихся своей смелостью, но как оскорбительно для человеческих чувств, как ужасно и противоестественно это кровавое побоище! Что такое героизм, как не торжество насилия? Однажды я видела, как сцепи-

лись в кровавой драке два пса. Меня поразила их ярость, но сегодня я поняла, что человек — самое безжалостное и жестокое из всех живых существ.

Я видела, как упали, обливаясь кровью, Демоптолем, Эвриад и Писандр. В пылу боя Телемах был ранен в руку, но Одиссей вместе с раненым сыном и двумя пастухами вновь ринулись в схватку, и от их смертельных ударов пали Эвридамонт, Амфимедонт, Полиб и надменный Ктесипп. К нему, уже умирающему, обратился Эвмей.

— Это, — сказал он, пнув его ногой в лицо, — тебе в отместку за бычье копыто, которым ты запустил в Одиссея, когда он просил у вас милостыню в зале.

Но Ктесипп уже не мог слышать этих слов, так как лежал на полу пронзенный стрелой и уже бездыханный.

Я знаю, что на войне мужчины жестоки, и, говоря о герое, который всем внушает страх и восхищение, мы понимаем, что это человек беспощадный, отнимающий жизнь у других людей и проливающий их кровь. Таковы герои. Чем же Одиссей отличается от прочих?

Я видела, как прорицатель Леод приблизился к нему и с мольбой припал к его коленям:

— Молю тебя, богоподобный Одиссей, пощади мою жизнь. Каждый скажет тебе, что я всегда сдерживал женихов и никогда не обижал даже твоих рабынь. Будет несправедливо, если я умру вместе с теми, кто совершил столько гнусностей.

А Одиссей спесиво отвечал:

— Если ты был прорицателем у женихов, то, наверно, возносил молитвы богам, чтобы я не вернулся домой и кончил свою жизнь в бурном море. Ты тоже хотел, чтобы моя жена оказалась в объятиях кого-нибудь из них, и потому тебе не избежать смерти.

С этими словами Одиссей поднял меч и одним ударом отрубил ему голову. Голова Леода катилась по полу, а губы его еще продолжали шевелиться, моля о пощаде. И этот герой занимал все мои мысли долгих двадцать лет?

Никогда не могла и подумать, что подобная резня произойдет в моем доме, у меня на глазах. Теперь я понимаю крики чаек, вьющихся в небе над дворцом. Даже эти глупые морские птицы возмущены таким кровопролитием. Вероятно, я должна радоваться, что Одиссей вернулся, чтобы отомстить за все зло, причиненное женихами, когда надежда на то, что он жив, была слабее паутинки. Но можно ли чему-то радоваться сегодня, среди этих потоков крови?

Вернувшись из Спарты, Телемах сообщил, что Одиссей направляется наконец на родину, что он уже в море, омывающем Итаку. Глупые женихи вместо того, чтобы повнимательнее вглядеться в горизонт, восприняли это известие как жалкую попытку припугнуть их и повели себя с удвоенной наглостью. И вот грянула неумолимая расплата, теперь их приканчивают одного за другим, как скот, приведенный на убой.

Я видела верного Ментора[1]. Он вскарабкался на настил и пристроился там, наверху, как курица на насесте, чтобы не вмешиваться в происходящее. Он и пальцем не пошевелил в защиту своего любимого Одиссея и столь же любимого Телемаха. Выходит, грубый свинопас Эвмей и волопас Филесий, которые, вооружившись стрелами и щитами, сражаются рядом с Одиссеем и Телемахом, лучше его со всей его мудростью?

Одиссей сохранил жизнь певцу Терпиаду, который бросился к его ногам, положив на пол золоченую цитру и слезно моля о снисхождении.

— Моя единственная вина, — сказал он, — в том, что я пел во время их пиршеств за скромную мзду, позволявшую мне есть один раз в день и покупать шерстяную одежду. Боги покровительствуют пению, и ты, Одиссей, сжалься над пев-

[1] Ментор — друг Одиссея, воспитатель и попечитель Телемаха во время двадцатилетнего отсутствия Одиссея.

цом, который всегда приносил богам жертвы и держал в памяти твое славное имя.

Тут вмешался Телемах и стал упрашивать отца не трогать Терпиада, так как пение — это не вина, а певец никак не мог ослушаться приказов женихов.

Увидев, что Одиссей сжалился над певцом, из уголка зала вышел и глашатай Медонт. Он приблизился к Телемаху и стал упрашивать того заступиться за него перед отцом. Таким образом эти двое бедняг уцелели.

По приказу Телемаха была открыта одна дверь, чтобы Терпиад и Медонт могли выйти и возблагодарить богов щедрым жертвоприношением. Дым и запах жареного мяса поднимается вверх и достигает Олимпа, щекочет ноздри богов и располагает их к благосклонности.

Я мечтаю, чтобы боги оказали снисхождение Одиссею, несмотря на всю пролитую им кровь, и побудили его подумать о том, какую жестокую обиду нанес он своим странным поведением супруге.

Одиссей

Когда старая Эвриклея, которую позвал Телемах, вошла в усеянный трупами зал и увидела меня, всего перемазанного кровью и похожего на зверя, растерзавшего другого зверя, она с радостным криком бросилась обнимать меня, не боясь испачкать свои белоснежные одежды.

— Уйми свои восторги, — сказал я ей, — ибо не подобает радоваться чужой смерти. С тех пор как я тайно появился на своем острове, слишком многое из того, что я увидел, доставило мне страдания, до сих пор наполняющие мое сердце болью, а глаза — горючими слезами. Пошли кого-нибудь на крышу: пусть снимут одну черепицу, чтобы души мертвых могли беспрепятственно отлететь из зала.

— Да тут столько мертвых тел, что одной черепицей не обойдешься, разве что всю крышу сломать, — ответила Эвриклея.

— А еще позови сюда, в зал, всех служанок, которые путались с женихами и неуважительно относились к Пенелопе и к ее дому. Слышал я, что из пятидесяти служанок лишь двенадцать запятнали себя позором. Прикажи им вынести трупы из зала, хорошенько выскоблить пол, стены и столы и все отмыть губками, чтобы нигде не осталось ни капли крови.

— Я велю вынести трупы женихов, — сказала Эвриклея, — под открытое небо, чтоб их злобные души отлетели поскорее.

Потом я позвал обоих пастухов.

— Когда служанки все здесь отмоют, — приказал я им, — выведите двенадцать изменниц во двор и острыми мечами быстро отправьте их всех в Аид: пусть они там, во тьме, соединятся со своими любовниками, ненасытными в еде и в распутстве.

Но тут в разговор вмешался Телемах и сказал, что ему кажется слишком легкой смерть от меча для мерзавок, оскорблявших и Пенелопу, и его самого и превративших дворец в грязный притон. Сказав так, он повелел протянуть толстый канат от одной из колонн к крюку, вбитому в стену, ограждающую двор. Упирающихся служанок повесили рядком на прикрепленных к канату конопляных веревках. Они перестали дышать и ушли из мира, жить в котором были недостойны. Последней — чтобы она видела смерть остальных — была повешена коварная Меланфо, шпионка женихов, ненавидевшая Пенелопу.

Но и этого было мало еще не насытившимся местью Эвмею и Филесию. Они схватили козопаса Меланфия, который еще дышал, подвешенный к потолочной балке, и отрубили ему, отчаянно кричавшему, сначала нос и уши, а потом оторвали член и бросили его на съедение собакам. Но собаки, понюхав этот окровавленный и уже покрытый мухами ошметок, отвернулись от него, как от какой-то отравы.

У обоих пастухов были с Меланфием особые счеты. Этот шпион, прислужник

и любимчик женихов за скот, пригоняемый ко дворцу, получал от них дары, даже золотые украшения, которые женихи брали из приданого Пенелопы. Кроме того, Меланфий забирал все рога забитого скота и продавал их финикийским купцам.

Месть двух разъяренных пастухов, свершенная с нечеловеческой жестокостью, была расплатой и за собственные обиды, и за оскорбления, нанесенные их царю. Возмездием за такие глубокие обиды может быть только кровь, которая теперь и текла ручьями по гладким камням двора, куда были вытащены все убитые. Над их телами уже жужжали рои мух.

Я велел старой Эвриклее окурить серой пол, стены и колонны большого зала. Сбежавшихся отовсюду верных служанок я обнял и приласкал, и они, руководимые Эвриклеей, сразу же принялись приводить все в порядок. Так на моих глазах постепенно стал приобретать свою былую красу наш дворец.

Мои глаза опять наполнились слезами, и я поскорее вышел во двор, чтобы служанки не видели своего почтенного царя Одиссея плачущим.

Пенелопа

Пришла ко мне старая няня и, осторожно подбирая слова, сообщила наконец, что прибывший издалека бродяга, который учинил расправу над женихами, не кто иной, как мой муж Одиссей, явившийся в таком виде, чтобы проникнуть в дом и отомстить незваным гостям.

— Известие запоздалое, — сказала она, — потому что слова не нужны, когда дела говорят сами за себя.

— Не понимаю, Эвриклея, — ответила я, притворяясь рассерженной, — с чего это ты вздумала насмехаться над своей госпожой? Боги своенравны и могут лишить ума даже такую мудрую женщину, как ты, и заставить сыграть со мной злую шутку, когда сердце у меня разрывается от вида залившей дом крови. Я столько лет горевала о своем любимом Одиссее, но не ценой такой крови хотела я отмстить за обиды, нанесенные мне женихами. Ты помнишь, как я проклинала Троянскую войну, отнявшую стольких мужчин у их семей, и как я даже просила тебя перебить Одиссею ногу рукояткой секиры, чтобы он не мог уехать. К сожалению, в тот раз ты меня не послушалась, а у меня не хватило смелости сделать это собственными руками. Многие погибли на той далекой войне, а многим уцелевшим выпала на долю тяжкая судьба. Я слышала, что возвратившийся на родину Агамемнон был убит неверной женой Клитемнестрой и ее любовником Эгистом. Кто-то, скитаясь по морям, погиб в бурных волнах. А ты приходишь и бередишь еще не зажившую рану. Только уважая твою старость и ценя верность, я не отсылаю тебя прочь с отповедью, которую получила бы от меня другая служанка.

Эвриклея от удивления широко открыла глаза.

— Я никогда не осмелилась бы насмехаться над тобой, моя любимая царица, попусту болтая о том, что так терзает твою душу. Неужели я пришла бы сыпать тебе соль на раны, если бы не была уверена в том, что говорю? Нищий бродяга, чей вид вызывал насмешки и оскорбления, сбросил маску, и стало ясно, что это Одиссей. Телемах и раньше все знал, они вместе придумали, как уничтожить твоих бешеных женихов. Они спрятали оружие, заперли двери большого зала и вооружили двух верных пастухов, без которых им наверняка не удалось бы справиться с толпой женихов. К тому же я одна из всех служанок поняла, кто передо мной, увидев на его ноге глубокий шрам, оставленный клыком дикого кабана во время охоты; да ты и сама его, должно быть, помнишь. Но он велел мне молчать, и я подчинилась воле своего господина. Только теперь я могу открыто говорить об этом.

Я ответила ей не повышая голоса, но очень твердо:

— Если ты считаешь, что шрам на ноге — это доказательство, то я отвечу тебе, что множество кабанов нападали на многих охотников, после чего от нанесенных

ими ран оставались глубокие рубцы. Ты говоришь, он был ранен в ногу, а куда еще, по-твоему, может ударить охотника разъяренный кабан? И как мне поверить твоим словам, дорогая простодушная Эвриклея, что после двадцатилетней разлуки, оказавшись лицом к лицу со своей супругой, Одиссей ни единым жестом не выдал своих чувств? Как поверить, что он подготовил трудный и опасный план мести, ни разу не обмолвившись о нем? Я твердо знаю, что Одиссей, такой, каким я его помню, рассказал бы мне все. И если он был намерен держать свой план в тайне, то кому, как не ему, известно, что Пенелопа сумела бы сохранить ее в своем сердце, как в глубоком колодце. Только чужеземец, а никак не Одиссей, мог отнестись ко мне с таким недоверием.

На мгновение старая мудрая Эвриклея онемела. Она и сама не понимала, чем можно объяснить недоверие Одиссея ко мне, любимой жене.

— Ты знаешь, какой смертельной опасности подвергался Одиссей, вступая в схватку с разъяренной толпой женихов. Одно неосторожное слово могло сорвать его планы и поставить под угрозу его собственную жизнь и жизнь Телемаха. Уж не боишься ли ты принять Одиссея в свои объятия потому, что остерегаешься чьей-либо мести? Мне трудно понять твои мысли и подозрения, но и тут я могу тебя успокоить, потому что никто из женихов не ушел от меча Одиссея и Телемаха: все они лежат в лужах крови, а верные служанки окуривают дом серой, чтобы очистить большой зал для пиршеств. Одиссей сидит перед очагом и ждет, когда ты спустишься и обнимешь его теперь, когда месть свершена и ты свободна от осаждавших тебя женихов.

— Боги не терпят обид и злонамеренности, — ответила я Эвриклее, — потому они, наверно, водили рукой этого незнакомца. Чужеземец очень силен и хитер, но он сам сказал, что, победив в состязании, не станет домогаться моей руки. Мог бы нечто подобное сказать Одиссей?

После этих слов Эвриклея некоторое время помолчала, пораженная твердостью, с какой я отказывалась признать Одиссеем незнакомца, расправившегося с женихами.

— Речь идет об очень сильном и хитроумном человеке, дорогая моя Пенелопа, — промолвила наконец старая няня, — но кто на свете сильнее и хитроумнее Одиссея? Кто мог согнуть лук и пропустить стрелу через двенадцать колец, а потом покончить со всеми до единого молодыми и сильными женихами? Я вижу, мои слова тебя не убеждают, и не обижаюсь на тебя, хотя и сознаю свою правоту, но то, что я тебе рассказала и что ты сама видела, прячась за занавесом, должно было тебя убедить. Я понимаю, сердце твое за столько лет ожидания отвердело, как камень. Но теперь пора уже отбросить недоверие и положиться на милость судьбы: ведь высокомерно отвергать дар, который боги принесли тебе на золотом блюде, значит глубоко оскорбить их, пренебречь их волей и благорасположением к тебе.

Признаюсь, грустные слова Эвриклеи больно меня задели, но в ответ каждая моя фраза была по-прежнему продиктована уязвленной гордостью:

— Прежде чем спуститься в зал, я должна избавиться от множества нехороших мыслей, отвести взгляд от неба, сбивающего меня с толку всеми этими птицами, которые с пронзительными криками носятся вокруг дома. Твои слова не рассеяли моих подозрений относительно смелого и жестокого чужеземца, сумевшего не только согнуть лук Одиссея, но и схватиться вместе с Телемахом и двумя пастухами с многочисленными женихами, засевшими в моем доме, и убить их. Я могу, если тебе угодно, восхищаться его отвагой и, как было обещано, наградить его хитоном, туникой и хорошими прочными сандалиями, чтобы он мог продолжить свои странствия. Но не требуй от меня большего. Мне еще остается похвалить Телемаха за то, что он сумел найти такого могучего союзника, чтобы вновь завладеть тем, что у него отняли силой, но ты не можешь требовать, чтобы я признала этого бродягу-чужестранца своим мужем только потому, что он убил всех остальных претендентов. Может, по-твоему, я должна возражать ему, если он сам заявил, что не

стремился к женитьбе? Я, живущая в одиночестве, жду не просто смелого человека, а своего Одиссея. На свете много сильных и смелых мужчин, были такие и среди женихов, но Одиссей — один, и я жду его, дорогая Эвриклея, хотя на его возвращение у меня осталось совсем мало надежды. До тех пор, пока не станет точно известно, что Одиссея поглотила морская пучина или что он погиб от рук разбойников, я буду ждать его и не поддамся на наивные и пламенные речи моей старой няни. Я знаю, тебя огорчает, что я живу одна, и мне понятны твои добрые чувства, но я не ищу себе просто мужа. В противном случае я вышла бы замуж за кого-нибудь из женихов. Я знаю, что надежд на возвращение Одиссея мало, но я по-прежнему живу ими и никаких других способов избавиться от своего одиночества не ищу и не нуждаюсь в них.

Я понимала, что Эвриклея будет настаивать на своем.

— На протяжении стольких лет ты презирала женихов, засевших в твоем доме и испоганивших даже его камни, а теперь я слышу слова, отзывающиеся болью в моих ушах. Я пришла не для того, чтобы предлагать тебе вступить в брак с безвестным героем или с хвастуном. Я утверждаю, что гость, которого ввел в твой дом Телемах, — Одиссей. И эту правду ты отвергаешь под сотней предлогов. Мой возраст и опыт не обманывают меня, и когда ты сядешь рядом с ним перед очагом, где он ждет тебя, то сама узнаешь его, и не только по внешнему виду, но по взгляду, по голосу, по каждому жесту, по всему тому, что подскажет тебе любовь. Если только многолетняя разлука не отняла у тебя зрение и слух и не вытравила из памяти чувства, которые когда-то вас соединяли.

Я погладила Эвриклею по седым волосам, но решила не поддаваться ее уговорам.

— Твои горькие слова и долг гостеприимства вынуждают меня спуститься в пиршественный зал, но прежде чем я предстану перед иноземцем, проявившим такую храбрость и принадлежащим, как говорят, к знатному роду, мне надо одеться, как подобает царице.

Старая няня Эвриклея молча причесала меня и помогла закрепить волосы на затылке золотой заколкой. Потом она вынула из сундука самую красивую мою льняную тунику и разложила ее на постели вместе с хитоном, украшенным золотистой бахромой. Но когда я потянулась к ларцу за лазуритовым ожерельем, Эвриклея стала меня отговаривать:

— Зачем, о Пенелопа, ты хочешь надеть ожерелье, которое Одиссей не может узнать? Лучше бросить его на дно морское, чем заронить лишние подозрения в сердце своего супруга. Уж если ты хочешь сохранить ожерелье, прошу тебя, не показывай его именно сегодня.

— Нашему гостю уже знакомо это украшение, но если бы я верила, что меня ждет Одиссей, то никогда бы больше не надела эти камни. Ты же сама видишь, что лазурит очень идет к моей тунике цвета морской воды, а сверкающие в камнях золотые блестки подходят к золотистой бахроме хитона. Я очень редко принимаю иноземных гостей в своем доме и сегодня хочу одеться соответственно случаю. Даже в горе и печали каждая женщина хранит в душе толику тщеславия.

Эвриклея молча вышла из комнаты, даже не удосужившись помочь мне одеться. Пришлось позвать бессловесную Эвриному — еще одну няню, живущую во дворце со времен моего замужества. Она помогла мне облачиться в тунику и хитон и окончательно привести в порядок прическу.

Одиссей

Мне захотелось предстать перед Пенелопой все в том же нищенском рубище, в котором я вошел в свой дом и взял в руки орудие мести. Пенелопа спустилась по лестнице, величественно приветствовав меня легким кивком. Что же это, подумал

я, Эвриклея ничего ей не сказала? Нет, не понять мне высокомерной повадки, ледяного взгляда царицы, словно расправа над женихами не принесла ей радости долгожданного освобождения, а лишь раздосадовала и даже оскорбила ее. Она села перед очагом напротив меня, не проронив ни слова.

На помощь мне из глубины зала пришел Телемах и обратился к матери со словами сурового упрека:

— О моя печальная мать с бесчувственным сердцем, почему ты не обнимешь отца, вернувшегося после стольких лет на родину и с великой опасностью для жизни сумевшего освободить наш дом, зачумленный женихами? Что тревожит твою душу? Почему ты молчишь? Тебе нечего сказать своему супругу? Почему ты ни о чем его не спрашиваешь? Он смиренно решил предстать перед тобой в отрепьях нищего и теперь вымаливает у тебя хоть улыбку, хоть одно ласковое слово. Ни слезинки не вижу я в твоих глазах, ни единое слово не сорвалось с твоих уст.

— Среди тысячи мужчин, — отвечала Пенелопа, — я узнала бы Одиссея даже через сто лет. Но этот незнакомец — нищий ли он, или отпрыск славного рода — всего лишь подобие Одиссея, притворщик, с помощью лжи проникший в наш дом. Он был тебе прекрасным союзником в борьбе с женихами, и теперь ты многим обязан ему, но не можешь же ты отдать ему в награду свою мать, как какой-то меновой товар. Отнесись с уважением к моим чувствам, Телемах, и позволь мне самой решать, кто это — самозванец или человек, с лица которого прошедшие годы стерли черты Одиссея до такой степени, что я больше не узнаю его. Но если война и долгие странствия на обратном пути так глубоко его изменили, тогда пусть будут прокляты и эта война, и эти странствия.

Телемаха возмутили слова матери.

— Неужели, если ты не узнаешь его в лицо, тебе ничего не говорит твое сердце?

— Не забывай, Телемах, что ты был совсем маленьким, когда твой отец отправился на Троянскую войну, и потому ты с такой легкостью поддался обману, который замыслил этот незнакомец. Но я в день его отъезда была женщиной, а не девочкой, так что позволь уж мне решать, он это или не он, и постарайся не бросать мне столь бессмысленных упреков.

При этих словах Пенелопы я почувствовал, как леденеет мое сердце. Итак, Пенелопа не узнает меня и упрекает Телемаха в том, что он хочет превратить ее в меновой товар. А я, по ее мнению, самозванец. За что боги так ополчились против меня и изгнали из сердца Пенелопы? Должен сказать, что лишь в одном она права — когда проклинает войну и мой слишком затянувшийся обратный путь.

— Душа моя, — сказал я ей, — целых двадцать лет мечтал я об этом дне. О тебе я думал у стен Трои, когда на ахейское войско опускалась темнота; о тебе я всегда говорил с моими соратниками, о тебе я с любовью вспоминал всякий раз, отправляясь на опасную вылазку. К тебе устремлялись мои мысли, когда буря швыряла мое судно во враждебных водах или когда кровожадный Полифем заточил нас в своей пещере и сгубил моих лучших товарищей. А теперь, когда я освободил дом от всех женихов, ты смотришь на меня как на чужеземца, советуешь мне покинуть остров и родной дом. Многие годы я слушал твой голос в блестящей раковине, которую яростная волна вырвала у меня из рук во время кораблекрушения, так что же, вместе с раковиной я потерял и свою жену?

Когда я произносил эти слова, мне опять не удалось сдержать предательских слез, покатившихся по моим щекам.

— Вот доказательство того, что этот бродяга — не Одиссей, — воскликнула Пенелопа, обращаясь к Телемаху. — Одиссей был тверд сердцем, и я никогда не видела на его глазах слез, даже тогда, когда он прощался со мной, поднимаясь на корабль, чтобы плыть к Трое с другими ахейцами. Слезы не подобают Одиссею: за всю нашу совместную жизнь я не видела его плачущим ни от радости, ни от горя. Мужчина, бесстыдно проливающий слезы перед женщиной, не может быть Одис-

сеем. Пусть этот человек отправляется искать свою судьбу в других местах. Ты, Телемах, дай ему тунику и шерстяной хитон, а скоро будут готовы и его сандалии. И позаботься о том, чтобы его вознаградили за доблесть, которую он проявил, помогая тебе покончить с ненавистными женихами и отвоевать свое царство. Помни также, что вознаграждение должно быть щедрым. А если этот чужеземец захочет отдохнуть здесь как наш гость, прими его радушно, пусть он получит место за нашим столом и постель в нашем доме.

Так я и знал, что эти неожиданные и неуместные слезы обязательно опозорят и унизят меня. Слезы не подобают Одиссею, сказала Пенелопа, и разве она была не права? Эта предательская слабость преследует меня с тех пор, как я высадился на своем острове. И вот после того, как я уничтожил женихов, одолев все тяготы и опасности, мне самому нанесли поражение слезы.

— Возможно, эти пропитанные кровью нищенские отрепья искажают мой облик, — сказал я Пенелопе, — пора, видно, надеть мне тунику и хитон, которые ты мне великодушно подарила. Пусть старая няня Эвриклея омоет и умастит мое тело, чтобы я стал достойным твоего гостеприимства. Смею ли я сесть за твой стол в этих лохмотьях, которые помогли мне обмануть тех, кто силой захватил мой дом и отнял у меня власть, но которые, увы, обманули и мою супругу?

— Я приказала швеям сшить одежду, достойную нашего гостя, — сказала Пенелопа, обращаясь к Телемаху, — но им еще понадобится некоторое время, чтобы закончить работу.

И тут вновь заговорил Телемах:

— Прошу тебя, о моя мать, предложить нашему гостю, которого я считаю своим отцом, одежды Одиссея, которые ты хранишь в глубоком сундуке в верхних покоях. Хоть ты и не признаешь в нашем госте своего мужа, позволь мне принять это решение, всю ответственность за которое я беру на себя. Моя воля такова: пусть наш гость наденет одежды Одиссея, которые тщательно хранились как память о нем в надежде на его возвращение. Я утверждаю, что мой отец Одиссей вернулся и с честью может носить платье, сохранившееся с давних времен.

— Подчиняюсь твоей воле, — ответила Пенелопа, — хотя мне тяжело прикасаться к одеждам Одиссея ради того, чтобы этот бродяга мог, как ты наивно полагаешь, принять облик царя Итаки. Я сама пойду и открою сундук ключом, который тщательно берегла все эти годы, но платье Одиссея не поможет убедить меня в том, что претензии этого человека обоснованны. А пока пусть гость приготовится, смоет со своего тела грязь и кровь, прежде чем надеть драгоценные одежды царя Итаки.

Старая няня Эвриклея отвела меня в один из уголков большого зала и, усадив на скамью, опытной рукой обмыла мое тело мягкой губкой, смоченной в горячей воде и огуречном настое, а под конец умастила меня прозрачнейшим оливковым маслом, старательно массируя руки и ноги, чтобы они стали блестящими и гладкими.

Старуха делала все это молча, а я не хотел задавать ей во время омовения никаких вопросов. Я вошел в свой собственный дом неузнанным, теперь же Пенелопа сделала меня и вовсе ему чужим, и хотя подлинный Одиссей был у нее пред глазами, она гонялась за какой-то тенью. Да, я стал унылой тенью человека, злоключениям которого, как видно, не будет конца. Без признания Пенелопы я становлюсь нищим, которым раньше только прикидывался, жертвой своего притворства. В какое же ничтожество я превратился! Выходит, я все еще Никто, как назвал себя Полифему? Но я же не в пещере циклопа, я — у себя на родине, в своем царстве, перед Пенелопой, которая смотрит на меня так отчужденно.

Наконец две служанки принесли белую льняную тунику и пурпурный хитон с серебристыми узорами. Я с трудом натянул тунику, которая стала узка в плечах, да и вообще была мне мала, постарался прикрыть слишком тесную тунику пурпурным хитоном и робко предстал перед Пенелопой, из-за упрямства которой мне самому приходится сомневаться, что я — это я.

Пенелопа

Я согласилась с предложением, а вернее — с приказом Телемаха надеть на Одиссея тунику и хитон Одиссея. Поднявшись по лестнице, я сверху подглядывала за его омовением и, к удивлению своему, заметила, что на теле Одиссея нет шрамов и рубцов, какими, следует думать, обычно покрыты тела старых, закаленных в боях воинов. Если не считать рубца на ноге, все его тело было блестящим и крепким, словно отлитым из бронзы.

Когда он подошел ко мне в своей старой, ставшей ему слишком тесной тунике, я ничего не сказала, ведь на то у нас и глаза, чтобы видеть, но сердце мое содрогнулось от горя. Кто теперь вернет мне все годы, отнятые у меня богами? Свои дни Одиссей проводил в битвах, а потом в приключениях и скитаниях по белому свету, но я-то ждала его, пребывая в одиночестве, как в тюрьме, хотя меня и осаждала целая толпа женихов. Никогда мне уже не вернуть утерянное время и нашу любовь, о которой я всегда помнила. Но память — это не жизнь. Надеяться и ждать — не значит жить.

Одиссей ещ̀е красив и силен, хоть выглядит не таким уж героем в тесной одежде со следами плесени на белоснежной ткани. Но вот он стоит передо мной, и я думаю: что он пережил по окончании войны? Одиссей всегда был опытным мореплавателем, и море не могло его обмануть, как какого-то новичка. Тогда почему он предпочел смертельную опасность в морских бурях, в пещере Полифема и в водоворотах между Сциллой и Харибдой немедленному возвращению на Итаку?

Уж не для того ли этот великий выдумщик и притворщик пустился в приключения, чтобы иметь возможность потом рассказывать о них? Слышала я, что в царстве феаков он так очаровал всех своими историями, что его не хотели даже отпускать. Поэтому, наверное, он пробыл там так долго, и поэтому его осы́пали всякими дарами, когда он покидал остров. Кто-то говорил мне о Навсикае — дочери пригласившего его царя, которая якобы влюбилась в славного героя, вышедшего нагишом из бушующего моря. Но кто теперь отличит правду от лжи? И какой в этом смысл?

Одиссей тщеславен, и я заранее знаю, что после расправы над женихами он тысячу раз — и здесь, в доме, и в других местах — будет повторять рассказ об этой бойне, и каждый новый рассказ будет отличаться от прежних в зависимости от погоды, настроения и от того, кто его слушает. Уже тогда, когда Одиссей переоделся нищим, чтобы схватиться с женихами и поразить их стрелами и мечом, он думал, какой чудесной историей все это может обернуться в долгие зимние вечера у очага.

Короче говоря, Одиссей не только повествует о том, что с ним происходило, но и сам предопределяет события, о которых потом можно будет рассказывать. Я уверена, что тоже стану слушать его истории, хотя мое упорство еще долго будет отравлять мне воспоминания. Его жизнь — это великая смесь лжи, игры, тайн, загадок и правды, которую он так часто прикрывает вымыслами и притворством. Я знаю, есть нечто такое, о чем Одиссей не говорил даже с Телемахом, какая-то тайна, которую он тщательно скрывает ото всех; я догадываюсь о ней по некоторым фразам, проскальзывающим в его невероятных рассказах. Это связано с дарами царя феаков. Я часто спрашиваю себя, куда он мог спрятать эти богатые дары? Золото и серебро — не фантазия. Но к чему вся эта таинственность?

В сущности, меня всегда восхищала не только его храбрость, но и его выдумки, которые обогащают и расцвечивают все вокруг. Может, поэтому я и люблю его, люблю за неистощимую способность, подобно ветру, уноситься вдаль мыслью и воображением.

Все мы умеем притворяться, и нередко ложь бывает уместной и чистой, но я прибегаю к ней только по необходимости, а не из удовольствия лгать, как Одиссей. Когда я услышала, что какой-то бродяга, прибывший на Итаку неизвестно откуда,

расписывает приключения, пережитые им на Крите, в Трое и Египте, причем всякий раз по-разному, то, еще не видя его, подумала, что это, вероятно, Одиссей. Мужчины не менее тщеславны и болтливы, чем женщины, но кто другой может так часто и подолгу распространяться обо всех своих похождениях, постоянно придумывая новые подробности? Самое удивительное, что он сам в конце концов начинает верить в свои россказни.

А сейчас Одиссей сидит передо мной в своей старой, вынутой из сундука одежде, в этой слишком тесной тунике, которую он попытался спрятать под пурпурным хитоном. Телемах сразу заметил, что старая туника Одиссея узка в плечах, но, конечно, не придал этому значения.

— За столько лет, — сказал Телемах, — Одиссей стал крупнее и из-за физических нагрузок, и из-за возраста: так бывает со всеми мужчинами, и не стоит удивляться тому, что одежды ему тесны.

Я заметила, что Телемах, говоря о своем отце, называет его Одиссеем то ли из уважения, то ли чтобы подчеркнуть собственную уверенность и развеять мое недоверие.

Я не стала отвечать Телемаху еще и потому, что мой голос мог бы выдать волнение, сжавшее мне горло при виде Одиссея, облаченного в платье, которое он носил двадцать лет тому назад. Был момент, когда я чуть было не уступила своим чувствам и не бросилась обнимать его и целовать, но я сумела взять себя в руки, потому что теперь в моей памяти постоянно живет нанесенная мне обида. Одиссей заслуживает наказания от терпеливой, великодушной, мягкой Пенелопы. Он за один только день уничтожил всех моих женихов, зато куда дольше придется ему сражаться за любовь обиженной Пенелопы.

Мое положение становилось почти невыносимым. Я не знала, куда смотреть, что говорить, чтобы нарушить это ужасное молчание, как скрыть дрожь рук. В конце концов я сказала, что пришло время обедать и подавальщики готовы принести еду на стол.

Одиссей смотрел на меня, силясь улыбнуться и прочесть в моих глазах нечто такое, чего в них не было, потому что сердце мое, как верно заметил Телемах, стало действительно твердым, словно камень.

Одиссей все время поглядывал на мое ожерелье из лазурита, но не осмеливался спросить о нем. Он твердо знал, что в момент его отъезда такого ожерелья не было среди моих драгоценностей. Откуда же оно взялось? Нетрудно было заметить, что ожерелье беспокоило его, так как могло быть знаком моей измены, но в то же время подтверждением того, что я не верю в возвращение своего супруга, в противном случае я не выставила бы его напоказ.

Во время еды Одиссею пришлось опровергнуть свои измышления о приключениях в Египте, так же как и прочие истории, которые он рассказывал, будучи в облике нищего. Этим он поставил в затруднительное положение даже Телемаха. Из-за моего упорного нежелания признать Одиссея у сына тоже начали возникать некоторые сомнения. Уж если я с таким упорством и убежденностью не признавала мужа, мог ли он, совсем не помнящий отца, быть уверенным, что это Одиссей? Достаточно ли знать устройство дома, уметь обращаться с луком и иметь шрам на ноге, чтобы быть признанным настоящим Одиссеем? Мир велик, и в нем так много сильных мужчин, способных согнуть лук.

Бедный Телемах, какую неуверенность заронила я в его душу своим поведением! Мне так успешно удалось скрыть радость, которую я испытывала, видя Одиссея рядом с собой за столом, что обед прошел почти в полном молчании, а у Одиссея, должно быть, еще вызывала беспокойство вся возникшая в зале атмосфера, в которой смешались и его подозрения, и мой обман, и запах пролитой крови, еще не выветрившийся, несмотря на мытье и окуривание серой.

Как отвратителен этот сладковатый запах человеческой крови! Даже серный дух не перебил его, или, может, мне это только казалось? Но ведь и самовнушение

действует на наши чувства. Запах крови, настоящий или воображаемый, лишил аппетита и меня, и Одиссея, и Телемаха, которые едва притронулись к обильной еде, выставленной подавальщиками на длинном столе.

Одиссей

Прежде чем отправиться спать, мы посидели перед горящим очагом за красивыми кубками с вином для меня и Телемаха и с липовым отваром для Пенелопы. Телемах показался мне обеспокоенным. Он долго приглядывался ко мне, а потом вдруг поднялся и отошел, якобы для того, чтобы повесить свой лук и меч, которые служанки положили на скамью в одном из углов большого зала. Но это был просто предлог, потому что он подозвал старую Эвриклею и стал тихо говорить с ней, явно надеясь услышать от нее слова, которые умерили бы его тревогу. А может, он решил оставить нас с Пенелопой наедине в надежде, что мы развяжем наконец узлы, мешающие ей признать меня?

Я сидел перед молчащей Пенелопой и старался найти в памяти какую-нибудь тайную примету, по которой она могла бы меня узнать. У стен Трои все говорили о своих женщинах. Это были рассказы, откровенности которых способствовали темнота биваков и одиночество. Я тоже говорил о Пенелопе, описывал ее внешность, ее тело, вспоминал цвет и длину ее волос, упругие и чувственные груди, глубокий пупок в центре нежного живота и даже более потаенные местечки, скрытые под густой порослью волос, родинку над коленом, которая всегда притягивала мой взгляд, когда обнаженная Пенелопа лежала на постели. И вот теперь я пытался вспомнить, где именно была родинка, о которой я рассказывал своим товарищам, — над правым коленом или над левым, но богиня Мнемосина отвернулась от меня.

Как я ни старался, мне не удавалось вспомнить, на какой ноге была эта родинка. Заговорив о ней с Пенелопой как о тайне, которую знал только Одиссей, я смог бы угадать правильно, но с тем же успехом и допустить ошибку, которая стала бы для меня роковой. Я уже почти было решился рискнуть, но потом отказался от этого намерения, боясь оказаться в глазах Пенелопы подлым обманщиком.

Ужасная пустота и глубокая тишина воцарились, когда мы с Пенелопой остались одни. Неужели нам нечего было сказать друг другу? Но когда Телемах вернулся и сел рядом с нами, в моей смятенной памяти забрезжила еще одна деталь, позволявшая признать во мне Одиссея.

Наше ложе я сделал сам из ствола и ветвей вросшей в стену дома старой оливы, когда после рождения Телемаха мы решили пристроить новые комнаты, в том числе и спальню для нас с Пенелопой. Я сам обрубил топором, а потом заровнял рубанком ветви большой оливы, достигавшие верхнего этажа. Таким образом, наше ложе держалось на этих ветвях, которые я обработал с помощью одного опытного столяра. Все это я рассказал Пенелопе в присутствии Телемаха: вот оно, доказательство того, что я знаю дом со всеми его секретами.

— Твой рассказ соответствует действительности, — сразу же отозвалась Пенелопа, — но это вовсе не означает, что ты — Одиссей. Мне известно, что Одиссей перед всеми похвалялся этим своим творением и наверняка рассказывал о ложе ахейским воинам во время долгой осады по ночам, которые они проводили в беседах в ожидании нового дня. Разве ты не говорил, что тоже слушал его рассказы? Мы знаем, что Одиссей разжигал большой костер и, усадив вокруг огня своих товарищей, рассказывал им об Итаке, о своей охоте на диких кабанов, о шраме, об огороде, возделываемом отцом его Лаэртом, о стадах свиней и о дубовых рощах, где так много желудей. Ну и конечно же — о своем доме, о ложе, построенном собственными руками, и о Пенелопе. Рубец же, который ты предъявил нам как опознавательный знак, можно увидеть у многих мужчин, к тому же, помнится мне, он был у Одиссея на правой ноге, хотя няня Эвриклея утверждает, что кабан пропо-

рол его левую ногу и шрам у царя Итаки на левой ноге, как у нашего гостя. Не знаю уж, что достовернее — мои воспоминания или воспоминания очень старой няни с ослабевшей памятью.

Истина зыбка и расплывчата, как морская волна, и каждое мое воспоминание Пенелопа упорно отрицала, сразу находя доводы, ставящие мои слова под сомнение. Не знаю, верила ли она сама в то, что говорила.

— А теперь я расскажу такое, — продолжала она, — чего Одиссей, скорее всего, никогда не рассказывал своим товарищам и чего ты поэтому знать не можешь.

У каждого мужчины есть свои секреты. Вот и Одиссей, как и Ахилл, и некоторые другие воины, которые потом сражались геройски, делал все возможное, чтобы не ехать на войну. Когда вожди ахейцев, направляясь к троянским берегам, проплывали мимо Итаки, Одиссей натянул на голову шутовской колпак, запряг вместе вола и осла и стал пахать прибрежный песок и засевать его солью. Но это ему не помогло, потому что военачальник ахейцев Паламед взял из колыбели маленького Телемаха и положил его перед плугом. И Одиссей сразу же остановил животных, показав тем самым, что он в своем уме. И тогда ему тоже пришлось взять оружие и отправиться на войну вместе со всеми.

Телемах смотрел на меня испуганно и недоверчиво.

— Да, действительно был такой случай, но я хотел о нем забыть.

— Об этом здесь, на Итаке, знают все, — сказала Пенелопа, — но Одиссей, конечно же, никогда не рассказывал о нем своим товарищам, так что тебе он неизвестен. Вот потому-то ты и не вспомнил о нем, доказывая, что ты — Одиссей.

— У памяти свои пути, и настоящий Одиссей, сидящий сейчас перед тобой, не хотел вспоминать о случае, которого до сих пор стыдится. Этот позорный поступок — свидетельство того, что я хотел остаться на Итаке с Пенелопой и Телемахом вместо того, чтобы отправиться на Троянскую войну.

— Всему можно найти оправдание, — холодно молвила Пенелопа, — но мне кажется, что этот случай тебя удивил и тебе стало стыдно за царя Итаки. Настоящего Одиссея такое не удивило бы, ибо он сам был героем этой истории, и не вызвало бы чувства стыда, ибо ему известно, что я все знаю.

Получилось, что гордость и стыд обернулись против меня, и Пенелопа еще раз показала, что она хитрее хитроумного Одиссея.

Тяжелое молчание повисло после слов Пенелопы. Телемах, огорченный и разочарованный, смотрел в пол, и тут в большой зал вдруг явился глашатай Медонт и объявил о новой угрозе.

— В городе говорят, что родные и друзья убитых женихов взяли в руки оружие и все вместе решили отомстить за них.

— Значит, на нас готовятся новые нападения, — сказал Телемах, — и снова нам придется вступать в бой и обороняться. Первую и худшую беду мы одолели, пролив много крови, но нельзя же продолжать расправу, мы не можем убить половину жителей острова.

Тут взял слово я и сказал, что нужно немедленно позвать певца Терпиада, которому мы даровали жизнь, и объявить в царстве праздник с веселой музыкой и песнями по случаю возвращения Одиссея, чтобы жители города узнали правду и перестали валить всю вину на нас.

Телемах сразу же одобрил мое предложение, но Пенелопе было угодно охладить наш пыл.

— Я могу согласиться с этим мнимым возвращением Одиссея, чтобы друзья и родные убитых не явились сюда мстить за расправу над женихами, которую те сами спровоцировали своими злодеяниями. Но эта ложь принесет мне лишь новые страдания, и не думайте, что она заставит меня признать царя Итаки в нищем бродяге, которого мы приняли в нашем доме. Признать Одиссея должно мое сердце.

— Цель празднеств не в этом, — холодно заметил я Пенелопе.

Итак, той ночью была разыграна странная церемония, для меня очень мучительная, но еще более мучительная для Пенелопы: Терпиаду было велено петь во весь голос, чтобы пение его было слышно на улице.

Между тем над островом поднялся сильный ветер; он завывал в окнах и свистел под дверями, разнося по улицам Итаки вместе с сухой пылью праздничные песни и крики.

— Я хорошо знаю этот ветер, налетающий с неведомых земель. Он называется Эвром и любим мореплавателями. Но крестьяне ненавидят его, потому что он иссушает землю и вредит посевам.

— Вижу, ты, как и все странники, разбираешься в ветрах, дующих и на суше, и на море, — заметила Пенелопа.

Тогда я подошел к самой красивой из служанок, обхватил ее за талию, притянул к себе и на глазах у Пенелопы закружил с ней по большому залу под звуки цитры, сопровождавшие высокий и мелодичный голос Терпиада. А после танца — Терпиад, как ему было приказано, продолжал еще петь — я подошел к Пенелопе.

— Ничтожная и жесточайшая из женщин, — сказал я ей, — боги наградили тебя упрямым сердцем, не желающим признавать мужа, который переплывал бурные моря и преодолевал всяческие опасности, чтобы достичь супружеского крова. Я велю няне приготовить мне отдельное ложе и не попрошу тебя принять меня на своем, которое сделал собственными руками. Я ничего уже не жду от такого каменного сердца, как твое, ибо знаю, что его не смягчить, да и вряд ли еще хочу этого. Итак, пусть наши судьбы разойдутся. Мне лишь остается дождаться, когда будут готовы заказанные тобою прочные сандалии, и тогда я снова пущусь в путь по дорогам мира.

Когда я произносил эти слова, мои глаза вдруг опять наполнились слезами, и мне пришлось отвернуться, чтобы их не заметила Пенелопа, однажды уже упрекнувшая меня в этой слабости. Руки мои, так крепко сжимавшие лук и меч, теперь дрожали, как у старика, у которого годы и жизненные передряги отняли последние силы.

— Вижу, тебе не терпится покинуть этот кров, и это после того, как я оказала тебе щедрый прием и пообещала дары, которые собираюсь вручить тебе сама, — сказала Пенелопа. — Никогда еще я не встречала такого высокомерного бродягу среди всех, кто просил пристанища и еды в моем доме. Не думай, что я презираю тебя за эту грубость, ибо в мужчинах меня, так боящуюся крови, восхищает главным образом смелость. Свою смелость ты доказал на деле, и я не хочу подвергать сомнению то, что очевидно даже слепому. Но Одиссеем я тебя не признаю и не приму тебя к себе на ложе, хотя ты и утверждаешь, что соорудил его своими руками. В том, что ты мастер лгать и изворачиваться, мы уже имели возможность убедиться не раз с тех пор, как ты прибыл на этот остров, но твои лживые рассказы — не что иное, как выдумки, которые забавляют людей по вечерам перед очагом, — вполне невинное времяпрепровождение, а вот у твоих попыток выдать себя за Одиссея та же низкая цель, что была и у женихов, то есть желание завладеть супругой Одиссея и его имуществом, которое по закону наследования принадлежит теперь Телемаху. Да, Телемах признателен тебе, но, повторяю, не настолько, чтобы отдать в качестве вознаграждения свою мать. Так что приготовьте, служанки, ложе, достойное нашего гостя, и пусть он хорошо выспится, потому что впереди у нас трудный день и, быть может, новые кровавые события.

Эти суровые слова Пенелопы предвещали мне еще одну беспокойную ночь.

Пенелопа

Хитрый, изобретательный, лживый, дерзкий и отважный Одиссей бился, как птичка, попавшая в силки: его руки дрожали, а в глазах появились слезы, которые

он тщетно пытался скрыть. Как трудно мне было это вынести! Пока служанки готовили ему постель, Одиссей продолжал сидеть рядом со мной перед очагом.

— Вижу, ты стараешься опровергнуть мои доказательства, придумывая всякий раз новые опровержения, — сказал он кротчайшим голосом. — Ты не признала даже самые интимные подробности нашей супружеской жизни, когда я описывал ложе, построенное мной собственными руками из ветвей старой оливы с таким старанием и любовью. Позволь же мне задать тебе вопрос об ожерелье из лазурита, которое сейчас у тебя на шее и которого у тебя не было, когда я отправлялся на Троянскую войну. Скажи, Пенелопа, будь я самозванцем, мог бы я с такой уверенностью утверждать, что это ожерелье не украшало твою шею в те давние времена, когда ни единое облачко не омрачало нашу совместную жизнь? Не желаю знать, кто тебе сделал этот подарок, ибо, если ты не признаёшь меня как Одиссея, я потерял на это право. Но, во имя богов, скажи, как может бродяга-чужеземец знать, что ожерелье это подарено тебе не Одиссеем и появилось у тебя не так давно?

Одиссей поставил меня в затруднительное положение, и теперь мне надо было немедленно придумать ответ на столь хитроумный вопрос и развеять его сомнения. Прежде чем ответить, я склонила голову и погладила пальцами сверкающие камни ожерелья.

— Ты думаешь, о чужеземец, что либо Антиной, либо кто-то другой из претендентов на мою руку подарил мне ожерелье в знак обручения? Это не так. Ты знаешь, что даже одинокая и предающаяся отчаянию женщина не отказывается от удовольствия хоть как-то украсить себя. Это не преступление, а всего лишь женская слабость, которая понятна каждому мужчине. Однажды здесь побывал бродячий финикийский торговец с покрытыми пылью ногами. У него был ящик, полный всякого товара. Среди этих безделушек — гребней из слоновой кости, шелковых и пурпурных лент, золотых и бронзовых пряжек и застежек, янтарных браслетов и бус — я увидела это ожерелье из лазурита, которое привлекло мое внимание изяществом отделки, качеством камней, насыщенных золотыми блестками, и прекрасной застежкой из чеканного золота. Цена была подходящей, и я могла позволить себе это маленькое удовольствие, чтобы развеять печаль и отвлечься от постоянных обид, причиняемых мне женихами, истреблявшими наши стада. Я заплатила торговцу семь золотых монет и спрятала ожерелье в ларец, чтобы надеть его лишь в тот счастливый день, когда Одиссей высадится на Итаке и войдет в свой дом: тогда я еще надеялась на его возвращение. А теперь, когда надежда эта меня покинула, я решила отметить возвращение Телемаха и победу над женихами, надев самые лучшие свои одежды и это драгоценное украшение, которое, впрочем, ты уже и раньше видел на мне. Итак, я надеюсь, что твое коварное любопытство удовлетворено, хотя, если честно признаться, я не склонна давать всяким чужеземцам объяснения, касающиеся моей личной жизни. Должна признать, что ты многое знаешь об Одиссее, но когда мужчины говорят о женщинах, их откровенности нет предела. Неудивительно, что ты многое почерпнул из рассказов Одиссея. Если любопытство все еще гложет твою душу, я могла бы рассказать тебе о бессонных ночах, когда моими собеседницами были только звезды, о бесконечном чередовании времен года, об одиночестве и жестокой тоске, терзавшей меня каждую весну, о саване, который я ткала днем и распускала ночью, о пролитых мною слезах. Стоит ли говорить, что теперь, когда я смотрю на звездное небо, свет расплывается у меня в глазах. Может ли это удовлетворить твое любопытство и что-то добавить к образу женщины, израненной судьбой?

Одиссей

С какой странной и трогательной речью обратилась ко мне Пенелопа! Почему вдруг на мои вызывающие слова она откликнулась таким грустным признанием,

словно ждала от меня сочувствия и уважения? И почему, говоря о прожорливых женихах, она употребила слова «наши стада», а не «мои стада»? Почему «наши»? Ее слова сбили меня с толку, а подозрительное происхождение ее ожерелья вызвало такое искреннее признание в женской слабости, что я был взволнован и потрясен, хотя так и не получил ответа на свой вопрос. И почему она сказала, что намеревалась надеть это ожерелье лишь в день возвращения Одиссея на Итаку, а надела его именно в день первой встречи со мной, если была уверена, что я не Одиссей?

Как бы она ни упорствовала, называя меня чужеземцем, ее печальные речи заслуживали ответа, созвучного ее признанию.

— Упущенное время бесконечно для тебя, но и для меня, моя обожаемая Пенелопа, и потому я старался заполнить его, совершая порой поступки, которыми можно гордиться, но порой и непростительные ошибки. Мысленно возвращаясь к годам, проведенным в скитаниях, я понимаю, что мне удалось избежать многих опасностей, преодолеть немало уготованных судьбой ловушек, но сделать и бесполезные, рискованные шаги, тяжким бременем лежащие на моей совести, потому что они привели к гибели моих верных спутников и отсрочили мое возвращение. Сейчас я не думаю больше о прошлом, и ты, Пенелопа, позабудь о стадах, сожранных женихами, потому что сегодня не время предаваться воспоминаниям. Мы с Телемахом уже осуществили месть, задуманную нами обоими, и потому прошу тебя возвратить мне мои отрепья и нищенскую переметную суму, потому что никаким вознаграждением не смягчить твою жестокость. Кроме моей рваной одежды я приму от тебя только сандалии, которые, как ты сказала, пригодятся мне, когда я вновь отправлюсь в путь, ибо не хочу оставаться рядом с теми, кто меня не узнал бы, явись я даже в пурпуре и золоте. Добрый десяток лет я плавал по морям и приставал к негостеприимным берегам. Теперь я вновь поплыву к неизвестным пределам, где, быть может, найду привязанность или любовь, которых я не нашел здесь, у себя дома. Обожаемая Пенелопа, сделай так, чтобы завтра утром я нашел рядом со своим ложем обещанные тобой сандалии, тогда я снова смогу отправиться в странствия. У тебя жестокое и непреклонное сердце, Пенелопа, и я сбегу от тебя, как сбежал от Сциллы и Харибды.

— Почему ты сравниваешь меня с морскими чудовищами, о неблагодарный гость? Будь ты и впрямь Одиссеем, тебе следовало бы сравнить меня с вероломной Калипсо. Или хотя бы с ненавистной мне Навсикаей.

— Что ты хочешь этим сказать? Объясни же свою мысль сбитому с толку и отчаявшемуся человеку.

— В моем сердце тоже путаница и отчаяние, — сказала Пенелопа, но тут же спохватилась: — Я уже смирилась со всем, что происходит вокруг меня, смирилась и с новыми тревогами и волнениями, которые прибавились к прежним. И я завидую твоему, чужеземец, безумию, которое позволяет тебе жить в мире, созданном твоим воображением.

Итак, вместо того чтобы ответить на мой вопрос, Пенелопа лишь подтвердила свое обещание. Увы, завтра утром я найду возле своего ложа новые сандалии, суму и нищенскую одежду. Это не значит, сказала она, что я нежеланный гость. Ко мне благоволит и мне признателен Телемах, а Пенелопа во всем поддерживает сына.

— Что ж, — сказал я, — помогай Телемаху защищать свой дом, свою землю и свою мать вместе с верными людьми, которые не оставили его в минуты самой большой опасности и будут ему верны и впредь. Обними его за меня и скажи, что я не могу остаться у себя на родине, если та, ради которой я вернулся, упорно не желает меня признавать. Передай, пожалуйста, ему эти слова, чтоб он не думал, будто я покидаю его из-за порочной страсти к приключениям. После ухода из этого дома я еще навещу своего старого отца Лаэрта, который живет в деревне и ни о чем не подозревает. А потом отправлюсь на берег и стану ждать, когда к нему пристанет торговое судно — на нем я и уплыву туда, куда купцы намерены доставить

свои товары. Путешествие мое будет бесцельным, а единственным мерилом моей жизни станет жестокое, пожирающее людей время.

Пенелопа

С невыразимой болью выслушала я горькие слова Одиссея, но мне ничего не оставалось, как притворяться, будто я не узнаю его; да, любой ценой я должна была заставить его поплатиться за нанесенную мне обиду. Как же хорошо научилась я у него притворству, хотя делать это мучительно трудно!

Мне некому доверить свою тайну, так что придется еще одну ночь провести, мысленно обращаясь к звездам. Одиссей говорит, что мир почти бесконечен. Что это означает? Что он сошел с ума? Или сошла с ума я со всей этой мелочной мстительностью?

Одиссей

Кто знает, не прибегла ли Пенелопа к злому притворству, чтобы отомстить мне не только за похождения, задержавшие мое возвращение домой, но и за то, что я не раскрылся перед ней прежде, чем расправился с женихами? Она продолжает упорно все опровергать. Но мне кажется, что Пенелопа все же узнала меня. Слишком уж она разволновалась, услышав, что я намерен ждать на берегу проходящего судна, чтобы вновь пуститься в путь. Думаю даже, что и лазуритовое ожерелье она надела, чтобы пробудить во мне ревность.

История с приобретением ожерелья у финикийского купца могла бы сойти за правду, если бы я не знал, что и Пенелопа умеет лгать. Мне нетрудно выяснить, сказала ли она правду, расспросив верную Эвриклею, которая, конечно же, присутствовала при покупке, если все происходило так, как говорит Пенелопа. К сожалению, Эвриклея предана также и Пенелопе, к тому же она женщина, значит, как и все они, опытная лгунья. Узнаю ли я когда-нибудь истину, если, конечно, под небом существует настоящая истина?

Пока же, думается мне, Пенелопа проведет более беспокойную ночь, чем я, и станет искать утешения, обращаясь своим затуманенным, как она говорит, чтобы разжалобить меня, взором к звездам на небесном своде.

Пенелопа

Я так сильно натянула веревку, что она вот-вот лопнет. Но по-другому поступить я не могла. Волнение оттого, что я вижу Одиссея, оказалось слабее моей подлой жажды мести. Простят ли мне боги столь низменное чувство, одержавшее верх над бесконечными двадцатью годами мучений?

И вот я опять жестоко страдаю и доставляю не менее жестокие страдания Одиссею. У меня никогда не было тяги к мучительству, но сами события толкнули меня на такую бесчеловечность, какой я, честно говоря, за собой и не знала.

Одиссей сбит с толку, да и могло ли быть иначе? Я понимаю, что он жаждал мщения, а Телемах хотел возвратить царство, но вид Одиссея в роли свирепого мстителя меня отпугнул. Как я смогу лечь с ним в одну постель после того, как он пролил — с яростью и даже с каким-то странным наслаждением — столько крови здесь, в нашем доме? Окровавленные трупы молодых женихов, пронзенных его мечом, их глаза, в которых померк свет, — вот страшная картина, преследующая меня повсюду, днем и ночью. Какой бы ни была побудительная причина, но человек, убивающий другого человека, — это чудовище. Что же я такое говорю? Выхо-

дит, весь мир населен одними чудовищами? И Одиссей чудовище? Увы, сами боги яростны и кровожадны, они оправдывают насилие.

Не понимаю, по какому праву Одиссей усомнился в моей верности. Разве он сам не изменял мне многократно во время своих странствий? Разве мы, женщины, переживаем измену менее болезненно, чем мужчины? Кто сказал, что женщина должна терпеть и прощать? Я прощу его, но мое прощение не окупит моих страданий, а их накопилось столько, что они могут заслонить собой самую высокую гору Итаки.

Завтра Одиссей не найдет новых сандалий возле своего ложа. Я годами обманывала женихов, сидя за ткацким станком, а потом распуская сотканное, так неужели мне не удастся затянуть до бесконечности отъезд Одиссея, оставив его без сандалий? Но в своей гордыне он утратил чувство меры, допрашивая Эвриклею о происхождении ожерелья. Неужели он и впрямь полагает, будто я продалась за эти лазуриты? Хорошо же он думает обо мне! Эвриклея, чувствующая свою вину за то, что не сразу сказала мне о возвращении Одиссея, повторила ему историю про финикийского купца, как я ей и велела. Она подчиняется приказам, от кого бы они ни исходили — от меня или от Одиссея. Эвриклея мудрая женщина, понимающая, что такое двойная верность.

Мне никогда не удалось бы объяснить правду подозрительному Одиссею, и тогда я решила, что здесь больше подходит откровенная ложь. Признаюсь, у меня еще остались угрызения совести из-за того, что я приняла ожерелье от Ктесиппа, но ведь это был не подарок, а лишь частичное вознаграждение, да и жирный Ктесипп не ждал от меня никакой благодарности. То, что в мозгу Одиссея засела мысль, будто Пенелопа продалась за какое-то ожерелье, — еще одна жестокая обида, зовущая к мести. Терпеливая, любезная, мягкая Пенелопа вчера не желала терпеть вульгарные выходки женихов, а сегодня ей невыносимо сознавать, что у Одиссея такое дурное мнение о ней.

С сожалением я выбросила в море пузырек с азиатскими благовониями, подаренный мне не помню уже кем, — только бы у Одиссея не возникли новые подозрения, как из-за ожерелья.

Я уже начала привыкать к лжи и притворству, но не могу побороть волнение при мысли, что Одиссей вновь готов отправиться в путь. Думаю, его отчаяние было искренним, но завтра он уйти не сможет, так как не получит обещанных сандалий. Это обещание для меня равносильно поражению. Когда-то Одиссей говорил мне, что больше всего на свете ему хочется удовлетворить свое любопытство и повидать мир, и в этом признании для меня прозвучала угроза.

Однако я уверена, что сегодняшнюю ночь спать он будет еще хуже, чем я.

Одиссей

Уже рассветает. Самое подходящее время, чтобы покинуть этот дом, так как все еще погружены в сон. Я уйду в своих старых, разбитых сандалиях и с перемет-ной сумой. Старый Лаэрт меня узнает, пусть это устыдит недоверчивую Пенелопу. Потом уж я решу, что мне делать со своей жизнью.

Мир почти безграничен, а я отличный мореплаватель.

Пенелопа

Я не нашла Одиссея на его ложе. Исчезли и его рваный хитон, и разбитые сандалии. Я едва удержалась на ногах, у меня дрожали колени и перехватило дыхание. Я бросилась к старой Эвриклее, но она ничего не знала о нашем госте и была удив-

лена тем, что он ушел. Потом няня стала укорять меня за то, что я наперекор очевидному отказалась признать Одиссея.

— Сейчас не время укорять меня, прошу тебя, Эвриклея.

Мне не удалось сдержать рыданий, и старуха попыталась успокоить меня, пообещав послать Телемаха искать отца на дорогах Итаки.

— Но почему ты так убиваешься? — не без ехидства заметила она. — Ведь ты уверена, что он не Одиссей. К чему так страдать из-за ухода чужеземца, у которого, по-твоему, одно лишь достоинство — сила и мужество?

Я попросила не унижать меня и поскорее послать Телемаха на поиски Одиссея, а потом ушла в свои покои и так горько расплакалась, как не плакала никогда в жизни.

Одиссей

Телемах догнал меня, когда я в разбитых сандалиях и в рубище просил милостыню на дорогах Итаки, складывая куски хлеба и прочее подаяние в старую суму. Он взял меня за руку и попросил вернуться домой, потому что из-за моего ухода Пенелопа рвет на себе волосы.

— Что скажут жители Итаки, увидев, как ты побираешься на дорогах? Они хотят видеть и приветствовать своего царя, а не нищего!

— Для Пенелопы я нищий.

— Она со слезами молила меня привести тебя к ней. Это недостаточно тешит твою гордость?

Я ответил, что Пенелопа может подождать. Прежде всего я должен навестить своего старого отца Лаэрта, живущего за городом.

— Мне важно, чтобы он узнал меня и обнял, — сказал я Телемаху, — поскольку для Пенелопы я обманщик. Гнусность и злодеяния женихов искуплены кровью, но обиду, нанесенную мне Пенелопой, я смогу забыть, лишь бежав отсюда и возобновив свои скитания. После встречи с Лаэртом я сяду на первое же судно, отчаливающее от берега Итаки, пусть даже это будет корабль морских разбойников. И никто не сможет меня удержать.

Телемах был потрясен, услышав, что я намерен вновь пуститься в плавание, но воспротивился моему намерению не так решительно, как я ожидал. Похоже, он после убийства женихов занят только самим собой и забыл, как радовался встрече с вновь обретенным отцом.

Я и раньше подозревал, а теперь и вовсе уверен, что упорное нежелание Пенелопы узнать меня — не что иное, как притворство: она хочет наказать меня не знаю уж за какие грехи. Мое подозрение подтвердил Телемах, рассказав, в какое отчаяние она пришла, убедившись, что я действительно ушел. Не ушел даже, а бежал.

Если она хотела наказать меня за то, что я не раскрыл перед ней свой план мести женихам, это ей удалось вполне, так что теперь я в свою очередь обиделся на нее и решил, что и впрямь сяду на первое же судно, отплывающее с Итаки. В сущности, не на такую уж большую жертву я иду, поскольку по характеру своему я склонен к скитаниям, к приключениям, люблю узнавать новые земли и новых людей, а ветры и фортуна мне в этом помогают. И наконец-то я сброшу эти нищенские лохмотья и перестану притворяться. На берегу, где я высадился, под густыми зарослями диких олив спрятаны драгоценные дары царя феаков: мне хватит их, чтобы купить себе небольшое судно и нанять опытных моряков. На Закинфе есть верфь, где строят отличные суда из смолистого кедра, и, как говорят, строят быстро.

Я спросил у Телемаха, что, по его мнению, лучше — назваться моему старому отцу Лаэрту сразу или подождать, когда он узнает меня сам.

— Твоему старому отцу трудно будет без подготовки выдержать такое потрясение, так что лучше тебе ничего сразу не говорить: пусть он узнает тебя сам.

Ответ Телемаха навел меня на мысль, что он заразился сомнениями Пенелопы: он больше не уверен, что я — это я, и теперь хочет посмотреть, узнает ли меня старый Лаэрт.

Пенелопа

Внезапный уход Одиссея заронил в мою душу ужасное сомнение. Неужели настоящий Одиссей мог бы отказаться от своей жены и от своего дома теперь, когда он избавился от сонмища женихов? Только чужой человек мог принять такое решение и вновь пуститься в скитания по морям и неизведанным землям. Возможно, мое продиктованное чувством мести нежелание признать его Одиссеем в действительности объясняется более глубоким подозрением, в котором я боюсь признаться даже себе самой.

Пока же единственное, что я чувствую, — это отчаяние, ибо настоящий он Одиссей или нет, но я признала его как Одиссея, и это для меня главное. Я поняла, что правда и притворство переплетаются и смешиваются, но в настоящий момент на Итаке есть один человек, которого я могу принять на своем ложе как Одиссея. Только бы он еще не взошел на отплывающий корабль!

Мое упорство грозит мне новым страшным одиночеством, к которому я не готова. Даже прожорливые женихи лучше одиночества. Может, я брежу? Я сама обрекла себя на гибель, лишившись человека, который из гордости готов теперь бросить все и вернуться к бродячей жизни. А может, он знает, куда лежит его путь? Может, его ждет другая женщина?

Одиссей

Я нашел отца своего Лаэрта в саду с мотыгой в руках: он окапывал ствол молодого фруктового деревца. Тело его прикрывала грязная залатанная туника, на ногах были сшитые куски кожи, спасавшие от колючек, а на руках — рукавицы, какие обычно носят крестьяне-огородники. На голове у отца была шапка из козьей шкуры, прикрывавшая лоб и спускавшаяся на уши.

Старый царь Итаки походил теперь больше на нищего огородника, и мне стало его очень жаль. Так захотелось сразу же обнять старика и признаться, что я его сын, Одиссей, но надо было выполнить обещание, данное Телемаху.

— Сад твой хорошо обработан, — сказал я старому Лаэрту, — вижу, ты со знанием дела окапываешь ствол этого дерева, чтобы оно приносило хорошие плоды. Но сам ты так заброшен, одежда твоя, как и моя, похожа на нищенские отрепья, и мне даже трудно поверить, что ты — царь Лаэрт, как говорит юный Телемах. Я высадился на этом острове — кажется, он называется Итакой — в надежде найти здесь старого друга, с которым мы вместе сражались у стен Трои и которого я потерял из виду, когда окончилась война и каждый отправился к себе на родину. Когда я вернулся на родной Крит, то увидел, что дом, земли и стада захвачены подлыми людьми. Мне самому едва удалось спастись от них и вновь отправиться в странствия. Я господин Алибанта, сын Афиданта, — возможно, ты слышал это имя, — а зовут меня Эпéритом. Вот я и брожу теперь по белому свету и прошу подаяния у добрых людей. Боюсь, что и ты попал в лапы жестоких захватчиков и теперь как раб трудишься на отнятых у тебя землях. Я обещал Одиссею — так звали моего друга, с которым мы познакомились у стен Трои, — что награжу его щедрыми дарами, если он по возвращении посетит мой дом на Крите. Но если он случайно окажется на моей несчастной родине, теперь не знаю, как его примут новые хозяева.

Старый Лаэрт приподнял свою шапку из козьей шкуры, и в глазах его вдруг загорелись искорки волнения.

— Это действительно Итака, злополучная земля, попавшая в руки жестоких людей, сделавших супругу Одиссея пленницей в собственном доме. Но скажи, не слышал ли ты, что сталось с моим сыном Одиссеем, после того как вы покинули Трою? Могу ли я еще надеяться, что в один прекрасный день он тоже высадится здесь, на Итаке, или мне остается только оплакивать его как жертву злобного океана или диких зверей в неведомых землях?

— Прошло пять лет, — ответил я, — с тех пор, как Одиссей пристал к острову Тринакрия и его люди нанесли оскорбление Аполлону, убив быков из священного стада бога Солнца. Об этом мне поведали рыбаки из тех мест, куда буря занесла и мое судно. Но последние известия об Одиссее я слышал на острове феаков, откуда он, судя по всему, направляется сюда, на Итаку.

Услышав это, старый Лаэрт оцепенел и не сказал больше ни слова. Из глаз его потекли слезы. Тут уж я не смог удержаться и крепко обнял своего старого отца.

— Это я, твой сын Одиссей, о котором ты плачешь и который возвратился на родину через двадцать лет после ухода на Троянскую войну. Теперь, отец, перестань плакать, потому что гнусные женихи, расположившиеся в нашем дворце, уже низринуты к теням Аида. Мы с Телемахом при помощи двоих наших пастухов расправились с ними.

Старый Лаэрт посмотрел на Телемаха, потом перевел растерянный взгляд на меня.

— Как можно поверить в такое? Как вы могли их убить? Я знаю, что женихов много, все они молоды и хорошо вооружены.

Я гордо ответил:

— Женихов больше нет, Телемах может тебе это подтвердить, но нам теперь надо опасаться мести их родных и друзей.

— С трудом верится в это. Неужели боги посылают мне такую радость, да так неожиданно, после стольких лет мучений? Прошу тебя, назови мне какую-нибудь примету, чтобы я признал в тебе своего любимого сына Одиссея. Глаза мои ослабели, и я не могу на них положиться, но прошу тебя, дай мне какой-нибудь особый знак или скажи что-нибудь такое, о чем можем знать только мы с тобой.

Тогда я показал ему ногу со шрамом.

— Помнишь, отец, глубокую рану, которую нанес мне кабан во время охоты на горе Геликон? Но если этого мало, могу сказать тебе, что незадолго до моего отплытия на Троянскую войну мы вместе с тобой посадили десять яблонь и сорок деревьев инжира, чтобы потом можно было сушить их плоды в печи и заготавливать на зиму.

— Вообще-то сорок яблонь и десять инжирных деревьев. Но цифры за столько лет можно и спутать. Теперь я признаю тебя своим сыном Одиссеем.

С этими словами старый Лаэрт обнял меня и осыпал поцелуями. Потом он приказал слугам приготовить богатую трапезу и много вина, чтобы отпраздновать возвращение сына. Но Телемах молчал и не разделял радости старика.

— Пусть он и стар, — сказал он мне, — но все же отец не сразу узнал сына, как жена не узнала мужа. Сколько бед натворили долгие годы отсутствия Одиссея!

По голосу Телемаха я чувствовал, что сомнение проникло в его душу, как яд. Почему он не хотел, чтобы я сразу же раскрылся перед старым Лаэртом? Конечно, потому, что ему надо было видеть, как тот меня сам узнает. А он меня не узнал. Потом я показал ему шрам, который Пенелопа не сочла доказательством, и сказал, сколько фруктовых деревьев мы посадили перед моим отъездом, но напутал в счете. Кстати, и об этих фруктовых деревьях Одиссей мог рассказывать друзьям в долгие ветреные ночи под стенами Трои. Подозрения Пенелопы передались теперь и Телемаху. Кому нужны объятия и слезы старого Лаэрта и мои сомнительные воспоминания, если сначала Пенелопа, а теперь и Телемах не признают меня Одиссеем? Какие

еще приметы должны оправдать мое присутствие на Итаке — этой обители бесконечных слез?

Во время трапезы до нас донеслись с улицы разъяренные голоса, и мы быстро схватились за оружие. Даже старый Лаэрт взял в руки острый меч.

На улице глашатай Медонт и певец Терпиад пытались успокоить группу вооруженных людей, которые искали Телемаха, чтобы отомстить ему за смерть женихов. Но красноречивее слов двух наших подданных оказалось оружие, которым мы пригрозили смутьянам.

Я сбросил с себя нищенские лохмотья и заговорил твердо и уверенно:

— Нам удалось одержать победу над молодыми и сильными женихами, а уж вас-то мы наверняка потопим в крови. В доме есть еще вооруженные слуги. Если вы будете угрожать нам оружием, они придут к нам на помощь.

Смутьяны, не осмеливаясь приблизиться к нам, стали о чем-то переговариваться. Тогда я, стараясь склонить их к миру, снова заговорил:

— Мы не потребуем от вас расплаты за скот, забитый для пиров, и позволим забрать своих покойников. Можете похоронить их с почетом. Но любая попытка решить дело войной пробудит наш гнев, и новая кровь прольется на иссохшую землю Итаки. Думайте сами. Займитесь лучше мертвыми, сплетите для них миртовые венки и проводите с миром в последний путь, а потом без шума разойдитесь по домам. И знайте, что отныне не я, Одиссей, буду царем Итаки. Вашим господином будет мой юный сын Телемах, которому я уступаю и трон, и право управлять островом так, чтобы на нем господствовали мир и согласие.

Слова мои, похоже, утихомирили толпу, и она в молчании отхлынула от дома Лаэрта.

Телемах подошел ко мне, чтобы узнать, действительно ли я готов отказаться от властвования над Итакой, или это просто военная хитрость, рассчитанная на умиротворение горожан.

— Поскольку я решил покинуть остров и дом, где меня отвергает собственная супруга, царем будешь ты: ведь Итака не может остаться без правителя.

— Но Пенелопа в горе от твоего ухода. Ты не можешь причинить ей еще и эту боль.

— Она, по-твоему, в горе от ухода бродяги, для которого заказаны сандалии, чтобы он поскорее убрался отсюда? Мы избавили ее от женихов с огромной опасностью для собственной жизни, но не знаю, действительно ли в глубине души Пенелопа рада, что ее освободили. У тебя есть все основания быть довольным. Но Пенелопа? Ты не забыл, что сам согласился держать наш план в секрете, опасаясь, как бы она не проговорилась о нем Антиною, Эвримаху или кому-нибудь еще из женихов?

— Прошу, — сказал тогда Телемах, — возвратись во дворец, где плачущая Пенелопа ждет тебя. Пожалуйста, отец мой Одиссей.

Какая невинная хитрость — назвать меня отцом Одиссеем. Значит, несмотря на свои сомнения, Телемах готов принять меня в своем доме как отца, лишь бы не огорчить Пенелопу.

Мы оставили так и не выпускавшего из рук оружия старого Лаэрта со слугами в доме за городскими воротами и молча направились в сторону дворца.

Пенелопа

Телемах пришел ко мне в покои сказать, что Одиссей вернулся. Он признался также, что старик Лаэрт не узнал сына и теперь он сам опасается, как бы нам не оказаться в руках мошенника, который, наслушавшись рассказов Одиссея у стен Трои, теперь выдает себя за царя Итаки. Бедный Телемах, за несколько дней он и обрел и потерял отца.

Роли внезапно переменились. Я узнала Одиссея, но притворялась, будто он мне незнаком, а Телемах, сразу принявший его как отца, сейчас хочет заронить и в мою душу подозрение, что мы имеем дело с самозванцем. В общем, мое притворство оборачивается новыми подозрениями, обнаруживается какая-то новая правда, и голова моя идет кругом. Да, Лаэрт не сразу узнал сына, но меня это не удивляет, потому что уже давно память у него ненадежна, как ненадежно старое судно во время шторма.

Итак, я спущусь и обниму Одиссея, к которому всегда, если не считать обид последних дней, относилась с любовью и безграничным восхищением. Я так устала, и сейчас мне нужно только немного покоя.

Хитроумный Одиссей уступил свой трон Телемаху, и это может породить новые сомнения. Но почему никто не подумает обо мне? Зачем Телемах пробуждает в моей душе сомнения? Уж лучше бы он начал заниматься государственными делами — их накопилось великое множество. Неужели он не видит, какая разруха царит на острове? Дороги разбиты, земля иссушена ветрами, стада почти истреблены, запасы воды иссякают. Вот чем он должен заняться, если хочет добиться уважения подданных.

Я привела в порядок распухшее от слез лицо, быстро подкрасила щеки и губы, причесалась с помощью одной из служанок, надела свои лучшие одежды и ожерелье из лазурита тоже, чтобы еще раз доказать Одиссею, что досталось оно мне праведным путем и мне нечего от него скрывать. Потом я спустилась в большой зал, где уже сидел Одиссей.

Я бросилась к мужу, обняла его, не сдерживая слез, — теперь это были слезы любви и радости. Мы долго молча стояли обнявшись на глазах у Телемаха, не пожелавшего разделить нашу радость.

Когда наконец мы, растроганные и смущенные, посмотрели друг другу в глаза, Одиссей произнес слова, подтвердившие то, что я поняла с самого начала и что никто уже не мог опровергнуть. В мире множество истин, но главная — лишь одна, та, которую тебе подсказали добрые духи и голос любви.

— Прорицатель Тиресий сказал мне однажды, что я возвращусь на родную Итаку, но потом вновь пущусь в странствия по разным странам вслед за солнцем, что страшная буря разобьет мой корабль и я вместе со своими матросами найду смерть в морской пучине.

Как знать, может, мрачное предсказание Тиресия оправдалось бы в том случае, если бы Одиссей покинул нас? Или оно относится к будущему? Одиссей понял, чем я напугана, и погладил меня по голове, чтобы успокоить.

— Уже был случай, — сказал он твердо, — когда боги приговорили меня к смерти, решив утопить в бурном море, но моя упорная воля переломила судьбу. Теперь я останусь на Итаке со своей супругой, пока не получу от нее сандалий, заказанных опытному мастеру, но надеюсь, что ее любовь замедлит их изготовление точно так же, как это было со смертным покровом для Лаэрта, который она ткала и распускала, стараясь избавиться от притязаний женихов.

Мне не нужно теперь этого предлога, чтобы не отпускать от себя Одиссея, но я оценила его слова, опровергающие страшное предсказание Тиресия.

Я хочу жить нормальной жизнью — чтобы любимый муж был рядом со мной и днем, и ночью, в супружеской постели. И так ли уж для меня важны чьи-то опасения, что это не настоящий Одиссей? Я признала его Одиссеем, едва увидев, — по голосу, по глазам, по хитрой улыбке и по тысяче мелких черточек, которые для меня убедительнее, чем шрам на ноге для Эвриклеи. Мои чувства говорят, что к нам возвратился Одиссей, и я не желаю ничего больше знать, потому что теперь мне не грозит ужасное одиночество, на которое я едва не обрекла себя вторично.

По решению Одиссея, островом станет править Телемах. Отец будет помогать ему своими советами, и я считаю, что это мудрое решение позволит мне после

стольких перипетий снова наконец быть вместе с человеком, которого послал мне или возвратил какой-то милосердный бог.

Одиссей

Я нагородил столько лжи, что теперь не могу выпутаться из клубка слов, которыми сам себя опутал. Я не устоял даже перед искушением лгать самому себе и доводил себя до слез, рассказывая всякие выдуманные истории с печальным концом. Поэты воспевают подвиги героев, но я не поэт и вряд ли герой, хотя и совершил подвиги, которые все считают выдающимися, но которым суждено забвение, как и всем делам людским, если не найдется поэт, способный о них поведать.

Где эти поэты? Не было поэтов ни под стенами Трои, ни на кораблях, на которых я бороздил моря. Если ты провел в сражениях хотя бы один день, ты сможешь рассказать о войне тысячу историй. Если ты любил хотя бы одну женщину, сможешь рассказать тысячу любовных историй. Но тот, кто прожил жизнь без любви и без страданий, не может придумать ничего, кроме слов, пустых и бесцветных, как зола.

Настоящие герои умирают молодыми — либо в сражениях, либо от руки предателей, завидующих их доблести. Я жив и должен заботиться о своей новой жизни с Пенелопой, вновь завоевать не только ее любовь, но и доверие, дать отдохновение своей душе и наслаждаться плодами своих многолетних трудов. Я не скажу больше ни единого слова об ожерелье из лазурита, хотя история о финикийском купце меня не убедила, несмотря на заверения Эвриклеи. Вряд ли бродячий купец торгует такими ценными и такими изящными украшениями. Но даже если Пенелопа мне солгала и получила ожерелье в дар от Антиноя, я уверен, что он от нее взамен не получил ничего. Каким бы дурным советчиком ни было одиночество, реши Пенелопа уступить одному из женихов, будь то Антиной или кто-то другой, она бы сделала это открыто и избавилась от всех остальных претендентов, заполонивших ее дом и пожиравших ее скот.

Уверен, что настанет день, когда это ожерелье, такое ценное, будет потеряно раз и навсегда.

Не раз Пенелопа жаловалась Телемаху и старой Эвриклее, сокрушаясь о том, сколько скота губят ее прожорливые женихи. Разве для такой бережливой женщины, как она, нежные чувства к одному из них не стали бы поводом положить конец разбою?

Спустившись в большой зал, Пенелопа обняла меня с такой пылкостью, что сразу же исчезло всякое недоверие, портившее наши отношения с того самого момента, как я появился во дворце. От волнения она не могла говорить, а лишь осыпала меня поцелуями и заливала слезами, смешавшимися с моими.

Я решил что-нибудь сказать, чтобы прервать этот поток слез, и предложил ей затянуть изготовление сандалий так же, как она затянула свою работу над Лаэртовым покровом: пусть не сбудется предсказание Тиресия. Это было своего рода любовное заклинание, предложение игры, позволявшей предотвратить мой вторичный отъезд с острова.

Мне показалось, что во взгляде Телемаха еще проскальзывало недоверие, но он успокоился, когда я подтвердил свое решение передать ему власть над островом. Он лишь попросил поддерживать его советами, и я по достоинству оценил этот жест скромности и доверия, хотя и видел: в глубине души он сомневается, что я — Одиссей. Ему нужен был отец, вот он и решил признать меня. Такова его правда.

Конечно же, я еще займусь своей Итакой. Построю небольшой флот — не для войны, для торговли. Наши моряки будут плавать по морям Пелопоннеса и доставлять свои товары на самые отдаленные острова. В общем, землей займется Телемах, я же займусь морем.

Эвриклея взяла в свои руки домашнее хозяйство и с помощью прислуги наводит порядок и чистоту на кухнях и в кладовых, она позаботилась о запасах оливкового масла, оливок в рассоле и разных приправ, велела отмыть черные каменные жернова для помола зерна, приготовила сосуды для хранения меда и сушеных фруктов и еще промыла морской водой и окурила серой амфоры для молодого вина.

Телемах собрал людей, чтобы привести в порядок палестру, приказал починить дороги, выполоть сорняки и, где надо, перестелить мостовые и засыпать промоины. Все работают споро и весело и молят богов послать нам дождь, чтобы увлажнить землю. Молодежь, затянув пояса, отправилась в лес охотиться за роями диких пчел: громыхая медными тарелками их загонят на нашу пасеку. По ночам на горизонте виднеются праздничные огни, а с гор доносятся песни пастухов, которые, по слухам, пьянствовали три дня подряд.

После ужина, проходившего под звуки цитры и радостное пение Терпиада, мы с Пенелопой переглянулись и, стараясь не смущать Телемаха, поднялись из-за стола и направились в верхние покои. Певец, конечно, не упустил случая отметить это событие добрыми пожеланиями, от которых Пенелопа покраснела. Мы ускорили шаг и по лестнице поднимались уже бегом, спасаясь от неприличных намеков, которыми певцы обычно смущают молодоженов.

В сущности, разве это было не второе наше бракосочетание? Да, мы с Пенелопой стали другими. Приключения, кораблекрушения, страдания, одиночество, обман, а под конец ужасное кровопролитие оставили отпечатки в наших сердцах и на наших лицах, как ветры и ненастье оставляют отметины на камнях. После стольких недоразумений я старался убедить себя, что наконец Пенелопа — это Пенелопа, а Одиссей — Одиссей. Но не всегда простые вещи бывают доходчивы. Я чувствовал, что сомнения еще мучают Пенелопу, хотя она и пытается это скрыть.

Поднявшись наверх, мы задернули занавес, потом заперли на ключ дверь нашей комнаты, спрятавшись от внешнего мира.

Ложе, которое я описывал Пенелопе, стараясь доказать, что я — Одиссей, уже не соответствовало моим описаниям, его трудно было узнать под грудой шерстяных одеял и бараньих шкур. Время старит и людей и вещи, сказал я себе, но теперь мне надо поскорее найти способ забыть все горести, омрачившие мое возвращение на Итаку, и покончить наконец с этим невыносимым клубком лжи, который мне все еще не удалось распутать.

— Мы останемся в этой комнате безвыходно целую неделю, — сказал я Пенелопе, которая смеялась и плакала одновременно, пока я помогал ей распустить волосы и снять белоснежную льняную тунику. Наконец-то я увидел жену обнаженной, такой, какой я знал ее в те далекие годы на Итаке и какой представлял себе потом в воображении. После всех обманов и переодеваний мы, нагие, лежали на постели, и это была единственная правда, за которую я цеплялся, как человек, потерпевший кораблекрушение, цепляется за скалу. Да, была опасность, что я сорвусь и пойду ко дну у берегов своей Итаки, но теперь я спасен, хоть и весь изранен.

На лице Пенелопы было написано безмерное счастье, но из глаз ее все текли и текли слезы. Она продолжала плакать даже тогда, когда наши тела, отдаваясь друг другу, сплетались в позах, которые подсказывало нам наше желание и позволяли наши силы.

Наконец мы избавились от воспоминаний. Мы удовлетворяли все наши желания на ложе из ветвей оливы, которое скрипело под нами, как скрипит обшивка корабля в бушующем море. Одно желание порождало другое, а это другое — еще новое. Я входил в тело Пенелопы и выходил из него, и она без устали отвечала на каждый порыв сладострастия.

Мы не гасили в комнате огонь, чтобы видеть друг друга и взглядами усиливать радости любви. Пенелопа громко стонала от наслаждения, и эти стоны смешивались с криками чаек, которые радостно вились над дворцом, словно приветствуя наш новый союз и наши любовные игры.

— Хорошо, что крики чаек заглушают мой голос, — сказала Пенелопа, — потому что ты один должен слышать мои стоны любви, ты один, и никто больше.

Пенелопа

Я посоветовала Одиссею не пускать на ветер воспоминания о своих приключениях, начиная с Троянской войны и кончая его возвращением на Итаку и нашим примирением после расправы над женихами. Одиссей принял мой совет с восторгом, и теперь, когда восстановлением города и работами в сельском хозяйстве занимается Телемах, он проводит много времени с певцом Терпиадом. Вместе они сочиняют стихи для двух поэм. Первая будет посвящена Троянской войне и воспеванию славных подвигов героев, которых, сказать по правде, Одиссей не очень-то жалует, а вторая — приключениям, выпавшим на его долю во время возвращения на Итаку, вплоть до нашей встречи. Вот уж где он сможет наконец дать выход своей страсти к выдумкам.

А почему бы и мне не совершить какое-нибудь приятное путешествие? Когда они закончат первую поэму, я попрошу Одиссея свозить меня в Египет. Я наслышана о чудесах этой страны, к тому же с тех пор, как мы поженились, я ни разу не покидала Итаку, ставшую для меня чем-то вроде тюрьмы. Разве одни мужчины имеют право путешествовать?

— Как трудно сочинять поэмы, — сказал мне однажды Одиссей. — Ахилл, Гектор, Агамемнон, Аякс — это герои, но кровь у них пресная, а моя поэма должна быть соленой, как морские брызги. Надеюсь, все будет как с речной водой: в реках она пресная, а влившись в море, становится соленой.

— Главное — факты, — сказала я Одиссею, — а не их толкование. Почему море соленое, мы не знаем, с нас довольно того, что оно соленое, и все.

Одиссей, конечно же, со мной не согласился. Он сказал, что у каждого факта есть свое объяснение, что он всегда стремится все понять, а когда ему это не удается, придумывает что-нибудь правдоподобное. Правдоподобие — это одна из сторон истины, считает он. Я не стала вступать с ним в спор, ибо тогда мне пришлось бы сказать ему, что, судя по фактам, Пенелопы он так и не понял.

Наконец пошли дожди. Они освежили воздух и напоили иссохшую землю. Все этому радуются, Одиссея же занимают только мысли о Троянской войне. Время от времени он покидает Терпиада и приходит поговорить о своей поэме со мной.

— Я убедился, что легче воевать, чем рассказывать об этом. Хотя нет, легче рассказывать о войне, чем участвовать в ней.

Одиссея мучает это противоречие между словом и делом, он неспокоен, но, к счастью, больше не заговаривает об отъезде, быть может, причиной тому зловещее предсказание Тиресия. Надеюсь, что говорить о событиях для него то же самое, что и переживать их. Похоже, эти две поэмы поглотили всю его энергию и неистощимую жажду рассказывать и сочинять.

Когда мастер принес мне пару сандалий, которые ему надоело держать у себя в кладовой и за которые он хотел получить наконец плату, мы решили сжечь их. Но, похвалив сандалии за прочность, Одиссей все же надел их на ноги, сказав, что сжечь их можно потом, а сейчас ему предстоит сделать одно дело.

Меня всю затрясло от этих речей, я не могла вымолвить ни слова.

— Не бойся, — сказал он с улыбкой, — еще до захода солнца я вернусь с дарами царя феаков, которые спрятаны на берегу, там, где меня высадили матросы. Я не мог забрать их раньше, так как меня приняли бы за одного из разбойников, которые рыщут по морям и побережью в поисках добычи. Сейчас я схожу за этими искусно сделанными предметами обихода из серебра и золота, и мы выставим их у себя в большом зале.

Его слова меня успокоили. Мне и в голову не приходило, что в них кроется очередной обман. Слишком много любви и нежности подарила я Одиссею в эти

безумные ночи, чтобы ему могла прийти в голову мысль покинуть меня, покинуть Итаку. Наше ложе превратилось в ристалище, я иду навстречу любым причудам Одиссея, потому что я люблю и его желания становятся моими. Думаю, что самым безудержным любовным играм его обучила Калипсо. Мне остается только благодарить ее, ибо она сделала более прочным и, безусловно, более надежным наш союз.

Я спокойна. И если до недавнего времени у меня еще были какие-то сомнения относительно Одиссея, сегодня я стыжусь их.

Одиссей

Я быстрым шагом пересек залитый солнцем остров и через густой кустарник направился к берегу, придерживаясь охотничьей тропы. Вдруг дорогу мне перебежала здоровенная кабаниха с тремя маленькими поросятами, но я не пожалел, что не прихватил с собой лука. Я никогда не убил бы мать, которая вывела своих малышей, чтобы научить их кормиться самостоятельно. Ни один опытный охотник не сделал бы этого.

Наконец передо мной открылось море. Сбежав на берег, я отыскал пещеру, где под старой дикой оливой были спрятаны мои сокровища. Я убрал ветки и камни, которыми они были завалены, и увидел сверкающие золотые кубки и другие дары царя феаков. Я уложил все в мешок из пеньки и уже собрался в обратный путь, как вдруг, подняв глаза, увидел плывущий вдоль берега корабль. Это было быстроходное судно — из тех, на которых купцы совершают дальние плавания, чтобы продать или обменять свои товары. На носу стояли матросы и смотрели на берег, вероятно, выискивая место, где можно причалить и устроить стоянку.

Море было подернуто рябью, легкий Эвр раздувал паруса. Я позавидовал морякам, бороздящим моря в любое время года, и подумал, что, вероятно, какой-нибудь недобрый бог послал этот корабль, чтобы испытать меня. Каждый раз при виде моря сердце мое переполняется желанием, я закрываю глаза и вижу себя на палубе, соленый ветер ласкает мне лицо, воображение рисует долгие ночи под звездным небом, когда спокойное море и теплый воздух манят ко сну. Только тому, кто много плавал и по тихим, и по бурным водам, знакома радость, которой море наполняет душу мореплавателей.

Сейчас мне надо было только поднять сверкающий золотой кубок и показать его собравшимся на палубе матросам: судно зашло бы в наш залив, я мог бы присоединиться к ним и поплыть к далеким новым берегам. Небо, море, ветер, надувающий паруса... Днем солнце, бледная луна в теплые и спокойные ночи... Можно ловить рыбу и запекать ее на углях...

У обдуваемых ветрами стен Трои герои ели лишь жареное мясо, как боги, которые питаются жертвенными животными и пренебрегают рыбой. Эти герои-воины были вечно голодны, и им приходилось грабить безоружных пастухов с равнины, а мы с друзьями довольствовались рыбой. Но я же моряк.

Вот судно уже приближается, потому что я невольно поднял руку со сверкающим золотым кубком, и матросы делают мне какие-то знаки, и я слышу их голоса, зовущие меня на корабль. Может, море — это моя судьба, раз уж боги послали сюда этот корабль и заставили меня показать золотой кубок. Но поднимусь ли я на борт? Что говорит мое моряцкое сердце? Я закрываю глаза, чтобы не видеть приближающееся судно.

Нет, любезные мои моряки, я не поплыву с вами. Завидую вам, но с вами не поплыву. Меня ждут Пенелопа и Телемах, он слишком молод, чтобы в одиночку управлять островом. А Терпиад? Для чего я спас ему жизнь, как не для того, чтобы сочинить эти две поэмы, которые уже сложились у меня в голове? Искушение морем велико, но я устоял даже перед пением сирен, неужто я позволю увлечь себя какому-то торговому судну!

Сунув золотой кубок обратно в мешок, я вскинул на плечи сокровища феаков и поскорее, не оглядываясь, сопровождаемый лишь собственной тенью, пустился в обратный путь по охотничьей тропе.

До дворца я добрался уже после захода солнца. Прежде чем войти, я немного замешкался, но Пенелопа вышла мне навстречу и обняла меня так, словно я вернулся домой после долго путешествия. Мы стояли обнявшись, и она так крепко прижимала меня к себе, будто боялась, что я могу исчезнуть.

— Я думала, ты не вернешься.

— Ни на мгновение мне не приходила в голову мысль вновь пуститься в странствия. Боги тому свидетели. Море слишком часто предавало меня, и теперь я к нему совершенно равнодушен. Это истинная правда.

Я разложил на столе перед Пенелопой дары царя феаков. Бронзовый меч с серебряной рукоятью — Пенелопа, чтобы доставить мне удовольствие, смотрела на него с притворным восхищением, — четыре великолепных чеканных золотых кубка, три большие серебряные чаши и несколько ларцов для драгоценностей. Всего тринадцать драгоценных предметов, ровно столько, сколько царей на острове феаков.

— Все это пополнит царскую сокровищницу, а золотыми кубками и серебряными чашами мы станем пользоваться для приема важных гостей.

— И ни о чем больше не будем думать? — спросила Пенелопа.

— Ни о чем.

Наконец я разулся, и мы бросили сандалии вместе с горстью соли в огонь, чтобы у меня никогда больше не возникло желания покинуть остров.

Пенелопа

Одиссей дал мне клятвенное обещание.

— Мой отец Лаэрт, — сказал он, — царь-огородник. Я же отныне буду царем босоногим.

— Значит, ты остаешься на Итаке?

— Остаюсь на Итаке навсегда. Боги тому свидетели.

Дал он мне еще и другое обещание. Сказал, что Елена займет лишь скромное место в поэме о Троянской войне, во всяком случае, о ней будет сказано не больше, чем обо мне в поэме о его возвращении на Итаку.

Время от времени до меня доносятся горячие споры. Одиссей и Терпиад только и делают, что спорят, и я опасаюсь, как бы Одиссей не схватился за меч, — тогда прощайте поэмы. Терпиад упрямый и хочет, чтобы Одиссей рассказывал только о том, что происходило на самом деле, Одиссей же считает, что все рассказываемое им — правда; он не умеет отличать действительность от фантазии. Впрочем, бывает ли когда-нибудь поэзия правдивой? В самой поэзии кроется правда, которой нет в окружающей нас жизни: правда — в мыслях поэта и тех, кто его слушает.

Одиссей не желает, чтобы я присутствовала при их работе, если сочинение стихов вообще можно назвать работой. Не только война, считает он, мужское дело, но и поэзия. Так что я иногда прячусь за занавесом над верхней ступенькой лестницы и слушаю.

Начало первой поэмы, в которой описывается Троянская война, звучное и драматичное, каким оно и должно быть, чтобы вызвать интерес у людей на городских площадях и базарах:

> Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
> Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал...[1]

[1] *Илиада*. Песнь первая. *(Перевод Н. Гнедича.)*

Ахилл — единственный герой из ахейского лагеря, который симпатичен Одиссею, вероятно, потому, что он, как и сам Одиссей, делал все возможное, чтобы не участвовать в этой злополучной войне, и все же сражался в ней доблестно. Хотелось бы знать, что у Одиссея получится, когда дело дойдет до Агамемнона и Менелая, которых он ненавидит.

Я уверена, что, несмотря на споры с Терпиадом, Одиссей твердо намерен довести свои поэтические труды до конца, потому что в них будет запечатлена его память. И моя тоже.

Постскриптум

Древние мифы бронзового века до сих пор еще, кажется, можно услышать от пастухов в горах Крита, Додеканнеса и Кипра. Несколько лет тому назад на Корфу — а он, как полагают некоторые, и есть остров феаков — какой-то старичок, сидя на скамейке на углу одной из припортовых улиц, за несколько драхм рассказывал древние истории и сказки о любви и смерти. В том числе и романизированную историю царя-воина, с победой возвратившегося на родину после многолетней осады вражеского города и очень долгого путешествия по Средиземному морю. Он застал на своем острове князей из ближних мест, которые захватили его замок и намеревались жениться на царице, его жене. Персонажи в рассказе старика были безымянными, то есть имена героев Гомера не упоминались, но нетрудно было догадаться, что речь шла об Одиссее, Пенелопе и женихах, которые, как и в поэме Гомера, все как один были убиты.

Я подумал, что и сейчас можно почерпнуть непосредственно из народных сказаний и передать другими словами историю Одиссея и Пенелопы, историю, которая почти через три тысячелетия вместе с записанной поэмой вошла в эпоху электронной коммуникации.

Но был еще один повод, более частного и будничного свойства, побудивший меня переосмыслить историю Одиссея и его встречи с Пенелопой по возвращении на Итаку. Как-то вечером мы говорили о Гомере и о некоторых накладках в его творчестве с Пьетро Пуччи — профессором древнегреческой литературы Корнеллского университета в Итаке (штат Нью-Йорк), написавшим несколько книг о поэмах Гомера с интересным филологическим анализом. Вдруг в разговор вступила моя жена Анна. Ее замечание удивило и меня, и ученого специалиста по Гомеру.

— Пенелопа, — сказала Анна, — поняла, что под маской нищего скрывается Одиссей, но какое-то время она делала вид, будто не узнает его, чтобы наказать мужа за любовные приключения на пути с войны, но главное — за его недоверие, ведь он открылся не перед ней, а перед Телемахом и старой няней Эвриклеей. Короче говоря, это история любви, ревности и супружеских хитростей, которую надо интерпретировать по-новому и переписать для современного читателя.

Повествование сказочника с острова Корфу, но прежде всего замечание моей жены и побудили меня переписать историю Одиссея и Пенелопы, позволив себе некоторые отступления от гомеровского повествования, чтобы показать не только общепризнанное хитроумие Одиссея, но и его эмоциональную возбудимость, а также хитрость и гордость Пенелопы. Характер этой женщины куда менее пассивен, чем явствует из поверхностного прочтения «Одиссеи»; в нашем сознании закрепилось ошибочное и несколько расплывчатое представление об этом замечательном романтическом персонаже.

В конце повествования я осмелился высказать свое личное мнение о происхождении «Илиады» и «Одиссеи» или, по крайней мере, об изначальных текстах

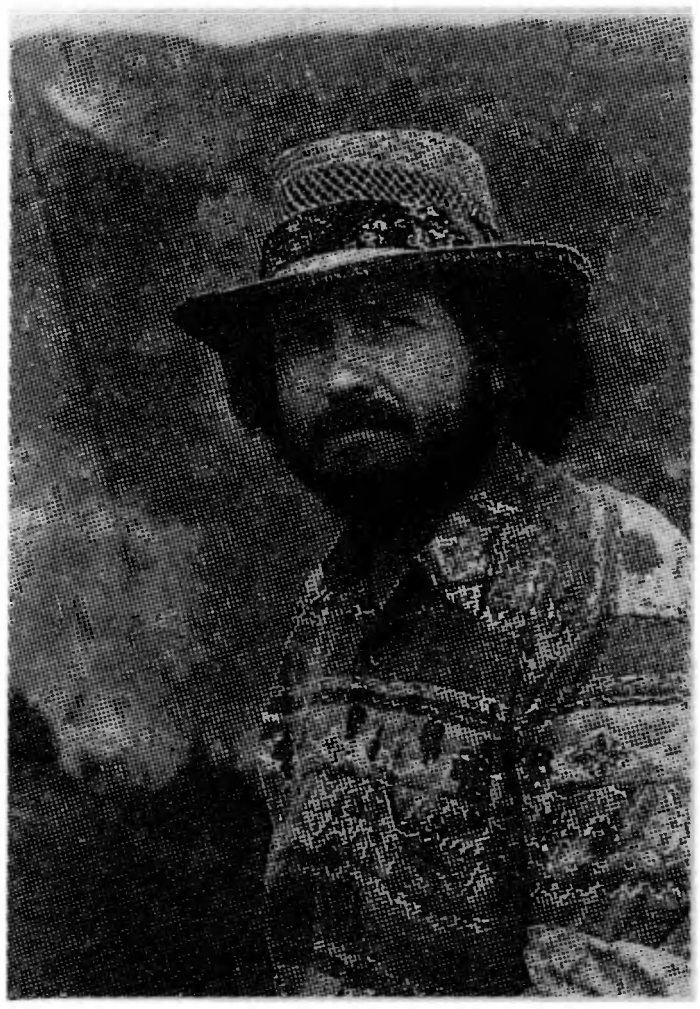
обеих поэм. Кто лучше, чем такой фантазер, как Одиссей, мог рассказать все эти истории о войне, о приключениях и о любви? Разве не служат подтверждением тому его рассказы во дворце Алкиноя?

Предположение смелое, но не такое уж абсурдное, если учесть, что в одном из анонимных текстов, который специалисты относят к IV веку до н. э. и который называется «Certame» (речь идет о поэтическом состязании между Гесиодом и Гомером), говорится, что автором «Илиады» и «Одиссеи» был сын Телемаха, сохранивший, таким образом, семейную легенду. В древнем анонимном тексте упоминается также о женщине с острова Итака, проданной в рабство финикийцами, как о матери Гомера. Все закручено вокруг Итаки и семейства Одиссея: так лозоходец медленно нащупывает скрытый под землей источник воды.

Быть может, Одиссей — автор обеих поэм? Не самая ли это простая и привлекательная гипотеза?

Л. М.

■



НАЙДЖЕЛ ДЖЕНКИНС

Дракон с двумя языками: литература Уэльса[1]

Перевод с английского и вступление ОЛЬГИ КЕЛЬБЕРТ

Найджел Дженкинс — один из самых интересных уэльских поэтов, пишущих на английском языке. Его поэзия, часто несколько ироничная, затрагивает самые разнообразные сферы жизни, но один мотив в ней неизменен: ностальгическое обращение к национальным кельтским корням, к прошлой культуре, к уэльскому (валлийскому) языку, который был родным для его предков. Дженкинс родился в 1949 году в Южном Уэльсе, в валлийской семье, которая, как и большинство других, благодаря социальным обстоятельствам, во многом утратила свои национальные черты. Уэльский язык, на котором существует многовековая богатейшая литература, с XIX века стал активно вытесняться английским. Уэльский оказался «запрещенным» языком, еще в середине нашего века на нем не разрешалось разговаривать в школах. Он сохранился только в некоторых местах на севере Уэльса. Но язык продолжал жить в сочинениях авторов, писавших на родном языке, в отдельных семьях, сохранивших его или память о нем, и культура, которая, казалось бы, полностью утрачена за прошедшие два столетия, стала возрождаться. Открываются уэльские школы, и многие родители стремятся отдать туда детей, чтобы язык стал для них не историей, а реальностью. Очень важную роль в этом играют писатели. Кроме текстов, созданных на уэльском языке, существует большой пласт литературы англоязычной по форме, но по существу уэльской: с кельтскими реминисценциями, мотивами и образами, где уэльский язык присутствует так или иначе, в виде вкраплений в текст либо как основа мироощущения, что создает специфический культурный фон. Найджел Дженкинс принадлежит к тем, кто активно способствует новому расцвету уэльской культуры. Будучи профессиональным литератором, он издал несколько сборников стихов, много работает для радио и телевидения, сотрудничает в журналах. Статья об англо-уэльском двуязычии и подборка стихов — дар автора читателям «Иностранной литературы».

В национальном гимне Уэльса, названном «Земля моих отцов», об Уэльсе говорится как о «стране песен и бардов». Но Уэльс неизмеримо больше заслуживает названия «страна слова», т. к. на его земле издавна произрастает одна из самых богатых и древних литератур Европы. Самые ранние образцы литературы Британских островов появились в Уэльсе.

Никто достоверно не знает, когда уэльский (валлийский) язык, принадлежащий к кельтской ветви индоевропейских языков, выделился из языка бриттов, коренного населения Британии. Самые ранние из известных нам уэльских поэтов искусно владели им еще в шестом веке, и он продолжает существовать и сохраняет свою живую силу и по сей день.

---

[1] На национальном гербе Уэльса — изображение дракона. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

© Nigel Jenkins, 1990
© О. Кельберт. Перевод, вступление, 1998

В Центральной библиотеке Кардиффа, столицы Уэльса, можно увидеть бесценную «Книгу Анейрина» (1265), содержащую длинную поэму шестого века об отчаянной попытке валлийских бриттов, живших на территории современной Южной Шотландии, защитить свою землю от нашествия англов. Современник Анейрина Талисин, уроженец Среднего Уэльса, также прославлял властителей этих утраченных северных земель. Их стихи напоминают нам о временах, когда кельты в течение веков жили повсеместно на этих островах, пока германские племена, ставшие впоследствии англичанами, не вытеснили их к юго-западному побережью, заменив исконное название кельтского народа «cymry» (уэльск.) — соотечественники на «welisc» (староангл.) — иностранцы.

Жанр стиха органически присущ уэльской литературе, но и в прозе есть свои шедевры. Так, «Мабиногион», где впервые предстает миру король Артур, явился величайшим вкладом уэльской культуры в литературу Европы. Эти волшебные сказания были записаны в одиннадцатом веке, но задолго до того составляли репертуар народных сказителей.

В поисках непосредственного источника рассказов Артурова цикла, захвативших воображение всего мира, начиная с Мэлори («Смерть Артура») и кончая Диснеем («Меч в камне»), мы должны обратить взгляд к Уэльсу, к Джефри из Монмаута (1090—1155).

Взяв за основу «Историю бриттов» Неннния (IX в.), Джефри сочинил мифическую «Историю королей Британии», которая рисует Артура как романтического короля-героя, раскинувшего свой королевский двор в Карлеоне близ Ньюпорта. Вымышленная история Джефри быстро попала на континент, где из нее произросло множество захватывающих сюжетов. Уэльс часто обвиняют в том, что он «ставит свечу под сосуд, а не на подсвечник»[1]: до самого 1846 года «Мабиногион» не переводился на английский язык, его появление вызвало сенсацию. Но только в двадцатом веке мы находим на английском языке впечатляющие образцы уэльской поэзии, выполненные поэтами успешнее, нежели учеными. Такие гиганты уэльской литературы, как Анейрин, Талисин и Давит из Гуилима, далеко не так известны за пределами Уэльса, как их младшие собратья, писавшие на английском языке. Отчасти это происходило ввиду необычайной трудности перевода причудливо орнаментированной музыкальной структуры традиционного уэльского стиха — это задача в своем роде столь же обескураживающая, как перевод на английский язык ювелирно ограненной китайской поэзии. Сборник уэльских стихов, переведенных на английский, изданный в серии «Penguin Books» в 1960-е годы, явился откровением для многих. Эти переводы существенно изменили общепринятую точку зрения на уэльскую поэзию, которая ранее считалась предназначенной только для валлийцев — носителей уэльского языка. Позднее фильм «Хедд Уин», выдвигавшийся на премию «Оскар» в 1994 году, познакомил уже многомиллионную аудиторию с мощной культурой бардов. Фильм повествует о молодом поэте, получившем посмертно — он был убит в первую мировую войну — титул первого уэльского барда на национальном фестивале поэзии Эйстетвод. Сценарий фильма, основанный на реальных фактах, написан Аланом Ллойдом, который сам дважды выигрывал Корону барда, — беспрецедентное событие в истории фестиваля.

Попав в августе на Национальный фестиваль Эйстетвод, можно увидеть тысячи людей, собравшихся чествовать лучших бардов. Фестиваль проводится на уэльском языке, но те, кто не знает языка, пользуются наушниками с синхронным переводом. Первый известный фестиваль состоялся в 1176 году в замке Кардиган; современный Эйстетвод, самый крупный из поэтических фестивалей, проводится ежегодно в разных концах страны, перемещаясь из города в город.

Поэзия в Уэльсе имеет значение, которое в большинстве других стран невозможно представить. Она необходима как воздух и обладает магическими свойствами, словно железо, обратившееся в золото. На каждого Хедда Уина приходится сотня скромных тружеников слова, которые играют весьма важную роль в обыденной жизни, например, пи-

[1] Евангелие от Марка, 4, 21.

шут стихи к свадьбам или же сочиняют «энглин» — особые четверостишия, помещающиеся на надгробия.

Несмотря на такую распространенность стихотворства в Уэльсе, версификация на уэльском языке — непростое дело, техника построения стиха, восходящая к пятнадцатому веку, сложна и требует высокого мастерства, как, впрочем, и повсюду в мире.

От демократического стиля уэльской литературы последних столетий сильно отличается героическая и аристократическая куртуазная поэзия первых восьми веков. Это была длительная и жестокая эпоха сопротивления, сначала англосаксонским племенам, потом норманнам и англонорманнам — и поэты оказывались в центре борьбы за выживание. Придворные поэты были могущественны и влиятельны — так, один из них, Канделло, напоминал лорду Рису в Дайневоре: «Без меня — нет голоса у тебя; без тебя — я голоса не имею».

Современному читателю трудно сочувствовать войнам, которые часто прославляются в стихах того времени, но немногие могут остаться равнодушными к жесткой красоте классических элегий, оплакивающих разрушенные королевские дворцы, такие, как Канддилан Холл в Поуисе, или к вселенскому плачу отчаяния по Ллуэлину, последнему королю независимого Уэльса, убитому в 1282 году в Килмери.

Ничто в поэзии ранних веков не предвещало, что уже после потери Уэльсом независимости[1] появится Давит из Гуилима (1320—1380), возможно, величайший уэльский поэт на протяжении всей истории. В своих изысканных стихах он прославляет природу и устремляется за прекрасными женщинами, в чем обычно, посмеиваясь над собой, терпит неудачу. Давит родился в Бро-Гинине близ Аберистуита (где можно увидеть развалины его дома). Место его захоронения — предмет горячих споров. Каменная доска у подножья старого тиса в разрушенном аббатстве Страта Флорида указывает на Понтрхидведигайд, но мемориальный камень во дворе церкви к северу от Лландейло называет Таллей.

В шестнадцатом веке был сделан перевод Библии на уэльский язык, что способствовало сохранению языка и дало писателям следующих поколений превосходный образец классической прозы. Эту работу возглавил епископ Уильям Морган. В Уэльсе чтут местечко Ти Маур, где он родился, а в соборе Святого Иоасафа, где был захоронен Морган, стоит памятник переводчикам.

Массовая кампания за всеобщую грамотность, начавшаяся в восемнадцатом веке, сделала валлийцев, наряду со шведами, самой грамотной нацией в Европе. Этому способствовало и религиозное пробуждение, обязанное, в свою очередь, небывалому взлету проповедничества и развитию гимнописания. Одним из наиболее известных методистских поэтов, чьи стихи поются на церковных службах во всем мире, был Уильям Уильямс, о котором говорят как о первом поэте европейского романтического направления.

Хотя число говорящих на уэльском языке сократилось с восьмидесяти процентов в девятнадцатом веке до двадцати процентов (полумиллиона) в нынешнем, в Уэльсе продолжали появляться значительные литературные произведения. Из известных писателей можно упомянуть четырех: Гвеналт Джонс, поэт промышленной долины Суонси; Сондерс Льюис, поэт, романист, драматург и критик; Уолдоу Уильямс, самый сложный (и любимый) из всех «народный поэт», и Кейт Робертс, чьи романы и короткие рассказы, на какие бы языки ни переводились, находят благодарных читателей.

Уэльские современные писатели, пишущие на английском, такие, как Дилан Томас, Алан Льюис, Дэнни Абс, Р.С.Томас, конечно, гораздо больше известны в мире, чем их современники, продолжающие писать на старом добром уэльском. Можно попытаться проследить старинную «англо-уэльскую» литературную традицию, восходящую к 1480-м годам и объединяющую англоязычных уэльских писателей. Народ Уэльса пишет на «языке завоевателей» уже пять столетий, с тех пор, как житель приграничной полосы Джон Кланвоу написал «Кукушку и соловья», поэму, когда-то приписанную Чосеру. Но самоосознание двойственности уэльской литературы, созданной на английском языке,

[1] Уэльс был присоединен к Англии в 1284 г. при Эдуарде I.

понимание ее уэльских корней и традиций пришло после первой мировой войны. Начало этого процесса можно усмотреть в антиуэльской правительственной политике конца девятнадцатого века; были изданы указы об обязательном образовании для каждого жителя Уэльса, но обучение предписывалось проводить исключительно на английском языке. Это обстоятельство, наряду с тем, что Уэльс в девятнадцатом веке стал промышленным районом и в южных долинах поселились тысячи рабочих из Англии, Ирландии, Италии, Испании, для которых английский стал lingva franca, привело к тому, что английский начал считаться языком процветания и прогресса. Английский оказался главным, если не единственным, языком уэльского народа. И в то время как авторы, сохранившие свой язык, продолжали писать на уэльском, в двадцатом веке возник значительный массив литературы на английском языке.

В любом конце угольного бассейна Уэльса, куда ни кинешь взгляд, можно обнаружить известных поэтов. В Ньюпорте это — «трубадур» Дэвис, о чьих знаменитых строчках «Что за жизнь, если, полон забот и тревог, ты вглядеться в нее ни секунды не мог» напоминает городской памятник; в Суонси — Дилан Томас и его близкий друг Вернон Уоткинс. Мастерская отделка и уникальное звучание стиха сделали Дилана Томаса одним из самых заметных поэтов двадцатого столетия, вызывающих споры и вносящих новую струю в литературу. Его языком был английский, но в его творчестве отчетливо просматривается уэльская традиция, которая возникла под косвенным влиянием Джерарда Манли Хопкинса. Готовясь стать иезуитским священником в колледже в Клуиде, Хопкинс увлекся творчеством, его стихи состояли из опьяняющей смеси Бога, пейзажей Клуида, уэльского языка и уэльской поэзии. Использование уэльской игры слов в английских строчках придало им дерзкую свежесть и живую мелодику и, думается, подвигло Дилана Томаса на обращение к уэльским литературным корням.

«Дилан дал нам страну, в которой прекрасно быть ребенком, — писал поэт Гарри Уэбб, — его преемник... представил нам страну, в которой необходимо быть человеком». Говоря это, он имел в виду Р. С. Томаса (род. в 1913 г.), поэта-священника, под влиянием которого выросло поколение англоязычных поэтов 1960-х годов, считающих себя валлийцами.

Число говорящих на уэльском языке на протяжении двадцатого века неуклонно сокращалось, на сегодняшний день уэльский является родным языком для 5% трехмиллионного населения Уэльса. Это печальный факт, но тем не менее в наши дни возрастает число англоговорящих семей, желающих дать детям образование на уэльском языке.

Уэльский язык, даже для тех из нас, кому не дано судьбой говорить и писать на нем, является краеугольным камнем нашей культуры и национального самосознания. Без него мы непременно утратили бы свою культуру, как бедный старый Корнуолл, кельтская страна на юго-западе Британии, которая потеряла свой язык в восемнадцатом веке. Мы не думаем и не пишем на уэльском все время. Но он у нас есть и напоминает нам, среди всего прочего, о той роли, которую поэзия играла в течение по крайней мере полутора тысяч лет в жизни нашего народа.

Откуда приходят стихи

Они приходят, я полагаю, из Лондона
или еще откуда-нибудь из Англии —
с небес, вероятно.
Разве не Бог, после всех трудов,
испачкавшись мелом,
в мятой одежде, с серебряными волосами,
разве не Он в свободное время

нанизывает рифмы
о красоте вещей?

Путешествия им нужны —
по холмам и долинам,
через двери, залитые лунным светом,
но последнюю часть пути
тяжело одолеть
словам с известковой пылью.
Они были мелом, усталым взглядом,
они были коленной дрожью,
когда все замолкает в конце недели,
жадно ждущей субботы.
Они были бумагой и были словом,
книгами, желтеющими в шкафу в пыльном классе, —
там, откуда стихи в самом деле вышли.

Они возникали у меня за спиной,
говоря мне что-то,
хотя я не слышал слов,
их приход не связан со словом.
Я чувствовал их в кувырканье собак на снегу,
в комнатах, пахнущих свежей краской,
в сливках — больше, чем в молоке,
в игре облаков над скалой я увидел это,
я нашел это в собственном теле, впервые открыв в нем
радость опустошения,
и, в испуге, хотел поделиться этим.

Они также являлись в забытых вещах,
в чем-то абсолютно немыслимом,
а однажды они появились
в голосе фермера, сидящего за чашкой чая,
он рассуждал об устройстве мира
и говорил об этом с самим собою.

Но не из речей его они возникли,
не из названий и глаголов.
Есть пространство в вещах, расстояние между словами
и движение волн меж ними,
бесконечное колебанье.
Так я рыдал,
стоя в детстве у кромки моря, —
не было слов, чтобы выразить горе и радость,
столкнувшись лицом к лицу с великим шумом мира
и с его молчаньем.

Овцы

Я все утро следил за ними.
Они обтекали холм,
смертельно напуганные
деревенской собакой.

Но пес, завидя меня,
помчался к дому,
и снова они, свободны,
в безопасной толчее пасутся,

пощипывают траву,
неразумны и слепы.
Не видя кружащихся ворон,
безразличны к их смеху
и хлопанью крыльев
над самым ухом,
жуют себе и жуют
глупые овцы...

А вороны с хозяйским видом
по овечьим спинам гуляют,
а одна — я видел — сидела,
словно рог, на башке овечьей.

Я подумал — а что зимою?
Снег и кровь на снегу,
и глаза будут выклеваны у тех,
кто отбился от стада.

А бездумные овцы
все паслись, не заботясь ни капли
ни о торжествующих воронах,
ни о присутствии человека.

Папоротник

Папоротник из старого дома —
единственное, что я хотел взять оттуда.
Семейный шкаф, блестящие кувшины —
достанутся другим. А мне — лишь дедов
старинный папоротник, он теперь со мной —
туманный огонек
на темной полке.

Дано ли мне
вернуть ему тот блеск,
который он утратил
вместе с прошлым?

Я вздохнул: «папоротник...» —
и зашелестела вечность.
Первобытный лес, заключенный
в древесном угле.
«Дед мой. Папоротник», — и моя бабка,
учившая меня называть вещи,
открывает дверь
в комнаты, полные фруктов и солнца.
Там он сиживает порой в облаке дыма,
и эль стекает по моржовым усам,
а он все дымит и дышит
наперекор прогрессу и своей подагре.

Они мертвы, как мертво их время.
Спросить бы: когда верḿнуть их,
извлечь оттуда?
Если что-то, к примеру, пуля
разнесла в черепки сосуд,
из чего вылеплять его снова —
из праха или из глины?

Папоротник тянется по земле кельтов,
кельтов, спрятавших мир свой
в глиняном узком кувшине.
Я исследую его путь, расчищу место,
дам ему жизнь, чтобы он
цвел, меня охраняя.

Yr iaith[1]

Она, забывшая,
помнит, будто вчера,
косу, брошенную ржаветь
в объятьях яблони,
изъеденные овцами склоны
за хлопнувшей напоследок дверью.

В уэльском Абетау,
нынешнем Суонси,
походя убивали прошлое,
делая деньги.

Она проводила жизнь,
привыкая к белому хлебу,
забыв о вкусе ржаного.
В комнатах, где они жили,
пел хрусталь
и медь поблескивала на полках,
вверху же, на чердаке,
пыль перебирала струны

[1] Язык (*уэльск.*).

скрипок и арфы,
а внизу под лестницей раздавался
мозолистый и сдержанный язык,
словно жалоба в отдаленье.

Надолго остались в памяти
блеск ботинок и запонки на манжетах,
но ничего, говорит она, ничего не помню
о дворах, пропахших навозом.

Сейчас осень и вечер, который кончается
телевизором и мытьем посуды.
И я говорю по-уэльски, вытирая ложки,
я спрашиваю ее: «Beth yw «ложка» yn Gymraeg?»[1]
«Llwy, — она отвечает, — llwy, dw i'n credu»[2],
и вгрызается в яблоко,
которое пахнет домом.

■

[1] Как... по-уэльски? (*уэльск.*)
[2] Ложка ... ложка, я думаю (*уэльск.*).

ЙОЗЕФ РОТ

Бюст императора

РАССКАЗ

Перевод с немецкого А. КАЦУРЫ

I

В бывшей Восточной Галиции, нынешней Польше, вдали от единственной железнодорожной линии, соединяющей Пшемысль и Броды, находится деревушка Лопатины, о которой я расскажу вам примечательную историю.

Пусть читатели любезно простят рассказчику, что фактам, о которых он хочет сообщить, предшествует историко-политический комментарий. Необыкновенные настроения, которые в последнее время выказывает мировая история, вынуждают его к подобным пояснениям.

Возможно, самым юным читателям требуется пояснить, что часть на востоке, принадлежащая сегодня Польской Республике, до окончания великой войны, которую называют мировой, была одной из многочисленных коронных земель прежней Австро-Венгерской монархии.

Так вот, в деревне Лопатины жил потомок одного древнего польского рода, граф Франц Ксавер Морстин, — рода, который, кстати говоря, происходил из Италии и в шестнадцатом веке переселился в Польшу. Юношей граф Морстин служил в девятом драгунском полку. Он не считал себя ни поляком, ни итальянцем, ни польским аристократом, ни аристократом итальянского происхождения. Нет: как и многие другие люди его сословия в коронных землях Австро-Венгерской монархии, он являл собой типичный образец чистоты и благородства австрийца, то есть был человеком наднациональным и, следовательно, истинным аристократом. Если бы его, к примеру, спросили, — но кому бы пришел в голову такой бессмысленный вопрос? — сознает ли он свою принадлежность к какой-нибудь «нации» или народу, граф оказался бы в замешательстве, он был бы даже удивлен и, наверное, раздосадован и рассержен. По каким же признакам следовало относить себя к той или иной нации? Он говорил одинаково хорошо почти на всех европейских языках, почти во всех странах Европы чувствовал себя как дома, его друзья и родственники были рассеяны по белу свету. Маленьким отражением этого пестрого мира явилась кайзеровско-королевская монархия, и поэтому она была единственной родиной графа. Один из его шуринов был окружным начальником в Сараеве, другой — государственным советником в Праге, кто-то из братьев служил обер-лейтенантом артиллерии в Боснии, один двоюродный был советником посольства в Париже, другой — помещиком в венгерском Банате, третий находился на дипломатической службе Италии,

---

© А. Кацура. Перевод, 1998

четвертый из чистой любви к Дальнему Востоку уже много лет жил в Пекине. Франц Ксавер имел обыкновение время от времени посещать своих родственников, чаще, конечно, тех, кто жил в пределах монархии. Это были, как говаривал граф, частные «инспекционные поездки». Они предназначались не только для родных, но и для друзей, нескольких бывших товарищей по Терезианской академии, проживавших в Вене. Морстин останавливался здесь два раза в год, летом и зимой, на две недели и больше. Когда он таким образом разъезжал по своему многогранному отечеству во всех направлениях, его радовали те особенные приметы, которые повторялись на всех станциях, во всех киосках, во всех общественных зданиях, в школах и церквах всех коронных земель империи, невероятно похожие, но все же различные. Жандармы везде носили одинаковые шляпы с пером или шлемы цвета глины с золотым набалдашником и сверкающим двуглавым орлом Габсбургов; деревянные двери «к.-к.»[1] табачных киосков везде были раскрашены в черно-желтые диагональные полосы; таможенники везде носили одинаковую зеленую, как весна, портупею при острых саблях; во всех гарнизонах — одни и те же голубые мундиры и черные парадные брюки на прогуливающихся по корсо офицерах пехоты, те же красные рейтузы кавалеристов, одни и те же кофейные мундиры артиллерии; в этой великой и разноцветной империи каждый вечер, когда часы на колокольнях били девять, везде одновременно играли вечернюю зорю, в которой перекликались весело звучащие вопросы и щемящие душу ответы. На каждом углу встречались одинаковые пивные с прокуренными сводами, темными нишами, где на корточках, словно диковинные птицы, сидели шахматисты; за стойками, полными цветных бутылок и блестящих стаканов, правили грудастые златовласые кельнерши. Почти во всех кофейнях империи медленно, высоко поднимая прямую ногу с подрагивающим от старости коленом, с подносом в руке ступал главный управляющий — жалкое подобие старых слуг Его Величества — важного господина с бакенбардами, которому принадлежали все коронные земли, все жандармы, все таможенники, все табачные лавочки, все шлагбаумы, все железные дороги, все народы. Но в каждой земле пелись свои песни; и в каждой земле крестьяне носили другое платье; в каждой земле говорили на одном или на разных языках. А что особенно восхищало графа, так это торжественные и одновременно радостные черно-желтые краски, которые доверчиво светились на фоне других цветов; одновременно праздничное и радостное «Боже храни», вошедшее во все народные песни, этот совсем особенный, носовой, небрежный, мягкий и напоминающий средневековый, немецкий язык австрийца, который становился все более узнаваемым среди различных народных говоров и диалектов. Как любой австриец того времени, Морстин любил, когда постоянное бесконечно изменяется, когда преображается обыденность и очевидное оказывается в центре невероятного. Так чужое становилось для него родным, не теряя своего колорита, а родина заключала в себе вечное очарование чужбины.

В своей деревне Лопатины граф был выше любой должностной инстанции, которую знали и боялись крестьяне и евреи, выше судьи в ближайшем окружном городке, выше местного окружного начальника и тех старших офицеров, которые каждый год во время учений командовали войсками, превращали дома и лачуги в квартиры и вообще представляли ту особенную воинственную силу маневров, производящую более внушительное впечатление, чем боевая мощь в настоящей войне. В Лопатинах людям казалось, что «граф» — не просто дворянский титул, но и название очень высокой должности. Действительность же только подтверждала их правоту. Ведь граф Морстин благодаря своему бесспорному влиянию мог уменьшить налоги, освободить от военной службы хворающих сыновей некоторых евреев, посодействовать в прошении о помиловании, облегчить участь невиновного или слишком суровое наказание осужденного, добиться для бедняков льготного проезда по железной дороге, подвергнуть справедливому наказанию жандармов, полицейских и чиновников, превышающих свои полномочия, устроить в гимназии ожидающих учительского места, из отслуживших унтер-офицеров сде-

[1] «К.-к.» — кайзеровско-королевский. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

лать продавцов в табачных лавках, почтальонов и телеграфистов, из учащихся сыновей бедных крестьян и евреев — «стипендиатов». С каким удовольствием он брался за это! В самом деле, Морстин был той не предусмотренной государством инстанцией, у которой, вне сомнения, имелось больше работы, чем у многих государственных служб, куда граф обращался и излагал свое дело. Чтобы справиться со своими обязанностями, он держал двух секретарей и трех писарей. Кроме того, верный традициям своего дома, занимался, как говорили в деревне, «барской благотворительностью». Уже больше века перед балконом дома Морстинов каждую пятницу собирались бродяги и нищие со всей округи, чтобы принять от лакеев завернутые в бумагу медяки. Обыкновенно граф появлялся на балконе и приветствовал бедняков. И выглядело это так, словно он благодарил нищих, которые, в свою очередь, были признательны ему; словно дающий и берущие обменивались благодарностями.

Кстати заметим: не всегда это делалось из доброты, которая могла бы породить подобную благотворительность, а по каким-то неписаным законам некоторых знатных семей. Возможно, еще много веков назад их предки просто из любви к народу оказывали подобные благодеяния, помощь и поддержку. Но постепенно, со сменой поколений, эта добродетель закоснела и превратилась в обязанность, став традиционной. Впрочем, столь безоглядная благотворительность графа была его единственным занятием и развлечением. Она наполняла довольно праздную жизнь потомственного дворянина, которого, в отличие от соседей и людей его сословия, не интересовала даже охота, смыслом и содержанием неизменно подтверждая его могущество. Граф только тогда чувствовал, что совесть его чиста, а честолюбие удовлетворено, когда для одного приобретал табачную лавку, для другого — лицензию, для третьего — должность, для четвертого — аудиенцию. Если же кому-либо из подопечных помочь не удавалось, душа у него болела. Но Морстин не отступал и обращался во все инстанции, пока не исполнялась его воля, а значит, и воля находившегося под его крылом подопечного. Поэтому крестьяне любили и уважали графа. Ведь народ и понятия не имеет о том, что толкает сильного помогать слабым и беззащитным. Он просто мечтает о «добром господине» — и часто в своей детской доверчивости оказывается благороднее того, кого водворяет на пьедестал. Глубочайшее желание народа — увериться в могуществе и справедливости властителя. Поэтому он так беспощадно мстит господам, когда те его разочаровывают, словно ребенок, который, к примеру, окончательно доламывает свой игрушечный паровоз, когда тот перестает двигаться. Поэтому-то народ, как и детей, надо одаривать прочными игрушками и справедливыми господами.

Занимаясь покровительством, благодеяниями и поступая по справедливости, граф Морстин, конечно, не задумывался об этом. Ведь побуждения, приводившие кого-либо из его предков к милосердию, доброте и справедливости, жили в крови — или, как теперь говорят, в «подсознании» внука.

Исполняя свой долг по отношению к слабым, Франц Ксавер испытывал глубокое уважение и почтение к тем, кто стоял выше его. Его кайзеровско-королевское Величество, которому служил граф, всегда оставался для него явлением, выходящим за рамки обыденного. Для графа, например, было бы совершенно невозможно воспринимать императора как человека. Вера в незыблемость власти так глубоко засела в душе Морстина и была настолько сильна, что он любил императора не за человеческие, а за императорские качества. Граф порывал с друзьями, знакомыми и родственниками, если те в его присутствии позволяли себе обронить непочтительное, с точки зрения Морстина, словечко об императоре. Вероятно, уже тогда, задолго до крушения монархии, он предвидел, что легкомысленные шутки могут стать опаснее политических убийств и парадных речей честолюбивых и возмущенных идеалистов. Разумеется, мировая история разделила бы взгляды графа Морстина. Ведь старая Австро-Венгерская монархия умерла не от пустого пафоса революционеров, а от насмешливого неверия тех, кто должен был стать ее верой и опорой.

II

Однажды, за несколько лет до великой войны, которую называют мировой, графа Морстина «секретно» уведомили о том, что в ближайшее время в Лопатинах и их окрестностях пройдут императорские маневры. На несколько дней, на неделю или дольше, император остановится в его доме. Морстина охватило волнение, он поехал к окружному начальнику, переговорил с влиятельными людьми и местным советом, заказал для полицейских и ночных сторожей всей округи новые мундиры и сабли, провел беседы с духовными лицами всех трех конфессий, с греко-католическим, римско-католическим священниками и с раввином, написал речь для бургомистра, украинца, которую тот не мог прочесть и потому выучил наизусть с помощью учителя; купил белые платьица для деревенских девочек, поднял тревогу среди комендантов окрестных полков, и все это — «по секрету всему свету»; таким образом, уже к весне, задолго до маневров, везде и всюду знали, что в Лопатины приедет сам император. Тогда граф был уже не молод, он рано поседел и осунулся, по мнению представителей своего сословия, этот старый холостяк отличался странностями и причудами, словно явился из другого мира. Его ни разу не видели с женщиной. Никому в этих краях он не предлагал руки и сердца. Никогда не замечали, чтобы граф пил или играл в карты. У него не было никаких пристрастий, кроме борьбы с «национальным вопросом». Именно к тому времени так называемый национальный вопрос в монархии начал обостряться. Каждый человек — хотел он того или же только делал вид, что хотел, — заявлял о своей принадлежности к одной из многочисленных наций, которые существовали на территории старой монархии. Как известно, в девятнадцатом столетии было сделано открытие: каждый индивидуум должен принадлежать к определенной нации или расе, если желал, чтобы его считали настоящим гражданином. «От гуманизма через национализм к зверству», — сказал австрийский писатель Грильпарцер. Вот когда появился национализм, первая ступень к тому зверству, которое мы сегодня наблюдаем. Национальные настроения: в то время было ясно, что они вырастали на основе диких нравов. Так и сложилась «нация» нового времени. Это были фотографы, по совместительству — члены добровольной пожарной дружины, так называемые художники, не нашедшие места в Академии изобразительных искусств из-за отсутствия таланта и подвизавшиеся поэтому оформителями вывесок или обойщиками, учителя народной школы, мечтавшие о средней, помощники аптекаря, метившие в доктора, дантисты, так и не ставшие зубными врачами, мелкие почтовые и железнодорожные служащие, банковские чиновники, лесники и все те, кто напрасно претендовал на определенное влияние внутри буржуазного общества. Постепенно так называемые высшие сословия уступали им. И люди, которые всегда считали себя австрийцами — в Тарнополе[1], Сараеве, Вене, Брюнне[2], Черновцах, Одербурге, Троппау[3], — австрийцами и никем другим, теперь, повинуясь «требованиям времени», стали заявлять о своей принадлежности к польской, чешской, украинской, немецкой, румынской, словенской, хорватской «нации» и т.д.

Примерно в это же время в монархии было введено «всеобщее тайное и прямое избирательное право». Граф Морстин возненавидел его так же, как и современное понимание «нации». Хозяину пивной еврею Соломону Пиниовскому, единственному во всей округе человеку, не лишившемуся, по его мнению, трезвого рассудка, граф обычно говорил:

— Послушай меня, Соломон! Этот омерзительный Дарвин, утверждающий, что человек произошел от обезьяны, кажется, все-таки прав. Людям мало того, что они разделены на народы, — нет! — они хотят принадлежать к определенным нациям. Национальный — ты слышишь, Соломон?! Даже обезьяны до этого не додумались. Теория Дарвина кажется мне несовершенной. Возможно, обезьяны произошли от националис-

---

[1] Тарнополь — прежнее название современного Тернополя.
[2] Брюнн — современный Брно.
[3] Троппау — современная Опава.

тов, ведь обезьяны — это уже прогресс. Ты знаешь Библию, Соломон, ты знаешь, в ней написано, что на шестой день Бог создал человека, не задумываясь о его национальности. Не так ли, Соломон?

— Совершенно верно, господин граф! — отвечал еврей Соломон.

— Но, — продолжал граф, — теперь о другом: этим летом мы ожидаем императора. Я дам тебе денег. Укрась свой магазин и окна разноцветными лампочками. Помой портрет императора и поставь его на витрину. Я подарю тебе черно-желтый флаг с двуглавым орлом, он будет развеваться на крыше магазина. Понял?

Да, еврей Соломон Пиниовский понял, как, впрочем, и все те, с кем граф говорил о прибытии императора.

III

Летом состоялись императорские маневры, и Его кайзеровско-королевское Апостольское Величество остановился в усадьбе графа Морстина. Каждое утро император выходил, чтобы посмотреть на учения, и крестьяне и еврейские торговцы из окрестностей собирались, чтобы взглянуть на него, старика, который ими правил. Как только он показывался со своей свитой, они кричали: «ура», «да здравствует» и «niech żyje»[1] — каждый на своем языке.

Спустя несколько дней после отъезда императора к графу Морстину явился сын одного крестьянина. Этот молодой человек, наделенный достаточным честолюбием, чтобы стать скульптором, сделал из песчаника бюст императора. Граф был в восторге. Он пообещал устроить юного скульптора в Венскую академию изобразительных искусств.

Бюст императора Франц Ксавер приказал установить перед входом в свою маленькую усадьбу.

Здесь оставался он до начала великой войны, которую называют мировой.

Перед добровольным поступлением на военную службу граф Морстин — старый, худой, лысый, со впалыми глазами, — такой, в кого он превратился с течением лет, приказал убрать бюст императора, завернуть в солому и спрятать в подвале.

Там покоился он до конца войны и империи, до возвращения графа Морстина и учреждения новой Польской Республики.

IV

Итак, граф Франц Ксавер Морстин вернулся домой.

Но можно ли назвать это домом? Конечно, это были все те же поля, леса, лачуги, те же крестьяне — те же, говорим мы, а ведь многие из них погибли.

Была зима, чувствовалось приближение Рождества. Как всегда в это время, как и до войны, Лопатинка замерзла, на голых каштанах неподвижно сидели вороны, а по полям, куда выходили западные окна дома, гулял постоянный, едва заметный ветер восточной зимы. В деревне после войны жили вдовы и старики: объектов для благотворительности вернувшемуся господину хватало. Но вместо того чтобы приветствовать родные Лопатины как вновь обретенное отечество, граф стал предаваться таинственным и непривычным для себя размышлениям о проблеме родины. Отныне, думал он, эта деревня принадлежит Польше, а не Австрии: по-прежнему ли она моя родина? Что такое родина вообще? Не есть ли форма жандармов и таможенников, которая встречалась нам в детстве, такая же принадлежность родины, как ели и пихты, болота и луга, облака и ручьи? Меняются жандармы и таможенники, а ели и пихты, ручьи и болота остаются прежними: та же ли это родина? А может — задавался вопросом граф, — края эти были моим домом только потому, что являлись собственностью господина, который владел и бесчисленным множеством других мест, любимых мною? Сомнений нет! Странная прихоть

---

[1] Да здравствует (*польск.*).

мировой истории разрушила также и мое личное счастье, которое для меня составляла родина. Теперь со всех сторон они говорят о новом отечестве. В их глазах я — так называемый безродный. И был им всегда. Ах! Когда-то существовало отечество, настоящее, то есть единственно возможное отечество для «безродных». Это была старая монархия. Теперь я человек без отечества, тот, кто потерял истинную родину вечных странников.

В призрачной надежде забыть о сложившемся положении граф решил как можно скорее уехать. Но к своему изумлению, узнал, что, дабы попасть в страны, выбранные им для путешествия, теперь требуются паспорт и какие-то визы. Граф уже достаточно пожил на свете, чтобы принимать за детские фантастические сны паспорт, визы и все те формальности, которые после войны стали железным законом общения человека с человеком. Судьба уготовила Морстину доживать остаток жизни в бесплодных мечтаниях; покоряясь ей, он все же надеялся найти в других странах частичку той старой действительности, в которой жил до войны, примирился с требованиями призрачного мира, достал паспорт, получил визы и отправился для начала в Швейцарию, единственную, по его мнению, страну, где еще можно было обрести прежний покой хотя бы потому, что она не участвовала в войне.

Город Цюрих граф знал с давних пор. Морстин не видел его, пожалуй, лет двенадцать. Граф думал, что Цюрих ничего особенного ему не преподнесет: ни хорошего, ни плохого. Этот взгляд соответствовал и не совсем несправедливому мнению взбалмошного и влюбленного в приключения мира о славных городах славной Швейцарии. Да и что там может произойти? По крайней мере, для человека, пришедшего с войны, из восточной части бывшей австрийской империи, спокойствие города, который видел только беженцев, уже само по себе притягивало. В первые дни Франц Ксавер Морстин отдавался той безмятежности, которой так долго был лишен. Он ел, пил и спал.

Но однажды, в одном ночном баре Цюриха случилась пренеприятная история, заставившая графа Морстина незамедлительно покинуть страну.

В то время в газетах всех стран писали о богатом банкире, который собирался получить как залог под ссуду от австрийской императорской фамилии не только большую часть габсбургских коронных драгоценностей, но и древнюю корону Габсбургов. Без сомнения, эти сведения исходили из-под пера и из уст легкомысленных ищеек, которых называют журналистами; возможно, в сообщении о том, что часть состояния императорской фамилии попадет в руки бессовестного банкира, и заключалась доля правды, но речь не шла о древней короне Габсбургов — в этом Франц Ксавер Морстин был уверен.

Как-то ночью он очутился в одном из немногих, доступных лишь знатокам баров благонравного города Цюриха, где, как известно, проституция запрещена, безнравственность осуждается, а грешить столь же скучно, сколь и разорительно. Нельзя сказать, что граф искал этого! Нет, безмятежная жизнь стала докучать Морстину и припасать бессонные ночи, тогда он и решил проводить их где придется.

Граф начал пить. Он сидел в одном из немногих тихих уголков этого кафе. Правда, новомодные американские красноватые лампочки, одетый в гигиенически-белое бармен, своим обликом напоминавший об операционной, крашеные белокурые волосы девочек, наводившие на мысли об аптеке, мешали ему: но к чему только не привык бедный старый австриец? И все-таки спокойствие, в которое граф с трудом впал, нарушилось, когда он услышал скрипучий голос: «А вот, дорогие дамы и господа, корона Габсбургов!»

Франц Ксавер поднялся. За столиком в середине зала он увидел большую веселую компанию. Граф сразу догадался, что там собрались именно те типы людей, которые он ненавидел, хотя никогда не сталкивался ни с одним из них лично: здесь были женщины с крашеными белыми волосами, в коротких юбках, с бесстыжими (впрочем, и безобразными) коленками, худые и скользкие юнцы с оливковыми лицами, улыбавшиеся безупречными зубами, похожими на рекламные протезы у дантистов, гибкие, пляшущие, трусливые, элегантные и нетерпеливые — разновидность коварных парикмахеров; пожилые мужчины с тщательно, но тщетно скрываемыми животами и лысинами, добродушные,

похотливые, приветливые и кривоногие, одним словом — коллекция того сорта людей, которые временно распоряжались наследством погибающего мира, чтобы через несколько лет передать его с прибылью еще более современным и ужасным наследникам.

За столом поднялся один из стареющих господ, сперва повертел в руках корону, затем надел ее на лысую голову, обошел вокруг стола, выступил на середину, пританцовывая, покачивая головой с надетой на нее короной и напевая при этом мелодию из популярного в то время шлягера: «Священную корону носят так!»

Сначала Франц Ксавер не понимал, к чему весь этот отвратительный спектакль. Он только видел, что общество состоит из бесстыжих стариков (возбужденных задравшими подол девицами), из горничных, отмечавших свой выходной, из барменш, деливших с официантами выручку от шампанского и собственных тел, из ни на что не годных вертоплясов, которые торговали женщинами и валютой, носили костюмы с широкими ватными плечами и развевающиеся брюки, похожие на женские юбки, из гнусных маклеров, наживавшихся на домах, магазинах, гражданстве, паспортах, концессиях, удачном сводничестве, на метрических свидетельствах, вероисповеданиях, дворянских титулах, усыновлениях, борделях и контрабанде сигар. Это было общество, которое во всех нынешних столицах побежденного европейского мира окончательно решило жить пожиранием трупов, из чьей сытой, но все же ненасытной пасти раздавались проклятия прошлому, кто эксплуатировал настоящее и превозносил будущее. После мировой войны они оказались хозяевами мира. Граф Морстин, как ему почудилось, сам превратился в труп. Нынче они танцевали на его могиле. Во имя победы таких людей сотни тысяч умерли в муках — а сотни наичестнейших моралистов подготовили гибель старой монархии, страстно желая ее распада и освобождения нации! Ну а теперь стало ясно, что на могиле старого мира и вокруг колыбели новорожденных наций и распавшихся государств танцуют призраки ночного «Amerikan Bar».

Морстин, чтобы лучше видеть, подвинулся ближе. Расплывчатые очертания этих упитанных, наделенных плотью призраков возбудили его любопытство. На лысом черепе танцующего кривоногого мужчины он узнал копию — разумеется, это была только копия — короны Стефана. Усердный официант, который сообщал гостям о любом достойном внимания факте, подошел к Францу Ксаверу и сказал:

— Это банкир Валакин, русский. Он утверждает, что все короны низложенных монархов принадлежат ему. Каждый вечер он приходит с новой. Вчера была царская, сегодня — корона Стефана.

Граф Морстин почувствовал, как остановилось его сердце, но лишь на секунду. Однако за эту единственную секунду — позже ему казалось, что она длилась по крайней мере час, — произошло полное его перевоплощение. Он чувствовал, как внутри него вырастал неизвестный, страшный, чужой Морстин, поднимался и рос, ширился, завладевал телом старого, хорошо знакомого и распространялся дальше, заполняя весь «Amerikan Bar». Франц Ксавер Морстин никогда не знал ярости. Граф отличался мягким, добродушным нравом, а сознание защищенности, которое обеспечивалось положением, состоятельностью, блеском имени и его значимостью, до сих пор словно ограждало Морстина от любой жестокости этого мира, от любого столкновения с его низостью. Если бы не все это, граф неминуемо познал бы ярость раньше. Только в эту секунду, когда происходило превращение, он почувствовал, что мир изменился уже задолго до его собственного перерождения. Только теперь он осознал, что его собственное превращение явилось лишь неизбежным следствием превращения всеобщего. Еще больше, чем неведомая ему ярость, которая теперь поднималась, росла и кипела, переливаясь через край, должно быть, разрослась пошлость, гнусность этого мира, которая так долго унижалась, скрываясь под одеждой льстивой «лояльности» и рабского верноподданничества. Граф, который считал, что все люди с рождения обладают чувством собственного достоинства — это было так естественно, что он даже не пытался проверить, — граф, казалось, только в эту секунду понял, как заблуждался всю жизнь, подобно всякой благородной душе, он удивлял своей доверчивостью, безграничной доверчивостью. И это внезапное открытие

наполнило Морстина чувством благородного стыда, верного брата благородного гнева. При виде подлости аристократ стыдится вдвойне: сначала его вгоняет в краску столкновение с ней, потом он вдруг обнаруживает, как был слеп. Выходит, его обманули — а гордость восстает против обмана.

Граф был не в состоянии дальше сравнивать, взвешивать и размышлять. Ему казалось, ни один из видов насилия не способен с должной жестокостью покарать за низость человека, который танцевал с короной на лысом банкирском черепе, и каждый вечер с новой. Граммофон горланил песню о Хансе, который «что-то вытворяет с коленом»; девицы визжали, молодые люди хлопали в ладоши, бармен, белый, как хирург, звенел стаканами, ложками, бутылками, взбалтывал и смешивал, готовил и колдовал над таинственными волшебными напитками нового времени в металлической посуде, побрякивал, гремел и иногда с одобрением поглядывал на представление банкира, одновременно прикидывая выручку. Красные лампочки дребезжали от тяжелого топота лысого. Свет, граммофон, производимый миксером шум, визг и воркование женщин привели графа Морстина в чудовищное бешенство. Случилось невероятное: впервые в жизни граф вел себя как ребенок и стал всеобщим посмешищем. Вооружившись полупустой бутылкой шампанского и голубым сифоном, он приблизился к незнакомцам; левой рукой он начал поливать содовой сидящее за столом общество, будто тушил страшный пожар, правой же — бить танцора бутылкой по голове. Банкир свалился на пол. Корона слетела с головы. И когда граф нагнулся, чтобы поднять корону, словно та была настоящая и все, что она собой являла, необходимо спасти, — бармен, девицы и все прочие набросились на него. Одурманенный резкими женскими духами, оглушенный ударами, граф Морстин в конце концов был выдворен на улицу. Там, перед дверью «Amerikan Bar», усердный бармен предъявил ему счет на серебряном подносе, под открытым небом, так сказать, в присутствии равнодушных далеких звезд: стояла ясная зимняя ночь.

На следующий день граф возвращался обратно в Лопатины.

V

Почему бы и не вернуться в Лопатины? — спрашивал он себя в пути. Ведь мой мир, кажется, окончательно побежден, у меня больше нет родины. Хорошо еще, если я найду ее развалины, развалины старой родины!

Он думал о бюсте императора Франца Иосифа, который лежал у него в подвале, о теле императора, которое уже давно покоилось в Склепе капуцинов. В деревне и ее окрестностях, — продолжал размышлять граф, — я всегда был оригиналом. Им я и останусь».

Он телеграфировал своему управляющему о дне прибытия.

И когда граф приехал, его встретили так, как встречали всегда, в прежние времена, словно не было ни войны, ни распада монархии, ни новой Польской Республики.

Одно из самых больших заблуждений новых, или, как они себя теперь называют, современных политиков состоит в том, что народ («нация») так же страстно интересуется мировой политикой, как они.

Народ отнюдь не живет событиями мирового масштаба и этим выгодно отличается от политиков. Народ живет землей, которую обрабатывает, торговлей, которую ведет, ремеслом, которым владеет (тем не менее он участвует в государственных выборах, умирает на войне, платит налоги финансовому управлению). Во всяком случае, так было в деревне графа Морстина, в деревне Лопатины. И никакая мировая война, никакие перемены на географической карте Европы не изменили образ мыслей лопатинских жителей. Как? Почему? Здравый рассудок трактирщика-еврея, русинских и польских крестьян сопротивлялся непостижимым капризам мировой истории. Ее настроения абстрактны, а симпатии и антипатии народа — конкретны. Например, народ деревни Лопатины с давних пор знал графов Морстинов, представителей императора и дома Габсбургов. Конечно, появились новые жандармы, но налоговый инспектор остался налоговым инспектором, а граф Морстин — это граф Морстин. Под господством Габсбургов жители

деревни были и счастливы и несчастны — на все воля Божья. Независимо от перемен в мировой истории, от республик и монархий, от так называемой национальной самостоятельности или национального гнета жизнь человека зависит от вещей более важных — хороший у него или плохой урожай, свежие или гнилые овощи, плодовитый или больной скот, сочные или истощенные травы, для него главное — вовремя ли пойдут дожди, когда выйдет нужное для посева солнце или вдруг наступит засуха и голод; мир торговца-еврея составляли хорошие и плохие клиенты; трактирщика — выносливые и слабосильные пьяницы; для ремесленников было жизненно важно, нужны ли людям новые крыши, новые сапоги, новые брюки, новые печи, новые дымовые трубы и новые бочки. По крайней мере, так, как говорится, было в Лопатинах. А что касается нашего личного мнения, оно сводится к тому, что мир не так уж сильно отличается от маленькой деревушки Лопатины, как хотелось бы политикам и народным вождям. Прочитав газеты, послушав речи, избрав депутатов, обсудив с друзьями события в мире, честные крестьяне, ремесленники и торговцы — а в больших городах и рабочие — возвращаются к своим делам в свои дома и мастерские. А там кого-то ждет горе, кого-то счастье: ведь бывают дети и больные и здоровые, жены и сварливые и спокойные, клиенты расплатившиеся и задолжавшие, кредиторы навязчивые и терпеливые, хорошая и плохая еда, чистая и грязная постель. Да, мы убеждены, что простым людям нет дела до мировой истории, покуда они могут обстоятельно толковать о ней по воскресеньям. Но это, как говорится, наша личная точка зрения. Мы же хотим рассказать только о деревне Лопатины, где все было так, как мы только что описали.

Когда граф Морстин вернулся, он сразу отправился к Соломону Пиниовскому, смышленому еврею, в котором, как ни в ком другом из лопатинских жителей, дружно, точно сестры, уживались простота и ум. И граф спросил еврея:

— Соломон, что ты думаешь об этой земле?

— Господин граф, — ответил Пиниовский, — ровным счетом ничего. Мир погиб, императора больше нет, избирают президентов — и это происходит таким же манером, как если бы я нанимал приличного адвоката для своей тяжбы. Итак, весь народ выбирает адвоката, который его будет защищать. Но, господин граф, я спрашиваю, перед каким судом? Опять же — перед судом другого адвоката. А если народ не судится, если нет необходимости защищаться, то — и всем нам это известно — одно только присутствие присяжного поверенного может заварить судебную кашу. Теперь процессам конца не будет. У меня, господин граф, есть еще черно-желтый флаг, что вы подарили. Куда я теперь с ним? Он лежит на чердаке. Остался еще портрет старого императора. Как поступить с ним теперь? Я читаю газеты, занимаюсь своими делами да и еще кое-чем, господин граф. Я знаю, что за глупости творятся вокруг. Но наши крестьяне никакого понятия об этом не имеют. Они просто считают, что старый император ввел новые мундиры и освободил Польшу. И его резиденция теперь не в Вене, а в Варшаве.

— Оставь их, — сказал граф Морстин.

Он пошел домой, велел достать бюст императора Франца Иосифа из подвала и установил его перед входом в дом.

И вот, начиная со следующего дня — как будто не было никакой войны, как будто старый император не покоился уже давно в Склепе капуцинов, как будто деревня Лопатины все еще находилась на территории старой монархии, — каждый крестьянин, проходя мимо, снимал шляпу перед бюстом старого императора из песчаника, каждый еврей, со своим свертком под мышкой, бормотал молитву — ту, что должен читать благочестивый еврей при виде императора. И невзрачный бюст, сделанный из дешевого песчаника неуклюжими руками деревенского мальчика, бюст умершего императора в старом военном мундире со звездами, значками, орденом Золотого руна, запечатленный в камне таким, каким его рисовало детское воображение мальчика, — постепенно даже в глазах графа Морстина приобрел особую художественную ценность. Казалось, с течением времени возвышенный объект изображения желал усовершенствовать и облагородить само произведение. Над послушным камнем поработали погода и ветер, как будто обла-

дали художественным вкусом. Людское уважение к памятнику преображало его, каждое приветствие крестьянина, каждая молитва набожного еврея доводили беспомощное творение молодых деревенских рук до художественного совершенства.

Так стоял бюст перед домом графа Морстина долгие годы, единственный памятник, который когда-либо существовал в деревне Лопатины и которым по праву гордились все ее жители.

Но для графа, который больше никогда не покидал деревню, этот памятник значил нечто большее: он дал ему понять, что, покинь тот родину, ничего бы не изменилось. Со временем — а граф постарел рано — ему в голову приходили странные мысли. Хотя Морстин и пережил самую ужасную из всех войн, тем не менее он иногда пребывал в убеждении, что это был только кошмарный сон и все изменения, которые за ним последовали, — не что иное, как еще более кошмарные сны. Между тем почти каждую неделю он видел, что ходатайства за подопечных в судах и ведомствах не приносили больше пользы, а новые чиновники даже смеялись над ним. Граф был скорее напуган, чем оскорблен. В ближайшем городке, в окрестностях и соседних имениях — уже везде знали о том, что «старый Морстин выжил из ума». Рассказывали, будто у себя дома он носит старый мундир ротмистра драгунского полка, со всеми прежними орденами и знаками отличия. Как-то раз один помещик — некий граф Валевский — спросил его напрямик, так ли это на самом деле.

— До сегодняшнего дня нет, — ответил Морстин, — но вы подали мне отличную идею. Я буду надевать мундир — и не только дома. Я стану носить его и на улице.

Так он и сделал.

С тех пор графа Морстина видели в форме ротмистра австрийских драгунов — и жители этому не удивлялись. Выходя из дома, ротмистр отдавал честь Верховному главнокомандующему, бюсту почившего императора Франца Иосифа. После этого он шел привычным путем по пыльной дороге, ведущей в ближайший городишко, через еловый лесок. Крестьяне, которые встречались ему, снимали шляпы и кланялись: «Слава тебе господи», добавляя потом «господин граф» — будто считали, что господин граф приходится близким родственником Господу Богу. Ах! Уже давно он не в силах помогать им, как помогал раньше! Простые крестьяне оставались беззащитными. А он, господин граф, потерял свое могущество! Как и все, кто хоть раз поднялся до вершин власти, теперь он пал ниже самых слабых: отныне он принадлежал к той касте, которая в глазах чиновников являлась предметом насмешек. Но народ деревни Лопатины и ее окрестностей все еще верил в него, как верил в императора Франца Иосифа, чей бюст привык приветствовать. Крестьянам и евреям деревни и окрестностей граф Морстин не представлялся смешным, напротив, он вызывал у них глубокое уважение. Они поклонялись его высохшей тощей фигуре, седым волосам, пепельному обреченному лицу, глазам, которые, казалось, смотрели в безграничную даль; и это было не удивительно, ведь они смотрели в утраченное прошлое.

Однажды воевода из Львова, что раньше назывался Лембергом, проводил инспекционную поездку и по какой-то причине остановился в Лопатинах. Ему указали на дом графа Морстина, куда он сразу же и направился. К своему изумлению, перед домом графа, посреди рощицы, воевода увидел бюст императора Франца Иосифа. Он долго рассматривал его и наконец решил войти и спросить о назначении памятника. Однако воевода удивился еще больше, он даже испугался при виде графа Морстина, который шел ему навстречу в мундире ротмистра австрийских драгунов. Воевода сам принадлежал к «ничтожным полякам», а это значило, что родом он — из бывшей Галиции. Прежде он тоже служил в австрийской армии. Граф Морстин явился перед ним словно призрак с давно прочитанной им, воеводой, страницы истории.

Он старался овладеть собой и сначала не задавал никаких вопросов. Но позже, когда они уже сидели за столом, воевода стал осторожно расспрашивать о памятнике императору.

— Да, — сказал граф так, будто другого мира не существовало, — Его Покойнейшее

Величество жил здесь восемь дней. Один очень одаренный деревенский мальчик сделал из песчаника бюст. Он стоял здесь всегда. И будет стоять, пока я жив.

Воевода умолчал о решении, которое тут же принял, и спросил, улыбаясь и как бы между прочим:

— Вы еще носите старый мундир?

— Да, — ответил Морстин, — я слишком стар, чтобы ходить в новом. Знаете ли, с тех пор как обстоятельства изменились, я чувствую себя неловко в штатском. Боюсь, что так меня могут перепутать с остальными. За ваше здоровье, — добавил граф, поднял бокал и выпил.

Воевода посидел еще некоторое время, после чего оставил графа и деревню Лопатины, продолжил инспекционную поездку, вернулся обратно в свою резиденцию и отдал распоряжение убрать императорский бюст, установленный перед домом графа Морстина.

В конце концов приказ дошел до бургомистра (так называемого «войта») деревушки Лопатины и был доведен непосредственно до сведения графа Морстина.

Впервые граф возроптал против новой власти, существования которой до сих пор не принимал во внимание. Он признал, что слишком слаб, чтобы сопротивляться. Он вспомнил о ночной сцене в цюрихском «Amerikan Bar». Ах! Теперь больше не было смысла закрывать глаза на новый мир новых республик, новых банкиров и обладателей короны, новых дам и господ, новых правителей мира. Следовало похоронить старый мир. Но похоронить достойно.

И граф Франц Ксавер Морстин призвал в свой дом десять старейших жителей Лопатин — среди них находился мудрый и в то же время простодушный еврей Соломон Пиниовский. Кроме того, пришли греко-католический священник, римско-католический и раввин.

И когда все они собрались, граф Морстин произнес следующую речь:

— Дорогие мои соотечественники, все вы еще знали старую монархию, свое старое отечество. Оно уже давно мертво, и, сознаюсь, нет больше смысла не признаваться себе в его смерти. Возможно, когда-нибудь оно воскреснет — мы, старики, не доживем до этого. Нам приказано как можно скорее убрать бюст Его Покойнейшего Величества императора Франца Иосифа I.

Мы не желаем этого делать, друзья мои!

Если старое время умерло, мы должны поступить с ним так, как поступают с мертвыми: мы похороним его.

В этой связи, друзья мои, я прошу вас оказать мне помощь и в течение трех дней, начиная с сегодняшнего, похоронить на кладбище мертвого императора, то есть его бюст, с той торжественностью и почестями, которые подобают покойному монарху.

VI

Украинский столяр Никита Колохин сколотил великолепный дубовый гроб. В нем нашлось бы место и для трех мертвых императоров.

Польский кузнец Ярослав Войцеховский выковал из латуни огромного двуглавого орла, которого приклепали к крышке гроба.

Переписчик Торы еврей Нухим Каптурак вывел гусиным пером на маленьком пергаментном свитке благословение, обряд которого набожные евреи совершают при виде коронованной особы, обернул его кованой жестью и положил в гроб.

Выдался жаркий летний день, ранним утром — когда бесчисленные стаи неразличимых в высоте жаворонков пускали в небе свои трели и такие же бесчисленные стаи невидимых сверчков стрекотали им в ответ из травы — жители деревни Лопатины собрались у памятника Францу Иосифу I. Граф Морстин и бургомистр уложили бюст в большой великолепный гроб. Все три священнослужителя стали во главе похоронной процессии. Четверо пожилых, но сильных крестьян подняли гроб на плечи. Позади него,

нацепив саблю, в сером шлеме драгуна шел граф Франц Ксавер Морстин, самый близкий к мертвому императору человек, одинокий тем одиночеством, какого требует траур, а за ним в круглой черной ермолке — еврей Соломон Пиниовский, в правой руке он держал черно-желтый флаг с двуглавым орлом, в левой — круглую бархатную шляпу. За ним шествовала вся деревня, мужчины и женщины.

Гремели церковные колокола, пели жаворонки, не переставая трещали сверчки.

Могила была готова. Гроб опустили, над ним развернули флаг — и Франц Ксавер Морстин в последний раз отдал саблей честь императору. Тогда в толпе послышались рыдания, словно только сейчас хоронили императора Франца Иосифа, старую монархию и былое отечество. Три священнослужителя молились.

Так старого императора похоронили во второй раз в деревне Лопатины, что в бывшей Галиции.

Спустя две недели известие об этом случае попало в газеты. Те писали о событии в шутливых выражениях под рубрикой «анекдоты».

VII

Граф Морстин снова уехал из страны. Теперь он живет на Ривьере, дряхлый, изможденный человек, который по вечерам играет в шахматы или скат со старыми русскими генералами. Несколько часов в день он пишет воспоминания. Вероятно, они не будут иметь особой литературной ценности: ведь граф Морстин не обладает литературными навыками, равно как и писательским честолюбием. Однако граф — человек особого звания и сорта, и поэтому иногда ему удаются такие знаменательные фразы, как, например, те, которые я с его разрешения здесь привожу.

«Я понял, — пишет граф, — что умные на поверку могут оказаться глупцами, мудрецы — безумцами, истинные пророки — лжецами, правдолюбцы — лицемерами. В этом мире нет такой человеческой добродетели, которая была бы постоянной, кроме одной — настоящего благочестия. Вера не может нас разочаровать, так как ничего не обещает на земле. Истинный верующий не обманывает наших надежд, потому что не ищет выгоды в этом мире. Применительно к жизни народов это означает, что напрасно надеяться на так называемые национальные добродетели, еще более сомнительные, чем добродетели личные. Поэтому я ненавижу нации и национальные государства. И только одна монархия, моя старая родина, была большим домом со множеством дверей и комнат для всех людей. Дом разделили, разбили и разрушили. В нем больше нет места для меня. Я привык жить в доме, а не в клетушках».

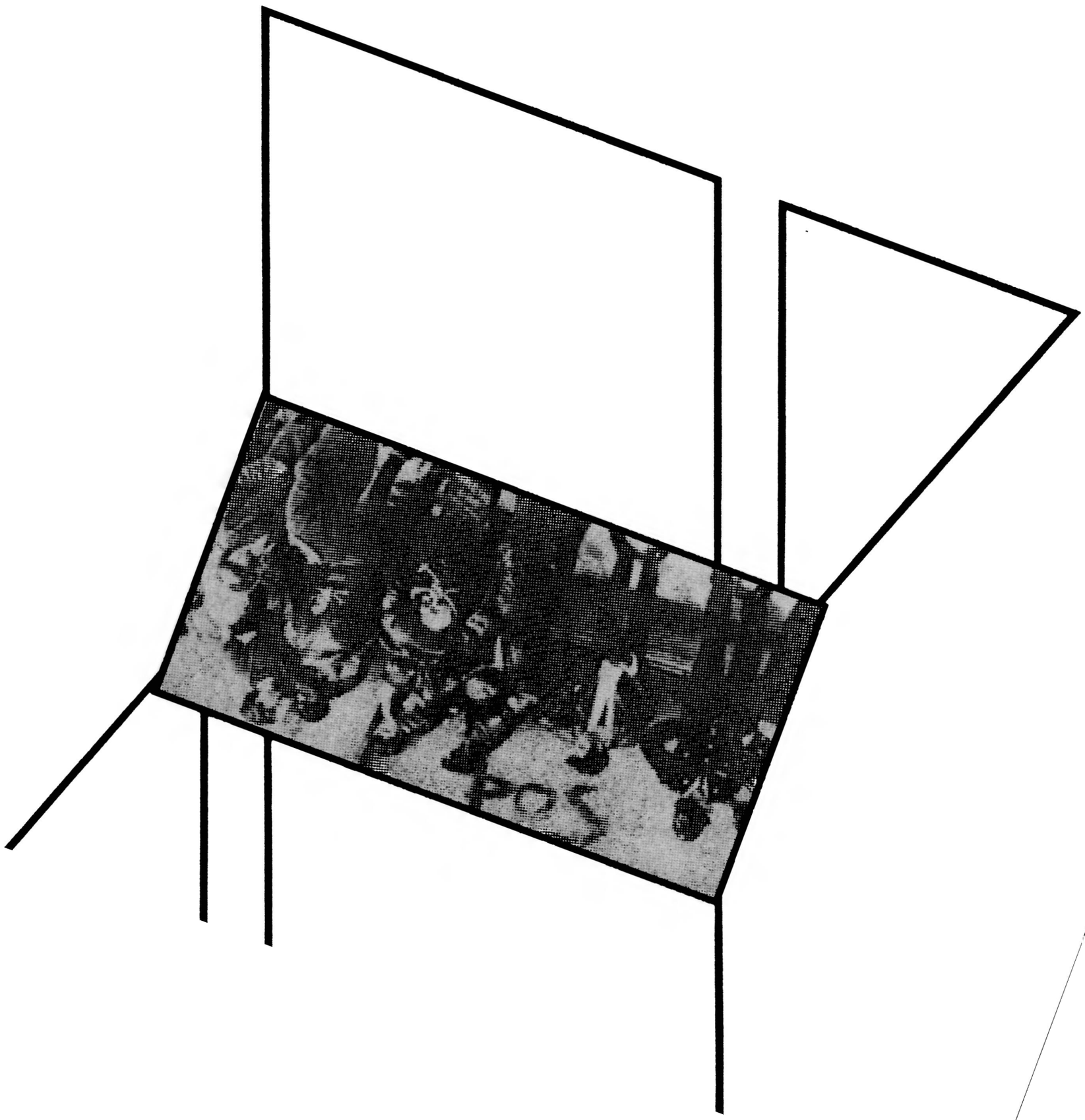
С такой гордостью и скорбью пишет старый граф. С готовностью и умиротворением ждет он своей смерти. Возможно, даже тоскует по ней. Ведь в завещании граф распорядился похоронить его в деревне Лопатины — и не в фамильном склепе, а возле могилы, где лежит император Франц Иосиф, бюст императора.

■

Поколение ИКС

Каждое новое поколение вырастает в меняющемся мире и поэтому отличается от предыдущих. В те исторические периоды, когда мир меняется быстро, молодежь становится особенно не похожей на своих отцов. И тогда начинают говорить о поколении-загадке, о «поколении Икс». Так было в 60-е, когда впервые появился этот термин, так произошло и в 90-е, когда с легкой руки молодого канадского писателя Дугласа Коупленда этот термин вновь стал гулять по свету.

Загадку коуплендовского «поколения Икс» мы предложили решить трем критикам, по возрасту принадлежащим к этому поколению или совсем недалеко от него ушедшим. И оказалось, что проблема выходит далеко за рамки традиционного конфликта отцов и детей. Роман Коупленда не просто свидетельствует о мироощущении молодого поколения, но и дает повод говорить о том, что все мы – независимо от возраста – оказываемся перед лицом нового культурно-исторического перелома. И если нам удастся найти значение «*X*», это поможет адаптироваться к переменам.



‘Generation X’

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

ПЕВЦЫ НЕИЗВЕСТНОГО ПОКОЛЕНИЯ

Отпустите меня, я не ваш, я ушел.
Тимур Кибиров

1. «X» как неизвестная величина

Одним из основных механизмов культуры является заимствование, пусть даже и осуществляемое по принципу «испорченного телефона». К России — в силу ее диалектической *принадлежности к / удаленности от* западной цивилизации — это применимо в большей степени, чем ко многим другим странам. Несколько огрубляя, можно сказать, что христианство пришло из Византии, коммунизм — из Германии; постмодернизм — из Франции и США. Особенностью последних лет является то, что заимствование часто носит вызывающе поверхностный характер — заимствуется слово, а наполнение подбирается свое. Каждый раз на подобную смысловую замену есть свои причины, и ниже мы попытаемся понять, что определило русскую судьбу одного из таких терминов. Речь пойдет, как читатель, вероятно, уже догадался, о «поколении Икс».

На русской почве термин прижился во многом благодаря глянцевым молодежным журналам — «Птючу» и в особенности «ОМу» (где, кажется, впервые и был опубликован на русском языке Коупленд). Первый номер этого журнала (1995) открывался статьей главного редактора Игоря Григорьева, в которой он писал о том, что хочет сформировать при помощи своего журнала образ «русского иксера». Теперь, прочитав роман Коупленда, смотреть на Григорьева (золотая цепь на шее, дорогие шмотки, нервная пластика) будет еще веселее.

Результатом подобной пропаганды «иксерства» стало то, что в России сегодня, наверное, уже никто не может точно ответить на вопрос, что значит интересующее нас выражение. В зависимости от осведомленности и фантазии спрошенного вам сообщат, что «иксеры» родились в конце шестидесятых или в начале семидесятых, нигде не работают, любят компьютеры, природу, «экстази», конструкторы «Лего», junk food, техно-party, журналы — смотри выше — «Птюч» и «ОМ», ботинки «Dr. Martens» и цветные джинсы «Diesel». Впрочем, все, наверное, сойдутся на том, что иксерство — это такая модная американская «вещь».

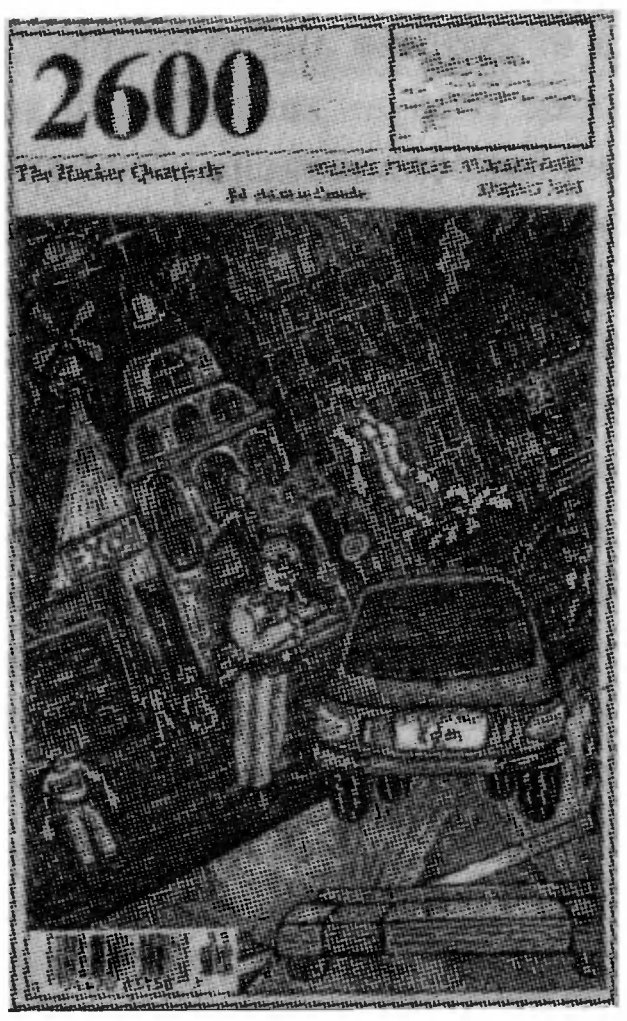
Тем интересней теперь узнать, что экспортированный из Америки термин был введен в обиход не американцем, а канадцем[1]. Более того — канадцем, к которому многое из вышеперечисленного трудно отнести.

Дуглас Коупленд родился в 1961 году на базе НАТО в Германии, однако большую часть детства-отрочества-юности провел в Ванкувере, где и окончил Колледж искусства и дизайна. Про искусство и дизайн разговор будет особый, а пока отметим, что еще до того, как мировая слава «певца нового поколения» настигла его в начале девяностых, Коупленд приобрел локальную известность как скульптор. Не желая ограничиваться гуманитарным образованием, он окончил в Японии бизнес-школу, впрочем, бизнесом по-настоящему так и не занялся, предпочтя скульптуру и журналистику. Именно из последней и выросло в 1991 году произведение под названием «Поколение Икс» — по просьбе редактора издательства «St. Martin's Press» Коупленд отправился в Калифорнию писать книгу о двадцати-с-хвостиком-летних и в результате получился роман о трех молодых людях, живущих в пустыне около Палм-Спрингс, навещающих на Рождество родителей и рассказывающих друг другу (и читателю) различные байки. Бойкий слог, при-

[1] К слову сказать, это далеко не единственный подобный случай — последние двадцать лет Канада исправно поставляет творцов суперкультовых направлений: помимо Коупленда, можно назвать классика киберпанка Уильяма Гибсона, создателя фильма «Автокатастрофа» Дэвида Кроненберга и создательницу фильма «Kissed» Лин Стопкевич.

© С. Кузнецов, 1998

ятная фрагментарность повествования, представляющего собой коллаж баек и рассуждений «о жизни» и общая актуальность темы сразу сделали роман популярным. Коупленда окрестили «Сэлинджером нового поколения» — впрочем, не совсем точно. Куда вернее было другое сравнение, подтвержденное его последующими книгами, — «Том Вулф девяностых». Действительно, несмотря на беллетристическую форму и повествование от первого лица, «Поколение Икс» — скорее отчет или репортаж, чем исповедь, и только младшие сверстники героев книги в своем юношеском восторге могли этого не заметить.



Точно так же непонятым большинством читателей остался вынесенный на поля «словарь иксеров». Словечки из этого словаря разбрелись сегодня по всему свету, так что нельзя уже ответить, какие из них Коупленд подслушал, а какие придумал сам. Важнее, однако, то, что именно благодаря словарю в дебютный роман тридцатилетнего прозаика входит нелинейность: не только как принцип формальной организации текста (9/10 — в основном поле, 1/10 — в словарике на полях), но как важный стилистический прием. Напомню, что идея нелинейности считается одной из важнейших в постмодернистской поэтике — отчасти благодаря художественным текстам Борхеса, Кортасара или Павича, отчасти благодаря работе «О грамматологии» Жака Деррида, утверждающей нелинейный характер человеческого мышления и праписьма. Впрочем, продумывая структуру своей первой книги, Коупленд вряд ли ориентировался на «Хазарский словарь» или «Сад расходящихся тропок» — правомернее было бы возвести примененный им способ организации текста к поэтике газетной или журнальной полосы с ее «вставками», «боксами» и «врезами»[1].

Так или иначе, словарь противопоставляет исповедальности основного текста культурологическую интонацию, позволяя читателю (при желании) дистанцироваться от героев. Зачастую то, что подается в речи одного из главных героев, Энди, как выстраданная жизненная позиция, комментируется словарем как инфантильный каприз (например: «успехобоязнь — боязнь, что, добившись успеха, ты потеряешь свое «я» и никто не будет потакать твоим детским прихотям». К декларируемому инфантилизму героев мы, к слову сказать, еще вернемся). Если в основном тексте Энди и его друзья путем отказа от престижной и высокооплачиваемой работы, крупных заработков, бытового комфорта и т.д. ищут свою самотождественность и пытаются обрести самость, то примечания на полях описывают особенности их поведения как часть нового канона, который оставляет не больше места индивидуальности, чем любой другой канон. «Загончик для откармливания молодняка» меняется на «черные норы», а «шведская мебель» — на «архитектурное несварение» или «японский минимализм».

Именно благодаря словарю «Поколение Икс» приближается к структуралистским исследованиям 50—70-х, вскрывающим семиотическую значимость повседневной моды, манеры поведения и так далее (во Франции классикой жанра являются «Мифологии» и «Семиотика моды» Ролана Барта, а в России — книги Лидии Гинзбург и Александра Зиновьева, не говоря уже о множестве работ профессиональных семиологов из Москвы, Тарту или Вильнюса). Подобные исследования во многом предопределили развившийся в 80-е особый тип мировосприятия: я не могу предохранить себя от воздействия тоталитарных структур (общество, язык, власть и так да-

[1] На нелинейные особенности газетного текста, кстати, в 60-е годы обратил внимание еще один культовый соотечественник Коупленда — Маршалл Маклюэн.

лее), но могу постоянно осознавать это влияние и делать свободный выбор между моделями поведения, в каждой из которых я равно несвободен. Иными словами, жизнь в мини-социуме пустыни Палм-Спрингс выдвигает столь же строгие требования, сколь и жизнь в мини-социуме офиса, — но герои могут сознательно предпочесть одно другому. И момент настоящей свободы и самости — это именно момент *отказа* от устоявшегося в пользу нового: не случайно такое количество рассказываемых Энди и его друзьями историй посвящены тому, как кто-то ушел с работы, обхамил шефа, бросил дом, уехал в пустыню или улетел к звездам. Важным — хотя и открытым — вопросом остается то, осознают ли герои «Поколения Икс» социальную обусловленность их нового образа жизни, или словарик на полях — голос тридцатилетнего канадца, уже преодолевшего свой «кризис середины молодости» и взирающего на него со стороны.

Впрочем, если мы зададимся этим вопросом применительно ко всему поколению в целом, ответ будет несколько более очевиден: как во всяком поколении, среди иксеров есть люди с разным уровнем рефлексии и, соответственно, полноты понимания происходящего с ними. Высокий уровень рефлексии встречается редко, и для описания поколения как явления культуры и/или истории количество индивидов, обладающих им, несущественно в силу их малочисленности.

Уже в 60-е годы стиляги (Mods) дрались с бритоголовыми (Skins), предпочитавшими другую музыку и другие прически, и в процессе борьбы стали приверженцами противоположных политических течений. Из стиляг в конце 60-х произошли культурно доминирующие в 70-х хиппи, а из бритоголовых — маргинализированная пролетарская субкультура: два различных культурных «выхода», через которые могли маршировать колонны людей, принадлежащих к одной и той же возрастной группе. За время же этих маршей обе молодежные культуры породили культурные знаковые системы, которые следующие «поколения» переняли, переработали и преобразовали.

С. Райнфельд, 1996

2. «X» как «хиппи»?

Волей-неволей, когда пишешь о «Поколении Икс», чувствуешь себя уподобившимся советским критикам 70-х, переводившим разговор о любом новом явлении американской культуры к социально-политической проблематике, борьбе за мир и войне во Вьетнаме. Но что же поделать, если книга Коупленда существует в жестко очерченном контексте, без разговора о котором мы рискуем уподобиться тем ее интерпретаторам, о которых шла речь в самом начале.

Приходится признать, что «Поколение Икс» существует прежде всего как явление американской (шире — западной) молодежной культуры и может быть понято только в этом контексте. Слово «поколение», вынесенное в заглавие романа, симптоматично: книга наполнена многочисленными межпоколенческими разборками и обидами иксеров на лысохвостиков, которые успели пожить до нефтяного кризиса начала 70-х. Между тем нетрудно заметить, что иксеры во многом наследуют хиппи — в ожидании скорого апокалипсиса («вот как кончится мир» — еще одна любимая тема для бесед), в горделивом инфантилизме и, главное, в антикорпоративном духе и нежелании пахать на чужого дядю.

Хиппи были первым массовым молодежным движением (битники не идут в счет в силу своей малочисленности), сказавшим твердое «нет» протестантской этике Работы. «Бэби-бумеры» (поколение 1946—1960 г.р.), выросшие в обществе изобилия и смотревшие телевизор по шесть часов в день, не собирались горбатиться «в поте лица своего», зарабатывая на социальный престиж и дорогой автомобиль, а на хлеб свой насущный можно было заработать без особых усилий. Взамен идеи Труда как Божественного завета пришла идея индивидуального договора с Богом, а взамен корпоративной этики — идея индивидуальной свободы и ответственности.

Нетрудно заметить, что в словарике Коупленда в несколько трансформированном виде присутствуют все эти идеи. «Либо хорошая работа, либо жизнь», «Макрабство», «Яизм» — все эти понятия пришли прямиком из 60-х. Можно сказать, что иксеры – дети хиппи не только в биологическом, но и в духовном смысле.

Это, разумеется, позволяет легко объяснить раздражение, которое вызывают у героев книги лысохвостики с их мрачноватым

лозунгом на стёбной наклейке: «Мы транжирим наследство наших детей». Классическая цитата про «насмешку горькую обманутого сына над промотавшимся отцом» кажется здесь особо уместной. Но на самом деле я уверен, что причина раздражения кроется в другом — шестидесятники потерпели поражение. Они хотели обмануть корпоративную Америку. Они не хотели работать до седьмого пота, не хотели эксплуатировать и быть эксплуатируемыми, а хотели свободы и любви. Но корпоративная Америка обманула их — из шестидесятников получились отличные менеджеры и руководители крупных компаний (говорят, Билл Гейтс — самый богатый человек в мире[1], акула капитализма и глава «Майкрософта» — был даже учеником великого психоделического гуру Тимоти Лири, что не мешает ему сегодня проводить политику такой жесткой монополизации рынка, которой позавидовал бы и Дж. П. Морган). Вот чего нельзя простить — бумеры продались, не выполнив своей миссии. И более того, они не оставили своим детям возможности повторить их путь — потому что деньги вышли и купить иксеров уже не на что.

Между тем история того, как шестидесятники превратились в яппи, не так проста, как это кажется на первый взгляд. К 1970 году стало очевидно, что Утопия, приближения которой алкали хиппи, задерживается, если не отменяется вовсе. И причины этого были не только внешними — противодействие властей и «обывателей», — но и внутренними: дети-цветы все еще оставались детьми, не способными к захвату и удержанию власти. Вот что писал Тимоти Лири о «конце прекрасной эпохи»: «Социальная философия хиппи была романтически непрактичной. Конечно, они не собираются больше работать на ферме Мэгги, но что им делать после веселья всю ночь напролет? Многие нашли укрытие у всяких гуру, другие опять вернулись к новой форме антитехнологической шик-«американскости». Городские политические активисты попугайски твердили лозунги европейского социализма или социализма «третьего мира», а на самом деле превращали в поп-звезд таких жестоких деятелей тоталитаризма, как Че Гевара и Хо Ши Мин»[1].

Реакцией на кризис начала 70-х и стало возникновение яппи — молодых городских профессионалов, веривших только в себя и противопоставивших корпоративному духу старый добрый американский индивидуализм. Том Вулф назвал их «Я-поколение», а Тимоти Лири говорил, что они заключали индивидуальный договор с Богом. «Они политически и психологически независимы. Они не идентифицируют себя ни с компанией, ни с союзом, ни с тайной партией. Они не зависят от организационной принадлежности. Они знамениты своей нелояльностью к общественным институтам». Ну что ж, если посмотреть с этой стороны, то можно сказать, что шестидесятники не слишком изменились. Можно даже сказать, что они победили, трансформировав Систему и навязав ей свои ценности — расовую, национальную и сексуальную терпимость.

С другой стороны, подобная победа всегда чревата поражением — возможно, Система изменилась, но и старым, «олдовым» хиппи пришлось согласиться на работу от зари до зари, использование чужого труда и участие в конкурентной борьбе. Захват власти выродился в правление Клинтона, ознаменовавшееся новой войной с наркотиками, бомбардировками Ирака и идеологией политкорректности, выглядящей как пародия истеблишмента на хипповскую свободу и любовь.

Словно предчувствуя деградацию шестидесятников, в 70-е на авансцену вышли панки. Сердитые, грязные и злые дети рабочих кварталов, они были полной противоположностью миролюбивым и медитатив-

[1] По данным журнала «Форбс», не учитывающим диктаторов и наследников арабских шейхов. Более корректно было бы сказать: «самый богатый человек в мире, наживший свои деньги при жизни, а не получивший их по наследству».

[1] *Тимоти Лири*. От йиппи к йаппи. «Zhurnal.ru», №2 (http://www.zhurnal.ru/2/leary.html).

ным выходцам из мидл-класса. На смену марихуане и ЛСД пришел героин и амфетамины, и, перекрывая *All you need is love*, раздалось *Fuck this and fuck that / fuck it all and fuck the fucking brat («Sex Pistols»)*. С самого начала панк был спланирован так, чтобы сделать победу невозможной и тем самым защитить себя от всепожирающей Системы. Основатель «Sex Pistols» и идеолог панка Малькольм Макларен конкретизировал лозунг 68-го «Будьте реалистами, требуйте невозможного», объявив, что «неудача — лучший успех». Какой бы бешеной популярностью ни пользовались «Sex Pistols» или «Clash», панк никогда не претендовал на власть и переустройство мира. Их требования были невыполнимы, действия — разрушительны, а музыка — непрофессиональна. Это было движение аутсайдеров, желавших оставаться аутсайдерами. Казалось, их нельзя купить.

Сегодня мы знаем, что это не так. В начале 80-х энергия панка была поставлена на службу шоу-бизнесу. Отдельные героические личности, подобные Сьюзи Сиу[1], отказывающиеся сотрудничать с коммерческим каналом MTB, не делают погоды: позапрошлогоднее турне «Sex Pistols» служило тому лучшим подтверждением.

Быть названным — это *privilege des morts* поколения, чей родовой знак отметил крестиком его надвигающуюся смерть. Так что печальная для социологов истина заключается в следующем: поколение Икс мертво, и именно потому, что оно — Икс. И живет оно как «значащий труп». Социологи и прочие интерпретаторы установят связь этого поколения с переломом 1989 года (или с войной в Персидском заливе, или еще с чем-нибудь), а также — с кампаниями Гринписа в защиту китов и красными бантиками сочувствующих проблеме СПИДа, с утомительной игрой в аполитичность и реполитизированность. Это как им захочется.

С. Райнфельд, 1996

3. «X» как «экс-»

При желании можно сказать, что поколение Икс – типично постмодернистское явление[2]. Это нечто, существующее «после»: после хиппи, после панка и одновременно после яппи и после судебного процесса за право на название «Sex Pistols». Слишком молодые, чтобы успеть стать хиппи или панками, иксеры сразу превратились в экс-хиппи, экс-яппи и экс-панков. «Богаты мы, едва из колыбели, / Ошибками отцов и поздним их умом».

Все попытки стать неудачниками потерпели неудачу. И тогда поколение Икс придумало новый ход. Чтобы вас не купили, надо, чтобы вы не представляли никакой ценности. У хиппи была созидательная энергия (построение нового мира), у панка — энергия разрушительная. У иксеров энергии не было — и потому они могли надеяться на то, что корпоративная Америка оставит их в покое. Этому способствовало то, что все наиболее заметные формы самовыражения у «иксеров» были отняты. «Sex, drugs and rock-n-roll»? Вы имеете в виду пост-СПИДовский секс, в котором эпитет «безопасный» в равной степени может быть применен к технической (презерватив) и психологической («амортизаторизм»[1]) стороне? Очень мягкие наркотики, уже доказавшие свою неспособность изменить мир (даже Клинтон курил марихуану... хотя, по его собственному утверждению, и не затягивался)? Полумертвый рок, не породивший за 80-е ни одного сколько-нибудь заметного течения? Не случайно герои романа Коупленда предпочитают немецкий «industrial»[2] и «Velvet Underground»[3].

Пожалуй, единственное, что осталось иксерам, — это современное искусство, точнее поп-арт[4]. Речь идет даже не о том, что роман Коупленда был иллюстрирован рисунками в стиле Роя Лихтенштейна, а об

[1] Siouxie Sioux, начинавшая как панк-певица, лидер группы «Siouxie and the Banshies», просуществовавшей до 1996 года.

[2] Этому, правда, мешает старательно культивируемый «разрыв поколений» — вещь, конечно, допустимая в ПМ-чувствительности (почему нет?), но все же несколько дурного тона.

[1] В оригинале: safenetism – «страховочносетизм» (обратите внимание на первое слово — safe).

[2] Некоммерческое направление в молодежной музыке 80—90-х.

[3] Культовая нью-йоркская группа 60-х.

[4] Выражение «современное искусство» употреблено здесь как термин, отличающий его от искусства традиционного. Автор, разумеется, отдает себе отчет, что поп-арт — явление культуры 50— 60-х годов. Это только подчеркивает преемственность поколений; напомню, что ранний — досекспистолский — панк (Лу Рид и тот же «Velvet Underground») тоже группировался вокруг Уорхола.

общем способе восприятия мира, в котором газетная и телевизионная реклама, забегаловки быстрого питания, поп-идолы и дизайн бытовой электроники представляют не меньший интерес, чем произведения «высокого искусства» и «вечные вопросы бытия». Одним из символов такого повседневного поп-арта является, конечно, телевидение. Модные, к слову сказать, и в Москве простые забавы типа смотрения «Магазина на диване», телереклам или идиотических ток-шоу — то же наслаждение очарованием простых вещей, типа лихтенштейновских комиксов или уорхоловских Джеймсов Динов[1].

Еще ближе к эстетике поп-арта стоит Тама Яновиц — автор, также относимый американской критикой к «поколению Икс». Снискавшая славу певицы и хроникера американской богемы, Яновиц успела сподобиться благословения «Папы поп-арта» Энди Уорхола незадолго до его смерти. Сборник ее рассказов «Рабы Нью-Йорка» (1986) был удачно экранизирован в 1989 году, да и сегодня она остается заметной фигурой в нью-йоркской тусовке. Сравнительно недавно один из гомосексуальных журналов назвал ее вместе с Мадонной в числе гетеросексуальных женщин, ведущих себя как голубые мужчины, — а в сегодняшней Америке это нешуточный комплимент.

Герои ее рассказов — старшие сверстники коупленовских Дега, Энди и Клер, в отличие от них живущие не в Палм-Спрингс, а в Нью-Йорке. Жилье в Нью-Йорке не в пример дороже — и это создает в жизни героинь Яновиц тот напряг, которого нет у пустынных отшельников Коупленда. Зато и в той, и в другой книге мы найдем одну и ту же бездомную неприкаянность и один и тот же поп-артовский интерес к мелочам быта. Делать сережки с фигурками Джеймса Бонда, устраивать вечеринку в комнате, где с трудом помещается стол, — все это не только обычные богемные забавы, но и то, что отделяет героев Яновиц и Коупленда от яппи и воротил корпоративного бизнеса.

Книга Яновиц была написана за пять лет до романа Коупленда, и это означает, что по своей сути поколение Икс — феномен не столько 90-х, сколько 80-х годов. Вероятно, то, что иксеры так долго не попадали под пристальное наблюдение, объясняется не только их отмеченной выше незаметностью и малой энергичностью, но и тем, что в 80-е было много других проблем: яппи все активнее захватывали власть, свирепствовал СПИД, падала Берлинская стена и разваливался Восточный блок. Одним словом, иксеров, желавших остаться «некупленными», можно поздравить — их, по крайней мере, не замечали очень долго.

Но после выхода книги Коупленда съели и их. В кратчайший срок «Gen X» стало настоящей торговой маркой — множество книг, фильмов[1], модных фирм, журналов, газет и интернетовских сайтов стали привязывать себя к поколению Икс. Самого Коупленда сразу после выхода книги пригласили работать в рекламу, обещая любые деньги и условия, — «никто лучше вас не знает поколение двадцатилетних!» Проявив завидную верность собственным идеям, Коупленд отказался, но не подлежит сомнению, что на его место нашлось много желающих. Одним словом, если за известностью Анны Франк и не стоят чьи-либо финансовые интересы, то за популярностью поколения Икс отчетливо просматриваются большие деньги.

По счастью, когда это случилось, эпоха уже переменилась — время поколения Икс вышло и на смену иксерам пришли рейверы. Во многом эта перемена была аналогична смене хиппи на панков — недаром рейв, как и панк, во многом пришел из рабочих кварталов Англии. Вместо мельком упомянутых у Коупленда травы и магических грибов появились экстази (X как Xtasy?) и сильные психоделики. Стимуляторы и музыка «техно» привнесли в жизнь младших братьев иксеров ту энергию, которой тем так не хватало. Для передового отряда продвинутой молодежи Коупленд стал выглядеть замшелым ретроградом. «Да, я курил траву. Но кокаин, кислота и

[1] Отмечу, что, повсеместно пинаемое за иммортализм и общую глупость, ТВ уже которое по счету десятилетие оказывается мощнейшим источником, подпитывающим индивида в его нежелании вливаться в общество. Человек, привыкший все получать по нажатию кнопки remote control, вряд ли захочет работать восемь часов на конвейере или в офисе.

[1] Наиболее известным фильмом этой волны стала картина Ричарда Линклейтера «Slacker» («Бездельник»).

прочее — для меня слишком круто». Человек, который валит кокаин и кислоту в одну кучу, вообще ничего не понимает в наркотиках.

Новое поколение было готово вслед за Тимоти Лири *turn on, tune in and drop out*[1]. У них снова была энергия и готовность изменить если не мир, то свою жизнь.

4. «X» как «х..»

В России мода на рейв, начавшаяся в 90-х с Гагарин-парти, хронологически предшествовала самому появлению термина «поколение Икс». Более того, упомянутые в начале статьи журналы, пропагандировавшие «иксерство», были ориентированы на куда более широкий пласт молодежной культуры (за что им нужно, разумеется, сказать «спасибо» от лица российских подростков, большинство которых именно там впервые прочитало Ирвина Уэлша или Уильяма Гибсона). Впрочем, это и неудивительно: в чисто американском виде поколения Икс в России и не могло быть — а если и было, то только в 80-е, и называлось оно с легкой руки Гребенщикова «поколением дворников и сторожей».

Питерские, московские и свердловские художники, музыканты и просто тусовщики, работавшие в режиме «сутки через трое» в котельных и кочегарках, лифтеры, сторожа и — куда же без них! — дворники аккумулировали в себе все те свойства поколения Икс, которые были унаследованы от хиппи, и — так же, как иксеры, — были в массе своей лишены шестидесятнических амбиций и надежд на переустройство мира. Они были готовы к тому, что придется вечно оставаться андеграундом, и считали, что жизнь дороже денег и карьеры.

Что было дальше, слишком хорошо известно. Мир таки переустроился, деньги появились, карьеры начали делаться, а жизнь, соответственно, кончилась. Возможно, это и есть пророчество о судьбе американского поколения Икс, — однако, как всякая аналогия, сопоставление иксеров с дворниками и сторожами изрядно хромает. Впрочем, чтобы объяснить причины этой хромоты, мне придется вступить на незаконную территорию бездоказательных рассуждений о национальном характере. Потому спешу оговориться, что, скорее всего, то, что видится мне под словами «русский национальный характер» (понимается как национальный характер живущего в России, а не русского по паспорту), вероятно, вовсе не существует в природе, а следующие несколько абзацев представляют собой бездоказательную спекуляцию, бездоказательность которой только возросла бы, если б она была со всех сторон обставлена цитатами из Бердяева или де Кюстина. Иными словами, каждое из последующих предложений следует начинать с «По моему мнению...»

По моему мнению, идеология, зафиксированная Коуплендом, не может быть популярна в России, поскольку в ней слишком мало разрушения и саморазрушения. Она, собственно, предлагает оставить все как есть, а самим устраниться, сохраняя при этом полную безопасность. Но кто видел полную безопасность в России?!

В стране, где часть людей так и не выехала из чернобыльской зоны, история с Клэр и радиоактивной (якобы) глиной, которую рассыпали у нее в доме, выглядела бы иначе. Девушка сначала бы долго кричала, дала рассыпавшему в морду, потом предложила всем собрать глину с пола прямо сейчас, а в конце концов махнула бы рукой и осталась жить, как жила. А про радиацию вспоминала бы, только открывая бутылку: «Столичная» очень хороша от стронция».

Ничего до.
Ничего после.
Все, что мы
планируем,
должно быть
сделано. Если вы
это понимаете,
сожгите это.
Если вы этого не
понимаете,
сожгите это. Мы
настаиваем на
вашей свободе.
Другого шанса не
будет.
Единственная
разгадка вашей
загадки —
признать
отсутствие
разгадки.

"Лайбах", 1992

[1] Включиться, настроиться и отъехать (*англ.*) — лозунг, предложенный профессором Лири для описания психоделического опыта.

Впрочем, это вымышленная история. Но, вдохновленный героями «Поколения Икс», не могу удержаться, чтобы не рассказать историю подлинную, благо она как раз посвящена любимой теме Коупленда «Как я их всех послал...»

Один уже не очень молодой человек, несколько лет проработавший в академическом институте, решил уволиться и пойти работать на фирму, поскольку денег нет, зарплату не платят, а детей надо кормить. Собирая на старом месте работы документы, он жаловался своим коллегам, до чего противный у него новый начальник: «Жирный, мерзкий, щеки — во, складки, как у бульдога, — гадость!» Но тем не менее документы собрал и уволился.

Через неделю заявляется он обратно и говорит, что снова устраивается на работу в институт. «Что случилось?» — интересуются коллеги. «Да, понимаете, хожу я на работу один день, хожу второй. Начальник мерзкий, жирный, щеки, как у бульдога, смотреть на него не могу. И вот где-то в конце недели я не выдержал, подошел к нему, взял его так руками за щеки и сказал: «Иди, иди отсюда!»

Обращают на себя внимание два момента. Во-первых, «Макрабство» хорошо в богатой стране — работа в забегаловке без особых усилий обеспечивает героям не только хлеб, но и бензин. К тому же к тридцати годам в России у всех обычно уже есть дети, которые тоже просят есть. Во-вторых, рассказанная мной история отличается от коуплендовских беспричинной и спонтанной агрессией. Не убежать, не засмеяться в лицо начальнику, даже не нахамить — а обязательно взять за лицо руками и послать. Причем на ровном месте.

Иными словами, наиболее привлекательным для русского человека в «Поколении Икс» является история сожжения автомобиля — вероятно, это не случайно для страны, где буква *X* воспринимается как первая буква вербального выражения фаллической агрессии. Не приходится удивляться, что любимый писатель рейверов Ирвин Уэлш (все жахают по вене, гибнут под машинами, занимаются сексом с трупами и отрезают руки бензопилой) куда популярнее у русских иксеров, чем Коупленд.

Можно сказать, что поколение Икс — это очередной пароход, который подарила Америка России. А тульские умельцы приделали ему колеса, запрягли лошадей и стали сено возить. Или, скажем, коноплю и бутылки из-под водки. Оно, конечно, не по правилам, но куда сподручней.

Впрочем, вернемся к Коупленду.

5. «X» как косой крест

После успеха «Поколения Икс» Коупленд стал звездой. В поколение Икс были скопом зачислены все юноши и девушки от восемнадцати до двадцати пяти, а тридцатилетний Коупленд тут же начал говорить, что он не имеет никакого отношения к этим молодым людям. «Я написал про них книгу, но я не отношусь к их поколению, — сказал он в интервью английскому журналу «The Face», посвятившему поколению Икс специальный номер, — я всю жизнь работал и никогда не был бездельником».

Это действительно так. Об этом можно судить по тому, что после успеха своей первой книги Коупленд продолжал выдавать на-гора новые произведения: «Планета Шампунь» (1992), «Жизнь после Бога» (1994) и, наконец, «Microserfs» (1995). «Microserfs» — это придуманный Коупленом неологизм, обозначающий младших служащих компьютерной корпорации «Microsoft» и образованный заменой последнего слога на слово «serf» — «раб»; соответственно, перевести название романа можно как «Рабы «Майкрософта». Подобно «Поколению Икс», этот роман тоже посвящен двадцати-с-лишним-летним, но на этот раз другим — не нашедшим в себе сил бросить работу и уехать в пустыню. Впрочем, ими движет не жажда денег или славы: просто Биллу Гейтсу удается создать в «Майкрософте» уютный замкнутый микромир — с бесплатной кока-колой, гамбургерами, доставляемыми прямо на рабочее место, и, главное, самой интересной в мире работой. Ради нее молодые сотрудники корпорации забывают не только о сне и отдыхе.

«Что меня потрясло в «Майкрософте», — признался Коупленд в одном из интервью, — так это то, что там никто не думает о Вечности. «Рабы «Майкрософта» — это книга о том, что можно либо жить, либо иметь работу».

Общение с «майкросерфами» не прошло для Коупленда даром: теперь он ведет

колонку «Будущее» в самом крутом журнале high-tech культуры «Wired» («в будущем персональные компьютеры будут невидимыми, а история превратится в сентиментальную роскошь» — красиво, но непонятно), завел себе страничку в WWW и охотно рассуждает о том, что человек создает артефакты, потому что он — единственное животное, не обладающее естественной функцией.

В июне 1995-го Коупленд объявил, что время поколения Икс вышло (на наш взгляд, он даже добавил ему несколько лет). Следующей своей книгой — «Фотоснимки от мертвецов» (1996) — он попытался окончательно рассчитаться с мифом о себе как о рупоре новой генерации. После трех романов и сборника рассказов Коупленд решил обратиться к смешанному жанру, соединив под одной обложкой документальные очерки с воспоминаниями и рассказами.

Оригинальное название — «Polaroids from the Dead» — прежде всего указывает на знаменитую рок-группу «Grateful Dead», описанию концерта которой посвящена первая часть книги. Концерт увиден глазами множества людей: старых хиппи, подростков, детей, феминисток, удачливых бизнесменов. Вторая часть представляет собой собрание зарисовок, посвященных знакомым автору местам и людям, а третья рассказывает об одном дне, проведенном Коуплендом в Брентвуде, городе, где покончила с собой Мэрилин Монро и была убита жена О.Джей Симпсона Николь Браун.

В этой книге Коупленд снова использует ход, принесший ему славу: касаясь тем, волнующих Америку, он показывает себя прежде всего опытным наблюдателем, подмечающим мельчайшие детали в поведении своих современников. В этом смысле удачен полудокументальный жанр «Фотоснимков от мертвецов» — в прошлые годы Коупленд вызывал немало нареканий за построение сюжета своих романов.

Интереснее, однако, другое: в самой личной, второй части книги Коупленд подчеркнуто ностальгичен. Если не воспринимать как рекламный ход заявление Коупленда о том, что он не хочет больше быть голосом иксеров, то описания Ванкувера времен его юности, кладбища, на котором он любил сидеть, и истории его знакомства с поп-артом (конечно же!) словно говорят читателю: «Смотрите, я уже взрослый мужчина, у меня есть прошлое, я не имею ничего общего с этим поколением Икс. Я — не один из них». В этом же ключе можно понимать и первую часть, где, отводя каждому из рассказчиков только несколько страничек, Коупленд дистанцируется как от шестидесятников-хиппи, так и от представителей следующих за ними поколений.

"Гранжевые" романы Дугласа Коупленда и компании начинаются нигде, движутся в никуда и оставляют вас там, где вам конец; а потому, по законам свободомыслия, заслуживают того, чтобы их расхваливали как литературу поколения, к полному духовному контролю над которым они стремятся.

"The Jolly Roger", 1995

На практике, однако, все эти приемы не сработали: двадцатилетние приняли книгу на ура, сказав, что она точно отражает их видение мира, одержимость прошлым и страх перед будущим. В очередной раз написанное модным автором стало жертвой его имиджа.

«Икс» в заголовке первого романа Коупленда, судя по всему, оказался крестом, который канадский писатель может поставить на попытках оторваться от своей славы. Написав несколько романов о молодых героях, ищущих свою идентичность, он попал в ловушку: его собственная идентичность оказалась навсегда похоронена под ярлыком «певца поколения Икс».

6. «X» как *neXt*?

Эпилог к истории «Поколения Икс» был одно время написан на каждом втором рекламном щите. В этом — учитывая отношение героев книги к рекламе — можно увидеть жестокую иронию: точно так же, как в рекламируемой торговой марке усмотреть аллюзию на знаменитые бутылки кока-колы, нарисованные Энди Уорхолом. Предоставим читателю делать дальнейшие выводы — выйдя на улицу, он легко найдет (если сам не предпочел городу пустыню) тот слоган, о котором идет речь:

«***Pepsi.* Поколение *NEXT***».

ТАМА ЯНОВИЦ

Рассказы

Перевод с английского ВЕРЫ ПРОРОКОВОЙ

Рабы Нью-Йорка

Моему брату Роланду было пять лет, когда кузен научил его одной шутке. «Том да Джон да У-Щип-Ни ехали на лодке. Том да Джон свалились в воду. Кто остался в лодке?» Мой братец сказал: «У-Щип-Ни», и кузен его ущипнул. Придя домой, братец решил рассказать эту шутку маме и сказал: «Том да Джон ехали на лодке. Том да Джон свалились в воду. Кто остался в лодке?» «Никого», — ответила мама. Братец повторил все снова и, когда мама во второй раз сказала «никого», бросился на нее с кулаками.

Прошло двадцать лет... Я старше братца, всю жизнь была старше, а мама до сих пор рассказывает, как его взбесил ее неправильный ответ. Он хотел одного — сделать ей то же самое, что сделали ему. А я теперь живу в Нью-Йорке, и главная моя забота — квартирный вопрос. Я снимала квартирку в старом кирпичном доме в Верхнем Вест-сайде, но она была слишком дорогой, а недорогую найти оказалось совершенно невозможно. Да и дела у меня шли не очень-то гладко. То есть денег я вообще не зарабатывала. Думала, что перееду в Нью-Йорк и стану продавать свои фенечки — украшения из резины и ракушек, серьги с пластиковыми Джеймс-Бондами и все такое, но выяснилось, что этим уже занимается куча других девушек. Так что в какой-то момент я решила все бросить и сказала Стасу, что собираюсь вернуться домой к матери. Мы со Стасом до этого полгода встречались. Тогда-то Стас и сказал, что мы могли бы попробовать жить вместе.

И вот уже почти год мы живем в его квартире в Виллидже. Комната одна, большая, но в ней полно коробок и шкафов, битком набитых бумагами. Он здесь обитает уже лет десять и лет шесть после развода жил один.

Я понемногу привыкаю к такой жизни. Утром убираюсь, выгуливаю далматинца Эндрю, потом подаю Стасу завтрак — два яйца всмятку, печенье с изюмом, кофе с тремя ложками сахара. Обычно в это время швейцар звонит по интеркому и я спускаюсь вниз забрать какую-нибудь посылку или бегу в магазин, например за сигаретами. Потом Стас уходит работать. Он художник, работает сам на себя, и с утра ему не обязательно торопиться, только в последнее время он выскакивает из дому часов в десять, потому что нервничает — у него скоро должна открыться выставка в галерее на Пятьдесят седьмой.

Днем я смотрю сериалы и выпиваю вторую чашку кофе. А потом начинаю придумывать ужин. Могу приготовить, например, куропаток по-корнуолльски в апельсино-

© 1986 by Tama Janowitz
© В. Пророкова. Перевод, 1998

вом соусе, рис с карри, спаржу или fettuccine[1] с чесночными хлебцами и салатом из аругулы. Без особых изысков. Взяв с собой Эндрю, иду в «Ки Фуд», сдаю пустые бутылки. Стас любит кока-колу и «Крекер Джек», пастилу лопает прямо из пакета.

В общем, привыкаю потихоньку. Он часто ворчит, особенно если я оставляю свою косметику в ванной. Раньше он говорил: «Ох, Элинор, грехи твои тяжкие», пока я не сказала, что это у него регрессивная реакция на католическое детство. Его раздражают всякие мелочи. Если я, к примеру, мою посуду и он углядит на полу лужицу жира, накапавшего, пока я несла фольгу от жаркого в мусорное ведро, он просто из себя выходит. Бесится, когда я не убираю одежду или кладу выстиранные вещи туда, где он их не может отыскать. Ну а если я покупаю не тот дезодорант, он минут пятнадцать объясняет мне, почему он пользуется не антиперспирантами, а именно дезодорантами. Антиперспиранты закупоривают поры и мешают естественному процессу потоотделения, что вредно для здоровья, а дезодоранты просто скрадывают неприятный запах. Но квартира-то его, и, когда мы начинаем ссориться, я с паническим ужасом думаю о том, что сматываться мне некуда.

У меня есть в Нью-Йорке пара подружек. Одна из них сдает свободную комнату за 650 долларов в месяц. У другой ребенок трех лет, и я уверена, что она бы с радостью поселила меня на диване в гостиной, если бы я днем нянчила ее крошку. Но будет ли мне от этого лучше? Сейчас я хотя бы стараюсь освоить искусство совместного проживания с мужчиной.

Так случилось, что на эту вечеринку я пошла без Стаса. Он неважно себя чувствовал, а я все-таки пытаюсь иногда выходить на люди без него. Для меня это проблема из проблем. Я предпочитаю всюду ходить с ним и, пока он болтает со своими друзьями, просто стою рядом и время от времени улыбаюсь, но говорить-то мне ничего не нужно. Допустим, подходит к нам в ночном клубе какой-нибудь его приятель, так он говорит не со мной, а со Стасом — о делах или о софтбольной команде, в которой они оба играют. Нужно мне что-нибудь говорить? Ничего мне не нужно говорить.

В общем, это было новоселье неких Моны и Фила. Я их почти не знаю. Они только что сняли за полторы тысячи в месяц — Моне достались какие-то деньги от родителей — квартиру на Четырнадцатой улице. Сущая находка, шестой этаж без лифта. Фил — плотник, поэтому сантехнику он может наладить сам. Они даже вещи еще до конца не распаковали, все было заставлено коробками. Некоторое время я сидела на кушетке, пила приготовленную в миксере «маргариту» и слушала рассказ Мониных родителей об их путешествии в Китай. В каком-то отеле в Пекине они жили в номере люкс — у них в тургруппе устроили лотерею, они ее выиграли, и им достался роскошный номер с уймой напитков в баре.

Потом я их слушать перестала, огляделась по сторонам и вдруг увидела совершенно потрясающего парня, который сидел со мной рядом и ел жареную курицу из «Кентакки фрайд чикен»[2]. Мона и ее муж Фил приготовили соус сами, но, поскольку замотались с переездом, купили в «Кентакки» кур и разложили их в корзиночки с льняными салфетками. Я ничего не ела, потому что поужинала со Стасом. Он приболел, и я ничего особенного не готовила, только фасолевый суп, макароны с сыром и салатик. Сначала, когда я увидела, как этот парень ест курицу и пялится на меня, я даже разозлилась, поскольку решила, что: а) он чересчур уж красив, этакий кудрявый брюнет с зелеными глазами, и б) он, скорее всего, актер, потому что вид у него был такой, словно он играет в сцене из «Тома Джонса», был такой фильм с Альбертом Финни. Стас говорит, что у меня не руки, а «паучьи лапки», и мне стало не по себе от того, как этот парень грыз тощее куриное

---

[1] Вид спагетти (*итал.; здесь и далее — прим.перев.*).

[2] Фирменное название сети экспресс-кафе.

крылышко и меня разглядывал. Я чуть не сказала ему, чтобы перестал выпендриваться и вел себя по-человечески.

Он представился, и мы разговорились. Я впервые за тыщу лет разговаривала с посторонним мужчиной. Стас наполовину поляк, наполовину итальянец, поэтому не поощряет моих бесед с лицами противоположного пола.

Этот парень, Микель, оказался из Южной Африки. Писал политические романы, и поэтому его вышвырнули из страны. То есть не буквально вышвырнули, а просто конфисковали рукопись, над которой он работал. Я спросила, не знает ли он случайно Джимми Гвинна из Кейптауна. Естественно, Микель его знал, даже снимал с ним вместе квартиру в Лондоне лет шесть назад. На новоселье Микель пришел с Милли, с которой я давно мечтала познакомиться: Милли —одна из немногих женщин-художниц, добившихся в Нью-Йорке успеха. Мы поздоровались; оказалось, что мы с Милли учились в одном колледже, только в разное время — она его закончила лет на восемь раньше, чем я. Мне и в голову не пришло, что Милли с Микелем — пара, я думала, они просто пришли одновременно. Короче, Милли отошла куда-то, а Микель стал болтать со мной дальше.

Я дала Микелю свой адрес и телефон, но почему-то умолчала о том, что живу не одна. Надо признаться, что делала я это безо всякой задней мысли. Стас постоянно твердит, что у меня должна быть собственная жизнь. Глаза у этого Микеля умопомрачительные — как два зеленых омута, такие раз увидишь и больше не захочешь. Взглянет – коленки дрожать начинают, а меня такие штуки просто бесят. Так что я никак не реагировала — то есть не позволяла коленкам дрожать — и беседовала с ним, словно он был моей подружкой. Впрочем, я, пожалуй, уже разучилась разговаривать по-другому.

Через несколько дней (Стас как раз ушел в мастерскую) Микель позвонил, и мы с ним договорились выпить вместе кофе. Оказалось, что он живет в нескольких кварталах от нас. В таверне «Белая лошадь» я уселась в самом дальнем углу, надеясь, что никто с улицы меня не заметит и не расскажет Стасу о том, как я провожу время.

Пришел Микель. Зубы у него сверкали совершенно невообразимой белизной (наверное, вода в Южной Африке какая-нибудь особенная), глаза — ну просто изумрудные (а может, он носит цветные линзы). Кому рассказать — не поверят. Он принес мне свой роман. Его опубликовали в Англии, и теперь он искал американского издателя. Роман назывался «Чужак с видом на жительство». Мне все-таки пришлось объяснить, что я живу не одна, и Микель спросил, как это у меня получается. Я сказала, что получается нормально, но все-таки есть надежда, что в один прекрасный день у меня появятся деньги и тогда я смогу съехать. Еще я сказала, что со Стасом ладить научилась, но он терпеть не может людей в доме, дивана у нас нет, только кровать, и вся квартира завалена его вещами, ремонта не делали лет десять, а я мечтаю о настоящей квартире, может даже с засаженным геранью балкончиком, и тогда бы я смогла иногда приглашать на ужин человек восемь-десять.

Тут-то и выяснилось, что Микель живет с Милли. Они познакомились в Лос-Анджелесе. Милли приехала туда с выставкой, а Микель там жил, отбирал сценарии для какой-то кинокомпании. Микель пригласил Милли в Южную Африку, она познакомилась с его матерью, и они отлично поладили. Микель возил Милли к зулусам, она с ними плясала, потом они всю ночь пили какие-то местные напитки, и Милли все ужасно понравилось. Потом Милли вернулась в Нью-Йорк и предложила Микелю переехать к ней, ведь все издательские дела надо решать в Нью-Йорке. Еще Микель сказал, что они прекрасно уживаются друг с другом, только все время ссорятся.

Дело обстоит так: у Милли есть собственная квартира, и когда ее предыдущий друг, с которым они собирались пожениться, купил соседнюю, они сломали перегородки и объединили оба помещения. И теперь бывший друг Милли сдает свою часть Микелю за почти символическую плату, настолько символическую, что хоть Микель и на мели, но все же может себе позволить жить в Нью-Йорке, где, собственно, жить и хочет. Сдает бывший Миллин друг свою часть квартиры Микелю так дешево потому, что восстанав-

ливать стены чертовски дорого, а Милли наотрез отказывается делить помещение с чужим человеком. Микелю повезло, что Милли не считает его чужим, иначе ему пришлось бы вернуться в Лос-Анджелес к работе, которая не вызывает у него ничего, кроме отвращения.

Мы сидели и разговаривали. Микель положил свою руку на мою. В этом не было ничего сексуального, просто мы сидели за деревянным столиком в таверне «Белая лошадь», сидели и смотрели друг на друга. Мы оба оказались в одинаковом положении. Будь у одного из нас своя квартира, все могло бы обернуться иначе. Не то чтобы Микелю не нравилась Милли; нет, она ему нравилась. Но они часто ссорились, и ему не дозволялось вечером выходить одному. Милли не большая охотница до вечерних развлечений, а Микелю очень бы хотелось поближе познакомиться с нью-йоркской жизнью, раз уж он здесь оказался.

Мы собрались уходить, и я разрешила Микелю заплатить за мой кофе. Он сказал, что позвонит мне на днях, и я попросила его звонить с одиннадцати до часу, когда Стаса наверняка нет дома. Я попросила, чтобы он надписал мне книжку, и он написал: «Элинор, что живет у реки, от Микеля с любовью». И еще я сказала: «Слушай, а напиши-ка свой телефон. Вдруг мне понадобится тебе позвонить?»

Ничего предосудительного здесь не было и быть не могло. К Микелю я решила относиться как к подружке, поэтому и рассказала Стасу о нашей встрече. Ясно было, что у нас с Микелем ничего не получится, мы оба в одинаковом положении, но, может быть, мы могли бы общаться вчетвером — я бы дружила с Милли, а Стас ходил бы с Микелем играть в бильярд. Нужно ведь заводить новых друзей, а если живешь с кем-то, то лучше дружить парами.

У Стаса чуть нервный срыв не случился. Два дня он со мной вообще не разговаривал, а потом как пошел орать. Велел мне убираться вон, если мне так уж хочется спать с этим типом, возмущался, как я смею приносить в дом любовные послания от какого-то кретина.

Я сказала:

— Знаешь, Стас, если бы между нами что-то было, я бы не стала тебе ничего говорить. Я просто рассказывала Микелю о тебе и о том, какой ты замечательный, а он говорил о Милли.

Стас сказал:

— Не морочь мне голову! Так все и начинается — сначала рассказывают друг другу о своей жизни, а потом заваливаются в постель. Слушай, давай-ка разбежимся. Ты меня достала.

Это продолжалось весь день. Я не выдержала и расплакалась.

— Если хочешь, чтобы я ушла, — сказала я, — пожалуйста! Ты прекрасно знаешь, как я тебя люблю — почему же ты так странно на все реагируешь? Я думала, он тебе понравится. Он так хотел посмотреть твои картины. А я бы с удовольствием с ней подружилась.

— С кем? — спросил Стас.

— С его подругой.

— Ты что, хочешь, чтобы я ей позвонил и назначил свидание?— сказал Стас. — Этого ты хочешь? Замечательно. Ты все это придумала, потому что сама себе не доверяешь. Знаешь, что я в тебе больше всего ненавижу?

— Неряшливость? — спросила я.

— Нет.

— Характер?

— Нет, — сказал он. — На тебя нельзя положиться. Вот что я ненавижу в тебе больше всего. Ты чертовски ненадежный человек. Тебе самой от себя не тошно?

Вот это уж мне совсем непонятно. То есть да, я знаю, я человек ненадежный, но при чем здесь это? То, что я встретилась с человеком и выпила с ним кофе, отнюдь не свиде-

тельствует именно об этом моем недостатке. Я проплакала все воскресенье, а Стас отправился играть с приятелями в софтбол.

Микель позвонил в половине первого. Я пыталась говорить с ним легко и весело. Он действительно очень умный и милый, и я совершенно не понимаю, как Милли может с ним ссориться. Я хотела сходить выпить с ним кофе, только вот глаза опухли от слез. И тут я не удержалась и рассказала ему, в каком аду жила эти три дня, потому что Стас, узнав, что я ходила пить кофе с мужчиной, чуть с ума не сошел от ярости.

— У меня все то же самое. Она совсем спятила, — сказал Микель.

Мы помолчали.

— Может, выпьем кофе завтра? — предложила я.

— Завтра не могу, — сказал он. — Как насчет среды?

— Давай я позвоню тебе утром, — сказала я. — Не знаю, смогу ли я в среду.

Мы опять помолчали, а потом он сказал, что лучше мне ему не звонить.

Я видела его еще один раз. Печальная была встреча. Мы столкнулись в банке. Он был с Милли, и она как-то странно мне улыбнулась. Я была без косметики и в очках со стразами, так что, может, она меня и не узнала. В тот вечер, когда мы с ней познакомились, я была в линзах и навесила на себя кучу собственных украшений, кажется, серьги и бусы с Джеймс-Бондами и прочей ерундой. Когда Милли отошла к банкомату, Микель подошел ко мне и спросил, пойду ли я из банка домой.

Мне повезло — когда я вернулась, Стаса дома не было, а через несколько минут позвонил Микель. Разговаривали мы недолго. Микель сказал, что будет лучше, если мы некоторое время не будем общаться. Говорил он шепотом.

— А как же наш бурный роман, неужели он прервется, едва начавшись?

Молчание было мне ответом.

— Шутка! — сказала я.

Теперь, если Стас оказывается днем дома, я молюсь только об одном — чтобы телефон не зазвонил.

Я стараюсь содержать квартиру в чистоте и порядке. Мама моя живет на севере штата, и у нее только одна спальня. К ней мне удрать нельзя. В семь тридцать я встаю и иду гулять с Эндрю. Все хорошо. Стас купил мне пальто, оранжевое шерстяное пальто с зеленым бархатным воротником. Я предпочла бы что-нибудь более консервативное, но новое зимнее пальто иметь приятно.

Из Бостона позвонила моя подруга Эбби. Позвонила в истерике. Она уже несколько лет живет с одним парнем. Он был арт-директором в рекламном агентстве, а она преподает в Симмонсе[1]. Живут они в Бэк-Бэе, в доме Роджера, старом особняке, который он отремонтировал. Его уволили, и теперь он хочет, чтобы она взяла часть расходов по содержанию дома на себя, но жениться не предлагает. А тут объявился прежний возлюбленный Эбби, который хочет, чтобы она переехала в Нью-Йорк и жила с ним.

— И что ты намерена делать? — спросила я.

Эбби сказала, что ее прежний возлюбленный, Брюс, порядочный подонок, но Бостон и Роджер ей опостылели.

— Я могла бы жить в Нью-Йорке с Брюсом, — сказала она, — и летать раз в неделю в Бостон на работу. Может, в Нью-Йорке мне попадется кто-нибудь получше.

— Не делай этого, Эбби, — сказала я. — В старые времена браки детей устраивали родители. Конечно, можно было нарваться и на подонка, но по крайней мере законную супругу нельзя было вышвырнуть на улицу. А теперь у нас рабовладельческий строй. Живешь с мужиком в Нью-Йорке — изволь быть его рабыней.

— Знаешь, — сказала она, — я привыкла к тому, что Роджер готовит сам. Думаешь, готовить Брюсу придется мне?

---

[1] Колледж Симмонса — престижный частный колледж для женщин в Бостоне.

Ей отлично известно про мои ужины и про то, как я каждый день ломаю голову над меню.

— Да, — сказала я. — Готовить Брюсу придется тебе. А что ты будешь делать, если вы разругаетесь и он велит тебе убираться к черту? С твоей зарплатой квартиру в Нью-Йорке не снять.

— Брюс, конечно, мерзкий тип, — призналась она. — Но ведь я могла бы пожить с ним, пока не найду кого-нибудь получше.

— Об этом и не мечтай. Ничего ты не выиграешь, не надейся. — Раньше я ей этого не говорила, потому что не знала, что там у них с Роджером, но, похоже, все не так плохо. — Будешь жить с Брюсом, станешь его рабыней. В других городах, где жилье дешевле, все совсем иначе. У Роджера такой власти над тобой нет, ведь ты в любой момент можешь съехать и снять в Бостоне что-то свое.

— Это мне в голову не приходило, — сказала она. — Пожалуй, я еще подумаю. А ты точно знаешь, что в Нью-Йорке нет свободных мужиков?

— Есть женщины, — сказала я. — Сотни и сотни женщин, которые выслеживают дичь. А мужики — они либо голубые, либо сами рабы. Единственный выход — разбогатеть и обзавестись квартирой. Тогда сможешь заиметь собственного раба, нищего, но покорного.

— А женщины эти, которые дичь выслеживают, они хоть из себя ничего? — спросила Эбби.

Да она просто ничего не понимает!

— Эбби, — сказала я, — это Нью-Йорк. У них у всех стрижки за сто семьдесят долларов и черные пояса с бляхами из чистого серебра.

— Понятно, — сказала она. — А вообще-то как жизнь?

— Мы со Стасом живем отлично, — сказала я. — Он купил мне новое зимнее пальто. Слушай, я больше не могу говорить. Пора выгуливать Эндрю.

Я повесила трубку и подумала, что надо было мне сказать: «Знаешь, Эбби, Том да Джон свалились в воду, и в Нью-Йорке остался только У-Щип-Ни». Правда, я не уверена, что она бы меня поняла. Помню, когда моему братцу Роланду было пять лет, он носил ботиночки с металлическими мысками. После того как кузен рассказал эту шуточку и ущипнул его, мой братец лягнул его, отчего кузен пришел в ярость и кинулся жаловаться нашей маме. У него даже синяк остался. Мама чуть со стыда не умерла — выходило, что все ее педагогические методы себя не оправдали. Сейчас Роланд — стажер первого года в отделении акушерства и гинекологии одной из техасских клиник.

Спички

Внутренний голос велел мне позвать гостей. Пока жила со Стасом, я все время мечтала устроить вечеринку. Теперь я живу одна и ничто мне не мешает это сделать. Да только я не хочу. Боюсь.

Я немного подумала, как бы все-таки эту вечеринку устроить, а потом возблагодарила свою счастливую звезду — у меня нет ни стола, ни стульев. Так что этот каприз переходит в разряд неосуществимых. Гостей можно звать только в том случае, если им есть на чем сидеть. Но внутренний голос зудел: «Элинор, ты должна позвать гостей. Тебе это пойдет на пользу», — и я в конце концов сдалась. Сама не знаю как, но я очутилась в магазине, где купила стол и два стула и оформила доставку.

Я отлично знала, к чему ведут мои действия. И понимала, что сейчас в моей жизни такой период, когда все идет наперекосяк. А если вечеринка удастся, это будет означать, что в конце концов я сумею и жизнь привести в порядок.

В моей комнате с относительным комфортом может разместиться человек пять гостей. Телефоном я пользоваться ненавижу, и десятка два приглашений послала по почте. Текст был такой: «Приходите на коктейль в мое скромное гнездышко».

Пригласила я человек пятнадцать мужчин и пять женщин. У меня был план: познакомить всех мужчин, которые меня уже не интересуют, с тремя моими одинокими подружками (две дамы были замужние и должны были прийти с супругами).

Я, правда, отлично помнила, как после свиданий с молодыми людьми звонила каждой из подружек и выдавала подробный отчет о странностях очередного кавалера. Оставалось надеяться на то, что они об этом благополучно забыли.

В день приема все не заладилось с самого начала. Стол доставили в коробке, и состоял он из полусотни деталей. К нему прилагалась инструкция, написанная недоступным моему пониманию языком (видимо, перевод с китайского). Знала бы, что его пришлют в разобранном виде, ни за что б не купила. Я предприняла попытку собрать детали воедино, но через два часа вынуждена была сдаться. Внешне стол напоминал стол, но столешница просто лежала на ножках, и все сооружение держалось на честном слове.

Потом я попыталась приготовить соус (у меня был рецепт из «Вименс дей» — это должно было быть нечто с сыром и мексиканским перцем), но никак не могла включить плиту. Она у меня электрическая, а с электричеством я давно не в ладах. После разрыва со Стасом я съездила навестить мать, и каждый раз, когда я там у нее хотела поджарить тост, тостер самовозгорался. Или начинал расшвыривать обугленные куски по всей кухне.

У меня все ломается. Переехав в новую квартиру, я четыре раза за две недели меняла автоответчики — они отказывались работать. В общем, поняв, что плита не включится, я спустилась вниз за почтой. Пришел счет из «Кон Эд» на девяносто долларов. Я глазам своим не поверила: девяносто долларов за месяц! У меня квартирка-студия, такая крохотная, что пришлось купить диван-кровать — обычная тахта заняла бы всю комнату, — складной стол и складные стулья. То есть, не будь они складными, их бы просто некуда было поставить. В начале сентября еще тепло, да и плитой я почти не пользовалась. Пару раз включала на ночь кондиционер, но это не стоит девяноста долларов. Кажется, придется сидеть вечерами при свечах, иначе счета за электричество меня разорят.

Я позвонила человеку, который снимал эту квартиру до меня, и он сказал, что, даже если весь месяц пользовался кондиционером по вечерам, счета приходили долларов на сорок, не больше. Ну как тут не психовать! Меня наверняка используют для накопления электроэнергии. Она сочится из стен и прямо в меня. На бланке было указано, что со всеми вопросами надо звонить некоему Альберту Менендесу, что я и сделала.

— Девяносто долларов, Альберт! — сказала я. — Бред какой-то!

— Для «Кон Эдисон» это не бред, — ответил Альберт.

Но мне это казалось полным бредом. Поэтому я задумалась об объективной реальности. Ну почему все валится именно на меня? Тут я поняла, что начинаю заводиться, а гости придут только в восемь. И я отправилась прогуляться.

Я сидела на опоре моста, тут-то он ко мне и подошел.

— Прогуливаешь? — спросил он.

Я подумала: мне ведь почти тридцать. Но, пожалуй, я бы не слишком удивилась, если бы меня вдруг принудительно отправили в школу, в первый класс. Я взглянула на него. Симпатичный, может даже чересчур, такой чуть грубоватый, как с рекламы сигарет. Глаза голубые, волосы каштановые, вьющиеся. В клетчатой рубашке.

— С чего мне прогуливать? — сказала я. Кажется, это его огорчило. Но мы все-таки разговорились. Он оказался дизайнером по мебели, ему нравится мебель Фрэнка Ллойда Райта, именно мебель, а не архитектура, и еще работы кого-то, чье имя мне совершенно незнакомо, но я сделала вид, что знаю, о ком речь. Этот парень — его зовут Ян — сказал, что прогуливает работу, потому что захотел покататься на мотоцикле. Мотоцикл, красный БМВ-800, стоял на парковке за мостом.

Я сказала, что у меня депрессия. Вечером ходила с подругой выпить, перебрала и теперь страдаю от последствий: 1) физических, таких, как головная боль, усталость и нехватка витаминов B и C, 2) от чувства тревоги.

— Физическое состояние — на него можно и наплевать. Главное — тревога, — сказала я. — Все время беспокоюсь, как я буду принимать вечером гостей.

Ян присел рядом со мной. День был жаркий, но пасмурный, и в воздухе пахло скипидаром. Ян сказал, что он венгр, во всяком случае родители оттуда, и отлично умеет готовить гуляш и паприкаш, а рос он в венгерской общине в Нью-Джерси. Даже произнес несколько слов по-венгерски, наверное, хотел доказать, что не врет. Он спросил, сколько мне лет, а когда я сказала: «Двадцать восемь», с некоторой обеспокоенностью заглянул мне в глаза. Странно, но в последнее время везде, куда бы я ни пришла, все выясняют, сколько кому лет. Просто эпидемия какая-то! И каждый норовит уколоть другого его возрастом — словно бабочку на булавку насаживает.

— А тебе сколько лет? — спросила я.

— Тридцать четыре.

— Это уже старость, лапочка, — сказала я.

— Мне уйти? — спросил Ян.

— Нет-нет, — сказала я. — Шутка.

И я рассказала ему историю про то, как один пожилой человек (семидесяти двух лет), друг семьи, позвонил и пригласил меня на ленч. После ленча (arroz con pollo[1]) он сказал, что хотел бы поехать ко мне и заняться любовью. Хоть я и ответила, что будет лучше, если мы останемся друзьями, и напомнила про его счастливый брак, у выхода он меня все-таки облапил. Я бросилась прочь, а он на прощание выдал комплимент относительно некоей части моего тела.

— Разве это не ужасно? — спросила я.

— Почему это тебя шокирует? — сказал Ян. — Наверняка ты с таким не раз сталкивалась.

— В семьдесят два года! — сказала я. — Животное. — И попыталась объяснить, что мужчины моего возраста рукам воли не дают. — Если ты кого-нибудь куда-нибудь приглашаешь, а потом вы решаете завершить встречу в постели, то решение бывает обоюдным, так ведь? Ты же не станешь кидаться на девушку на пороге ее дома.

Ян согласился со мной и подтвердил, что не станет. У следующей опоры кто-то играл на трубе, причем довольно плохо, и стоны трубы неслись над водой. Из-за этого музыкального фона все походило на сцену из фильма, во всяком случае, так казалось. Я объяснила Яну, что устала от мужчин, навешивающих на меня оценочные суждения.

— Большинство мужчин, с которыми я встречаюсь, все время выдают какие-то определения, — сказала я. — Но ведь любому — мужчине, женщине — можно сказать, что он чем-то расстроен, и в пятидесяти процентах случаев попадешь в точку. — Ян, кажется, меня не понял.

— А мне не кажется, будто ты чем-то расстроена, — сказал он.

— Я и не расстроена, — ответила я. — Ну может, самую малость, но это потому, что нервничаю перед гостями. И нет у меня никаких причуд и странностей. Все вокруг с причудами, а я нет. Уж это я определить в состоянии.

— Угу, — сказал Ян и предложил мне прокатиться на мотоцикле. Я подумала и согласилась, хотя в последний раз, когда я каталась на мотоцикле, нарвалась на своего отца, Макса, — сначала он узнал Рики, малолетнего преступника, за спиной которого восседала я, а потом и меня. Он заставил Рики остановиться, велел мне слезть и впредь запретил кататься на мотоциклах.

Я прикинула, что срок давности Максовым запретам уже вышел, но все-таки немного нервничала. Макс был не прав, но не во всем. Я понимала, что развлечение это

[1] Курица с рисом (*исп.*).

опасное, возможно на грани патологии, но не будет же Ян гнать по улицам города на бешеной скорости. Он дал мне шлем, который возил пристегнутым к переднему колесу, и я попыталась засунуть в шлем свою рыжую гриву. Ощущение было такое, будто меня сдавили тисками.

— Не трогай это, — сказал Ян, показав на какую-то штуковину сбоку. — Можешь обжечься.

Потом он вышиб подножку, завел мотор, и мы рванули вперед. Машин было полно, мы долго, пока не пробились к тротуару, объезжали какие-то такси, и ощущение у меня было такое, что еще немного, и колени мне снесет напрочь. Я крикнула Яну в ухо, что хочу проехать мимо дома моего бывшего дружка. И даже представила себе, как мы с Яном мчимся на зеленый свет и я машу Стасу рукой; Стас замирает в изумлении, а потом бросается за нами вдогонку. Стаса, естественно, на улице не было, но приятно иногда немного помечтать.

Мы с Яном ураганом пронеслись по Южному Манхэттену, а потом он высадил меня неподалеку от дома. Я уже собралась с ним распрощаться, и тут мне в голову пришла одна идея. Ян оказался милым и симпатичным парнем, и, хоть мне он вряд ли пригодится, возможно, подойдет какой-нибудь из подружек. В людях я, по-моему, разбираюсь неплохо, а Ян учился в Вест-Пойнте, бросил его и поступил в Бард-колледж. Короче, я дала ему свой адрес и пригласила вечером в гости. Он сказал, что придет с удовольствием.

Часть адреналина я, конечно, катаясь на мотоцикле, спалила, но все-таки не могла заставить себя вернуться домой и ожидать там надвигающегося приема. Поэтому я решила сходить куда-нибудь поесть и направилась вверх по улице. Аньес, местная экстрасенсша, сидела у окна. Когда я проходила мимо, она меня остановила и показала на мужа, который стоял у сточной канавы рядом с собакой — изнуренной и потрепанной, точь-в-точь старая плюшевая игрушка.

— Мы женаты уже тридцать лет, — сказала Аньес, — и очень подходим друг другу. Он ненавидит людей, а я их люблю и беседую с каждым. Он плохо видит, но ноги у него здоровые. Я едва хожу, зато зрение отличное. И живем мы в разных квартирах.

Я кивнула.

— Поболтаем в следующий раз, — сказала я. — Мне надо пойти перекусить. И еще купить вина. У меня сегодня гости.

Завернув за угол Бликер-стрит, я учуяла запах говядины. С чесноком и луковым соусом из пакета — не худший вариант. Кажется, нечто похожее я когда-то ела. Было почти три часа пополудни.

И тут я увидела двух знакомых мужчин. Оба катили перед собой коляски с детьми.

— Привет, Элинор!, — крикнул мне Марк. Я перешла улицу и подошла к ним. — Наши жены отправились на смотрины младенца, а мы остались при детях. Ты ведь знакома с Борегаром?

— Да, — ответила я и взглянула на ребеночка, которого вез Борегар. Он был просто прелестный.

— Это не мой, — сказал Борегар. — Племянница.

— Как дела, Элинор? — спросил Марк и посмотрел на меня с состраданием. Не виделись мы с ним с тех самых пор, как я разошлась со Стасом.

— Отлично. Просто великолепно, — сказала я. — Делаю карьеру, у меня премиленькая квартирка...

Марк занервничал.

— Очень рад, — сказал он. — А мы ходили смотреть «Златовласку и трех медведей».

— Тебе понравилось? — спросил Борегар у племянницы. У детки было пухлое надутое личико. Я бы ей дала от силы года полтора.

— Очень понравилось, спасибо, — ответила она.

Вид у обоих молодых людей был довольно хмурый.

— А вам самим-то понравилась «Златовласка»? — спросила я. Они промолчали. — На соседней улице вчера была ярмарка, — сказала я. — Может, и сегодня там что есть, зайдите проверьте. — Я показала им кожаный напульсник в заклепках. — За эту штуковину я заплатила всего два доллара. Надо было еще купить. Там были и с шипами. Честно говоря, я бы носила десяток сразу — до плеча. И тогда никто бы ко мне не полез.

Борегар внезапно встрепенулся.

— Куда ты переехала, Элинор? — спросил он. — Выглядишь ты просто замечательно.

— Точно, Элинор, — подтвердил Марк.

Короче, я и их пригласила.

Потом я пошла в кафе, заказала гамбургер и картошку фри. Мне нужно было как-то себя поддержать. Еда была до того омерзительна, что это даже привело меня в восторг. Почти ледяная полусырая картошка, водянистый кетчуп и тощий кусочек мяса между двумя холодными кусками булки. Отвратительно. Я, дрожа от нервного возбуждения, смотрела на часы, следя за неумолимо бегущим временем. Посетители в этот час были только случайные. Я чувствовала, что токи, от меня исходящие, влияют и на окружающих. Какой-то бородатый хиппи донимал официанта.

— Что с тобой? — повторял он все время. Официант явно плохо понимал по-английски, он был темен и угрюм. — Почему ты такой мрачный? — допытывался бородач. — Иди сюда, я тебе помогу. Ты откуда? — Официант не отвечал. — Ты классный, — сказал хиппи. — Такой красавчик, но еще и классный.

За моей спиной разговаривали две женщины. Они, видимо, только что навещали кого-то в больнице.

— По-моему, ее врач спятил, — говорила одна другой. — Ты видела ее карту? В графе «Диета» он написал «постельный режим».

Наконец я выкатилась оттуда, купила вина и пошла домой.

На автоответчике была куча сообщений от моих гостей. Я совсем забыла, что наговорила следующее: «Привет! Сегодня на завтрак я съела пончик, выпила кофе и стакан клюквенно-яблочного сока. У меня вечером гости. Приходите, если хотите. Оставьте сообщение после гудка».

Я стала слушать запись, и почти все говорили: «Привет! На завтрак я съел яичницу из двух яиц и тосты и выпил шоколаду. Увидимся вечером», и я никак не могла сообразить, почему мне все рассказывают, что они ели на завтрак.

Плохие новости были все одинаковые — женщины, которых я пригласила, прийти не могли. Одна заболела, другой надо было уезжать, третья придумала какую-то дурацкую отговорку. Они все так долго жаловались на одиночество, что мне и в голову не могло прийти, что они решат пропустить столь волнующее событие. Короче, остались две дамы — я и моя подруга Эми. Она только что рассталась с мужем и наверняка постарается одарить своим вниманием как можно больше мужчин, чтобы доказать себе, что не потеряла формы.

Перед приходом гостей я так нервничала, что чуть не вывесила на дверь табличку «Умерла вчера. Просьба разойтись и не беспокоить». Но, как впоследствии выяснилось, замок у входной двери внизу сломался, и большинство гостей все равно в дом не попало. Все шло шиворот-навыворот. Стол мне пришлось накрыть бумажной скатертью (скатерть у меня была как на Хэллоуин, разрисованная тыквами, другой не нашла), из угощения — немного сыру и крохотные треугольные тарталетки со шпинатом, которые я купила в супермаркете.

Должна признать, что бывает угощение пошикарней и поизысканней.

Но сама я выглядела великолепно: я как раз купила китайскую пижаму зеленого атласа, а на ногах у меня были золотые босоножки. Я зарядила фотоаппарат и даже вставила в него новые батарейки, поскольку твердо намеревалась запечатлеть сие событие.

Начали прибывать гости: Майк, Фриц, Барри, Марли, Джон и Тед. А еще Билл, Стэн,

Ларри и Рассел. Я рассадила их на диван, на стулья и на пол. Все кидались ко мне на шею, а я с трудом вспоминала, кто из них кто. Все мужчины пришли с вином и цветами. Эми явилась в прозрачной леопардовой блузке, леггинсах и на высоченных шпильках. Она стояла у раковины и пыталась разморозить паштет, который стащила из кафетерия, где работает.

— Пойди познакомься с Марли, — сказала я. — Отличный парень, скромный. Между прочим, гетеросексуал.

— Не могу, — ответила Эми. — Боюсь. Я из тех гостей, которые предпочитают прятаться на кухне.

— У меня нет кухни, — сказала я. — Это же просто ниша. И почему раньше не предупредила? Ты же здесь, кроме меня, единственная женщина.

Комната была вся в сигаретном дыму, мужчины обшаривали в поисках вина холодильник. А я казалась себе Одри Хепбёрн в фильме «Завтрак у Тиффани»: Трумэн Капоте сидит в углу (на самом деле это был не Трумэн, а один мой приятель, который обожает меня вышучивать), в комнате полно мужчин и только одна подружка хозяйки. Я все представляла себе немного иначе, но так уж вышло.

Конечно, во время самой вечеринки пищи для размышлений хватало. Нормально ли общаются Майк с Фрицем (они говорили о ловле тунца, а потом стали обсуждать, как одеваются теннисисты из Восточной Европы), не слишком ли долго Эми рассказывает Марли про свой развод. Надо было опорожнять пепельницы, подливать вина, менять кассету Нино Роты (саунд-треки к фильмам Феллини) на африканскую музыку с бонго-бонго. Я, как могла, старалась поменьше общаться с гостями. Как, черт возьми, Холли Голайтли удавалось находить в этом удовольствие? Звонок внизу звонил не переставая, но наверх никто не поднимался (я тогда не знала, что в середине вечера замок заело). Мне казалось, что с минуты на минуту придет еще сотня человек, а когда этого не произошло, я вылезла на пожарную лестницу, чтобы посмотреть, кто внизу — может, они позвонили и убежали.

— Стой, Элинор! — услышала я крик одного из гостей. — Не делай этого! Не прыгай!

На секунду я почувствовала себя на вершине успеха. Выползая в своей зеленой пижаме из окна на пожарную лестницу, я, конечно же, выглядела блистательной хозяйкой.

Теперь оставалось только, чтобы в дверь позвонил мужчина, который бы меня действительно интересовал. Тогда вечер безусловно удался бы. Но я не ждала никого, кто бы мне хоть мало-мальски нравился.

Наконец звонок таки раздался, и я слетела с пожарной лестницы. Это был Ян, причем с чемоданом. Я залпом допила свое вино.

— Привет, — сказал он. — Как дела?

— Нормально, — сказала я. — Проходи. Надеюсь, ты не собираешься ко мне переехать. Здесь и так повернуться негде. — Меня сбил с толку чемодан.

— Не волнуйся, — сказал Ян. — Просто как раз сегодня моя подружка меня выгнала. Я решил заглянуть к тебе, а уж потом пойду в гостиницу.

— Выпей вина, — предложила я и повела его в комнату, где в позе испанской махи, отдыхающей на коробках из-под мыла, возлежала Эми. На самом деле возлежала она на футоне[1], который обычно служил мне и кроватью, и креслом. Я достала фотоаппарат, чтобы сделать несколько компрометирующих снимков. А потом взглянула на часы. Не то чтобы мне было совсем тошно, просто я не могла дождаться, когда все это закончится и я смогу наконец расслабиться. Мне осточертело веселиться. Веселье дается мне с трудом, оно меня травмирует. В некотором смысле гораздо веселее обходиться без него. По

[1] Футон — японское ватное одеяло или тюфяк.

мне, веселиться —то же самое, что нервничать. Я подумала, что, пожалуй, предпочла бы в одиночестве предаваться депрессии.

Тем временем появились Марк и Борегар, причем пришли они явно вместе.

— Привет, ребята, — сказала я. — А где Тина и Бетси? — Я полагала, что они приведут с собой жен.

— Ох, — сказал Марк, вытащил сигарету и пошел искать зажигалку.

— Мы не знали, что надо приходить с женами, — сказал Борегар и со смущенным видом направился к столу взять что-нибудь закусить. Наверное, он зацепился за ножку стола, с размаху на него навалился, и стол рухнул. Недопитое вино в пластиковых стаканчиках и остатки сыра полетели на пол. Сразу трое бросились все убирать.

— Господи! Извини, — сказал Борегар.

Ян поднял стол, залез под него и все подкрутил как надо. Я взглянула на него с интересом.

— Не беспокойся, — сказала я. — Не думаю, что этот стол предназначался для практического использования. Он был всего лишь платоновской идеей.

Все курили, но — странная вещь — ни у кого не было спичек. Кажется, все вокруг было усеяно пустыми спичечными коробками. Но пока кто-то один курил, другой мог прикурить у него. У холодильника меня поймал Тед.

— Как ты считаешь, Элинор, — спросил он, — дети рождаются такими, какие они есть, или родители все же могут влиять на формирование личности? — У Теда восьмилетний сын, который далеко пойдет. Он уже организовал рок-группу, и они записали какой-то хит.

— Не знаю, — сказала я, пытаясь улизнуть. — Я на днях была в Сохо и видела женщину с огромным шимпанзе, одетым в костюм и ботинки. Странно, правда?

— Я видел в «Воге» фотографии твоих украшений, — сказал Тед.

— Прошу прощения, — сказала я и заперлась в ванной. Когда я вышла, оказалось, что почти все вино кончилось, и у меня наконец появился шанс избавиться от гостей. Удивительная вещь: каждый из мужчин решил, что я пригласила его потому, что в него влюблена, хотя на самом деле все было совсем не так. И каждый целовал меня на прощание и говорил, чтобы я не волновалась — он скоро мне позвонит.

— А ты познакомился с моей подругой Эми? — спрашивала я.

Я решила, что все разошлись, но Марк с Борегаром и Ян сидели на диване и приканчивали двухлитровую бутылку вина, которую они припрятали. Поняв, что уходить они не собираются, я легла на футон и протянула свой стакан, чтоб и мне налили.

— Боже мой! — сказала я, обхватив голову руками. — Напомните мне, чтобы я больше ничего подобного не устраивала.

Они сидели — ни дать ни взять герои из «Трех бездельников»[1] — и ждали, что я буду делать дальше.

— Мне было б легче, если бы у меня был парень, — сказала я, — с которым можно было бы разделить ответственность. Я начинаю думать, что уже никогда никого не встречу.

— Позволь мне кое-что тебе сказать, — пробормотал Борегар заплетающимся языком. — Зачем по пустякам впадать в отчаяние?

— Позволь *мне* кое-что тебе сказать, — заявила я. — Я и при Стасе постоянно впадала в отчаяние. Я вообще считаю, что жизнь есть акт отчаяния. — Борегар озадаченно посмотрел на меня.

— Она терпеть не может оценочных суждений, — сказал Ян.

— Спасибо, — сказала я. Несколько минут все молчали. Кассета закончилась, и в комнате воцарилась тишина. — Что ж, — сказала я наконец, — слава богу, все позади.

— А что, собственно, у тебя было на уме, Элинор? — спросил Марк.

---

[1] «Три бездельника» — телевизионный комедийный сериал.

— Это была просто вечеринка, — сказала я. — А куда ты дел Тину?

— Я сказал ей, что не хочу, чтобы она сюда шла, — ответил Марк. Он успел здорово накачаться. — Сказал, что мне необходимо иногда выходить без нее. — Интересно, а почему в таком случае он проводит столько времени с Борегаром? Значит, не независимости ищет, просто с ней не хочет быть.

— Наверное, я скучаю по Стасу, — сказала я. — Я делала сегодня что-нибудь ужасное?

— Ничего плохого ты не делала, — сказал Борегар.

— Не больше, чем остальные, — сказал Марк.

Я была пьяна и чертовски устала.

— Сама знаю, — сказала я. — Знаю и все равно непрерывно терзаюсь.

— Никогда из отношений с другим человеком не получается того, что ожидаешь, — сказал Ян.

— Значит, это невозможно, — сказала я.

Борегар потянулся за сигаретой.

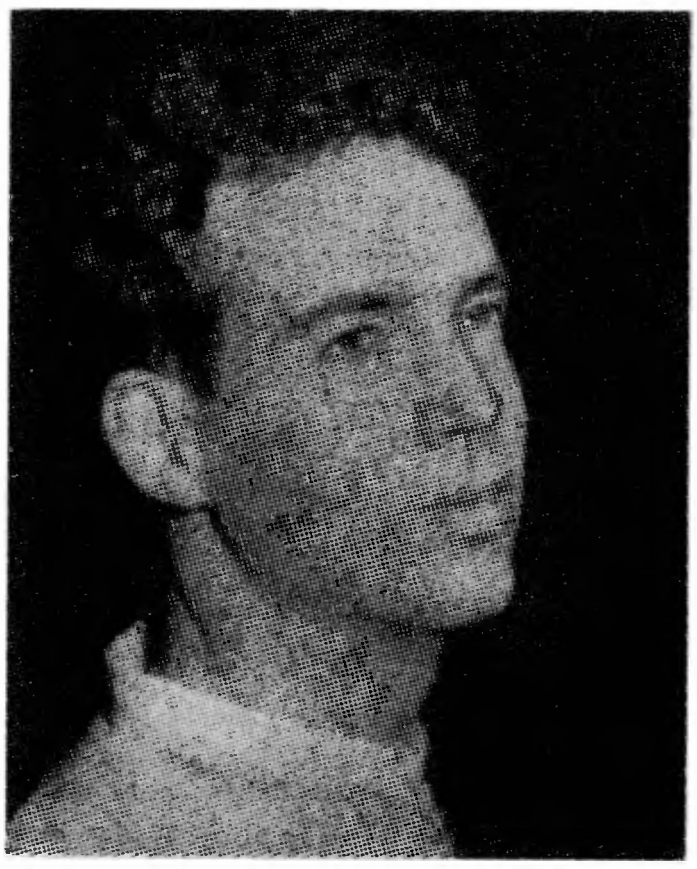
— Черт, все время забываю, что нет спичек, — сказал он. — Послушайте, а может, я попробую прикурить от плиты?

— Она не работает, — ответила я и вспомнила, что, когда была маленькой, родители учили меня пользоваться электроприборами — не совать пальцы в розетку, не включать ничего мокрыми руками. Они наверняка упустили что-то важное.

— Плита не работает? — переспросил Борегар.

—Завтра придется звонить в «Кон Эд», — сказала я. Марк налил нам еще вина.

■



ДУГЛАС КОУПЛЕНД

Поколение Икс

Сказки для ускоренного времени

РОМАН

Перевод с английского В. ЯРЦЕВА
под редакцией С. СИЛАКОВОЙ

От редакции

Представьте себе, что вы держите в руках не наш журнал, каким вы его привыкли видеть, а книгу. Она большая, квадратная, в мягкой желто-синей обложке. Открыв книгу, вы обнаружите кое-где на широких полях примечания — глоссы: какие-то понятия с объяснениями их значения. А шрифт и бумага создадут у вас впечатление размноженного на ксероксе самиздата.

В начале каждой главы (в журнале — только в первой), в середине страницы, помещен серо-белый квадратик — один и тот же фрагмент облачного неба. Изображение мутное, нарочито некачественное. Что бы ни описывал Коупленд: снегопад в Нью-Йорке, пикник в заброшенном поселке, очередь в супермаркете, — над всеми этими бытовыми сценками высится «небо» — иной план бытия. Там, как облака, движутся мысли героев, громоздятся лесенки их иронических комментариев по поводу окружающей действительности, проплывают притчи, с помощью которых они пытаются изменить свою жизнь.

Книги Коупленда — принципиально незамкнутые системы. Глоссы на полях часто не имеют прямого отношения к тексту, а просто совпадают с ним по месту и времени. Не надо чесать в затылке, пытаясь разгадать тайный алгоритм, по которому построен роман. Воспринимайте его как данность, как эклектическую соборность мусора на послепраздничной улице — и время от времени поднимайте от страниц глаза, чтобы оглядеться по сторонам.

© 1991 by Douglas Campbell Coupland
© В. Ярцев. Перевод, 1998

— Прическа у нее — абсолютная продавщица-парфюмерного-отдела-магазин-Вулворта-штат-Индиана-год 1950-й. Ну знаешь — такая миленькая, но дура дурой и скоро-скоро найдет себе приличного мужа, чтоб в халупе больше не маяться. Зато платье — аэрофлотовская-стюардесса-начала-шестидесятых — ну знаете, тотально-скорбного синего цвета, который был фирменным знаком русских в прежние времена, пока они не начали мечтать о плейерах «Сони» и кепках для Политбюро от самого Ги Ляроша. А какой макияж! Натуральная Мэри Квант, 70-е; а вдобавок — маленькие полихлорвиниловые клипсы с цветочками-аппликациями — точно такие наклейки лепили на свои ванны голливудские геи, году этак в 1956-м. Ей удалось ухватить сам дух скорби — она была там самой навороченной. Никто даже рядом не стоял.

Трейси, 27 лет

— Это мои дети. Взрослые или нет, не могу же я их выгнать. Это было бы жестоко. И кроме того — они отлично готовят.

Элен, 52 года

Часть I

СОЛНЦЕ — ТВОЙ ВРАГ

В конце семидесятых, когда мне было пятнадцать, я снял со своего счета все до последнего гроша, чтобы в «Боинге-747» перелететь через весь континент в г. Брандон, провинция Манитоба, в самую глубь канадских прерий — и увидеть полное затмение солнца. Как я теперь понимаю, в юности вид у меня был странный: почти альбинос, да еще и худой как щепка. Устроившись в мотель «Трэвел лодж»[1], я провел ночь в одиночестве: мирно смотрел телевизор, не обращая внимания на помехи, и пил воду из высоких граненых стаканов, покрытых мелкими царапинами, — похоже, после каждого мытья их заворачивали не в бумажные салфетки, а в наждачную бумагу. Но вскоре ночь прошла, наступило утро затмения, я пренебрег туристскими автобусами и доехал на общественном транспорте до окраины города. Там, порядком отмахав по грязной обочине, я вступил на фермерское поле — зеленые, как кукуруза, неведомые мне зерновые доходили до груди и шуршали, царапая кожу, пока я сквозь них продирался. На этом-то поле, среди высоких сочных стеблей, в назначенный час, минуту, секунду наступления темноты, под слабое жужжание насекомых я лег на землю и, затаив дыхание, испытал чувство, от которого так и не сумел отделаться до сих пор, — ощущение таинственности, неизбежности и красоты происходящего — чувство, которое переживали почти все молодые люди всех времен, когда, запрокинув голову, смотрели ввысь и видели, что их небеса гаснут.

* * *

Полтора десятка лет спустя мною владеют те же противоречивые чувства. Я сижу на крыльце домика, который снимаю в Палм-Спрингс, Калифорния, прихорашиваю двух своих собак, вдыхаю пряный ночной дурман цветов львиного зева и неистребимый запах хлорки со двора, где у нас бассейн, — в общем, жду рассвета. Я смотрю на восток, на плато Сан-Андреас, лежащее посреди долины, словно кусок пережаренного мяса. Вскоре над плато взорвется и нагрянет в мой день солнце, как вырывается шеренга танцовщиц

[1] Сеть недорогих мотелей, расположенных вдоль автострад по всей стране. (*Здесь и далее — прим. редактора.*)

на лас-вегасскую сцену. Собаки тоже смотрят. Они знают, что грядет важное событие. Собаки эти, скажу я вам, весьма смышленые, но иногда меня беспокоят. К примеру, сейчас я сдираю с их морд какую-то бледно-желтую, вроде прессованного творога, гадость (скорее даже похожую на сырную корочку пиццы из микроволновой печи), и у меня возникает ужасное подозрение, что эти собаки — хотя их умильные черные дворняжечьи глаза пытаются убедить меня в обратном — опять рылись в мусорных контейнерах за центром косметической хирургии, так что их морды измазаны жиром яппи. Как им удается забраться в предписанные законами штата Калифорния койотонепроницаемые красные пластиковые пакеты для отходов плоти — выше моего понимания. Наверное, медики озорничают или ленятся. Либо и то и другое одновременно.

Вот так вот и живем.

Попомните мои слова.

Слышно, как внутри моего бунгало хлопнула дверца буфета. Мой друг Дег, вероятно, несет другому моему другу, Клэр, что-нибудь пожевать, что-нибудь, состоящее исключительно из крахмала или сахара. А скорее всего, насколько я их знаю, капельку джина с тоником. Они — рабы своих привычек.

Дег из Торонто, Канада (двойное гражданство). Клэр из Лос-Анджелеса, Калифорния. Я же, если на то пошло, из Портленда, Орегон, но кто откуда — в наши дни не имеет значения («Ибо куда ни плюнь — везде одни и те же торговые центры с одинаковыми магазинами» — изречение моего младшего братца Тайлера). Мы все трое принадлежим к «космополитической элите бедноты» — многочисленному интернациональному братству, в которое я вступил, как упоминал ранее, пятнадцати лет от роду, когда слетал в Манитобу.

Как бы там ни было, поскольку вчера и у Дега, и у Клэр вечер не задался, они были просто вынуждены вторгнуться в мое пространство, дабы заполнить пустоту внутри коктейлями и прохладой. Им это требовалось. Каждому — по своим причинам. К примеру, вчерашняя Дегова смена в баре «У Ларри» (где мы с Дегом работаем барменами) закончилась в два часа ночи. Когда мы шли домой, он вдруг, не договорив фразы, устремился на ту сторону улицы и поцарапал камнем капот и ветровое стекло какого-то «катласа-сюприм». Это уже не первый спонтанный акт вандализма с его стороны. Автомобиль был цвета сливочного масла, с наклейкой «Мы транжирим наследство наших детей» на бампере — она-то, должно быть, и спровоцировала Дега, истомившегося от скуки после восьми часов макрабства («низкий заработок, нулевой престиж, ноль перспектив»).

Хотел бы я понять, откуда у Дега эта склонность к разрушению; во всем остальном он парень очень даже деликатный — однажды не мылся неделю, когда в его ванне сплел паутину паук.

МАКРАБСТВО: малооплачиваемая, малопочетная, бесперспективная работа в сфере обслуживания. Пользуется репутацией удачно выбранной профессии у тех, кто подобной работы даже не нюхал.

— Не знаю, Энди, — сказал он, хлопнув моей дверью (собаки следом). Дег, в белой рубашке, со сбившимся набок галстуком, мокрыми от пота подмышками, двухдневной щетиной, в серых слаксах (не брюках — слаксах), был похож на падшего мормона — загулявшую половинку тандема по раздаче душеспасительных брошюр. Как лось во время гона, он немедленно ткнулся в овощное отделение моего холодильника и выудил из увядшего салата запотевшую бутылку дешевой водки. — То ли я хочу... нет, я-то не хочу, но мне хочется... проучить какую-нибудь старую клячу за то, что разбазарила мой мир, то ли я просто психую из-за того, что мир слишком разросся — мы уже не можем его описать, вот и остались с этими вспышками на экранах радаров, огрызками какими-то, да с обрывками мыслей на бамперах (отхлебывает из бутылки). В любом случае я чувствую себя гнусно оскорбленным.

Было, по-моему, часа три утра. Дег по-прежнему был готов крушить все и вся; мы оба сидели на кушетках в моей гостиной, глядя на огонь в камине, когда стремительно (и без стука) ворвалась Клэр, норково-темная-под-бобрик-стрижка дыбом. Несмотря на маленький рост, Клэр всегда выглядит импозантно — профэлегантность, приобретенная на работе за прилавком фирмы «Шанель» в местном магазине «Ай. Магнин».

— Мука адская, а не свидание, — объявила она.

Мы с Дегом обменялись многозначительными взглядами. Схватив на кухне стакан с каким-то таинственным напитком, она плюхнулась на маленькую софу, ничуть не боясь грозящего ее черному шерстяному платью бедствия — бесчисленных собачьих волос.

— Слушай, Клэр. Если тебе тяжело говорить о свидании, может, возьмешь куклы и представишь его нам в лицах.

— Остроумно, Дег. Оченно остроумно. Черт, еще один спекулянт акциями и еще один nouveau[1] ужин из проросших семян люцерны и воды «Эвиан». И, естественно, он оказался из «Школы выживания». Весь вечер говорил о переезде в Монтану и какие химикалии положит в бензобак, чтобы его не разъедало. Не могу больше. Мне скоро тридцать, а я себя чувствую персонажем цветного комикса. — Она оглядела мою функционально (ноль претензий) обставленную комнату, которую оживляли разве что дешевенькие третьесортные индейские коврики. Лицо ее смягчилось. — А самый жуткий момент сейчас расскажу. На 111-м хайвее в Кафедрал-Сити есть магазинчик, где продают чучела цыплят. Мы проезжали мимо, и я чуть в обморок не упала — так мне захотелось цыпленка, они чудо какие славные, но Дэн (так его звали) сказал: «Брось, Клэр, цыпленок тебе ни к чему», на что я сказала: «Дэн, дело ведь не в том, что он мне ни к чему. Дело в том, что мне его *хочется*». И тогда он закатил мне фантастически скучную лекцию: мол, мне хочется чучело только потому, что оно так заманчиво выглядит на витрине, а как только я его получу, сразу же начну думать, куда его сплавить. В общем-то, верно. Тогда я попыталась объяснить ему, что чучела цыплят — это и есть жизнь и каждое новое знакомство, но объяснения как-то завяли — слишком уж запутанная вышла аналогия, — и наступило то ужасное «за человечество обидно» молчание, в какое впадают педанты, когда решают, что говорят с недоумками. Мне хотелось его придушить.

КОСМОПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА БЕДНОТЫ:
социальная группа, для которой характерны беспрестанные, подрывающие карьеру и жизненную стабильность путешествия. Ее представители склонны к бесплодным, астрономически дорогостоящим романам по международному телефону с людьми по имени Серж либо Ильяна. На вечеринках увлеченно обсуждают, какая авиакомпания предоставляет больше скидок постоянным клиентам.

— Цыплята? — переспросил Дег.

— Да. Цыплята.

— Ну-ну.

— Ага.

— Кудах-тах-тах.

Воцарилась атмосфера скорби и дуракаваляния (в равных дозах), и спустя несколько часов я удалился на крыльцо, где сейчас и отдираю гипотетический жир яппи с морд моих собак, одновременно наблюдая, как постепенно розовеет долина Коачелла, долина, в который лежит Палм-Спрингс. Вдалеке на холме виден растекающийся по скалам, подобно часам Дали, седлообразный особняк, которым владеет мистер Боб Хоуп, артист эстрады. Мне спокойно, потому что друзья мои рядом.

— В такую погоду полипы бешено плодятся, — объявляет Дег, выходя и садясь рядом со мной, сметая шалфейную пыльцу с расшатанного деревянного крыльца.

— Фу, какая гадость, — говорит Клэр, садясь с другой стороны и укрывая меня одеялом (я в одном белье).

— Совсем не гадость. Серьезно, ты бы посмотрела, как иногда выглядят тротуары

[1] Новый (*франц.*); здесь в смысле новейшей кулинарии.

возле террас ресторанов в Ранчо-Мирадж этак в полдень. Люди смахивают полипов, как перхоть, а ступать по ним — все равно что гулять по рисовым палочкам «Воздушный завтрак».

Я говорю: «Тс-с», и мы впятером (не забудьте собак) смотрим на восток. Я дрожу и плотнее закутываюсь в одеяло — сам не заметил, как продрог — и думаю, что в наши дни адской мукой становится буквально все: свидания, работа, вечеринки, погода... Может, дело в том, что мы больше не верим в нашу планету? А может, нам обещали рай на земле и действительность не выдерживает конкуренции с мечтами?

А может, нас просто надули. Как знать, как знать...

Знаете, Дег с Клэр много улыбаются, как и большинство моих знакомых. Но в их улыбках мне все время чудится что-то либо механическое, либо злобное. Как-то так они выпячивают губы... нет, не лицемерно, но оборонительно. Сидя между ними на крыльце, я испытываю небольшое озарение. Оно состоит в том, что в своей повседневной, нормальной жизни мои друзья улыбаются совсем как те люди, которых принародно обчистили на нью-йоркской улице карточные шулера — беззлобно, но все же обчистили, а они — жертвы социальных условностей — не решаются выказать свой гнев, чтобы не показаться полными недотепами. Мысль мимолетная.

НЕДОКАРМЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА ИСТОРИЕЙ: характерная примета периода, когда кажется, будто ничего не происходит. Основные симптомы: наркотическая зависимость от газет, журналов и телевизионных выпусков новостей.

ПЕРЕКАРМЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА ИСТОРИЕЙ: характерная примета периода, когда кажется, будто происходит слишком много всякого. Основные симптомы: наркотическая зависимость от газет, журналов и телевизионных выпусков новостей.

Первый проблеск солнца появляется над лавандовой горой Джошуа; но нам троим непременно нужно выпендриться себе во вред — мы просто не можем оставить этот момент без комментариев. Дег чувствует себя обязанным приветствовать зарю вопросом к нам, мрачной утренней песнью:

— О чем вы думаете, когда видите солнце? Быстро. Валяйте не задумываясь, а то убьете свою первую реакцию. Давайте — честно и чтоб мороз по коже. Клэр, начинай ты.

Клэр вмиг схватывает идею:

— Ну что ж, Дег. Я вижу фермера из России, который едет на тракторе по пшеничному полю, но солнечный свет ему не впрок — и фермер выцветает, как черно-белая фотография в старом номере журнала «Лайф». И еще один странный феномен: вместо лучей солнце начало испускать запах старых журналов «Лайф», и запах убивает хлеб. Пока мы тут говорим, с каждым нашим словом пшеница редеет. Пав на руль, тракторист плачет. Его пшеница погибает, отравленная историей.

— Хорошо, Клэр. Наворочено. Энди, ты как?

— Дай подумать секундочку.

— Ладно, я вместо тебя. Когда я думаю о солнце, я представляю австралийку-серфингистку лет восемнадцати где-нибудь на Бонди-Бич, обнаружившую на своей коже первые кератозные повреждения. Внутри у нее все криком кричит, и она уже обдумывает, как стащить у матери валиум. Теперь ты, Энди, скажи мне, о чем ты думаешь при виде солнца?

Я отказываюсь участвовать в этих ужасах. Не желаю включать в свои видения людей.

— Я думаю об одном месте в Антарктике под названием «Озеро Ванда», где не было дождя больше двух миллионов лет.

— Красиво. И все?

— Да, все.

Возникает пауза. А вот о чем я не говорю: то же самое солнце заставляет меня думать о царственных мандаринах, глупых бабочках и ленивых карпах. И о каплях жаркой гранатовой крови, сочащейся сквозь потрескавшуюся кожуру плодов, которые гниют на ветках в соседском саду, — каплях, свисающих рубинами с этих шаров из потертой кожи, свидетельствующих, что внутри буйствует сила плодородия.

Оказывается, Клэр тоже неуютно в этом панцире позерства. Она нарушает молчание заявлением, что жить жизнью, которая состоит из разрозненных кратких моментов холодного умничанья, вредно для здоровья. «Наши жизни должны стать связными историями — иначе вообще не стоит жить».

Я соглашаюсь. И Дег соглашается. Мы знаем, что именно поэтому порвали со своими жизнями и приехали в пустыню — чтобы рассказывать истории и сделать свою жизнь достойной рассказов.

НАШИМ РОДИТЕЛЯМ БЫЛО ДАНО БОЛЬШЕ

«Раздеваются». «Говорят сами с собой». «Любуются пейзажем». «Мастурбируют».

День миновал (вообще-то, если честно, и двенадцати часов не прошло), и мы впятером громыхаем по Индиан авеню, направляясь на дневной пикник в горы. Едем мы на старом сифилитичном «саабе» Дега, умилительно допотопной красной жестянке вроде тех, которые разъезжали по стенам зданий в диснеевских мультиках, а вместо винтов скреплялись палочками от мороженого, жевательной резинкой и скотчем. В машине мы играем в игру — с ходу выполняем задание Клэр: «Назвать все действия, совершаемые людьми в пустыне, когда они одни». «Снимаются голыми на «поляроид». «Собирают всякий хлам и мусор». «Палят в этот хлам и разносят его на кусочки».

— Эй, — ревет Дег. — Да ведь это очень похоже на жизнь, а?

Машина катит дальше.

— Иногда, — говорит Клэр, пока мы проезжаем мимо «Ай. Магнин», где она трудится, — когда на работе я смотрю на нескончаемые волны седых волос, кулдыкающие над драгоценностями и парфюмерией, у меня возникает странное ощущение. Мне кажется, я смотрю на огромный обеденный стол, окруженный сотнями жадных детей, таких избалованных и нетерпеливых, что они даже не могут дождаться, пока еда будет готова. Они просто-таки вынуждены хватать со стола живых зверюшек и пожирать их прямо так.

Ладно-ладно. Это жестокое, однобокое суждение об истинной сущности Палм-Спрингс — городка, где старики пытаются выкупить обратно свою молодость и в придачу взобраться еще на несколько ступенек по социальной лестнице. Как там в пословице: мы тратим молодость на приобретение богатства, а богатство — на покупку молодости. Городок не такой уж плохой и, бесспорно, красивый — черт возьми, я ведь здесь как-никак живу.

Но все-таки в этом городке душа у меня не на месте.

* * *

В Палм-Спрингс никакой погоды просто не бывает — совсем как на телевидении. Нет здесь и среднего класса, так что в этом смысле тут средневековье. Дег говорит, что каждый раз, когда на нашей планете кто-то пользуется скоросшивателем, сыплет в бак стиральной машины порошок-ароматизатор или смотрит по телевизору повтор «Хи-ха-хоу-шоу», кому-то из обитателей долины Коачелла капает еще один грошик. Похоже, Дег прав.

Пока мы ЛЮБИМ МЯСО

нечего ждать

подлинных перемен

Клэр замечает, что здешние богатеи нанимают бедняков обрезать с кактусов колючки. «А еще я обратила внимание, что они скорее готовы выкинуть комнатные растения, чем возиться с их поливкой. Господи. Вообразите, каковы у этих людей дети».

Тем не менее мы трое выбрали это место, поскольку город, без сомнения, являет собой тихое убежище от жизни, которую ведет огромное большинство представителей

среднего класса. Кроме того, мы живем далеко не в самом респектабельном районе. Отнюдь. Есть тут райончики, где, если что блеснет на подстриженной ежиком траве, можно даже не гадать — обязательно окажется серебряный доллар. Ну а там, где живем мы, у наших маленьких бунгало с общим двориком и общим бассейном в форме почки, сверкание в траве означает разбитую бутылку виски или пакет от мочеприемника, укрывшиеся от рук мусорщика, одетых в резиновые перчатки.

* * *

Машина выезжает на длинное шоссе, ведущее к хайвею, а Клэр обнимает одну из собак, которая втиснула свою морду между передними сиденьями. Морденция вежливо, но настойчиво просит внимания. Клэр нашептывает обсидиановым собачьим глазам:

— Ты, ты, ты, ах ты хитрюга. Тебе не надо ломать себе голову, как бы приобрести снегомобиль, кокаин или третий дом в Орландо, штат Флорида. И правильно. Ничего-то тебе не надо — только бы за ухом почесали.

Между тем собачья морда выражает ту веселую готовность услужить, какая бывает у коридорных в чужих странах, которые не понимают ни одного вашего слова, но чаевых все равно желают.

— Правильно. Тебе не нужны заботы о всяких там многочисленных *вещах*. И знаешь почему? (В ответ на вопросительную интонацию собака навостряет уши, прикидываясь, что понимает. Дег твердит, что все собаки втайне говорят по-английски и придерживаются теологически-нравственных устоев унитарианской церкви, но Клэр не соглашается — она, с ее же слов, во Франции точно удостоверилась, что все тамошние собаки говорят по-французски.) Потому что все эти вещи просто взбунтовались бы и съездили тебе по роже. Они просто напомнили бы тебе, что твоя жизнь уходит на сплошное коллекционирование вещей. И больше в ней ничего нету.

ПРОГУЛКИ В ЗЛАЧНОЕ ПРОШЛОЕ:
посещение мест (рабочих столовок, продымленных промышленных городов, захудалых деревень), где время остановилось много лет назад. Цель прогулок — испытать глубокое облегчение по возвращении в настоящее.

БРАЗИЛИФИКАЦИЯ:
растущая пропасть между богатыми и бедными и, соответственно, вымывание среднего класса.

ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ:
вы мечтаете переселиться в далекое прошлое — разумеется, предварительно сделав прививки от всех возможных инфекций.

* * *

Мы живем незаметной жизнью на периферии; мы стали маргиналами — и во многом, очень во многом решили не участвовать. Мы хотели тишины и обрели эту тишину. Мы приехали сюда, покрытые ранами и болячками, с кишками, завязанными в такие узлы, что уже и не надеялись когда-нибудь опорожнить кишечник. Наши организмы забастовали, одурев от запаха ксероксов и жидкости «Штрих», и от запаха гербовой бумаги, и от бесконечного стресса от бессмысленной работы, которую мы исполняли скрепя сердце, не получая в награду даже обыкновенного «спасибо». Нами руководили силы, заставлявшие нас принимать успокоительные, думать, будто прогулки по магазинам — уже творчество, и считать, что видеофильмов, взятых в прокате на субботний вечер, вполне достаточно для счастья. Но теперь, когда мы поселились здесь, в пустыне, все обстоит намного, намного лучше.

ПРОШЛОЕ — НЕ ВТОРСЫРЬЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО

На собраниях «Анонимных алкоголиков» братья по бутылке здорово сердятся, если человек не проблюется перед честно́й публикой. В смысле — не вывернется наизнанку, не вытащит наружу помойные ведра с утопленными котятами и орудиями смертоубий-

ства, лежащие на дне омутов наших душ. Члены «Анонимных алкоголиков» хотят слышать триллеры о том, как низко вы пали; но нет бездны, которая была бы для них слишком глубока. Ожидаются и приветствуются истории о надругательствах над супругами, растратах и приступах энуреза в общественных местах. Я это точно знаю, потому что бывал на таких собраниях (душераздирающие подробности моей собственной жизни последуют позже), видел процесс уничижения в действии — и злился на себя за то, что недостаточно грешен и не могу поделиться со слушателями настоящими кошмарами. «Никогда не бойся выкашлять в морду слушателям клочок своих изъязвленных легких, — сказал однажды сидевший рядом со мной мужчина, чья кожа напоминала корочку недопеченного пирога. Его пятеро взрослых детей больше не звонили ему. — Как люди спасут сами себя, если они не могут потрогать кусочек твоего ужаса? Он нужен людям, люди его жаждут. После этого кровавого клочка они меньше страшатся собственных язв». Я до сих пор ищу равную по силе метафору, которая передавала бы суть рассказывания историй. И так случилось, что, вдохновленный собраниями «Анонимных алкоголиков», я ввел похожую практику в свою жизнь — это «сказки на сон грядущий», которые я плету вместе с Дегом и Клэр. Все очень просто: мы придумываем истории и рассказываем их друг другу. Единственное правило — нельзя (совсем как на собраниях «АА») прерывать рассказ, а по завершении — никакой критики. Эта атмосфера терпимости идет нам на пользу, поскольку все мы трое склонны копить в себе эмоции до полного запора. Только при соблюдении этого правила нам не страшно доверяться друг другу.

ОТБРОСЫ не документ эпохи

Клэр с Дегом пристрастились к игре, как утята к речке.

— Я твердо верю, — сказал Дег однажды (много месяцев назад, когда мы только начинали), — что у каждого есть сокровенная, черная тайна, которую он ни в жизнь не расскажет ни единой душе. Ни жене, ни мужу, ни любовнику, ни священнику. Никому.

У меня своя тайна. У тебя — своя. Есть, есть у тебя тайна — я ж вижу, как ты улыбаешься. Ты и сейчас думаешь о ней. Давай-ка выкладывай. В чем она? Надул сестру? Дрочил в кругу себе подобных? Ел свои какашки, чтобы узнать, каковы они на вкус? Спал со всеми подряд и собираешься заниматься этим дальше? Предал друга? Расскажи мне. Возможно, сам того не зная, ты сумеешь мне помочь.

* * *

Как бы там ни было, сегодня мы будем рассказывать наши сказки на пикнике. С Индиан авеню вот-вот свернем на автостраду Интерстейт-фривей-десять[1], а по ней поедем на запад в этом дышащем на ладан допотопном красном «саабе»; Дег, сидящий за рулем, сообщает, что на его машине не ездят, а катят: «Мы катим на пикник в аду».

Ад — это поселок Вест-Палм-Спрингс-Виллидж, выцветший, обработанный дефолиантами мультик про Флинстоунов, он же несостоявшийся комплекс жилищной застройки 50-х гг. Поселок расположен на раскаленном от зноя холме в нескольких милях над долиной и возвышается над мерцающим алюминиевым ожерельем Интерстейт-десять, протянувшемся двойными полосками от Сан-Бернардино на западе к Блайту и Финиксу на востоке.

В эпоху, когда любая недвижимость пользуется спросом и благоустраивается, Вест-Палм-Спрингс-Виллидж — настоящая редкость: современные руины, почти заброшенное пристанище кучки стреляных воробьев в трейлерах «эйрстрим» и передвижных домиках. Местные настороженно косятся на нас, когда мы проезжаем мимо городского почетного караула — заброшенной бензоколонки фирмы «Тексако», окруженной сетчатым

[1] Интерстейт — федеральная автострада между штатами; фривей — бесплатная скоростная автомагистраль.

забором и рядами мертвых, почерневших пальм-вашингтоний — похоже, их выжигали напалмом. Общий стиль местности смутно напоминает декорации к фильму о вьетнамской войне.

— Создается впечатление, — говорит Дег, пока мы со скоростью катафалка проезжаем бензоколонку, — что году этак в 58-м Бадди Хеккет, Джой Бишоп и вся артистическая шарага из Вегаса собирались сделать бабки на этом месте, но главный инвестор сбежал, и все пошло прахом.

И все же поселок не совсем мертв. Несколько человек здесь все-таки живет, и этой когорте избранных храбрецов дарован изумительный вид из окон — ветряные мельницы вдоль хайвея, десятки тысяч турболопастей, укрепленных на столбах и направленных на гору Сан-Горгонио, одно из самых ветреных мест Америки. Придуманные для увиливания от налогов после нефтяного кризиса, эти ветряные мельницы так велики и мощны, что любая лопасть запросто может перерубить человека пополам. Как ни забавно, их эффективность не ограничивается сферой противодействия налоговому кодексу, так что вольты, бесшумно вырабатываемые ими, снабжают энергией кондиционеры центров реабилитации алкоголиков и жироотсосы процветающей в этом районе Калифорнии косметической хирургии.

Сегодня на Клэр брючки-капри цвета жевательной резинки, безрукавка, шарфик и солнечные очки: starlette manqué[1]. Ей нравится стиль ретро, однажды она даже сказала: «Если у меня будут дети, я дам им ретро-имена типа Мадж, Верна или Ральф. Такие, как у посетителей в столовках 50-х».

КОКТЕЙЛЬ ИЗ ДЕСЯТИЛЕТИЙ: **сумбурная комбинация двух или более деталей туалета разных эпох, призванная выразить вашу индивидуальность: Шейла = сережки от Мэри Квант (60-е годы) + танкетки на пробковой платформе (70-е) + черная кожаная куртка (50-е и 80-е).**

Дег, напротив, наряжен в поношенные полотняные штаны, гладкую хлопковую рубашку и мокасины на босу ногу — сокращенная версия его обычного стиля «падший мормон». И темных очков он не надел — собирается смотреть на солнце. Воскресший Хаксли или Монтгомери Клифт[2] на отходняке, пытающийся вжиться в образ своего героя.

— Отчего это, — спрашивают мои друзья, — мы делаем из покойных знаменитостей что-то вроде аттракциона с ужастиками?

А я? Я — всего лишь я. По-моему, я никогда уже не научусь подбирать одежки, как Клэр (по принципу «сочетания эпох вместо сочетаний тонов») или заниматься «каннибализацией времени», как это называет Дег. Все мои силы уходят на то, чтобы кое-как продержаться в «здесь и сейчас», большего я не прошу. Я одеваюсь, чтобы остаться незаметным, спрятаться — слиться с родом человеческим. Закамуфлироваться.

* * *

Словом, после долгого кружения по бездомным (в смысле, не имеющим домов) улицам Клэр выбирает для пикника угол Хлопковой и Сапфировой — не потому, будто там что-то есть (ибо нет там ничего, кроме потрескавшейся асфальтовой мостовой, которую потихоньку отвоевывают назад шалфей и креозотовые кусты), а скорее оттого, что; «если сильно постараться, можно почти ощутить оптимизм основателей поселка в миг, когда они раздавали улицам имена».

Багажник автомобиля громко захлопывается. Здесь мы будем есть куриные грудки, пить чай со льдом и с наигранным восторгом приветствовать приносимые собаками кусочки дерева и змеиных шкур. И под горячим, иссушающим солнцем, среди пустующих участков, которые в иной реальности могли бы быть прелестными уединенными жилищами мистера Вильяма Холдена, мисс Грейс Келли или других кинозвезд, будем рассказывать друг другу наши сказки на сон грядущий. В этих домах мои друзья Дегмар Беллингхаузен и Клэр Бакстер были бы дорогими гостями — с кем еще можно так заме-

[1] Несостоявшаяся старлетка (*франц.*).
[2] Американский киноактер.

чательно поплескаться в бассейне, посплетничать или выпить студеного рома цвета заката в г. Голливуд, штат Калифорния.

Но то иная реальность. В этой мы просто съедим заранее приготовленный ленч на бесплодной земле — аналоге пустого кусочка страницы в конце главы, — земле столь голой, что все предметы, попавшие на ее горячую кожу, превращаются в объекты насмешек. И здесь, под большим белым солнцем, мне удастся увидеть, как Дег с Клэр строят из себя обитателей той, иной, более гостеприимной реальности.

Я ВАМ — НЕ ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Дег говорит, что он — лесбиянка, запертая, как в мышеловке, в мужском теле. Попробуй-ка понять эту формулировку. Когда смотришь, как он курит в пустыне сигареты с фильтром и пот, едва проступая на его лице, сразу же испаряется, а Клэр у зарешеченного заднего вентиля «сааба» дразнит собак кусочками курицы, единственное, что приходит на ум, — это выцветшие фотокарточки на бумаге «Кодак», сделанные много лет назад и пылящиеся, как правило, где-то на чердаке, в коробке от обуви. Ну знаете: пожелтевшие, мутные, на заднем плане обязательно виднеется большая нерезкая машина, а наряды смотрятся удивительно стильно. Глядя на эти фото, остается только дивиться, как милы, печальны и наивны мгновения жизни, зафиксированные объективом, — ведь будущее по-прежнему неведомо и еще только готовится причинить боль. В эти мгновения наши позы кажутся естественными.

Наблюдая, как дурачатся в пустыне Дег и Клэр, я понимаю, что до сих пор образы моей собственной персоны и моих друзей в этом повествовании были несколько расплывчатыми. Чуть-чуть поподробней о них и о себе — самое время. Переходим к историям болезни.

Сначала — Дег. Где-то с год назад его машина подкатила к тротуару у моего дома — машина с номерами штата Онтарио, покрытыми горчичной коркой оклахомской грязи и мошкарой Небраски. Когда он открыл дверь, на тротуар вывалилась груда барахла, в том числе немедленно разбившийся флакон духов «Шанель кристаль». («Знаешь, лесбиянки просто обожают «Кристаль». Масса энергии, спортивный азарт».) Я так и не выяснил, зачем ему понадобились духи, но с этого самого момента наша жизнь стала значительно интересней.

Вскоре после приезда Дега я подыскал ему жилье — пустующее бунгало между моим и Клэр — и работу на пару со мной в баре «У Ларри», где он быстро стал кем-то вроде властителя душ. К примеру, однажды он поспорил со мной на пятьдесят долларов, что сумеет заставить местную публику — занудных пустозвонов, неудавшихся За-За Габор, байкеров невысокого полета, варящих кислоту в горных хижинах, и их байкерских телок с бледно-зелеными блатными татуировками на пальцах и лицами того отталкивающего цвета, какой бывает у выброшенных на помойку, размокших под дождем манекенов, — так вот, он поспорил со мной, что до закрытия сможет заставить их пропеть вместе с ним «It's a Heartache»[1] — отвратную, удивительно немодную шотландскую любовную песню, которую ни разу не извлекали из музыкального автомата. Идея была абсолютно дурацкой, и, разумеется, я принял пари. Спустя пару минут стою я в коридоре, под висящей на стене коллекцией наконечников индейских стрел, звоню по междугородке — и вдруг из бара раздаются немелодичное блеяние и рев толпы, сопровождаемые колыханием причесок «вшивый домик» и жидкими, не в такт, аплодисментами вялых байкерских рук. Не без восхищения я вручил Дегу его полтинник, пока

[1] «Сердце болит» (*англ.*).

какой-то страхолюдный байкер обнимался с ним («Люблю я этого чувака!»), а потом узрел, как Дег положил купюру в рот, немножко пожевал и проглотил.

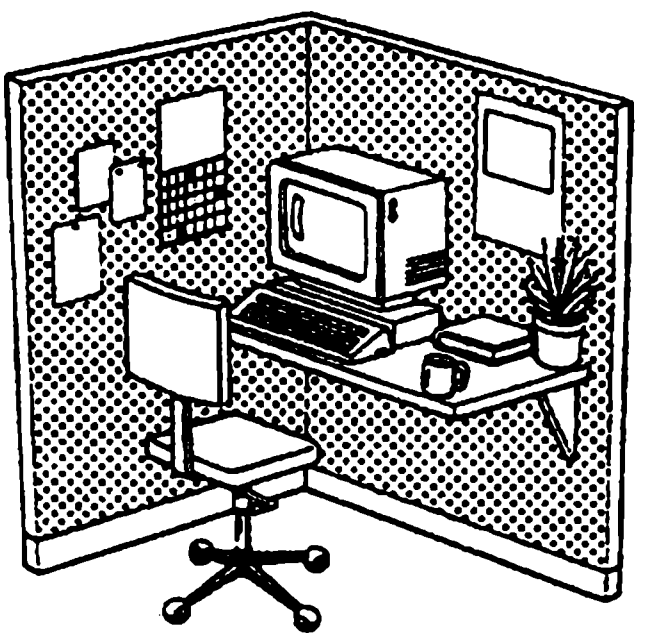
— Ау, Энди. Человек — это то, что он ест.

* * *

Поначалу люди относятся к Дегу с подсознательной опаской — так жители равнин опасливо раздувают ноздри, впервые выйдя на берег и почуяв запах моря. «У него — брови», — говорит Клэр, описывая его по телефону какой-нибудь из своих многочисленных сестер.

Раньше Дег работал в рекламе (более того, в сфере маркетинга) и приехал в Калифорнию из г. Торонто, страна Канада. Я там как-то побывал — и никак не мог отделаться от впечатления, что не город это, а трехмерная версия славного своей упорядоченностью справочника «Желтые страницы»[1], приправленного деревьями и расшитого прожилками холодной воды.

— Не думаю, что меня особо любили окружающие. В сущности, я был одним из тех мудозвонов, которые каждое утро, надев бейсбольные кепки, едут в своих спортивных машинах с опущенным верхом в деловую часть города. Ну знаете, такие зазнайки, неизменно довольные свежестью и безукоризненностью своей внешности. Мне жутко льстило, да что там, меня возвышало в собственных глазах, что производители предметов быта западной культуры видят во мне своего самого желанного, перспективного потребителя. Правда, я по малейшему поводу рассыпался в извинениях за свою деятельность — работу с восьми до пяти перед спермоубойным компьютерным монитором, где я решал абстрактные задачи, косвенно способствующие порабощению «третьего мира». Но потом, ого! Било пять вечера, и я отрывался! Я красил пряди волос в разные цвета и пил пиво, сваренное в Кении. Я носил галстук-бабочку, слушал альтернативный рок и отвязывался в артистической части города.



ЗАГОНЧИК ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА:
маленький, тесный отсек офиса, образованный передвижными перегородками; место обитания младшего персонала. Название происходит от небольших загончиков, используемых в животноводстве для откорма предназначенного на убой молодняка.

История о том, почему Дег переехал в Палм-Спрингс, занимает сейчас мои мысли. Поэтому я продолжу восстанавливать события, опираясь на рассказы самого Дега, собранные по крупицам за последний год, за долгие ночи совместной работы в баре. Начну с момента, когда, как Дег однажды рассказывал мне, он был на работе и мучился от «синдрома больных зданий».

— В то утро окна здания, где находился наш офис, не стали открывать. Я сидел в своем отсеке, любовно окрещенном «загончиком для откорма молодняка». Меня все больше донимала мигрень и тошнота от циркулировавших в воздухе офисных токсинов и вирусов — вентиляторы без конца гоняли их туда-сюда.

Разумеется, эти ядовитые ветры, сопровождаемые гудением машин по производству белого шума и свечением мониторов, сильнее всего бушевали вокруг меня. Я ничего толком не делал, а только пялился, как вкалывает мой изготовленный компанией Ай-би-эм клон, окруженный морем блокнотов и плакатами рок-групп, которые я сдирал с дощатых заборов стройплощадок. Была там еще маленькая коричневая фотография деревянного китобойного судна, раздавленного в антарктических льдах, которую я когда-то вырезал из старого «Нэшнл джиогрэфик». Это фото я вставил в крохотную позолоченную рамочку,

[1] Отдельный справочник либо часть телефонной книги (напечатанная на желтой бумаге), содержащие алфавитный и тематический каталоги фирм и учреждений.

купленную в Чайнатауне. Бывало, я подолгу не сводил с картинки глаз, безуспешно силясь вообразить холодное, одинокое отчаяние, которое, видимо, испытывают люди в безвыходном положении, — тогда собственная участь казалась мне не такой уж безрадостной.

Так или иначе, я не особо себя утруждал и, по правде говоря, в то утро понял, что мне очень сложно представить себя на этом же рабочем месте года через два. Сама мысль об этом казалась нелепицей — причем нелепицей, вгоняющей в депрессию. Так что я расслабился больше обычного. Состояние жутко приятное. Эйфория предвкушения «заявл. по собств. жел.». За истекшее время я испытал это чувство еще несколько раз.

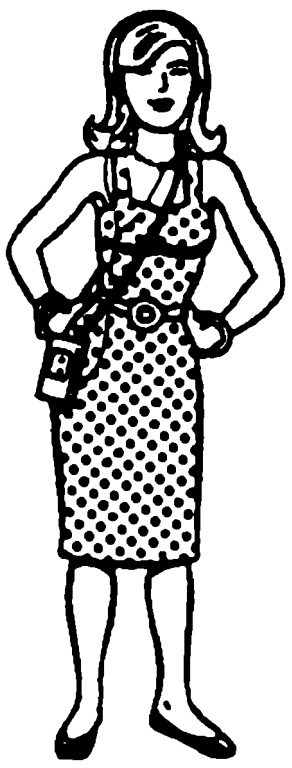
Велокурьер

Карен и Джеми, «девицы-компьютерицы», работавшие в соседних загончиках (мы называли наши отсеки то загончиками для откорма молодняка, то молодежным гетто), тоже чувствовали себя паршиво и тоже бездельничали. Насколько я помню, Карен была больше всех нас помешана на идее «больных зданий». У своей сестры, работавшей лаборанткой у рентгенолога в Монреале, она выпросила свинцовый фартук и надевала его, когда включала компьютер, — чтобы предохранить яичники. Она собиралась вскоре уволиться и податься во внештатные конторские служащие, которых нанимают на время через особые агентства: «Больше свободы — легче знакомиться с велокурьерами».

В общем, насколько мне помнится, я разрабатывал рекламную кампанию гамбургеров, главной задачей которой, по словам моего босса, озлобленного экс-хиппи Мартина, было «заставить этих монстров тащиться от гамбургеров так, чтоб блевали от восторга». И эту фразу произнес старик сорока лет от роду. Уже много месяцев я подозревал, что нечего мне тут работать, и вот предчувствия нахлынули на меня с новой силой.

К счастью, судьбе было угодно, чтобы в то самое утро, откликнувшись на мой понедельничный звонок (я поставил под сомнение полезность условий нашего труда для здоровья), пришел санитарный инспектор.

Мартин был потрясен до глубины души тем, что какой-то служащий взял и позвонил инспектору, — серьезно, он просто офигел. В Торонто вполне могут заставить хозяев заняться перестройкой здания, а дело это дико дорогое — новые вентиляционные ходы и тому подобное; так что (плевать на здоровье работников) в глазах Мартина заплясали долларовые знаки и нули на десятки тысяч долларов. Он вызвал меня к себе и начал орать, и жиденький, с проседью хвостик на его затылке запрыгал вверх-вниз: «Я просто не понимаю вас, молодые люди. Ни одно рабочее место вас не устраивает. Вы жалуетесь, что у вас нетворческая работа, скулите, что вы в тупике, но когда вам наконец дают повышение, бросаете все и отправляетесь собирать виноград в Квинсленд или еще за какую-то чушь хватаетесь».



Внештатная служащая офиса

Сейчас Мартин, как и большинство озлобленных экс-хиппи, стал яппи, и я ума не приложу, как надо с такими людьми общаться. Прежде чем лезть в бутылку и орать, что яппи на свете не бывает, взглянем правде в глаза: они есть. Мудозвоны типа Мартина, которые оскаливаются, как вурдалаки, когда не могут получить в ресторане столик у окна, в секции для некурящих, с полотняными салфетками. Не понимающие шуток андроиды, в самом факте существования которых есть что-то пугающее и конфузное, — они вроде тех недокормленных чау-чау, щерящих крошечные клыки в ожидании, когда их пнут в морду носком сапога. Еще их можно сравнить с молоком, выплеснутым на фиолетовые раскаленные нити гриля: изощренное глумление над природой. Яппи никогда не рискуют — они все заранее просчитывают. У них нет ауры.

Вы бывали хоть раз на вечеринках яппи? Это все равно что находиться в пустой комнате: поглядывая на себя в зеркала, ходят полые люди-голограммы и украдкой пшикают в рот освежителем «Бинака» — на случай, если придется поцеловаться с таким же привидением. Глухо, как в танке.

— Эй, Мартин, — сказал я, войдя в его кабинет, самый что ни на есть джеймс-бондовский кабинет с видом на центр города; он сидел в пурпурном, компьютерного дизайна, свитере из Кореи, фактурном таком, материальном (Мартин обожал все материальное), — поставь себя на мое место. Неужели ты и вправду думаешь, что нам нравится работать на этой свалке токсичных отходов? — Безотчетный порыв подхватил меня и понес. — И вдобавок слушать, как ты целыми днями болтаешь со своими приятелями-яппи о новейших операциях по отсасыванию жира, а сам раскручиваешь в нашем Ксанаду[1] искусственно подслащенное желе?

Сам того не желая, я зашел très[2] далеко. Ну что ж, раз все равно увольняться, заодно можно и душу облегчить.

— Прошу прощения, — произнес Мартин; пылу в нем поубавилось.

— Или, коли на то пошло, ты действительно считаешь, что приятно слушать о твоем новеньком домишке за миллион долларов, когда нам едва хватает на дохлый сандвич в пластиковой коробке, — а ведь нам уже под тридцать? И позволь добавить, что дом ты выиграл в генетическую лотерею исключительно потому, что родился в исторически верный момент. Был бы ты сейчас моим ровесником, не протянул бы и десяти дней. Я же до конца своей жизни вынужден буду мириться с тем, что всякие дубоголовые, типа тебя, жируют, и смотреть, как вы вечно хватаете первыми лучший кусок пирога, а затем обносите колючей проволокой все оставшееся. Глаза б мои на тебя не глядели, Мартин.

К несчастью, зазвонил телефон, и я упустил возможность выслушать его — бьюсь об заклад — слабые возражения... Звонил кто-то вышестоящий — из тех, кому Мартин в данный период планомерно лизал задницу, а потому неотшивабельный. Я поплелся в служебный кафетерий. Там представитель фирмы по ремонту ксероксов выливал обжигающий кофе из пластикового стаканчика в кадку с фикусом, который и так еще толком не оправился после густых коктейлей и окурков с рождественской вечеринки. Снаружи лил дождь, по стеклам струилась вода, но внутри из-за непрерывной рециркуляции воздух был сух, как в Сахаре. Клерки честили общественный транспорт, рассказывали анекдоты про СПИД, перемывали косточки местным модникам, чихали, обсуждали гороскопы, строили планы на отпуск в тайм-шерах Санто-Доминго, а также поносили богатых и знаменитых. В этот момент я почувствовал себя циником — окружение этому соответствовало. Возле кофейного автомата рядом с мойкой я взял стаканчик, а Маргарет

ВЫБРОС ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КЕТЧУПА:
явление, когда чувства и мнения, загнанные человеком вовнутрь, внезапно прорываются наружу, озадачивая и шокируя друзей и начальство, которые в большинстве своем искренне считали, что у тебя все хорошо.

ЛЫСОХВОСТИК:
постаревший, «продавшийся» представитель поколения демографического взрыва, то есть «детей-цветов», тоскующий о «предпродажной», хиповской эпохе.

ЗАВИСТЬ К ЛЫСОХВОСТИКАМ:
зависть к материальному богатству и устойчивому положению старших представителей «поколения демографического взрыва», которым повезло родиться в удачное время.

СЕПАРАТИЗМ ПОКОЛЕНИЙ:
каждое стареющее поколение старательно убеждает себя в неполноценности следующего, идущего ему на смену ради того, чтобы удержать свою самооценку на высочайшем уровне: «Этот нынешний молодняк ничего не делает. Сплошная апатия. Вот мы выходили на улицу и протестовали. А они только ходят по магазинам и жалуются».

ТИРАНИЯ КОНСЕНСУСА:
процесс, определяющий стиль отношений между сослуживцами в офисе.

[1] Страна волшебников из неоконченной поэмы английского поэта Колриджа «Кубла Хан».
[2] Очень (*франц.*).

(моя коллега, работавшая в другом конце офиса), ожидая, пока заварится ее травяной чай, рассказала мне, что последовало за моей недавней вспышкой.

— Что ты наговорил Мартину, Дег? — спросила она. — Он у себя в кабинете рвет и мечет, обзывая тебя последними словами. Этот инспектор, он что, объявил наш офис Бхопалом[1]?

БРОСАЙ РАБОТУ

Я ушел от вопроса. Мне нравится Маргарет. Она не сдается. Она старше меня, хороша собой на эдакий лак-для-волос-накладные-плечи-два-развода манер. Настоящий бульдозер. Она напоминает тот тип комнаток, встречающихся только в центре Нью-Йорка или Чикаго, в супердорогих квартирах, — комнаток, выкрашенных (с целью скрыть их малые размеры) в яркие, кричащие тона, вроде изумрудного или цвета сырой говядины. Как-то раз, кстати, она определила мое время года: я — лето.

— Господи, Маргарет! Остается лишь удивляться, зачем мы вообще встаем по утрам. Серьезно: зачем работать? Чтобы накупать еще больше вещей? И это все? Взгляни на нас. Какой общий предрассудок бросает нас с одного места на другое? Разве мы — такие, как мы есть, — стоим наших приобретений: мороженого, кроссовок, костюмов там всяких итальянских из чистой шерсти? Я же вижу, как мы разбиваемся в лепешку, чтобы приобретать барахло, барахло и еще раз барахло, но не могу отделаться от чувства, что мы его... не заслуживаем, вот что...

БЕГСТВО ИЗ «БОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ»: распространенное среди молодых служащих нежелание работать во вредных для здоровья офисных помещениях, подверженных «синдрому больных зданий».

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЛИНИЮ СТАРТА: переход на другую работу, приносящую меньший доход, но дающую возможность вновь оказаться в роли ученика.

Но Маргарет остудила мой пыл. Отставив кружку, она сказала, что, прежде чем переходить в режим «Обеспокоенный Молодой Человек», я должен понять: все мы по утрам идем на работу только по одной причине — мы боимся того, что случится, если мы перестанем это делать.

Наша физиология не приспособлена для пустого времяпрепровождения. Нам-то кажется по-другому — но в реальности ни черта она для этого не приспособлена.

Потом она начала говорить в общем-то уже сама с собой. Я ее завел. Она заявила, что у большинства из нас за всю жизнь бывает всего два-три интересных момента, остальное — наполнитель, и чудо, если под конец жизни окажется, что из этих разрозненных моментов складывается история, которую хоть кто-то найдет занимательной.

Ну вот. Видите, какие нездоровые, саморазрушительные силы овладели мной в то утро, а тут еще Маргарет с энтузиазмом подливала масла в огонь. Словом, мы сидели и смотрели, как заваривается чай (не самое увлекательное занятие при любой погоде), и, чувствуя себя сообщниками, слушали дискуссию офисных пролетариев о том, делал ли себе недавно некий телеведущий косметическую операцию или это враки.

— Слушай, Маргарет, — сказал я. — Спорим, ты не сможешь назвать ни одного человека за всю историю человечества, на чьей славе никто бы не заработал денег.

Она не поняла, и я стал развивать мою идею. Я сказал ей, что в этом мире никто не становится — просто физически не может стать — известным без того, чтобы масса людей не нажила на этом кучу денег. Несколько опешив от моего цинизма, она приняла честный бой.

— Ты чересчур суров, Дег. А как же Авраам Линкольн?

---

[1] Бхопал — индийский город, где в результате аварии на химическом заводе произошла экологическая катастрофа.

— Не годится. Дело было исключительно в рабстве и в земле. Там крутилась бездна денег.

Тогда она говорит: «Леонардо да Винчи», а я отвечаю, что он был бизнесменом, вроде Шекспира или всех прочих корифеев, работал только на заказ, и, хуже того, его изобретениями пользовались военные.

— Знаешь, Дег, это самый дурацкий спор из всех, что мне приходилось вести, — вскипает она, не зная, что сказать. — Человек запросто может прославиться, никого этим не обогащая.

— Тогда назови хоть одного.

Я видел, что мысли Маргарет мечутся, она менялась в лице, сам же я налился самодовольством, отлично зная, что все остальные в кафетерии прислушиваются к нашему разговору. Я вновь был парнем в бейсбольной кепке, едущим в машине с откидным верхом, торчащим от собственных талантов и считающим, что за всеми человеческими устремлениями стоят корысть и низость. Вот каким я был.

— Ну хорошо, ты выиграл, — говорит она, уступая мне эту пиррову победу; я был уже на полпути к выходу со своим кофе (вновь Безупречный-Хоть-И-Нагловатый-Молодой-Человек), когда услышал из дальнего угла кафетерия голосок, произнесший: «Анна Франк».

— М-да.

Я развернулся — и кого же увидел? Чарлин. Чарлин, достойную уважения за ее тихое неповиновение начальству, но невыносимо скучную и коротконогую. Она сидела возле гигантского блюдца, из которого всякий желающий мог черпать таблетки от головной боли. Чарлин, с ее обесцвеченным перманентом, вырезанными из журнала «В кругу семьи» рецептами, как экономить мясо, полуотвергнутая любовником. Когда на рождественском вечере при раздаче подарков вытягиваешь из шляпы бумажку с именем такого человека, у тебя непроизвольно вырывается: «Кто-кто?»

— Анна Франк, — взревел я. — Да и там были деньги, ежу понятно...

Но, разумеется, там-то деньги были ни при чем. Я невольно ввязался в поединок на моральном фронте, который она искусно выиграла. Я почувствовал себя дураком и мерзавцем.

СИНДРОМ ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА: неспособность работы дорасти до запросов работника.

ТЕМНЫЙ ЛЕС ВЛАСТИ: потаенная иерархия служащих офиса. Для нее характерна крайняя расплывчатость, несводимость к четким схемам.

Сослуживцы, естественно, были на стороне Чарлин — поддерживать кретинов никто не любит. Они улыбались своими «ага-получил-по-заслугам» улыбками, в кафетерии воцарилась тишина; публика ждала, что я вырою себе могилу еще глубже. Чарлин вообще напустила на себя вид праведницы. Но я лишь молча стоял; им оставалось только наблюдать, как моя белая пушистая карма молниеносно превращается в черное чугунное пушечное ядро, стремительно опускающееся на дно холодного, глубокого швейцарского озера. Мне хотелось превратиться в растение — коматозное, не дышащее, не думающее существо. Но офисным растениям грозит, что придет мастер по ксероксам и польет их обжигающим кофе вместо воды, так ведь? Что мне оставалось делать? Я положил с прибором на эту контору по выматыванию нервов. Пока не случилось чего-нибудь похуже, я вышел из кафетерия, вышел из здания на улицу — и с тех пор туда не возвращался. Я даже не потрудился забрать вещи из своего загончика.

Обращая взгляд в прошлое, я думаю, что, будь у моих бывших сослуживцев хоть капелька мудрости (что маловероятно), они заставили бы Чарлин навести порядок на моем столе. Мне просто нравится разглядывать мысленным взором, как она, удерживая своими пухлыми пальчиками-сарделькаами мусорную корзину, просматривает кипы моих бумаг. Она наверняка наткнулась бы на фотографию в рамочке: китобойное судно, раздавленное и застрявшее — быть может, навеки — в стеклянных антарктических льдах. Я вижу, как в легком замешательстве она смотрит на фото, раздумывая, что же за человек я был, и, возможно, находит меня не столь уж несимпатичным.

Но ее неизбежно заинтересует, почему мне вздумалось вставить в рамку столь странную картинку; потом, воображаю я, она задастся вопросом, не имеет ли фото коммерческой ценности. Потом я вижу, как она благодарит свою счастливую звезду за то, что не способна на такие чудачества, и... выбрасывает мою картинку в мусор. Но в этот краткий миг ее замешательства, в этот краткий миг перед тем, как она решает выкинуть фото... мне кажется, я мог бы почти влюбиться в Чарлин.

Именно эта мысль о любви и поддерживала меня долгое время после того, как, уйдя с работы, я превратился в «подвального человека» и не работал больше в офисах.

* * *

Став «подвальным человеком», ты выпадаешь из системы. Ты (как в свое время и я) вынужден отказаться от своей наземной квартиры вместе со всеми дурацкими черными матовыми предметами в ней, равно как и от бессмысленных прямоугольников минималистской живописи над диваном овсяного цвета и шведской мебели. Апартаменты «подвальных людей» — в подвалах: воздух выше уровня земли принадлежит среднему классу.

ПРЫЖОК ЗА БОРТ:
пытаясь побороть свой страх перед будущим, человек с головой окунается в работу или образ жизни, далекий от всех его прежних устремлений: к примеру, начинает распространять тайм-шеры, увлекается аэробикой, вступает в республиканскую партию, делает карьеру в юриспруденции, уходит в секту или в макрабство...

ДЕТИ ПРИРОДЫ:
социальная подгруппа молодежи, выбирающая вегетарианство, хипповский стиль одежды, легкие наркотики и высококлассные стереосистемы. Серьезные люди, часто лишенные чувства юмора.

ЭТНОМАГНЕТИЗМ:
стремление молодежи жить в этнически однородных районах, где принят более свободный, эмоционально раскованный стиль общения. «Тебе этого не понять, мама, там, где я сейчас живу... там обнимаются у всех на глазах!»

Я перестал стричься. Стал потреблять бездну крошечных чашечек убойного, как героин, кофе в маленьких кафе, где шестнадцатилетние мальчики и девочки с серьгами в носу ежедневно изобретали новые заправки для салатов, выбирая специи с наиболее экзотическими названиями («О-о-о, карр-дамон! Ну-ка, сыпани столовую ложку!»). Я обрел новых друзей, без умолку трещавших о том, как ужасно недооценивают южноамериканских новеллистов. Ел чечевицу. Ходил в шерстяных пончо с изображениями лам и курил бравые маленькие сигаретки («Национали», помнится — итальянские). Короче говоря, я взялся за себя всерьез.

«Подвальная» субкультура имела строгие каноны: гардероб преимущественно состоял из выцветших либо окрашенных под батик маек с портретами Шопенгауэра, Этель и Юлиуса Розенбергов вкупе с растафарианскими[1] фенечками и значками. Девушки, все как одна, казались свирепыми рыжеволосыми лесбиянками, парни же были бледны и кислы. Никто, похоже, ни с кем не спал, и сэкономленная энергия уходила на споры о социально ориентированном труде и поиск оптимального, самого политически корректного захолустья, куда можно съездить (в долину Нама в Намибии — исключительно для того, чтобы взглянуть на маргаритки). Фильмы были черно-белыми и часто — бразильскими.

Пожив в этой «подвальной» атмосфере, я стал понемногу пропитываться ею. Я практиковал трущобную романтику на ниве профориентации — брался за работу настолько ниже моих способностей, что люди, бывало, взглянув на меня, говорили: «Боже мой, ну конечно же, он способен на большее». Попадались и идейные, культовые подработки. Особенно удачно прошло лето на лесопосадках во Внутренней Британской Колумбии — не самая плохая смесь из марихуаны, вшей и автогонок на спор в старых, битых, разрисованных с помощью пульверизатора «чевеллях» и «бискейнах».

И все это ради того, чтобы попытаться отмыть грязь, оставленную на мне

[1] Растафарианство — возникшая на Ямайке религия, для которой характерно ритуальное курение марихуаны и проповедь идеалов братской любви.

маркетингом, который потакал моему желанию власти без кровопролития, который, в определенном смысле, привил мне ненависть к самому себе. В сущности, маркетинг сводится к тому, чтобы быстро-быстро снабжать рестораны говном — чтоб там думали, будто до сих пор получают настоящие продукты. Это в общем-то не созидание, а воровство, но кому нравится считать себя вором?

КРИЗИС СЕРЕДИНЫ МОЛОДОСТИ:
духовный и интеллектуальный крах, наступающий на третьем десятке прожитых лет; зачастую бывает вызван неспособностью функционировать вне учебного заведения, вне упорядоченных социальных структур и сопровождается осознанием своего экзистенциального одиночества в мире. Часто знаменует собой переход к ритуальному употреблению лекарственных препаратов.

Но вообще-то мой побег в иной жизненный стиль не удался. Я всего лишь использовал *подлинных* «подвальных людей» для своих нужд — как дизайнеры, эксплуатирующие художников для создания своих прибамбасов. Я был самозванцем, и в конце концов мне стало настолько худо, что со мной приключился «кризис середины молодости». Вот тогда-то, когда я дошел до ручки, дело приняло «фармацевтический» оборот, и все утешительные голоса примолкли.

В ТРИДЦАТЬ СКОНЧАЛСЯ, В СЕМЬДЕСЯТ ПОХОРОНЕН

Вы когда-нибудь замечали, как трудно разговаривать после трапезы на свежем воздухе в супержаркий день? Когда печет, как в духовке? Вдали дрожат, растворяясь в дымке, пальмы. Я рассеянно смотрю на лунки своих ногтей, размышляя, достаточно ли получаю кальция с пищей. История Дега продолжается. Она крутится в моей голове, пока мы едим.

— К тому времени наступила зима. Я переехал к своему брату, Мэтью, сочинителю джинглов. Дело было в Буффало, штат Нью-Йорк, в часе езды к югу от Торонто, в городе, который, как я где-то вычитал, был окрещен первым «городом-призраком» Северной Америки: в один прекрасный день 1970 года вся его деловая элита прикрыла лавочку — и была такова. Помню, я несколько дней смотрел из окна квартиры Мэтью на постепенно замерзающее озеро Эри и думал о том, как органична в своей банальности эта панорама. Мэтью часто уезжал из города по делам, а я сидел на полу посреди его гостиной с кипой порнухи, бутылками джина «Голубой сапфир», стереосистема ревела во всю глотку, а я говорил себе: «Оба-на, каков праздник!» Я сидел на неврастенической диете — этакий «шведский стол» из седативов и антидепрессантов. Они помогали мне бороться с мрачными мыслями. Я был убежден, что из всех моих бывших одноклассников, однокурсников и так далее выйдет толк и только из меня — нет. В их жизни было больше радости и смысла. Я не мог даже подходить к телефону; мне казалось, я не способен впасть в состояние животного счастья, присущее людям на телеэкране, и потому бросил смотреть телевизор; от зеркал у меня начинались глюки; я прочел все книги Агаты Кристи: как-то мне почудилось, что я потерял свою тень. Я жил на автопилоте.

УСПЕХОБОЯЗНЬ:
боязнь, что, добившись успеха, ты потеряешь свое «я» и никто не будет потакать твоим детским прихотям.

Я стал бесполым и чувствовал, что мое тело вывернуто наизнанку, покрыто фанерой, льдом и сажей, подобно заброшенным торговым центрам, мукомольням и нефтеочистительным заводам возле Тонавонды и Ниагарского водопада. Сексуальные сигналы приходили отовсюду, но вызывали только отвращение. Случайно переглянувшись с продавщицей в киоске, я вылавливал в ее взгляде гнусный подтекст. В глазах всех незнакомых людей читался тайный вопрос: «Не ты ли тот незнакомец, что меня спасет?» Алкая

ласки, страшась быть покинутым, я думал: может быть, секс просто предлог, чтобы глубже заглянуть в глаза другого человека?

Я начал находить человечество омерзительным, расчленив его на гормоны, бедра, соски, различные выделения и неистребимую метановую вонь. В этом состоянии я хотя бы чувствовал, что перспективного потребителя из меня уже не сделать. Если в Торонто я пытался жить на две жизни, считая себя человеком раскованным и творческим, и вместе с тем исполнял роль трутня из конторы, то теперь меня настигла расплата, это уж точно.

Но что действительно проняло меня — как дети умеют смотреть тебе в глаза: с любопытством, но без намека на похоть. Ребята лет двенадцати и помладше, с их счастливыми, аж завидки брали, лицами — я видел их во время моих кратких, сопровождаемых приступами агорафобии вылазок в те из торговых центров г. Буффало, которые еще не прогорели. Мне казалось, что способность так простодушно смотреть во мне вытравлена; я был убежден, что следующие сорок лет буду лишь делать вид, что живу, и вслушиваться в шуршание наглых маракасов[1] у меня внутри — маракасов, набитых прахом моей юности.

Ладно, ладно. Мы все проходим через кризисы — по-моему, нет другого способа превратиться из личинки в человека. Не могу счесть, сколько моих знакомых клялись, что пережили кризис среднего возраста еще в молодости. Но неизбежно наступает момент, когда юность подводит нас; университет подводит нас; папа с мамой подводят нас. Я лично больше не смогу найти убежище субботним утром в детской, почесывая зудящую от стекловаты-утеплителя кожу, слушая по телевизору голос Мела Бланка, непроизвольно вдыхая испарения ксенона от каминной окалины, хрустя таблетками-«витаминками» и мучая кукол Барби, принадлежащих моей сестре.

Мой же кризис был не просто крушением юности, но и крушением класса, пола, будущего и я не знаю чего еще. Мне стало казаться, что в этом мире граждане, глядя, скажем, на безрукую Венеру Милосскую, грезят о сексе с калекой, а еще они пофарисейски прикрепляют фиговый лист к статуе Давида, но прежде отламывают ему член — на память. Все события стали знамениями. Я утратил способность воспринимать что-либо буквально.

Словом, суть всего этого сводилась к тому, что мне нужно было начать жизнь с чистого листа. Уйти в полный отрыв. Жизнь превратилась в ряд жутковатых разрозненных эпизодов, из которых ни за что нельзя было бы сложить интересную книгу, и, бог мой, до чего ж быстро ты стареешь! Время ускользало сквозь пальцы (и все еще ускользает). Так что я рванул туда, где погода сухая и жаркая, а сигареты дешевые. Поступил подобно тебе и Клэр. И вот я здесь.

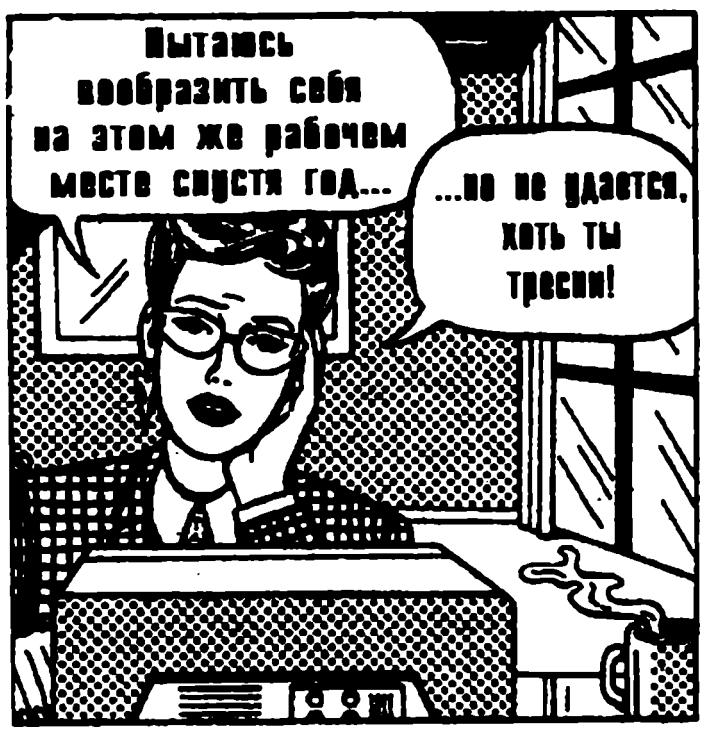
ТАК ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ

Теперь вы знаете чуть больше о жизни Дега (хотя ваши представления и несколько односторонни). А тем временем на нашем пикнике в этот пульсирующий от жары день в пустыне Клэр прикончила курицу с бобами, протерла темные очки и водрузила их на переносицу с важностью, дающей понять, что она готова начать свое повествование.

Немного о самой Клэр: почерк у нее корявый, как у таксистов. Она умеет складывать японских бумажных журавликов, и ей действительно нравится вкус соевых гамбургеров. В Палм-Спрингс она появилась в один жаркий и ветреный праздничный день (а именно День матери) — в этот самый день (если верить предсказанию Нострадамуса в интерпретации некоторых толкователей) должен был состояться конец света. Я в то время обслуживал открытый бар в «Спа де Люксембург» — заведение в сто раз шикарнее скромной забегаловки «У Ларри»: девять оздоровительных бассейнов с пузырящейся водой, вычурные ножи и вилки «под серебро» для пользования на открытом воздухе. Увесис-

[1] Маракас — латиноамериканский музыкальный инструмент типа погремушки.

тые такие штукенции, очень впечатлявшие клиентов. Итак, помню, я наблюдал, как бесчетные и шумные братья и сестры Клэр — родные, двоюродные, сводные — без умолку трещат на солнышке возле бассейнов, словно попугаи в вольере, покуда вокруг ходит мрачный голодный кот. На ленч они ели одну рыбу, и только мелкую. Как выразился один из них: «Крупная рыба пробыла в воде чересчур долго, и одному богу известно, чем ей выпало питаться». А уж форсу! Три дня подряд они клали на стол все тот же нечитаный номер «Франкфуртер альгемайне цайтунг». Ей-богу.



За соседним столиком, не обращая внимания на потомство, вместе с лоснящимися, увешанными драгоценностями друзьями-компаньонами сидел отец Клэр — мистер Бакстер, тогда как миссис Скотт-Бакстер, его четвертая, призовая жена, скучающая молодая блондинка, зыркала на выводок Бакстеров, будто мамаша-норка на норковой ферме, только и поджидающая, когда пролетевший на бреющем самолет даст ей предлог впасть в панику и пожрать молодняк.

Чтобы избежать неминуемого страшного суда в городе, крайне суеверный мистер Бакстер, адепт нью-эйджа[1] (благодаря супруге номер три), вывез весь клан на уик-энд из Лос-Анджелеса. Нервные лосанджелесцы вроде него навоображали себе, как треснувшая земля беспощадно, со смачным чавканьем поглощает нелепо-гигантские дома долины, а с небес на все это сыплются градом жабы да лягушки. Будучи истинным калифорнийцем, он шутил: «Ну, наконец-то есть на что посмотреть».

АМОРТИЗАТОРИЗМ: **убежденность в существовании финансово-эмоционального амортизатора, который примет на себя все удары твоей судьбы. Обычно это родители.**

ГОТОВНОСТЬ К РАЗВОДУ: **форма амортизаторизма, уверенность в том, что если семейная жизнь не заладится — то и бог с ней, развестись никогда не поздно.**

Однако Клэр, казалось, совсем не развлекал оживленный, пересыпанный восклицаниями разговор ее родных. Она вяло придерживала бумажную тарелку, наполненную пищей с низким содержанием калорий и высоким — клетчатки (проросшие бобы в ананасном соусе и курица без кожи), покамест с горы Сан-Джасинто скатывались могучие, не по сезону свирепые ветра. Я помню ядовитые обрывки фраз, которыми перебрасывались через стол орды лощеных и рафинированных молодых Бакстеров.

— Гистер это был, а не Гитлер. Так предсказал Нострадамус, — орал через стол один из братьев, Аллан, типичный ученик частной закрытой школы, — а еще он предсказал убийство Дж. Ф. Кеннеди.

— Не помню никакого убийства Дж. Ф. Кеннеди.

— На сегодняшнюю эсхатологическую вечеринку в «Золя» я надену такую шляпку пирожком. Как у Джекки. Будет очень исторично.

— Чтоб ты знала, та шляпка была от «Холстон».

— О, какая уорхоловщина пошла.

— Покойные знаменитости забавны de facto.

— А помните тот Хэллоуин пару лет назад, когда была паника из-за поддельного тайленола и все нарядились коробочками с тайленолом...

— ... а потом состроили кислые морды — когда поняли, что не только их так осенило.

— Знаете, какого дурака мы сваляли, что здесь остались: через весь город идут аж три сейсмических разлома. С тем же успехом мы могли бы нарисовать на себе мишени.

---

[1] Нью-эйдж — тип современного мировоззрения, характеризующийся предельной терпимостью и эклектичностью и объединяющий в себе представления, почерпнутые из традиционных религий, оккультизма, шаманизма, эзотерики и т. д. Само название — «новая эра» — восходит к астрологической идее наступающей в начале третьего тысячелетия эры Водолея, которая принесет на Землю мир и спокойствие.

— А что, про маньяков-снайперов у Нострадамуса тоже есть?

— Слушайте, а лошадей доят?

— А это-то тут при чем?

Беседа была нескончаемой, вымученной, претенциозной, временами она напоминала те ошметки, которые останутся от английского языка после ядерной войны и пары сотен лет одичания. Но что-что, а дух времени эти слова здорово передавали, оттого-то и запомнились мне крепко.

— Я на автостоянке видел одного музыкального продюсера. Они с женушкой двинули в Юту. В Юту! Говорят, у нас тут район бедствия и только Юта уцелеет. У них такой отпадный золотистый «корнич». Багажник аж не закрывался — куча ящиков с армейским пайком да бутылки воды из Альберты. Женушка, похоже, перепугалась всерьез.

— Видели вы фунт пластикового жира в медицинском кабинете? Точь-в-точь блюда-муляжи в витринах японских ресторанов. Похоже на тарелку пюре из киви с клубникой.

— Боже, выключит кто-нибудь этот вентилятор? У нас что, рекламные съемки?

— Брось косить под фотомоделя́.

— А я счас спою какое-нибудь евродиско.

(В этот момент бумажные тарелки с говядиной, приправой и молоденькими овощами соскользнули с ослепительно белого стола в бассейн.)

— Не обращай внимания на ветер, Дэви. Не воспринимай хамство природы всерьез. Он сам уйдет.

— Слушайте... а Солнце можно подпортить? Мы способны расфигачить на Земле что угодно. Можем мы, если захотим, уничтожить Солнце? Я лично не знаю. Можем?

АНТИОТПУСК:
работа, на которую устраиваешься ненадолго (обычно на год; начальство в эти намерения посвящать не принято). Как правило, цель работника состоит в том, чтобы зашибить бабки, уволиться и переключиться на более важную для него лично деятельность — например, писать акварели на Крите или заниматься компьютерным дизайном свитеров в Гонконге.

— Меня больше беспокоят компьютерные вирусы.

Клэр поднялась и подошла к бару, где я трудился, забрать поднос с коктейлями «Кейп-Код» («Побольше «Кейпа» и поменьше «Кода», пожалуйста), и пожала плечами — мол, «ну и семейка мне досталась — фу!». Затем направилась обратно к столу, показав мне спину в вырезе черного купальника — белую бледную спину с лесенкой шрамов цвета пластилина «Забава». Как я узнал позже, это были следы давнего детского заболевания, приковавшего ее на годы к больничной койке — точнее, к койкам целой череды больниц от Брентвуда до Лозанны. Там врачи шприцами выкачивали из ее позвоночника гадкий вирус, и там же она провела годы «становления личности» в беседах с искалеченными душами — клинические пограничные случаи, маргиналы, психи («До сих пор предпочитаю общаться с надломленными людьми; они более цельные»).

Тут Клэр на ходу развернулась, снова подошла к бару и, приподняв очки, призналась мне:

— Знаешь, мне на полном серьезе кажется, что, когда Господь создает семьи, он просто тычет пальцем в телефонный справочник, выбирает наугад группу людей, а потом говорит им: «Эй! Следующие семьдесят лет вы проведете вместе, хотя ничего общего у вас нет, и вообще вы друг другу совсем не по вкусу. А если вы хоть на секунду почувствуете, что эти люди вам чужие, вам станет стыдно». Вот как я думаю. А ты?

Моего ответа история не сохранила.

Она отнесла коктейли семье, откликнувшейся хоровым воплем: «Спасибо, Старая Дева», и вернулась. Тогда (как и сейчас) она была коротко острижена под Бетти Буб. Она пожелала узнать, какого черта я торчу в Палм-Спрингс. Она заявила, что все люди моложе тридцати, живущие в курортных местах, публика скользкая; они: «альфонсируют, сутенерствуют, торгуют наркотиками, торгуют собой, слезают с иглы, просто спрыгивают, финтят и всякое такое». Я уклончиво сообщил, что просто пытаюсь вывести со своего прошлого все следы истории, и она приняла это за чистую монету. Потом, прихлебывая коктейль и рассеянно разглядывая в зеркальной полке свое отражение на предмет

новоиспеченных прыщиков, стала по собственной инициативе рассказывать о своей работе в Л.А.[1].

— Я веду мелкооптовую торговлю повседневной одеждой, — проболталась она, а потом призналась, что служение моде для нее — лишь временное занятие. — Я не думаю, что становлюсь лучше как человек: в одежном бизнесе сплошь и рядом жульничество. Мне хотелось бы уехать куда-нибудь, где скалы, куда-нибудь вроде Мальты, и просто опустошить мозги: читать книжки и общаться с людьми, у которых такие же планы.

В этот момент я и заронил семя, из которого в моей жизни вскоре возрос столь неожиданный и восхитительный плод. Я сказал:

— Почему бы тебе не перебраться сюда? Брось все. — Возникла взаимная симпатия, позволившая мне беззаботно продолжить: — Забудь обо всем. Начни сначала. Поразмысли над своей жизнью. Сбрось лишнюю кинетическую энергию. Посуди сама, какой будет терапевтический эффект; а по соседству со мной есть пустое бунгало. Можешь въехать хоть завтра, и я знаю уйму анекдотов.

— Может, я так и сделаю, — сказала она. — Может, так и сделаю. — Она улыбнулась и взглянула на свою семейку. Та, как всегда, прихорашивалась и щебетала, спорила о предполагаемой длине «хозяйства» Джона Диллинжера, обсуждала демонические аспекты телефонного номера Джоанны (сводной сестры Клэр), содержащего три шестерки подряд, и вновь — покойного Нострадамуса и его предсказания. — Взгляни на них, а? И представь, что тебе двадцать семь и ты едешь с братиками и сестричками в Диснейленд. Поверить не могу, что позволила втянуть себя в такое. Если ветер не разнесет это местечко, оно само взорвется от пошлости. У тебя есть братья и сестры?

Я сказал, что их у меня по трое — и тех и других.

— Тогда ты зна-а-аешь, каково это, когда каждый начинает раздирать общее будущее на отвратительные кусочки. Господи, когда они заводят такие вот разговоры — ну знаешь, все эти секс-сплетни и чепуха о конце света, — я подумываю: может, на самом деле они исповедуются друг другу?

— Это в чем же?

— Ну, в том, как они все до смерти перепуганы. То есть когда люди на полном серьезе начинают говорить, что надо набивать гаражи тушенкой — про запас, или у них глаза наполняются слезами при мысли о «Последних Днях Человечества», это и есть жутко трогательное признание в том, как им горько, что их жизнь идет совсем не так, как им хотелось.

Я был на седьмом небе. А как же иначе — ведь я нашел человека, которому нравится вот так вот изъясняться! Словом, мы часок продолжали в этом же духе, и прерывали нас только случайные желающие выпить рома да Аллан, который пришел забрать блюдо с жареным миндалем и хлопнуть Клэр по спине:

— Эй, мистер, вроде Дева на вас глаз положила?

— Аллан и все родичи считают меня чудачкой, поскольку я еще не замужем, — сказала она, а потом, повернувшись, выплеснула розовый коктейль «Кейп-Код» ему за шкирку. — И прекрати называть меня этой дурацкой кличкой.

Отомстить Аллан не успел. У столика мистера Бакстера началась суматоха — одно из тел вдруг сползло со стула, и кучка загорелых немолодых брюхатых мужчин, увешанных золотом, осеняя себя крестным знамением, сгрудилась вокруг тела — мистера Бакстера, который ухватился рукой за грудь и вытаращил глаза, точно клоун Какао.

— Опять. Только не это, — разом вырвалось у Аллана и Клэр.

— Иди, Аллан. Твоя очередь.

Аллан, капая соком, без всякого энтузиазма направился к обществу; несколько человек вскричали, что уже вызвали «скорую».

— Прости меня, Клэр, — сказал я, — но у твоего отца такой вид, как будто у него инфаркт или типа того. Не слишком ли ты... ну я не знаю, прохладно... к этому относишься?

---

[1] Л.А. — обиходное название Лос-Анджелеса.

— А-а, Энди, не волнуйся. Он выкидывает эти фортели по три раза в год — была бы аудитория побольше.

Возле бассейна поднялась суета, но Бакстеров в толпе можно было узнать сразу — по отсутствию интереса к происходящему: они не разделили всеобщего тревожного энтузиазма, когда прибыли два санитара с каталкой (привычная картина для Палм-Спрингс). Уговорив неопытную миссис Скотт-Бакстер не пихать ему в руку кварцевые кристаллы (она тоже была нью-эйджевской веры), санитары погрузили мистера Бакстера на каталку и повезли к машине; послышалось звяканье, заставившее толпу у бассейна замереть. У всех на глазах из кармана мистера Бакстера вывалились несколько ножей и вилок. Его пепельное лицо казалось пристыженным; воцарилось болезненное, раскаленное добела безмолвие.

— О, папа, — произнес Аллан. — Как ты мог так нас опозорить? — Он поднял вилку и оценивающе оглядел ее. — Это же явная железка. Разве мы тебя плохо воспитывали?

Туго натянутая струна напряжения лопнула. Раздались смешки. Мистера Бакстера увезли лечить то, что в итоге оказалось неподдельным, смертельно опасным инфарктом. Клэр между тем (заметил я краем глаза) сидела на краю рыжего бассейна и, болтая ногами в медово-молочном мраке воды, смотрела на солнце, которое уже почти скрылось за горой. И своим тоненьким голоском говорила ему, что ей очень жаль, если мы обидели его или причинили какую боль. И я понял тогда, что мы станем друзьями на всю жизнь.

ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ — ЭТО ЕЩЕ НЕ ТВОРЧЕСТВО

Собаки, обессилевшие от жары, лежат в тени «сааба» и, подергивая задними лапами, преследуют воображаемых зайцев. Мы с Дегом, оба в углеводной коме, не так уж далеки от них и в хорошем «слушательском» настроении; Клэр начинает свой рассказ. «История Техлахомская», — сообщает она к великому нашему удовольствию, потому что Техлахома —выдуманный мир, в котором разворачивается действие многих наших историй. Это печальное Повсеместье, чьих граждан вечно увольняют из «Севен-Элевен»[1], а их дети балуются наркотой и упражняются в новомодных безумных танцах на берегах местного озера, а также, разглядывая на коже ожоги от воды, отравленной химикалиями, мечтают о том времени, когда станут взрослыми и будут урывать у государства пособие.

Техлахомцы тырят из лавчонок грошовую поддельную парфюмерию и палят друг в друга за традиционным ужином в День благодарения. Единственное, что здесь есть хорошего, — выращивание тупой, прозаической пшеницы, которой техлахомцы по праву гордятся; по закону все граждане обязаны иметь на бамперах наклейки с надписью: «Нет фермеров — нет и еды». Жизнь однообразная, но бывают в ней и свои радости; взрослое население хранит в ящичках комодов кучу дурно сшитого алого «сексуального» белья. Трусики и электрощекоталки доставляются ракетой из Кореи; я говорю ракетой, поскольку Техлахома — летающий вокруг Земли астероид, на котором вечно стоит 1974 год — первый год после нефтяного кризиса, год, когда в США навеки прекратился рост реальной заработной платы. Атмосфера состоит из кислорода, пшеничной кострики и радиоволн среднего диапазона. Один день там провести еще забавно, а назавтра захочется сбежать хоть к черту на рога.

В общем, диспозиция ясна, так что перейдем к рассказу Клэр.

— Это история об астронавте по имени Бак. Как-то у астронавта Бака случилась

[1] Сеть популярных однотипных продовольственных магазинов.

неполадка на космическом корабле, и он вынужден был приземлиться на Техлахоме — в пригороде, во дворе семейства Монро. Неполадка состояла в том, что корабль не был рассчитан на притяжение Техлахомы — земное начальство просто забыло предупредить Бака о существовании астероида!

— Всегда-то так, — заметила миссис Монро, провожая Бака от космического корабля мимо качелей к дому. — На мысе Канаверал совсем про нас забыли.

Был полдень, и миссис Монро предложила Баку горячий калорийный обед: тефтели в грибном соусе и консервированная кукуруза. Она обрадовалась гостю: три ее дочери были на работе, а муж уехал на молотьбу.

Затем, после обеда, она пригласила Бака в гостиную посмотреть вместе телевикторину.

— Вообще-то в это время я в гараже, провожу инвентаризацию косметических продуктов из алоэ, которыми я торгую, но бизнес сейчас как-то не очень движется.

Бак кивком выразил согласие.

— А вы не думали заняться алоэ-продуктами после завершения карьеры астронавта, Бак?

— Нет, мэм, — ответил Бак. — Не думал.

— Так поразмыслите. Всего-то надо создать сеть младших распространителей под собой, и не успеете оглянуться, как работать и вовсе не придется — сиди себе да стриги купоны.

— М-да, черт бы драл, — промолвил Бак, а затем лестно отозвался о коллекции сувенирных спичечных коробков в огромной коньячной рюмке на столе гостиной.

ЛЕГИТИМНАЯ НОСТАЛЬГИЯ: навязывание людям воспоминаний о том, чего с ними вообще не было: «Как я могу принадлежать к поколению шестидесятников, когда толком и не помню о них ничего?»

ОТРИЦАНИЕ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО: стремление убедить себя в том, что жить стоило только в прошлом, а ближайшие интересные события начнутся только в будущем.

Но тут случилось неожиданное. Прямо на глазах у миссис Монро Бак стал зеленеть, его голова начала приобретать квадратную форму и покрываться венами, словно у Франкенштейна. Бак поспешил взглянуть на себя в маленькое карманное зеркальце (единственно доступное) и тотчас понял, что́ произошло: то были симптомы отравления космосом. Теперь он примет обличье чудища и скоро впадет в почти непрерывную спячку.

Миссис Монро же предположила, что ее тефтели с грибным соусом были испорчены и в результате своей кулинарной промашки она погубила восхитительную внешность астронавта, а возможно, и его карьеру. Она предложила отвезти его в местную больницу, но Бак воспротивился.

— Может, это и к лучшему, — согласилась миссис Монро, — тем более что в больнице всего только и есть, что вакцина от перитонита да ножницы для резки металла — ну знаете, ими спасатели пользуются.

— Вы только покажите, где я могу прилечь, — попросил Бак. — У меня отравление космосом, и через несколько минут я похолодею. Похоже, некоторое время за мной надо будет присматривать. Вы обещаете сделать это?

— Конечно, — ответила миссис Монро, радуясь, что ей не грозит слава отравительницы, и Баку тотчас была предоставлена прохладная подвальная комната, стены которой были до середины обшиты плотным картоном под дерево. Там были также книжные полки со спортивными призами миссис Монро и игрушками трех дочерей: рядами плюшевых собачек по имени Снупи, кукол по имени Джем, пластмассовых «чудо-печек» и книжек про девицу-сыщика Нэнси Дрю. Кровать, предложенная Баку, была узкая и короткая — детская кроватка — и застелена кружевными розовыми простынями от фирмы «Фортрел», пахнущими так, словно они много лет провалялись в секонд-хэнде. На передней спинке кровати — наклейки с Холли Хобби, Вероникой Лодж и Бетти Купер, которые, видимо, сначала приляпали, а потом начали отдирать, но пожалели. Комнатой, очевидно, давным-давно не пользовались, но Баку было все равно. Ему хотелось лишь забыться глубоким-глубоким сном. Что он и сделал.

Легко представить, что дочери Монро пришли в совершеннейший восторг, узнав, что в комнате для гостей пребывает в спячке астронавт-страшилище. Одна за другой Арлин, Дарлин и Сирина спускались в комнату поглядеть на Бака, спящего в их старой кроватке посреди детского хлама. Миссис Монро, отчасти все еще убежденная в своей причастности к болезни Бака, не позволила дочерям долго на него глазеть и вытурила их из комнаты.

Так или иначе, жизнь вошла в прежнюю колею. Дарлин и Сирина ходили на работу в парфюмерный отдел местного магазинчика, алоэвый бизнес миссис Монро немного ожил и требовал ее частого отсутствия. Мистер Монро еще не вернулся с молотьбы, так что забота о Баке выпала на долю старшей дочери Арлин, недавно уволенной из «Севен-Элевен».

— Проследи, чтобы он хорошенько покушал! — резко трогаясь с места, прокричала из своего изъеденного солью голубого седана марки «бонвиль» миссис Монро, на что Арлин помахала рукой и бросилась в ванную комнату, где причесала свои светлые, крашенные «перышками» волосы, наложила соблазнительный макияж и помчалась на кухню, чтобы сварганить специальное лакомство для Бака, который (следствие отравления космосом) просыпался один раз в полдень, и то лишь на полчаса. Она сварила венские сосиски, нарезала их на кусочки, нанизала на зубочистки и украсила маленькими кубиками оранжевого сыра, после чего изысканно разложила на тарелке так, чтобы было похоже на логотип местного торгового центра «Синтвид» — букву С, сильно накрененную на правый бок. «Устремленную в будущее», как выразилась местная газета по поводу открытия центра несколько веков назад, когда все так же стоял 1974 год, поскольку, как я говорила, на Техлахоме он длился вечно. По крайней мере, с самого момента появления исторических хроник. На Земле, например, торговые центры — свежая новинка, а техлахомцев они обеспечивают кроссовками, дешевой бижутерией и юморными поздравительными открытками уже бессчетные миллионы лет.

Ладно, Арлин с тарелкой кинулась в подвал, придвинула к кроватке кресло и сделала вид, что читает книгу. Проснувшись секундой позже полудня, Бак увидел читающую девушку и счел ее просто идеальной красавицей. Что же до Арлин — ну, у нее возникла легкая сердечная аритмия романтического генеза, хотя Бак и походил на чудище Франкенштейна.

— Я голоден, — сказал Арлин Бак, на что она ответила:

— Не отведаете ли немного кебаба из венских сосисок с сыром? Я сама его приготовила. На поминках дядюшки Клема в прошлом году он пользовался большим успехом.

— На поминках? — переспросил Бак.

— О да. Его комбайн перевернулся во время уборки урожая, и он, зажатый внутри, два часа ждал приезда спасателей с ножницами для металла. Он написал завещание кровью на потолке кабины.

С этого момента они нашли общий язык, и, слово за слово, вскоре расцвела любовь. Но с любовью была проблема, поскольку из-за отравления космосом Бак засыпал почти сразу после пробуждения. Это печалило Арлин.

Наконец как-то в полдень, едва очнувшись, Бак сказал Арлин:

— Арлин. Я тебя очень люблю. А ты меня любишь?

Разумеется, Арлин ответила: «Да», на что Бак сказал:

— Согласна ли ты пойти на большой риск и помочь мне? Мы сможем быть вместе, а я помогу тебе покинуть Техлахому.

Арлин пришла в восторг от обоих предложений и ответила: «Да, да», и тогда Бак объяснил, что ей придется сделать. Очевидно, волны, генерируемые влюбленной женщиной, как раз той частоты, какая нужна для запуска двигателя и взлета космического корабля. Если Арлин поднимется с ним на корабль, они улетят, и Бак сможет вылечиться от отравления космосом на лунной базе.

— Ты поможешь мне, Арлин?

— Конечно, Бак.

— Есть одна загвоздка.

— Да? — Арлин словно окаменела.

— Понимаешь, когда мы взлетим, в корабле хватит воздуха только на одного человека. Боюсь, тебе придется умереть. Прости. Но, разумеется, как только мы попадем на Луну, я оживлю тебя с помощью надежного аппарата. Так что на самом деле опасности никакой.

Арлин взглянула на Бака, слеза скатилась по ее щеке, сбежала с губы на язык и показалась солоноватой, как моча.

— Прости меня, Бак, но я не могу этого сделать, — сказала она, добавив, что, наверное, ей больше не следует за ним ухаживать — так будет лучше для них обоих. Огорченный, но не удивленный, Бак снова заснул, а Арлин поднялась наверх.

К счастью, в этот самый день уволили из парфюмерного отдела Дарлин, младшую из дочерей, и теперь уже она могла присматривать за Баком, а Арлин устроилась в закусочную, так что ей некогда было даже изливать на Бака свою досаду.

Поскольку Бак был в расстроенных чувствах, а у Дарлин оказалось много свободного времени, потребовалось всего лишь несколько минут, чтобы расцвела новая любовь. Спустя пару дней Бак обратился с уже известной нам просьбой к Дарлин: «Помоги мне. Я ведь безумно тебя люблю».

Но когда Бак дошел до момента, где Дарлин следовало умереть, она, как прежде и ее сестра, окаменела от ужаса.

— Извини, Бак, я не могу этого сделать, — промолвила она и — теми же самыми словами, что и Арлин, — объяснила, что лучше ей больше за ним не ухаживать. Опечалившись и опять ничуточки не удивившись, Бак заснул, а Дарлин убежала наверх.

Надо ли говорить, что история повторилась вновь. Дарлин устроилась в придорожную забегаловку, а Сирину, среднюю, уволили из ее отдела в «Вулворте», и теперь настал ее черед заботиться о Баке, который был уже не новинкой в подвале, а обузой — того сорта, какой, скажем, становится собака, если дети начинают спорить, чья очередь ее кормить. Когда же как-то в полдень появилась с обедом Сирина, Бак смог вымолвить лишь:

— Боже, девочки, еще одну из вас уволили? Неужели вы не можете удержаться на службе?

Сирина ничуть не обиделась.

— Это же так — мелкие приработки, — сказала она. — Я учусь живописи и когда-нибудь стану такой художницей, что мистер Лео Кастелли из нью-йоркской художественной галереи «Лео Кастелли» пришлет за мной спасательную экспедицию и увезет меня с этого богом забытого астероида. Вот, — сказала она, ткнув Баку в грудь тарелку сырого сельдерея с морковкой, — жуй сельдерей и поменьше болтай. Похоже, тебе не хватает клетчатки.

Итак, если раньше Баку казалось, что он влюблен, то теперь он понял, что сам себя обманывал, а Подлинная его Любовь — Сирина. Затем несколько недель он смаковал свои полчаса, в течение которых рассказывал Сирине о том, как выглядят из космоса небеса, и слушал ее рассказы — о том, какими она нарисовала бы планеты, если бы знала, как те выглядят.

— Я покажу тебе небо, а ты поможешь мне покинуть Техлахому — если согласишься лететь со мной, Сирина, любовь моя, — закончил Бак изложение плана побега. А когда Сирина узнала, что ей придется умереть, она просто сказала: «Понимаю».

На следующий день, когда Бак очнулся, Сирина подняла его с кровати и отнесла наверх; по пути он задевал ногами и сшибал на пол семейные фото в рамках, сделанные много лет назад. «Не останавливайся, — говорил Бак. — Время уходит».

Был холодный серый день; Сирина по желтой осенней лужайке пронесла Бака в корабль. Внутри, когда они сели и закрыли двери, Бак из последних сил включил зажигание и поцеловал Сирину. И правда, любящие волны ее сердца запустили двигатель, корабль поднялся высоко в небо и вышел из гравитационного поля Техлахомы. И перед тем как потерять сознание и умереть из-за отсутствия кислорода, Сирина увидела, как с лица Бака, точно с ящерицы, кусками падает на приборную доску бледно-зеленая франкенш-

тейновская кожа, скрывавшая молодого розовощекого героя-астронавта, а снаружи, на черном фоне, заляпанном каплями пролитого молока — звездами, мерцает бледно-голубым яичком Земля.

Между тем внизу на Техлахоме Арлин и Дарлин, обе уволенные с работы, возвращались домой — как раз когда взлетела ракета и их сестра исчезла в стратосфере, оставив за собой длинную рассеивающуюся белую полосу. Входить в дом им было невмоготу, и они сели на качели, глядя в точку, где исчезал след от корабля, вслушиваясь в скрип цепей и завывание ветра над прерией.

— Ты ведь понимаешь, — произнесла Арлин, — что все Баковы обещания нас воскресить собачьей какашки не стоили.

— Да знаю я, — сказала Дарлин. — Только я все равно жутко ревную — ничего не попишешь.

— Да уж, не попишешь.

И две сестры сидели дотемна на фоне люминесцирующей Земли, соревнуясь — кто выше раскачается.

ИЗМЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ

Нам с Клэр так и не удалось влюбиться друг в друга, хотя мы оба старались изо всех сил. Такое бывает. Кстати, раз уж на то пошло — почему бы, собственно, не перейти к рассказу обо мне? С чего начать? Ну-с, меня зовут Эндрю Палмер, мне без пяти минут тридцать, я изучаю языки (моя специальность — японский). Семья у нас большая (подробнее о ней — позже); родился я дистрофиком, кожа да кости. Тем не менее, вдохновившись отрывком из дневников г-на поп-художника Энди Уорхола — он пишет, как огорчился, когда на шестом десятке узнал, что, если бы занимался гимнастикой, мог бы иметь тело (вообразите: не иметь тела!), — я развил бешеную деятельность. Приступил к нудным упражнениям, превратившим мою грудную клетку (этакую птичью клетку) в голубиную грудь. Так что теперь у меня есть тело — и одной проблемой меньше. Но зато, как я упоминал, я никогда не влюблялся, и это — проблема. Всякий раз дело кончается тем, что мы становимся *друзьями*, а это, скажу я вам, отвратительно. Я хочу влюбиться. По крайней мере, мне кажется, что я этого хочу. Точно не знаю. Это ведь дело такое... *темное*. Ну ладно, ладно, я хотя бы признаю, что не хочу прожить жизнь в одиночестве, и чтобы проиллюстрировать это, расскажу вам одну тайную историю, которой не поделюсь даже с Дегом и Клэр на сегодняшнем пикнике. Она звучит так:

БЕМБИФИКАЦИЯ:
восприятие живых, из плоти и крови, существ как персонажей мультфильмов, олицетворяющих идеалы буржуазно-иудео-христианской морали.

СПИД ЗА ПОЦЕЛУЙ (ГИПЕРКАРМА):
глубоко укоренившееся убеждение в том, что наказание почему-то всегда оказывается тяжелее преступления: озоновые дыры — за кидание мусора мимо урны.

Жил да был молодой человек по имени Эдвард, жил сам по себе, и жил весьма достойно. В нем было столько собственного достоинства, что, когда вечером в шесть тридцать он готовил свой одинокий ужин, то всегда следил за тем, чтобы украсить его задорной веточкой петрушки. Такой уж, на его взгляд, был у петрушки вид: задорный. Задорный и благородный. Он также старался мыть и *тут же* вытирать посуду — сразу по окончании своей одинокой вечерней трапезы. Своими обедами-ужинами и вымытой посудой не гордятся только одинокие люди, так что Эдвард считал, что вправе гордиться своим обычаем — пусть ему и не нужен никто, но одиноким он быть не собирался. Конечно, в уединении не очень-то весело — но зато гораздо меньше людей, которые тебя раздражают!

Однажды Эдвард не стал вытирать посуду, а вместо этого выпил бутылку пива. Просто так — чтобы взбодриться. Чтобы расслабиться. И вскоре петрушка из меню исчезла, а пиво — появилось. Он нашел для этого оправдание. Не помню только какое.

Скоро слово «ужин» стало означать тоскливое «бум» замороженного полуфабриката о решетку микроволновой печи, приветствуемое позвякиванием льда в бокале с виски. Бедному Эдварду осточертело питаться наедине с собой блюдами собственноручного приготовления, и в скором времени он переключился на местный магазинчик «Микроволновая кухня», где брал, скажем, буррито с мясом и фасолью, которые запивал польской вишневкой. К этому напитку он пристрастился одним долгим, сонным летом, которое провел в качестве продавца за унылым, никому не интересным прилавком коммунистического книжного магазинчика имени Энвера Ходжи.

Но и это Эдвард вскоре счел слишком обременительным, и в конце концов его ужины сократились до стакана молока вперемешку с тем, что находилось уцененного на полках «Ликерного погребка». Он начал забывать, что такое «твердый стул» (антоним — жидкий), и воображал, что в глазах у него бриллианты.

Повторим: бедный Эдвард — его жизнь, похоже, постепенно становилась неуправляемой. К примеру, как-то Эдвард был на вечеринке в Канаде, а на следующее утро проснулся в Соединенных Штатах, в двух часах езды, и хоть убей не мог вспомнить ни как добирался домой, ни как пересекал границу.

А вот что Эдвард думал: он думал, что является весьма смышленым парнем — в некоторых отношениях. Он поучился в школе и знал множество слов. Он мог сказать, что «вероника» — это кусочек тончайшей материи, наброшенной на лицо Иисуса, а «каракульча» — шкурка недоношенного ягненка. Слова, слова, слова.

Эдвард представлял, что создает с помощью этих слов свой собственный мир — волшебную и прекрасную комнату, обитателем которой был только он, комнату, имеющую форму двойного куба (согласно определению английского архитектора Адама). В комнату можно было проникнуть только через выкрашенную в темный цвет дверь, обитую кожей и конским волосом, чтобы заглушить стук каждого, кто попытался бы войти и помешать Эдварду сосредоточиться.

В этой комнате он провел десять бесконечных лет. На стенах висели дубовые полки, прогибающиеся под тяжестью книг; свободное пространство между полками, сапфировое, как вода глубочайших бассейнов, занимали карты в рамах. Пол целиком покрывали великолепные голубые восточные ковры, посеребренные выпавшей шерстью Людвига — верного спаниеля, следовавшего за Эдвардом повсюду. Людвиг снисходительно выслушивал остроумные высказывания Эдварда о жизни, каковые тот, большую часть дня проводя за письменным столом, изрекал не так уж редко. За этим же столом он писал и курил кальян, глядя сквозь освинцованные стекла окон на ландшафт: неизменно дождливый осенний шотландский полдень.

Разумеется, посетители в эту волшебную комнату не допускались, и только миссис Йорк было позволено приносить ему дневной рацион — эта бабушка в твиде, с аккуратным пучком на затылке ежедневно доставляла Эдварду его неизменный шерри-бренди (что же еще) или, по прошествии времени, сорокаунциевую бутылку виски «Джек Дэниэлс» и стакан молока.

Да, комната Эдварда была изысканной, иногда — до такой степени, что могла существовать лишь в черно-белом изображении, как старая салонная кинокомедия. Элегантно подмечено, верно?

Итак. Что же произошло?

Однажды Эдвард стоял на верхней ступеньке библиотечной лестницы на колесиках и доставал старинную книгу, которую хотел перечитать, стараясь не думать о том, что миссис Йорк сегодня что-то запаздывает с бутылкой. Когда же он спустился с лестницы, то ногой вляпался в оставленную Людвигом кучу. Эдвард страшно рассердился. Он направился к мягкому, обитому атласом креслу, за которым посапывал Людвиг. «Людвиг, — заорал он, — ах ты негодник, ах ты...»

КАТАСТРОФИЛИЯ:
неодолимая тяга к чрезвычайным ситуациям.

Но закончить Эдвард не успел, поскольку, скакнув за диван, Людвиг самым волшебным и (поверьте мне) неожиданным образом из пылкого, любвеобильного мочалкообразного щенка с радостно виляющим куцым хвостиком

превратился в разъяренного, иссиня-черного, с черной пастью ротвейлера, который вцепился Эдварду в горло, чудом не задев яремную вену, — Эдвард в ужасе отпрянул. Затем новый Людвиг-по-совместительству-Цербер, роняя клочья пены, с отчаянным, щемящим душу воем дюжины собак, попавших под грузовик на шоссе, нацелил свои клыки на Эдвардову голень.

Эдвард судорожно взлетел на лестницу и воззвал к миссис Йорк, которую по воле судьбы только что заметил через окно. В светлом парике и купальном халате она вскакивала в маленькую красную спортивную машину профессионального теннисиста, навсегда оставляя Эдварда без присмотра. Надо сказать, она сногсшибательно выглядела в трагическом сиянии нового сурового неба, раскаленного, лишенного озона — ни капельки не похожего на небосвод осенней Шотландии.

Да уж.

Бедный Эдвард.

Комната стала для него капканом. Он мог лишь кататься на лестнице взад-вперед вдоль полок. Жизнь в его обиталище, когда-то очаровательном, превратилась в кошмар. До выключателя кондиционера нельзя было дотянуться, и воздух стал спертым, зловонным, калькуттским. И разумеется, с уходом миссис Йорк исчезли коктейли, способные сделать ситуацию терпимой.

Между тем, мрачно швыряя в Людвига том за томом в надежде отогнать чудовище, которое не переставало охотиться за бледными дрожащими пальцами его ног, Эдвард пробудил многоножек и уховерток, с давних пор дремавших позади забытых книг на верхней полке. Насекомые ползали по рукам Эдварда. Книги, брошенные в Людвига, как ни в чем не бывало отскакивали от его спины, и в результате ковер оказался усыпан серо-бурыми насекомыми; Людвиг же слизывал их своим длинным розовым языком.

Положение Эдварда было ужасно.

Оставался только один выход — покинуть комнату, и под яростный вой неугомонного Людвига Эдвард, затаив дыхание, раскрыл тяжелые дубовые двери (железистый вкус адреналина гальванизировал его язык) и со смешанным чувством испуга и печали впервые, можно сказать, за вечность покинул свою волшебную обитель.

Вечность в действительности равнялась десяти годам, и то, что увидел Эдвард за дверью, его поразило. Все то время, что он провел в прелестном изгнании за остроумничаньем в своей комнатке, остальное человечество — в отличие от него — деловито возводило огромный город, возводило не из слов, а из взаимоотношений. Сверкающий безграничный Нью-Йорк, слепленный из губной помады, артиллерийских гильз, свадебных тортов и картонных вкладышей для сорочек; город, построенный из железа, папье-маше и игральных карт; отвратительный/прекрасный мир, отделанный снаружи угарным газом, сосульками и лозами бугенвиллей. Его бульвары были бесплановы, суматошны, безумны. Повсюду мышеловки, триффиды и черные дыры. Но, несмотря на завораживающее безумие города, Эдвард заметил, что его многочисленные обитатели передвигаются по нему с беспечным видом, не беспокоясь о том, что за каждым углом их может ждать брошенный клоуном кремовый торт, направленный в коленную чашечку выстрел бойца «Красных бригад» или поцелуй восхитительной кинозвезды Софи Лорен. И спрашивать дорогу — бесполезно. Когда он спросил одного местного, где можно купить карту, тот посмотрел на Эдварда, как на сумасшедшего, и с криком убежал.

Так что Эдварду пришлось признать, что в этом Большом городе он — деревенщина. Он понял, что в плане обучения приемам и методам ему придется стартовать с нуля — и после десятилетнего гандикапа. Эта перспектива его пугала. Но так же как выходец из деревни дает себе клятву покорить новый город — надеясь на свой свежий взгляд на вещи, — дал подобную клятву и Эдвард.

И пообещал себе, что как только займет свое место в этом мире (не обварившись насмерть в его многочисленных фонтанах с кипящим одеколоном, не попав под колеса бессчетных фур, набитых злющими мультипликационными курицами, которые вечно разъезжают по городским улицам), то построит самую высокую башню. Эта серебряная башня будет служить маяком для всех путников, прибывающих в город с опоздани-

ем, как и он. А на крыше башни будет бар. В этом баре, знал Эдвард, он будет делать три вещи: смешивать коктейли с томатным соком и ломтиками лимона, исполнять джаз на пианино, оклеенном цинковыми пластинами и фотографиями забытых поп-звезд, а в маленьком розовом ларьке в глубине, возле туалетов, продавать (среди прочего) географические карты.

ВОЙДИ В ГИПЕРПРОСТРАНСТВО

— Энди, — Дег тычет в меня жирной куриной костью, возвращая на пикник. — Не сиди молчком. Твоя очередь рассказывать, и сделай одолжение, дружище, выдай дозу с высоким содержанием знаменитостей.

— Развлеки нас, милый, — добавляет Клэр. — Что-то ты в какое-то настроение впал...

Оцепенение — вот как называется мое настроение в этот миг, когда я сижу на рассыпающемся, сифилитичном, прокаженном, ни-разу-не-тронутом-колесами асфальте на углу Хлопковой и Сапфировой, обдумывая про себя свои истории и растирая пальцами пахучие веточки шалфея.

— Мой брат Тайлер однажды ехал в лифте вместе с Дэвидом Боуи.

— Сколько этажей?

— Не знаю. Я только помню — Тайлер не находил что сказать. Ну и не сказал ничего.

— Я обнаружила, — говорит Клэр, — что даже если тебе совсем не о чем говорить со знаменитостями, всегда можно сказать: «О, мистер Знаменитость! У меня есть все-все-все ваши альбомы» — даже если он не музыкант.

— Смотрите, — произносит, поворачивая голову, Дег. — Сюда едут какие-то люди — въявь.

Черный седан марки «бьюик», набитый молодыми японскими туристами, — а это редкость в Долине, посещаемой в основном канадцами и западными немцами, — плывет под горку, первый автомобиль за весь пикник.

— Они, должно быть, по ошибке свернули с Вербеновой. Спорим, они ищут цементных динозавров, которые у стоянки грузовиков «Кабазон», — замечает Дег.

— Энди, ты же знаешь японский. Пойди поговори с ними, — предлагает Клэр.

— Не будем торопить события. Пусть сначала остановятся и спросят дорогу, — что они, разумеется, немедленно и делают. Я поднимаюсь и иду поговорить с ними; стекло опускается, приведенное в действие электроникой. Внутри седана две пары, примерно моего возраста, в безукоризненных (можно сказать, стерильных, как если б они въезжали в зараженную химвыбросами зону) летних расслабушных шмотках и со сдержанными «пожалуйста-не-убивайте-меня» улыбками, которые японские туристы в Северной Америке приняли на вооружение несколько лет назад. Улыбки мгновенно заставляют меня занять оборонительную позицию, ибо меня бесит их убежденность в моей готовности к насилию. Одному богу известно, что они думают о нашем разношерстном квинтете и захолустной машине, на радиаторе которой расставлены щербатые тарелки с объедками. Живая реклама из жизни ковбоев.

ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ МАЛЫМ:
философия, помогающая примириться с тем, что благосостояние тебе не суждено. «Я больше не мечтаю сколотить капитал или заделаться большой шишкой. Мне просто хочется обрести счастье в жизни и, может, открыть небольшое придорожное кафе в Айдахо».

ПОДМЕНА ЦЕННОСТЕЙ:
замена модным или интеллектуально значимым предметом предмета просто дорогостоящего: «Брайан, ты оставил своего Камю у брата в «БМВ».

Я говорю по-английски (к чему разрушать их представление об американской пустыне) и из последующей судорожной тарабарщины жестов и «они-ехать-туда-туда» выясняю, что японцы и в самом деле желают посетить динозавров. И вскоре, получив необ-

ходимые указания, они исчезают в облаке пыли и придорожного мусора; в заднее окно автомобиля просовывается фотоаппарат. Аппарат вверх ногами держит рука, палец нажимает на верхнюю кнопку, отщелкивая наш портрет, — тут Дег кричит:

— Смотрите! Фотоаппарат! Ну-ка, быстро — втяните щеки. Чтоб скулы, чтоб скулы аж торчали! — Потом, когда машина пропадает из виду, Дег набрасывается на меня: — Ну и на кой черт, позволь спросить, было прикидываться невеждой?

— Эндрю, у тебя отличный японский, — добавляет Клэр. — Ты мог бы их приятно удивить.

— В этом не было нужды, — отвечаю я, вспоминая, какой это был для меня облом в Японии, когда люди пытались говорить со мной по-английски. — Но все это таки напомнило мне одну сказочку, которую можно было бы сегодня рассказать.

— Умоляю, расскажи.

И вот, когда мои друзья, лоснящиеся от кокосового масла, разлеглись, впитывая солнечный жар, я начинаю повествование.

— Несколько лет назад я работал в Японии, в редакции одного подросткового журнала — была такая полугодовая программа обмена студентами, — и однажды со мной произошла странная вещь.

— Погоди, — прерывает Дег. — История подлинная?

— Да.

— Ага.

— Дело было в пятницу утром. Я как спец по зарубежным фотоматериалам разговаривал по телефону с Лондоном. Мне было нужно срочно выбить кой-какие фотографии «Депеш мод» у их менеджера, а он в то время отрывался у кого-то дома — на том конце провода слышался жуткий еврогалдеж. Одним ухом я приклеился к трубке, а другое зажал рукой, пытаясь отгородиться от шума в офисе — безумного казино сослуживцев Зигги Стардаста[1], где все беспрерывно взвинчивали себя десятидолларовыми чашечками токийского кофе, которые нам носили из магазина на другой стороне улицы.

Помню, что творилось у меня в голове: не о работе я думал, а о том, что каждый город имеет свой запах. Мысль эту заронили запахи токийских улиц — мясного бульона с лапшой и почти выветрившихся нечистот; шоколада и выхлопных газов. И я думал о запахе Милана — запахе корицы, дизельного топлива и роз; о запахе Ванкувера с его жаренной по-китайски свининой, соленой водой и кедрами. Я затосковал по родному Портленду и силился вспомнить запах его деревьев, ржавчины и болот, когда уровень гама в офисе резко понизился.

В комнату вошел крошечный пожилой человек в костюме от фирмы «Балмейн». Кожа у него была морщинистая, как кожура сморщенного яблока, но только темного торфяного цвета, и блестела, словно старая бейсбольная перчатка. Он был в бейсбольной кепке и по-приятельски болтал с моим начальством.

Мисс Уэно — вся из себя навороченная координаторша из отдела моды, сидевшая за соседним столом (волосы а-ля Олив Оул[2]; рубашка венецианского гондольера; турецкие шаровары «Мечта гарема» и сапожки «Вива Лас-Вегас»), растерялась, как теряется ребенок, когда снежной зимней ночью в двери вваливается его вусмерть пьяный, медвежьих габаритов дядя. Я спросил мисс — Уэно, кто этот мужик, и она ответила — мистер Такамити, «катё», Великий Папа компании, американофил, обожающий хвастать, каким замечательным игроком в гольф показал себя в парижских борделях и как бегал трусцой по тасманийским игорным домам, зажав под мышками охапки лос-анджелесских блондинок.

Мисс Уэно была заметно взволнована. Я спросил отчего. Она сказала, что не взволнована вовсе, а зла. А зла потому, что, работай она хоть за десятерых, дальше этого убогого стола ей не продвинуться (кучка тесно сдвинутых столов в Японии равносильна

---

[1] Зигги Стардаст — герой альбома Дэвида Боуи «Взлет и падение Зигги Стардаста и марсианских пауков» (1972).

[2] Персонаж американского мультфильма.

нашим загончикам для откорма молодняка). «И не только потому, что я женщина, — сказала она. — Но и потому, что японка. В основном из-за того, что я японка. У меня есть амбиции. В любой другой стране я могла бы взлететь, а здесь я просто сижу. Я гублю свои амбиции». Она сказала, что с появлением мистера Такамити просто как-то острее почувствовала свое положение. Полную безысходность.

В этот момент мистер Такамити направился к моему столу. Так я и знал. Я жутко растерялся. В Японии начинаешь панически бояться, что тебя не дай бог выделят из толпы. Это худшее, что можно сделать с человеком.

— Вы, должно быть, Эндрю, — произнес он и пожал мне руку, точно торговец машинами «форд». — Поднимемся наверх. Выпьем. Поговорим, — сказал он; я же почувствовал, что мисс Уэно рядом со мной вспыхнула от негодования, как светофор. Я представил ее мистеру Такамити, но тот ответил небрежно-снисходительно. Нечленораздельным бурчанием. Бедные японцы. Бедная мисс Уэно. Она была права. Они в ловушке, каждый из них застрял намертво на своей ступеньке этой ужасной скучной лестницы.

Пока мы шли к лифту, я ощущал, как весь офис провожает меня завистливыми взглядами. Это была неприятная сцена, и я представлял себе, как они думают: «Да что он о себе возомнил?» Мне казалось, что я поступил бессовестно. Вроде как сыграл на своей заграничности. Мне казалось, что меня отлучили от синдзинруй («новых людей» — так называют японские газеты двадцатилетних офисных служащих). Что это такое, объяснить сложно. В Америке есть такие же ребята, и их ничуть не меньше, но у них нет общего названия —поколение Икс; они сознательно держатся в тени. У нас больше пространства, где можно спрятаться, затеряться; им можно воспользоваться для камуфляжа. В Японии же пропадать из виду просто не разрешается.

Но я отвлекся.

Мы поднялись на лифте на этаж, для доступа на который требовался специальный ключ, и мистер Такамити всю дорогу театрально дурачился, пародируя американцев: разговоры о футболе и все такое. Но как только мы поднялись, он внезапно превратился в японца — притих. Выключился — как будто я щелкнул выключателем. Я всерьез испугался, что мне предстоит выдержать трехчасовую беседу о погоде.

Мы пошли по могильно-безмолвному коридору, выстланному толстым ковром, мимо маленьких картин импрессионистов и букетов в викторианском стиле. Это была «западная» часть этажа. Когда она кончилась, мы вступили в японскую часть. Казалось, мы проникли в гиперпространство, и в этот момент мистер Такамити жестом предложил мне переодеться в темно-синий хлопчатобумажный халат, что я и сделал.

Мы вошли в самую большую японскую комнату, где имелась ниша токо-но-ма[1] с хризантемами, свитком и золотым опахалом. В центре комнаты стоял низкий черный столик, окруженный подушками цвета терракоты. На столике — два ониксовых карпа и все, что нужно для чаепития. Единственным, что вносило в комнату дисгармонию, был маленький сейф в углу; сейф, между прочим, так себе, далеко не первого сорта, скажу я вам, недорогая модель из тех, которые ассоциируются с задней комнатой обувного магазинчика где-нибудь в Линкольне, штат Небраска, «и месяца не прошло после второй мировой войны», сейф нищенского вида, разительно контрастировавший с остальной обстановкой.

Мистер Такамити пригласил меня за столик, и мы уселись пить солоноватый зеленый японский чай.

Разумеется, я гадал, с какой тайной целью меня привели в эту комнату. Мистер Такамити был очень даже приятным собеседником... нравится ли мне работа?.. что я думаю о Японии?.. рассказывал про своих детей. Милые скучные темы. Несколько историй о тех временах, когда он в пятидесятых жил в Нью-Йорке, работая внештатным корреспондентом «Асахи»... о встречах с Дианой Вриленд, Трумэном Капоте и Джуди Холидей. Спустя полчаса или около того мы перешли на теплое сакэ — его принес, после

[1] Декоративная ниша в традиционном японском жилище, куда помещают букет цветов, свиток, иногда статуэтки Будды. Ее назначение — зрительно углублять пространство.

того как мистер Такамити хлопнул в ладоши, слуга-карлик в тусклом коричневом — цвета бумажных магазинных пакетов — кимоно.

После ухода слуги возникла пауза. Вот тогда-то он и спросил меня, какую из своих вещей я считаю самой ценной.

Ну-ну. Самая ценная из моих вещей... Попробуйте-ка объяснить восьмидесятилетнему японскому издателю-магнату концепцию студенческого минимализма. Это нелегко. Что у меня может быть ценного? По большому-то счету? Подержанный «жучок»—«фольксваген»? Стерео? Я скорее умер бы, чем признал, что самой ценной моей вещью была сравнительно обширная коллекция пластинок-гигантов с немецкой индустриальной музыкой, хранящаяся — это уж совсем курам на смех — под коробкой облезлых новогодних игрушек в подвальной квартирке г. Портленда, Орегон. Словом, я ответил вполне искренне (и как показалось мне — довольно нестандартно), что ценных вещей у меня нет.

Тогда он заговорил о том, что богатство должно быть транспортабельным, что его нужно переводить в картины, камни, драгоценные металлы и так далее (он прошел через войны и экономическую разруху и знал, о чем говорит), но я нажал на правильную кнопку, дал правильный ответ — сдал экзамен: в его голосе слышались довольные нотки. Потом, минут, может, через десять, он вновь хлопнул в ладоши, и вновь возник крошечный слуга в бесшумном коричневом кимоно; ему были прорявканы инструкции. Это вынудило слугу отправиться в угол и по выложенному татами полу прикатить к мистеру Такамити, сидящему скрестив ноги на подушках, дешевый маленький сейф.

Затем — нерешительно, но спокойно — мистер Такамити набрал комбинацию цифр на круглой ручке. Послышался щелчок, он повернул ручку, дверца открылась, явив нечто. Что именно, мне видно не было.

Он засунул внутрь руку и вытащил — даже издали я определил, что это фотография, — черно-белый снимок пятидесятых годов, вроде тех, что делали судмедэксперты. Посмотрев на таинственную фотокарточку, он вздохнул. Потом перевернул ее и с легким выдохом, означавшим: «Вот моя самая ценная вещь», передал мне. Признаюсь, я был потрясен.

Это было фото Мэрилин Монро, которая садилась в такси, приподняв платье (она была без белья), и посылала губками поцелуй фотографу, по-видимому, мистеру Такамити в дни его внештатности. Бесстыдно сексуальная, все в лоб высказывающая фотография (ежели кто сейчас думает о пошлостях — бросьте, карточка вообще-то была черная, как туз пик) — и весьма провокационная. Глядя на нее, я сказал мистеру Такамити, который внешне безучастно ожидал моей реакции, что-то типа «ну и ну» или еще какую-то чушь, но внутренне искренне ужаснулся тому, что это фото — обыкновенный вшивый снимок папарацци, к тому же непригодный для публикации, — было его самой большой ценностью.

И вот тогда-то и последовала моя неконтролируемая реакция. Кровь прилила к ушам, сердце екнуло; меня бросило в пот, а в голове прозвучали слова Рильке — поэта Рильке — о том, что все мы рождаемся с неким письмом внутри, и только если останемся верны себе, получим позволение прочесть это письмо прежде, чем умрем. Пылающая кровь, пульсируя в моих ушах, сказала мне, что мистера Такамити угораздило спутать фото Мэрилин, хранящееся в сейфе, с письмом, лежащим внутри него самого, и я тоже, да, да, рискую совершить подобную ошибку.

Надеюсь, я вполне любезно улыбнулся, но сам уже схватил брюки и бросился к лифту, произнося вымученные, первые попавшиеся извинения, застегивая пуговицы рубашки и непрерывно кланяясь смущенной аудитории в лице мистера Такамити, который ковылял за мной, издавая старческие всхлипы. Не знаю, какой реакции на фото он от меня ждал — восхищения, комплиментов, а может, даже похотливого слюноотделения, но непочтительности, полагаю, он не ожидал. Бедняга.

Однако что сделано, то сделано. Искренних порывов нечего стыдиться. Тяжело дыша, словно я только что разгромил чей-то дом, я бежал из офиса, даже не прихватив вещей — прямо как ты, Дег, — и тем же вечером собрал чемоданы. В самолете на следующий день мне снова вспомнился Рильке:

«Только отдельный, уединенный управляется, как вещь, глубокими законами, и когда ты выходишь в утро, встающее, или смотришь в вечер, полный совершения, и чувствуешь, что́ там совершается, — то всякое сословие с тебя спадает, как с мертвого, хотя вокруг сплошная жизнь»[1].

Спустя два дня я снова был в Орегоне, в Новом Свете, дышал более привольным воздухом, но все равно понимал, что здесь для меня слишком много истории. Что для жизни мне нужно *меньше*. Меньше прошлого.

И так я приехал сюда — дышать пылью, гулять с собаками, смотреть на скалы или кактусы и знать, что я — первый человек, который видит этот кактус, эту скалу. И пытаться прочесть письмо внутри меня.

31 ДЕКАБРЯ 1999 г.

Для сведения: как и в моем случае, Дег и Клэр так и не влюбились друг в друга. Видимо, это был бы слишком банальный выход из положения. Вместо этого они стали друзьями, что, должен сказать, упрощает жизнь.

Как-то месяцев восемь назад на выходные из Лос-Анджелеса приехал целый выводок Бакстеров, одетых в неоновые цвета, с карманами-клапанами, молниями, патронташными ремнями (эдакий мелкий подростковый видеоклип), чтобы выпытать правду о наших отношениях с Клэр. Я помню, как ее братец Аллан, мальчик-мажор[2], сообщил мне на кухне (Клэр и остальные сидели у моего камина), что в данный момент еще один родственничек в бунгало Клэр проверяет постельное белье на предмет чужих волос. Что за ужасная, любопытная, ханжеская семейка, даже несмотря на всю их крутизну; чего ж удивляться, что Клэр от них сбежала. «Да ладно, Старая Дева, — гнул свое Аллан. — Парень девушке не друг, и все тут».

Я упомянул об этом только потому, что хотел подчеркнуть одну деталь: слушая мою японскую историю, Клэр гладила Дега по шее, и жест этот был чисто платоническим. А когда я закончил, она захлопала в ладоши, сказала Дегу, что настал его черед, а затем подошла и уселась передо мной, требуя помассировать ей спину, — и тоже чисто платонически. Все просто.

* * *

— Моя история — о конце света, — произносит Дег, допивая остатки чая со льдом (остатки давно растаявших кубиков льда). Он снимает рубашку, обнажив свою довольно хилую грудь, закуривает еще одну сигарету с фильтром и нервно откашливается.

Конец света — бродячий мотив в сказочках Дега — эсхатологических версиях телепередачи «Вы — очевидец» («Знаете, когда стоишь под атомным грибом...»), которые он выдает бесстрастным голосом профессионального комика и уснащает множеством вдохновенных подробностей. Итак, еще немного поломавшись, он начинает:

— Представьте, что вы стоите в очереди в супермаркете, скажем в супермаркете «Вонс» на углу бульвара Сансет и авеню Такиц (но теоретически это может быть любой супермаркет в любом уголке планеты), и настроение у вас хреновое, потому что по дороге в машине вы поссорились с лучшим другом. Ссора началась с дорожного знака «Осторожно, олени — 2 мили», и вы сказали: «Чего-о? Они думают, мы поверим, будто здесь хоть один олень остался», отчего у вашего лучшего друга, сидящего рядом с вами и просматривающего ящичек с кассетами, екает сердце. Вы чувствуете, что задели его за живое и что это забавно, а потому продолжаете в том же духе. «Если уж на то пошло, — говорите вы, — сейчас и птиц меньше, чем прежде. И знаешь, что я слышал? На Кари-

---

[1] *Р. М. Рильке*. Письма к молодому поэту. Перев. Марины Цветаевой. Цит. по кн.: *Рильке Р.* М. Ворпсведе, Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1971.

[2] Мажор (*жарг.*) — отпрыск влиятельных родителей.

бах не осталось ракушек — туристы все вымели. И еще, когда ты возвращался самолетом из Европы и находился где-то этак милях в пяти над Гренландией, тебе не стукало в голову, что покупать фотоаппараты, виски и сигареты в безвоздушном пространстве — это, я бы сказал, извращение?»

Тогда ваш друг взрывается, называет вас бараном и говорит: «Ну почему ты такой брюзга? У тебя что, работа такая — во всем искать поводы для депрессии?»

Вы (в ответ): «Брюзга? Moi[1]? По-моему, тут уместнее слово «реалист». Хочешь сказать, пока мы ехали сюда из Л.А. и за всю дорогу увидели типа десять тысяч квадратных километров торговых центров, у тебя не возникло ни малейшего подозрения, что где-то какие-то шарики заехали за очень крупные ролики?»

ВЫБИРАЙ

либо БОЛЬ

либо РАБОТА

до седьмого пота

Спор, разумеется, ни к чему не приводит. Так всегда бывает с подобными спорами. Самое большее — вас обвинят в старомодном нигилизме. Так что в «Вонсе» в очереди к кассе номер три вы стоите наедине с собой, пакетом пастилы и брикетами угля для вечернего барбекю, живот подводит от дикой обиды, а лучший друг, демонстративно вас игнорируя, сидит в машине и угрюмо слушает «трам-там-там» какой-то очень средневолновой радиостанции из Кафедрал-Сити, мелодии, под которые только на коньках кататься.

Но одновременно какая-то часть вашего существа восторгается содержимым тележки упитанного-в-любой-системе-отсчета мужика, стоящего перед вами в очереди.

Блин, у него там всякой твари по паре! Пластиковые «фугасы» с диетической колой, полуфабрикаты сливочно-ромовых кексов для микроволновой печи, продающиеся прямо в жестянках для выпечки (десять минут сэкономленного времени; и еще десять миллионов лет эти жестянки пролежат в могильниках отходов округа Риверсайд), и галлоны, галлоны соуса к спагетти... да, от такой диеты, должно быть, у всей его семьи запор; а нука — что это у него там на шее, не зоб ли? «Господи, как подешевело молоко», — говоришь ты сам себе, заметив ценник на одной из его бутылочек. И вдыхаешь сладкий вишневый запах от полок со жвачкой и нечитаными журналами, дешевыми и зовущими.

СЧАСТЬЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗ ЗЕМЛЯН:
склонность тешить себя приятными фантазиями, будто ты — последний уцелевший человек на Земле. «Я бы летал на вертолете и бомбил наш гриль-бар микроволновыми печами».

ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТЕНЬ:
дружба с представителем противоположного пола, лишенная какого бы то ни было сексуального подтекста.

МЕНТАЛЬНЫЙ ЭПИЦЕНТР:
место, где человек воображает себя во время атомной бомбардировки, очень часто — торговый центр.

И вдруг — перепад напряжения в сети.

Лампы ярко вспыхивают, возвращаются к норме, тускнеют, гаснут. Затем вырубается музыка, нарастает шум голосов — как в кинотеатре, когда прерывается фильм. Люди уже устремляются в ряд номер семь за свечами.

Возле выхода какой-то старикан раздраженно пытается протаранить своей тележкой раздвижные двери, не желающие раздвигаться. Служащий втолковывает ему, что электричество отключилось. Через другой выход, где дверь отжата тележкой, в магазин входит ваш лучший друг. «Радио заткнулось, — объявляет он. — И вот еще, смотри... — Сквозь уличные витрины вам видны многочисленные дымные хвосты, ползущие от Двадцать девятой базы морской пехоты, что выше по долине. — Это что-то серьезное».

Завыла сирена — худший звук в мире, звук, который вы с ужасом предвкушали всю свою жизнь. И вот он здесь — звуковая дорожка для фильма о падении в ад — оглушительный, ошеломительный, нереальный вой, сплющивающий и взбалтывающий про-

[1] *Я (франц.).*

странство и время; так сплющивает пространство и время бывший курильщик ночью, когда в кошмарном сне видит себя курящим. Проснувшись, бывший курильщик обнаруживает в руке зажженную сигарету; кошмар достигает апогея.

Слышно, как через громкоговоритель управляющий просит посетителей спокойно покинуть помещение, но его никто не слушает. Тележки брошены в проходах, люди бегут, вынося на улицу и роняя на тротуар краденые упаковки ростбифов и бутылки с водой «Эвиан». Цивилизованная автостоянка превратилась в автодром в Луна-парке.

Но толстяк остается, равно как и кассирша, всклокоченная блондинка с костлявым плебейским носом и прозрачной белой кожей. Они и вы с лучшим другом замерли как вкопанные, лишившись дара речи, ваш мозг превращается в светящуюся (как в фильмах) карту мира от НОРАД[1] — какой штамп современной мифологии! На ней вычерчены траектории огненных шаров, плывущих крадучись, неумолимо, над Баффиновой землей, Алеутскими островами, Лабрадором, Азорами, озером Верхним, островами Королевы Шарлотты, Пьюджет-Саундом, Мэном... еще несколько секунд, и всё, так ведь?..

— Я всегда обещал себе, — произносит толстяк таким будничным тоном, что вы (остальные трое) подпрыгиваете, отвлекшись от своих мыслей, — что, когда этот момент наступит, я буду вести себя с достоинством, сколько бы времени ни оставалось, и потому, мисс, — говорит он, решительно поворачиваясь к кассирше, — будьте добры, позвольте мне заплатить за покупки.

Кассирша, за отсутствием выбора, принимает деньги.

Затем — Вспышка.

— На пол, — орете вы, но они не реагируют — вылитые олени, загипнотизированные светом фар. — Скорее! — Но ваше предостережение пропадает впустую.

И тогда, перед тем как витрина превращается в сморщенную, жидкую, взрывающуюся простыню — в поверхность бассейна во время прыжка с вышки, вид снизу...

Перед тем как вас осыпает град жевательных резинок и журналов...

Перед тем как толстяка подняло в воздух, где он завис, как в анабиозе, а потом весь запылал, в то время как жидкий потолок разорвался и потек наружу...

Перед всем этим ваш лучший друг подползает к вам и, вытянув шею, целует вас в губы со словами: «Ну вот. Мне всегда хотелось это сделать».

И это всё. Бесшумный порыв горячего ветра — словно открылись миллиарды духовок (как вы и воображали этот момент лет с шести), — и все кончено. Немного страшновато, по-своему сексуально и заляпано грязными пятнами сожаления. Совсем как жизнь — верно ведь?

Часть II

НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ТОЖЕ ДОСТАНЕТСЯ

Пять дней назад — на следующий день после пикника — Дег исчез. В остальном неделя была обычной: мы с Клэр вкалывали каждый в своем макрабстве: я — в баре «У Ларри» (и присматривал за домиками — за этот необременительный труд мне понизили арендную плату), Клэр впаривала старым авоськам пятитысячные сумочки. Разумеется, мы недоумевали, куда это делся Дег, но не сильно беспокоились. Ясное дело — куда-то «сдеггерил»: может, пересек мексиканскую границу, чтобы писать героические куплеты в зарослях кактусов сагуаро, а может, он в Лос-Анджелесе — изучает системы АПРУ[2] или снимает гениальный черно-белый фильм на восьмимиллиметровую пленку. Кратковременные творческие срывы помогают ему не погибнуть от рутины настоящей ра-

[1] Объединенная система противовоздушной обороны Северо-Американского континента.
[2] Проектирование с помощью ЭВМ.

боты. И это нормально. Только хотелось бы, чтобы он предупреждал заранее и мне не приходилось бы расшибаться в лепешку, прикрывая его. Он-то знает, что мистер Макартур, владелец бара и наш шеф, простит ему убийство родной мамы. Одна скорострельная шуточка из уст Дега — и проступок забыт. Как в прошлый раз: «Больше не повторится, мистер М. Кстати, сколько лесбиянок требуется, чтобы ввинтить лампочку?» Мистер Макартур вздрагивает: «Дегмар, тс-с. Ради бога, не распугивай клиентов». В определенные дни «У Ларри» могут появиться любители пошвыряться табуретками. Дебоши в баре, при всей своей красочности, увеличат мистеру М. страховые взносы. Хотя баталий «У Ларри» я сроду не видел. Просто-напросто мистер М. — тот еще паникер.

«Три; одна ввинчивает, а еще две снимают об этом документальный фильм». Натужный смех. Думаю, он не понял. «Дегмар, это очень забавно, но, пожалуйста, не задевай дам». «Но, мистер Макартур, —Дег садится на своего конька, — я сам лесбиянка. Я всего лишь случайно оказалась в мужском обличье».

Для мистера М. — продукта иной эпохи, детища «депрессии», владельца солидной коллекции спичечных коробков из Вайкики, Бока-Ратон и аэропорта Гетвик — это, конечно, уже перебор. Для мистера Макартура, который вместе с женой вырезает купоны из газет, затоваривается оптом и не понимает назначения подаваемых перед едой в самолетах влажных махровых полотенчиков, подогретых в микроволновке. Дег однажды пытался объяснить назначение «махровых полотенчиков» мистеру М. «Еще одна уловка, изобретенная отделом маркетинга: пусть плебеи, прежде чем уткнуться в корыто, оботрут с пальцев типографскую краску от триллеров и дамских романов. Très шикарно. Чтоб деревенские дивились. С тем же успехом Дег мог бы произнести эту речь перед котом. Поколение наших родителей или не может, или не хочет понять, как рыночные производители их эксплуатируют. Они относятся к потреблению всерьез.

Но жизнь продолжается.

Где ты, Дег?

* * *

Дег нашелся! Из всех возможных мест он выбрал Скоттис-Джанкшен, штат Невада, географический пункт на восточном краю пустыни Мохави. Дег позвонил:

— Тебе бы здесь понравилось, Эдди. Скоттис-Джанкшен — место, куда рванули обезумевшие от горя — елки, что ж мы породили! — ученые-ядерщики; они надрались в своих «фордах»-седанах, перевернулись и сгорели в ущелье; а потом пришли маленькие пустынные зверюшки и съели их. Это так изящно. Просто-таки Библия. Обожаю законы пустыни.

— Ты — свинья. Я работаю по две смены из-за того, что ты уехал без предупреждения.

— Мне надо было поехать, Энди. Извини, что оставил тебя отдуваться.

— Дег, какого черта ты делаешь в Неваде?

— Ты не поймешь...

— Я не пойму?

— Не знаю уж...

— Тогда сделай из этого сказочку. Ты вообще откуда звонишь?

— Из забегаловки одной, из таксофона. Я позволил себе воспользоваться карточкой мистера М. Он не будет возражать.

КУЛЬТ ОДИНОЧЕСТВА:
тяга к достижению автономности любыми средствами — как правило, ценой отказа от длительных, прочных взаимоотношений. Часто возникает, когда от тебя слишком многого хотят.

SCHADENFREUDE ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗНАМЕНИТОСТЯМ:
нездоровое возбуждение, испытываемое при обсуждении обстоятельств кончины знаменитых людей. (Schadenfreude по-немецки — «радость по поводу чужой беды».)

— Ты злоупотребляешь расположением этого парня, Дег. Нельзя вечно рассчитывать на свое обаяние.

— Я что, звоню в «лекторий по телефону»? Ты хочешь услышать мой рассказ или нет?

Разумеется, я хочу.

— Ладно, я заткнулся. Валяй.

Из трубки доносятся шум бензоколонки, завывания ветра — во дает, как будто Дег с улицы звонит, а не из помещения. Унылое безлюдье Невады заставляет острее ощутить собственное одиночество; стараясь побороть дрожь, я поднимаю воротник рубашки.

Придорожная забегаловка Дега наверняка пахнет как зассанное ковровое покрытие в пивной. Уродливые люди с одиннадцатью пальцами играют в компьютерные игры, встроенные в прилавок, да жрут жирные мясные субпродукты, сдобренные окрашенными в веселенькие цвета приправами. В воздухе висит холодная влажная мгла, воняющая дешевой мастикой, дворнягами, сигаретами, картофельным пюре и невезением. И клиенты пялятся на Дега, наблюдая, как он романтически корчится и умирает, рассказывая по телефону свою трагическую повесть. Проанализировав его грязную белую рубашку, сбившийся набок галстук и пляшущую сигарету, они, верно, уже ждут, что вот-вот в дверь ворвется ватага дюжих чистеньких мормонов, свяжет его длинным белым лассо и уволочет обратно в Юту.

— Итак, вот моя байка, Энди; постараюсь покороче. Поехали. Жил да был однажды в Палм-Спрингс молодой человек, который никогда не лез в чужие дела. Назовем его Отис. Отис перебрался в Палм-Спрингс, так как изучал метеокарты и потому знал, что там до смешного редко идет дождь. Еще он знал, что если город Лос-Анджелес по ту сторону горы подвергнется ядерному удару, то воздушные потоки не дадут радиоактивным осадкам проникнуть в его легкие. Палм-Спрингс был его персональной Новой Зеландией: убежищем. Подобно удивительно многочисленной группе людей Отис много думал о Новой Зеландии и о Бомбе.

Однажды Отис получил по почте открытку от старого друга, который теперь жил в двух сутках езды от него, в Нью-Мексико. Заинтересовала же Отиса в этой открытке фотография на лицевой стороне — сделанный с самолета снимок ядерного испытания в пустыне, произведенного в шестидесятые годы.

Открытка заставила Отиса задуматься.

Что-то с этой картинкой было неладно, но вот *что* — он никак не мог понять.

А потом Отис понял: масштаб неверный — гриб какой-то чересчур *маленький*. Отис всегда полагал, что грибовидное ядерное облако закрывает *все* небо, а тут взрыв походил на крошечную сигнальную ракету, затерявшуюся среди долин и горных цепей (где она и была взорвана).

Отис запаниковал.

«Может быть, — подумал он про себя, — я всю жизнь боялся маленьких фейерверков, которые кажутся чудовищными лишь в нашем воображении и на телеэкранах. Неужели все это время я ошибался? Может, я смогу перестать бояться Бомбы...»

Отис воспрянул духом. Он понял, что ему остается только вскочить в машину и провести более основательное исследование — посетить места подлинных испытаний и выяснить, насколько возможно, масштабы взрывов. Словом, он предпринял турне по, как сам это обозвал, Ядерному пути: южной Неваде, юго-восточной Юте плюс Нью-Мексико с полигонами в Аламогордо и Лас-Крусесе.

В первый же вечер он добрался до Лас-Вегаса. Он готов был поклясться, что видел Джилл Сент-Джон[1] — она орала на свой парик коричного цвета, который мирно плавал в фонтане; есть также вероятность, что тип, предложивший ей в качестве утешения розеточку с орешками, был Сэмми Дэвис-младший[2]. А когда он замешкался со ставкой за столом, где играли в «Блэк Джек», стоявший рядом парень ухмыльнулся: «Эй, братишка

[1] Американская актриса.
[2] Артист театра, кино и эстрады, певец. Звезда варьете.

(да-да, его в жизни, а не в фильме назвали «братишкой» — Отис чуть не помер от счастья), Вегас строился не на тех, кто выигрывает». Отис дал парню однодолларовую фишку.

На следующее утро Отис увидел на шоссе восемнадцатиколесные фургоны, вооруженные автоматами, обмундированием и говядиной, которые ехали в направлении Мустанга, Или и Сузанвилла, и вскоре он уже оказался в юго-западной Юте, на месте, где снимался один фильм с Джоном Уэйном, — добрая половина занятых в нем актеров умерли потом от рака. Ясно, что поездка у Отиса была увлекательная — увлекательная, но одинокая.

Я избавлю тебя от описания дальнейших странствий Отиса — лучше сразу перейду к главному. Суть в том, что за несколько дней Отис нашел искомый лунный ландшафт в Нью-Мексико и понял после тщательного исследования, что его догадка верна — атомные грибы и вправду значительно меньше, чем принято считать. Отис обрел покой — затихли голоса, в подсознании непрерывно, с детского сада, шептавшие о ядерной опасности. Черт оказался не так уж страшен.

— Значит, это история со счастливым концом?

— Да не совсем, Энди. Спокоен Отис оставался недолго. Вскоре он сделал новое ужасное открытие — причем катализатором были, как ни странно, торговые центры. Произошло это так: возвращаясь в Калифорнию по Интерстейт-десять, Отис проезжал мимо торгового центра за окраиной Финикса. Он вяло размышлял об этих безликих, надменных, крупнопанельных зданиях, которые выглядят в окружающем пейзаже весьма нелепо — совсем как ядерные реакторы. Затем он проехал мимо коттеджного поселка новых яппи — одного из тех странных поселений с сотнями панельных, равно бессмысленных и огромных кораллово-розовых домов; все в двух шагах друг от друга и в трех шагах от хайвея. И Отис понял: «Да это вовсе и не дома — это замаскированные торговые центры!»

НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР КОРОЛЯ:
распространенная иллюзия, будто торговый центр перестает существовать, стоит только из него выйти. Слепота, порожденная этой иллюзией, позволяет обывателям делать вид, что огромные железобетонные параллелепипеды, невесть откуда взявшиеся в их районе, попросту не существуют.

Отис нашел аналогии с торговыми центрами: кухни — гастрономические отделы; гостиные — игротеки, ванные — аквапарки. Отис сказал себе: «Господи, что же творится в сознании живущих здесь людей — они что тут, только шопингом занимаются?»

Он ощутил, как свежа и пугающа эта мысль; ему пришлось притормозить у обочины и сосредоточиться, глядя на проносящиеся мимо машины.

Тогда-то он и утратил новообретенное спокойствие. «Если люди способны превратить свои дома в торговые центры, — подумал он, — то те же люди могут приравнять атомные бомбы к обычным».

Это открытие он связал со своим новым знанием о ядерных грибах. «Как только эти люди увидят новые, некрупные, почти умилительные габариты ядерных грибочков, процесс станет необратимым. Всякая бдительность исчезнет. И не успеешь оглянуться, атомные бомбы можно будет приобрести в обычном супермаркете — или получить бесплатно, в придачу к канистре бензина!» В мире Отиса вновь стало страшно жить.

* * *

— Он был удолбанный? — спрашивает Клэр.

— Только кофе. Девять чашек, судя по тембру голоса. Силен парень.

— Мне кажется, он слишком часто воображает себе, как взлетит на воздух. По-моему, влюбиться ему надо. И поскорее. Иначе он и вправду сгинет.

— Очень может быть. Он возвращается завтра вечером. Говорит, везет нам обоим подарки.

— Неужели мне это не снится?

ЧУДОВИЩА СУЩЕСТВУЮТ

Дег только что подкатил к нашему бунгало. Видок у него — как у загадочного предмета, выкопанного собачками из мусорных контейнеров в Кафедрал-Сити. Его щеки — в нормальное время розовые — стали сизыми, как голубиные перья; каштановые волосы дико всклокочены в стиле маньяка со снайперской винтовкой, который высовывается из захваченной им закусочной и вопит: «Ни за что не сдамся!» Все это мы замечаем, едва он появляется в дверях — парень явно страшно взвинчен и забыл, что такое сон. Я начинаю волноваться; судя по тому, как Клэр нервно крутит в пальцах сигарету, ей тоже не по себе. При всем при том лицо у Дега довольное — казалось бы, чего еще желать-то; но почему его радость кажется такой... предосудительной? По-моему, я знаю почему. Эта разновидность счастья мне знакома. Она сродни безудержному облегчению и натужной веселости, которые я зрел на лицах друзей, вернувшихся после полугодичного пребывания в Европе; их лица выражали облегчение, что можно снова приобщиться к большим машинам, пушистым белым полотенцам, калифорнийской жратве; но одновременно они уже готовились к неизбежной, полуклинической — «Куда ж мне себя приложить-то?» — депрессии, являющейся как прологом, так и эпилогом всякого паломничества в Европу. Ну и ну. Но клинический «кризис середины молодости», слава богу, случается только раз — а у Дега он уже был. Так что, должно быть, Дег просто слишком долго пробыл один — невозможность ни с кем поговорить здорово бьет по шарам. Правда-правда. Тем более в Неваде.

БЕДНОХОНДРИЯ:
ипохондрия, вызванная отсутствием медицинской страховки.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТАБУ:
частные, граничащие с суеверием жизненные правила, позволяющие человеку справляться с тяготами повседневности в условиях отсутствия каких бы то ни было культурных и религиозных императивов.

— Привет, чудики! Привез гостинцы, — кричит Дег, вваливаясь к Клэр с бумажным подарочным пакетом в руках; на мгновение он задерживается в прихожей — бросить взгляд на журнальный столик, где лежит почта Клэр, и этого мгновения нам достаточно, чтобы обменяться многозначительными (брови взлетают вверх) взглядами, — вообще-то мы сидим на ее кровати и играем в скрэбл — мало того, Клэр даже успевает шепнуть мне: «Сделай что-нибудь».

— Привет, кексик, — говорит Клэр, стуча по деревянному полу пробковыми, на платформе танкетками и виляя всем телом, затянутым в чересчур китчевый тореадорский костюмчик с брюками-клеш цвета лаванды. — В твою честь я вырядилась под домохозяйку из Рино. Хотела даже «вшивый домик» на голове соорудить, но лака не хватило. Так что голова у меня скорее бездомная... Выпить хочешь?

— От водки с апельсиновым соком не откажусь. Привет, Энди.

— Привет, Дег. — Я поднимаюсь и мимо него иду к входной двери. — Пойду отолью. У Клэр унитаз каким-то странным голосом поет. Сейчас вернусь. Долго ехал?

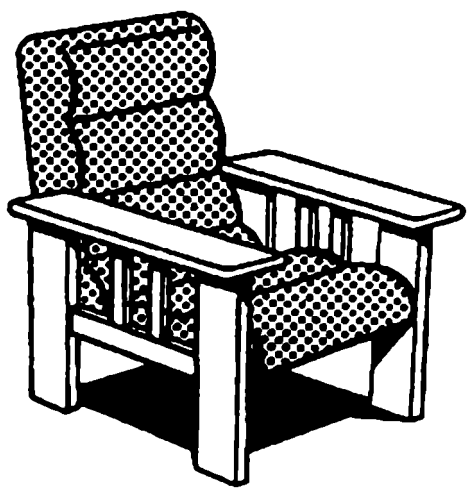
— Двенадцать часов.

— Молоток.

Пройдя через двор в свой чистый, но заваленный всякой ерундой домик, я провожу раскопки в нижнем ящике шкафчика в ванной и отыскиваю купленный по рецепту пузырек, оставшийся от моей годичной или двухлетней давности фазы забав-с-успокоительными. Из пузырька я выуживаю пять оранжевых таблеток транквилизатора «Ксанакс» по полмиллиграмма, выжидаю время, соответствующее «периоду отлива», после чего возвращаюсь к Клэр, где размалываю таблетки в ступке для специй и высыпаю получившийся порошок в Дегову водку с соком. «М-да, Дег. Вид у тебя раздрызганный, ну ничего, за тебя». Мы чокаемся (я — минералкой). Наблюдая, как он заглатывает напиток, я осознаю — совесть бьет меня по загривку электрошоком, — что переусердствовал с дозой и, вместо того чтобы помочь человеку просто расслабиться (как намеревался), содействовал его превращению в неодушевленный предмет (спустя минут пятнадцать). Клэр об этом лучше не заикаться.

— Дегмар, мой подарок, пожалуйста, — произносит Клэр фальшивым, исполненным синтетической бодрости голоском, за которым скрывается обеспокоенность его аварийным состоянием.

— Всему свое время, милые мои маленькие везунчики, — говорит Дег, кренясь на стуле, — всему свое время. Дайте отдохнуть секунду. — Отпив по глоточку, мы осматриваем норку Клэр. — Клэр, твой дом, как всегда, безупречен и очарователен.



Образец шведской мебели

— Батюшки, спасибо, Дег. — В словах Дега Клэр чудится высокомерие, хотя мы с ним на самом деле всегда восхищались ее вкусом: в этом бунгало, обставленном кучей фамильного добра, которое она урвала при многочисленных разводах папеньки и маменьки, в миллион раз больше вкуса, чем в наших домах.

Ради нужного ей эффекта Клэр готова на все («Мой дом должен быть идеальным»). К примеру, она убрала ковер — обнажив деревянный пол, который она вручную отциклевала, покрыла лаком и усеяла персидскими ковриками и мексиканскими циновками. Вдоль задрапированных тканью стен стоят старинные посеребренные кувшины и вазы (блошиный рынок округа Оранж). Адирондакские[1] садовые стулья из каскарской ивы, с подушечками из провансальского набивного шелка.

АРХИТЕКТУРНОЕ НЕСВАРЕНИЕ:
почти навязчивая потребность жить в стильной обстановке. Культовые объекты — черно-белые художественные фотографии в рамках (желательно — авторства Дианы Арбус); упрощенная сосновая мебель; матово-черные продукты высокой технологии: телевизор, стерео, телефоны; галогеновое освещение; лампа, стул или стол в стиле пятидесятых; свежесрезанные цветы с замысловатыми названиями.

ЯПОНСКИЙ МИНИМАЛИЗМ:
стиль интерьера, к которому склонно большинство летунов — родства не помнящих молодых людей, вечно меняющих место работы.

У Клэр чудный домик, но одна деталь меня здорово нервирует: десятки пар — настоящая гора — оленьих рогов, которые, сцепившись в хрупкую окостеневшую гроздь, лежат в соседней с кухней комнате. Комната, которой положено быть столовой, напоминает склеп и до смерти пугает всяких там сантехников и слесарей, приходящих, если надо, что-нибудь починить.

Это коллекционерское безумие началось у Клэр несколько месяцев назад, когда она «выкупила на свободу» гору оленьих рогов у соседей, распродававших пожитки перед отъездом. Спустя несколько дней Клэр оповестила нас с Дегом, что совершила некий обряд, позволивший душам загубленных животных отлететь на небо. В чем состоял обряд — она не распространялась.

Вскоре процесс «освобождения» превратился в легкое наваждение. Теперь Клэр спасает рога, помещая в «Дезерт сан» объявления следующего содержания: «Местной художнице требуются для работы оленьи рога. Просьба звонить по тел. 323...» В девяти случаях из десяти откликается женщина по имени Верна, с накрученными на бигуди волосами, которая говорит Клэр, жуя антиникотиновую жвачку: «Милочка, на резчицу по кости вы что-то не похожи, но моего подлеца черти унесли, так что ладно уж, забирайте эти ерундовины. Все равно я никогда их терпеть не могла».

* * *

— Ну-с, Дег, — потянувшись к его бумажным пакетам, говорю я. — Что ты мне привез?

— Руки прочь! — огрызается Дег и быстро добавляет: — Терпение, терпение. Прошу. — Порывшись в пакете, он что-то сует мне в руки. Что именно, я даже не успеваю разглядеть. — Un cadeau pour toi[2].

---

[1] Грубо тесанные стулья, которые делают в Адирондаке (горный массив в штате Нью-Йорк).
[2] Подарок для тебя (*франц.*).

У меня в руках свернутый старинный ремень, на котором вышито бисером: «Большой каньон».

— Дег! Это просто класс! Настоящие сороковые.

— Так и знал, что тебе понравится. А теперь для mademoiselle... — Извернувшись, Дег что-то протягивает Клэр: баночку из-под майонеза «Мирекл вип» с отодранной этикеткой, наполненную чем-то зеленым. — Пожалуй, это гордость моей коллекции талисманов.

— Mille tendresses[1], Дег, — глядя на нечто, напоминающее гранулированный кофе, только почему-то оливкового цвета, произносит Клэр. — Но что это? Зеленый песок? — Она показывает склянку мне, потом встряхивает ее. — Ума не приложу. Нефрит?

— Нет, не нефрит.

Противные мурашки пробегают у меня по спине.

— Дег, ты случайно не в Нью-Мексико это добыл, а?

— Очень тепло, Энди. Так ты знаешь, что это?

— У меня предчувствие.

— Ишь какой сообразительный.

— Прекратите свои мужские штучки — лучше объясните, что это за фигня! — требует Клэр. — Мне надоело улыбаться — челюсть сводит.

Я прошу у Клэр позволения взглянуть на подарок; она протягивает мне баночку, но Дег пытается вырвать ее у меня из рук. Похоже, коктейль начинает действовать.

— Надеюсь, он все-таки не радиоактивный, а, Дег?

— Радиоактивный?! — взвизгивает Клэр. Дег вздрагивает, от неожиданности роняет склянку, и та разбивается. В мгновение ока бесчисленные стекловидные зеленые бусины разлетаются, как злющие осы из гнезда, рассыпаясь повсюду — скачут по полу, закатываются в щели, в складки покрывала, в кадку с фикусом — повсюду.

— Дег, какого черта?! Теперь убирай все это сам. Чтоб у меня в доме твоего песка не было!

— Это тринитит, — мямлит Дег, скорее разочарованный, чем обиженный. — Он из Аламогордо, где провели первое ядерное испытание. Жар был такой сильный, что переплавил песок в новую субстанцию. А баночку я купил в магазине дамской одежды, в отделе сопутствующих товаров.

— Боже! Это плутоний! Ты притащил в мой дом плутоний! Кретин! Теперь здесь все заражено. — У нее перехватывает дыхание. — Я больше не могу здесь жить! Придется переехать! Мой идеальный маленький домик... я живу в радиоактивном могильнике... — Клэр в своих танкетках мечется как курица, ее бледное лицо раскраснелось, но она пока еще воздерживается от прямых обвинений в адрес быстро увядающего Дега.

Я тупо пытаюсь ее урезонить:

— Успокойся, Клэр. Взрыв был почти пятьдесят лет назад. Эта хреновина теперь безвредна...

— Иди ты знаешь куда со своей безвредностью, мистер Всезнайка. Ты же сам в нее не веришь! Прям такой ты наивный — да никто не верит правительству. Это дерьмо — смерть на ближайшие четыре с половиной миллиарда лет.

Дег, полусонный, мямлит с кровати:

— Не кипятись, Клэр. Бусины свое наполовину отжили. Они чистые.

— А ты, пока весь мой дом не будет дезактивирован, даже не смей слова мне сказать, Франкенштейново ты чудовище. А я поживу у Энди. Спокойной ночи.

Она вылетает из комнаты, словно тепловоз, бросивший свой поезд, оставляя Дега в близком к коме состоянии на кровати — его ждет лихорадочный, полный бледно-зеленых кошмаров сон. Будут ли Клэр сниться кошмары — мне неизвестно, но в этом бунгало, если только она в него вернется, ей уже не спать спокойно.

[1] *Здесь*: тысяча благодарностей (*франц.*).

* * *

Завтра навестить Клэр приезжает Тобиас. А меня скоро ждет Рождество — в кругу семьи в Портленде. Отчего мне никак не удается упростить жизнь?

НЕ ЕШЬ СЕБЯ

День, богатый событиями. Дег все еще спит на диване Клэр, не подозревая, как высоко взлетел в ее личном хит-параде «Величайших на свете засранцев». Тем временем Клэр в моей ванной прихорашивается и громко философствует в облаке благоухающего «Живанши» пара, перед целым лотком косметики и аксессуаров, которые я был вынужден приволочь из ее бунгало, напоминающего опустевший детский мешок на День всех святых.

— У каждого в жизни, Энди, есть свой «незнакомец-повелитель» — некто, обладающий, сам того не ведая, странной властью над тобой. Это может быть малый в драных джинсах, подстригающий вашу лужайку, или накрашенная «Макс Фактор'ом» женщина, выдающая вам книги в библиотеке, — в общем, кто-то полузнакомый... Но если однажды, придя домой, вы обнаружите на автоответчике его послание: «Плюнь на все. Я тебя люблю. Поехали со мной во Флориду», — вы пойдете за ним, и точка. Для тебя это блондинка-кассирша из «Йенсена», так? Ты сам говорил. Для Дега, вероятно, Элвисса (Элвисса — близкая подруга Клэр)... а мне, на мою беду, — она выходит из ванной и, склонив голову набок, вдевает сережку, — достался Тобиас. Нет в жизни справедливости, Энди. Ни капельки справедливости.

Тобиас — несчастье Клэр, наваждение, проживающее в Нью-Йорке, а в данный момент уже находящееся на пути из лос-анджелесского аэропорта. Он наш ровесник, такой же выпускник частной школы, как и Аллан, братец Клэр, происходит из какого-то гетто для богатых на Восточном побережье, как там бишь оно называется... Нью-Рошелл? Шейкер-Хайтс? Дариен? Уэстмаунт? Лейк-Форест? Один черт. Работа у Тобиаса связана с деньгами и банками — кто он, фиг его знает, сами забываем спустя секунду после того, как он начинает на вечеринках рассказывать о своей работе. Изъясняется он на занудном канцелярском жаргоне «смерть мухам». Ничуть не стесняется захаживать в идиотские ресторанчики с «тематической» кухней и вымученными (сплошь имена собственные) названиями, вроде «У Мактакки» или «У О'Дули». Ему известны все вариации и нюансы туфель с кисточками («Я бы никогда не стал носить твои ботинки, Энди. Они прошиты по типу мокасин. Это чересчур легкомысленно»).

ХЛЕБА И КЛИПОВ:
лозунг людей электронного века. За ним стоит склонность считать деятельность политических партий загнившим пережитком, чем-то давно уже непродуктивным, абсолютно непригодным для разрешения современных социальных проблем, а в некоторых случаях — просто-напросто опасным.

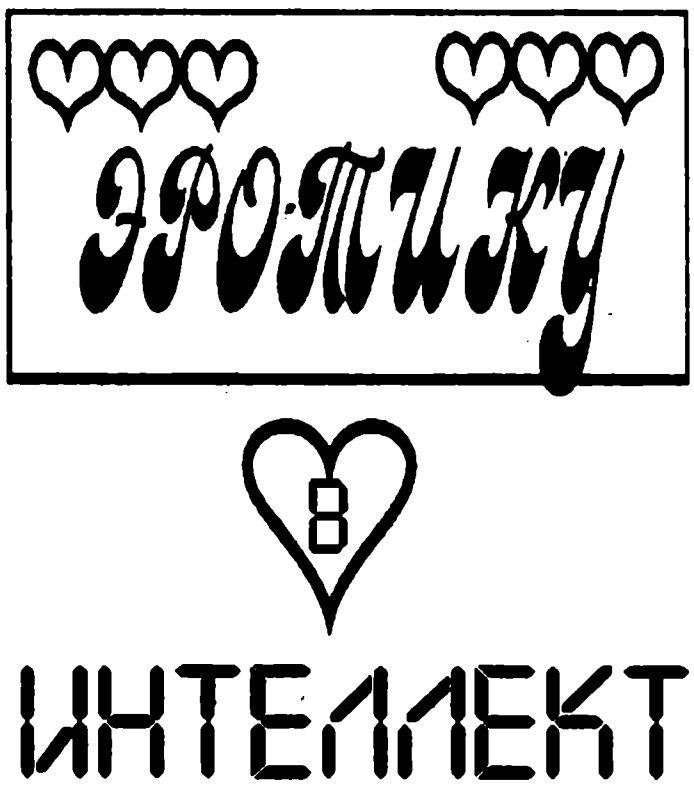
АБСТИНЕНЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ:
попытка — впрочем, тщетная — выразить свое недовольство существующей политической системой путем неучастия в выборах.

Неудивительно, что он помешан на само- и прочем контроле. Считает себя всеведущим. В шутливом настроении предлагает заасфальтировать Аляску или расколошматить атомными бомбами Иран. Заимствуя фразу из одной популярной песни — он верен до гроба Банку Америки. Он выкинул за ненадобностью часть своей личности, он гну-у-усен.

Но внешность у Тобиаса сногсшибательная — хоть в цирке его показывай, так что мы с Дегом тихо завидуем. Если Тобиас как-нибудь в полночь замешкается на тротуаре

в центре города — возникнет пробка. Средних американцев с заурядной внешностью такая наружность сильно подавляет. «Он бы мог вообще не работать, если бы только захотел, — говорит Дег. — Нет в жизни справедливости». Что-то в Тобиасе есть такое, от чего люди вечно вздыхают по его поводу: «Нет в жизни справедливости».

С Клэр они повстречались несколько месяцев назад у Брендона дома, в Вест-Голливуде. Собирались пойти втроем на концерт «Волл-оф-Вуду», но Тобиас с Клэр так туда и не дошли, завернув вместо этого в кофейный бар «Ява», где Тобиас весь вечер разглагольствовал не закрывая рта, а Клэр на него пялилась. Позже Тобиас выставил Брендона из его собственной квартиры. «Я не слышала ни единого слова из того, что он наговорил за весь вечер, — утверждает Клэр. — С тем же успехом он мог бы читать меню задом наперед. Но профиль у него, скажу я вам... Умереть на месте».



Они провели вместе ночь, а на следующее утро Тобиас ворвался в спальню, вальсируя с охапкой из ста длиннющих роз, и разбудил Клэр, нежно опуская розы ей на лицо, одну за другой. Как только она окончательно проснулась, он обрушил на нее Ниагару лепестков и стеблей — когда Клэр рассказала об этом нам с Дегом, даже мы сочли этот жест восхитительным.

— Наверно, это был самый романтический момент за всю мою жизнь, — сказала Клэр. — Интересно, можно ли умереть от роз? От наслаждения? Короче, в то же утро сидим мы в машине, едем на фермерскую ярмарку в Фэрфаксе, чтобы на свежем воздухе, в компании туристов и голубей позавтракать и поразгадывать кроссворд в «Лос-Анджелес таймс». И тут на бульваре Ла-Сьенега я вижу здоровенный фанерный щит с надписью, выведенной пульверизатором: «100 роз = всего 9,99 долл.», и сердце мое падает, словно труп с камнем на шее, скинутый в реку Гудзон. Тобиас аж сполз с сиденья. Но дальше — хуже. Горит красный, и тут мужик из ларька подходит к машине и говорит что-то наподобие: «Мистер Тобиас! Мой лучший клиент! Вам очень повезло, юная леди, что вы всегда получаете наши цветы от мистера Тобиаса!» Как вы можете себе представить, завтрак был испорчен.

Ну ладно, ладно. Я не вполне объективен. Но больно уж это весело — топтать Тобиаса. А главное, легко. Он для меня олицетворяет всех представителей моего поколения, которые извели все, что в них было хорошего, на зарабатывание денег и отдают свои голоса тем, кто принесет им шальные бабки. Они досыта кормятся отбросами в придонных сферах — в маркетинге, земельных спекуляциях, крючкотворстве и биржевом брокерстве. И вот-вот лопнут от самодовольства. Они кажутся себе орлами, сооружающими огромные гнезда из дубовых ветвей и гигантского тростника, но на деле скорее напоминают местных калифорнийских орлов, тех, что строят гнезда из негодных деталей, похожих на объедки сандвичей с проросшей пшеницей (ржавые аппендиксы выхлопных труб, больные грыжей колеса), из обломков автокатастроф с меридианов выгоревшей травы вдоль шоссе Санта-Моника; пластиковых садовых стульев, крышек от сумок-термосов и сломанных лыж — дешевых, вульгарных, токсичных предметов, которые либо мгновенно разлагаются, либо пребудут неизменными в сути своей, пока наша галактика не вспыхнет сверхновой звездой.

Не подумайте, я не питаю ненависти к Тобиасу. Услышав, как въезжает в наш гараж его машина, я осознаю, что вижу в нем того, кем сам мог бы стать, — все мы можем стать такими, если утратим бдительность. Мягкотелыми и самодовольными, извлекающими выгоду из собственных масок, исполненными такой ярости и презрения к человечеству, такой алчности, что досыта наесться сумеем, лишь слопав себя. Он словно пассажир переполненного больными самолета, потерпевшего крушение высоко в горах; оставшиеся в живых, не доверяя чужим органам, вгрызаются в собственные руки.

— Энди Кэнди, миляга! — с издевательской сердечностью ревет Тобиас, грохая моей дверью, после того как обнаружил, что в доме Клэр никого нет, если не считать свернув-

шегося калачиком Дега. Я вздрагиваю, делаю вид, что увлечен «ТВ-гидом», бормочу: «Привет». Он видит журнал:

— Отбросы культуры, а? Я думал, ты у нас интеллектуал.

— Забавно именно от тебя слышать слово «отбросы», Тобиас...

— Что? — рявкает он, как человек в наушниках и с плейером «Сони», у которого спросили дорогу. Тобиас не обращает никакого внимания на предметы, не укладывающиеся в круг его интересов.

— Ничего, Тобиас. Клэр в ванной, — добавляю я, указывая туда в тот самый момент, когда из-за угла появляется Клэр, щебеча и закалывая волосы детской заколкой.

— Тобиас! — восклицает она и подбегает за поцелуем, но Тобиас в замешательстве — он не ожидал, что она может расхаживать у меня в таком домашнем виде, а потому не желает целоваться.

— Извините, — говорит он. — Похоже, я не вовремя.

Мы с Клэр закатываем глаза: подумать только, Тобиас воспринимает жизнь как не-особенно-смешную-французскую-комедию эпохи Реставрации, разыгрываемую исключительно ради него, — это же полный прикол! Тем не менее Клэр встает на цыпочки и все-таки целует его. (Он, само собой, еще и высок ростом.)

АРМАНИЗМ:
названная по имени Джорджо Армани приверженность к цельнокроеному и, что более важно, *жесткому* духу итальянской высокой моды. Подобно японскому минимализму, «арманизм» отражает глубокую внутреннюю потребность в контроле над собой и миром.

ПОВЫШАТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ БЕДНОСТИ:
осознание, что раньше, во времена безденежья, ты был гораздо лучше, чем сейчас.

— Вчера вечером Дег рассыпал у меня по всему дому плутоний. Сегодня они с Энди его выметут, а пока я перебралась сюда на кушетку. Пока Дег не наведет порядок. Он выпал в осадок на моем диване. Наведался на прошлой неделе в Нью-Мексико.

— Так и знал, что он выкинет какую-нибудь глупость. Он что, бомбу делал?

— Это не плутоний, — встреваю я. — Это тринитит, и он безвредный.

Тобиас пропускает мои слова мимо ушей.

— И все же — что он, собственно, у тебя делает?

— Тобиас, я тебе кто — *собственная породистая корова*? Он — мой друг. И Энди — мой друг. Я здесь живу, ты не забыл?

Тобиас обхватывает ее за талию — похоже, мальчик впадает в игривое настроение.

— Кажется, мне придется раскроить вас пополам, миледи. — Он крепко прижимает ее к себе, опустив руки на бедра; я от смущения не нахожу слов. Как только можно выражаться так в жизни? — Эй, Кэнди, ты не считаешь, что она задрала нос? Как скажешь — оплодотворить мне ее?

Выражение лица Клэр в эту минуту свидетельствует, что она хорошо знакома с феминистской риторикой и диалектикой, но не в состоянии подобрать уместную цитату. Она — представьте себе — *хихикает*, хоть и понимает, что это хихиканье выйдет ей боком когда-нибудь в будущем, в тот момент, когда ее сознание не будет помрачено гормональным возбуждением.

Тобиас тянет Клэр к двери.

— Голосую за то, чтобы ненадолго пойти к Дегу. Кэнди, скажи своему дружку: если он решит вставать, пусть не беспокоит нас пару часиков. Чао.

Дверь хлопает еще раз, и, как большинство пар, которым не терпится поскорей совокупиться, они не прощаются.

ЕШЬ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

Мы пылесосим дощатый пол гостиной Клэр, собирая плутоний. «Плутоний» — это наш жаргонный неологизм для шустрых (и, возможно, радиоактивных) бусин тринитита. «Вот несносные чертенята», — вопит Дег, дубася насадкой по подозрительному пят-

ну. Он повеселел и вообще стал опять похож на себя, чему способствовали двенадцать часов сна, душ и грейпфрут с дерева наших соседей Макартуров — дерева, которое на прошлой неделе мы помогали украшать синенькими рождественскими лампочками, — а также тайная антипохмельная микстура Дегмара Беллингхаузена (четыре таблетки тайленола и банка чуть подогретого куриного бульона «Кэмпбелл»). «Не бусинки, а какие-то пчелы-убийцы — всюду пролезут». Все утро я просидел на телефоне, организуя свой предстоящий визит в Портленд для свидания с родней; визит, которого я, по мнению Дега и Клэр, патологически боюсь. «Брось переживать. Тебе-то о чем беспокоиться? Погляди на меня. Я только что сделал чужой дом непригодным для жилья на ближайшие четыре с половиной миллиарда лет. Представь, какой груз должен лежать на моей совести». Дег воспринимает заваруху с плутонием спокойно, но ему таки пришлось пойти на психологический компромисс, и теперь он вынужден делать вид, что не возражает против того, чтобы Клэр с Тобиасом спаривались в его спальне, пачкая простыни (Тобиас кичится тем, что не пользуется презервативами), перетасовывали расставленные по алфавиту кассеты и уничтожали запасы цитрусовых в холодильнике. Тем не менее образ Тобиаса не выходит у Дега из головы:

МУЗКАЗУИСТИКА:
склонность к патологически мелочной классификации музыки и музыкантов. «Команда «Венские сосиски» — типичные представители городского белого кислотного хардешного шансона, скрещенного со ска».

СИНДРОМ ЖЕЛТОРОТОГО ПСИХОЛОГА (ФИЛОСОФА И Т.П.):
тенденция разбирать все аспекты жизни по винтикам, используя недопонятые теории поп-психологов.

— Не доверяю я ему. Чего ему надо?

— Надо?

— Эндрю, очнись. Человек с его внешностью способен поиметь любую напедикюренную куколку в штате Калифорния. Такие явно в его вкусе. Но он выбрал Клэр, которая, как бы мы ее ни любили, какая бы крутая она ни была, по стандартам Тобиаса (к ее чести) — товарец с браком. Я хочу сказать, Энди, Клэр *читает*. Понимаешь мою мысль, да?

— Наверное.

— Он нехороший человек, Эндрю, и все же притащился сюда в горы, чтобы ее увидеть. И будь добр-р-р, не говори мне, что это все из великой любви.

— Может быть, мы чего-то о нем не знаем, Дег. Может, имеет смысл в него поверить. Дадим ему список книг, которые помогут ему стать лучше...

Ледяной взгляд.

— Ой, не думаю, Эндрю. Он слишком далеко зашел. Когда имеешь дело с людьми его типа, остается стремиться только к минимализации ущерба. Ну-ка помоги мне поднять стол.

Мы переставляем мебель, открывая новые районы, колонизированные плутонием. Дезактивация продолжается в прежнем ритме: щетки, тряпочки, мусорное ведро. Мети, мети, моя метелка.

Я спрашиваю Дега, не собирается ли он на Рождество в Торонто — навестить родителей, с которыми он, так сказать, в легком разводе.

— Не пугай меня, Эндрю. Твой покорный слуга предпочитает Рождество под кактусом. Смотри-ка, — говорит он, переходя на другую тему. — Лови вон тот комок пыли.

Я перехожу на предложенную тему.

— Похоже, моя мать так до сих пор и не врубилась ни в экологию, ни в концепцию переработки отходов, — начинаю я рассказывать Дегу. — Два года назад после ужина в День благодарения она сгребла весь мусор в огромный пакет из устойчивого к биоразложению пластика. Я объяснил ей, что этот пакет не подвержен биологическому разложению, и предложил воспользоваться одним из правильных, которых там целая полка.

Она говорит: «Ну конечно! Я про них совсем забыла», — и достает такой пакет. Потом берет и засовывает в него неправильный пакет вместе со всем содержимым. Лицо ее выражало такую неподдельную гордость, что у меня недостало духу сказать, что она опять все напутала. «Луиза Палмер — она спасла нашу планету».

Я плюхаюсь на прохладную мягкую кровать, а Дег продолжает уборку.

— Ты бы видел дом моих родителей, Дег. Прямо музей «Как жили люди пятнадцать лет назад». Там ничего не меняется; будущего мои боятся как огня. Тебе никогда не хотелось подпалить родительский дом — просто чтобы спасти их от всей этой рутины? Ну, чтобы в их жизни произошло хоть что-то новое? Родители Клэр хотя бы разводятся время от времени. Не стоят на месте. А мой дом похож на дряхлеющие европейские города вроде Бонна, Антверпена, Вены или Цюриха, где нет молодежи и чувствуешь себя как в шикарной приемной у врача.

— Энди, не мне об этом говорить, но пойми — твои родители просто стареют. Именно в этом старение и выражается. У людей крыша едет, они становятся скучными, теряют былую остроту восприятия.

— Это *мои* родители, Дег. Я их лучше знаю. — Но Дег прав на все сто процентов с гаком, а я, получается, мыслю до неприличия узко, и эта его абсолютная правота заставляет меня перейти в наступление: — Приятно услышать такое от человека, для которого все осмысленное существование укладывается в один-единственный год — год свадьбы его собственных родителей, — прямо можно подумать, что это был последний год, когда на жизнь еще можно было положиться. Из уст человека, одевающегося под продавца салона «Дженерал моторс» образца 55 года. Дег, ты никогда не замечал, что твое бунгало выглядит так, словно в нем живут молодожены из Аллентауна, штат Пенсильвания, эра Эйзенхауэра, а не fin de siècle existentialist poseur[1]?

— У тебя всё?

— Не-а. Мебель у тебя современная — датская; ты пользуешься черным дисковым телефоном; молишься на энциклопедию «Британника». Будущего ты боишься уж не меньше, чем мои родители.

Молчание.

— Может, ты и прав, Энди, а может, просто психуешь из-за этой поездки домой на Рождество...

— Перестань меня воспитывать. Мне аж неловко.

— Прекрасно. Но тогда ne кати бочку pas на moi[2], хорошо? У меня своих заморочек хватает, и пожалуйста, не опошляй ты их своим «синдромом желторотого психолога». Мы вечно разбираем жизнь по винтикам. Это-то нас всех и погубит.

— Я собирался предложить тебе поучиться у моего брата-джинглописца Мэтью. Каждый раз, когда он звонит или посылает факс своему агенту, они торгуются, кто этот факс «съест» — ну знаешь, кто его проведет по своей бухгалтерии. Предлагаю тебе сделать то же самое с родителями. Съешь их. Воспринимай их как фактор, благодаря которому ты оказался в этом мире, и живи себе дальше. Спиши их как деловые расходы. Твои родители хотя бы говорят о Серьезном. Когда я со своими пытаюсь разговаривать о том, что для меня важно, — о ядерном разоружении, например, — такое ощущение, будто я говорю на братиславском. Они снисходительно слушают столько, сколько надо, а как только я выпускаю пар, спрашивают, почему я живу в таком проклятом Богом месте, как пустыня Мохави, и как там у меня с личной жизнью. Раскройся перед родителями самую малость, и они сделают из твоей откровенности консервный нож, чтобы вскрыть тебя и переустроить твою жизнь, загнав ее в тупик. Иногда так и хочется размягчить им мозги сапожным молотком. Хочется сказать, что я завидую тому, как их воспитывали — в чистоте и свежести, без малейшего намека на такое явление, как *безбудущность*. И удавить их за то, что они радостно суют нам в руки мир, похожий на пару загаженных трусов.

---

[29] Позер-экзистенциалист конца века (*франц.*).
[30] Не (...) на меня (*франц.*).

ПОКУПНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ — НЕ В СЧЕТ

— Погляди-ка на это, — говорит Дег несколькими часами позже, тормозя у обочины и указывая на местную клинику для слепых. — Ничего забавного не замечаешь?

Сперва я не вижу ничего экстраординарного, но потом до меня доходит, что это здание в стиле «пустынный модерн» окружено огромными бочкообразными кактусами с острыми, словно зубы пираньи, колючками — красивыми, но смертельно опасными, как лезвие бритвы. Перед глазами встает картина: пухленькие дети из комикса «Far Side»[1], наткнувшись на такие колючки, лопаются, как сосиски. Жарко. Мы возвращаемся из Палм-Дезерт, куда ездили брать напрокат циклевочную машину. На обратном пути мы прогромыхали (медленно-медленно) мимо клиники Бетти Форд и института Эйзенхауэра, где «мистер Освободитель» скончался.

— Останови-ка на минутку; хочу срезать парочку колючек для своей коллекции талисманов.

Из бардачка, запором которого служит бельевая резинка, Дег вынимает плоскогубцы и пластиковый пакет на молнии. Затем, петляя, как заяц, перебегает дорогу смерти — Рамон-роуд.

Спустя два часа: солнце в зените, изможденная циклевочная машина отдыхает в доме Клэр. Дег, Тобиас и я лежим распластавшись, словно ящерицы, в демилитаризованной зоне бассейна, имеющего форму почки, — он расположен ровно посередине лужайки между нашими бунгало. Клэр и ее подруга Элвисса крепят женскую солидарность у меня на кухне, попивая из маленьких чашечек капучино и рисуя мелками на моей черной стене. Между нами троими у бассейна установилось перемирие, и Тобиас (довольно мило себя ведущий, к его чести) рассказывает о своей недавней поездке в Европу: туалетная бумага производства стран «восточного блока» — «сморщенная и блестящая, как рекламные вкладыши в «Лос-Анджелес таймс». Он поведал, как «приложился к святыне» — посетил могилу Джима Моррисона на кладбище Пер-Лашез в Париже. «Найти ее легче легкого. На всех надгробиях разных там покойных французских поэтов намалевано пульверизатором: «К Джимми — сюда». Улет полный».

Бедная Франция.

* * *

Элвисса — подруга Клэр. Они познакомились несколько месяцев назад у прилавка Клэр (финтифлюшки и бижутерия) в «Ай. Магнин». К сожалению, Элвисса — ее ненастоящее имя. Настоящее имя — Кэтрин. Элвиссу придумал я. Имя прилипло к ней сразу, как только я его произнес (к громадному ее удовольствию), когда Клэр привела ее на ленч. На это имя меня вдохновила ее голова: крупная, анатомически неправильная, как у дамочки, которая в телевикторинах демонстрирует зрителям всякие товары. Голову венчает черная как смоль шевелюра — совсем как у кукольного Элвиса производства фирмы «Маттел», — обрамляющая череп парой апострофов. Ее нельзя назвать красавицей per se[2], но, как почти все большеглазые женщины, она неотразима. Еще, несмотря на жизнь в пустыне, она бледна, как плавленый сырок, и стройна, словно гончая, преследующая улепетывающего зайца. Соответственно, она явно предрасположена к раковым заболеваниям.

Хотя они происходят из довольно-таки несхожих социальных слоев, у Элвиссы и Клэр есть общий знаменатель — обе они своевольные, отличаются здоровым любопытством

[1] «Дальняя сторона» (*англ.*) — серия комиксов и карикатур популярного художника-карикатуриста Гэри Ларсона.

[2] В подлинном смысле этого слова (*лат.*).

и, что самое главное, обе в поисках приключений оставили прежнюю жизнь и собственноручно строят новую. Отправившись в поход за истиной, они добровольно удалились на обочину общества, а для такого шага, по-моему, требуется недюжинная сила духа. И женщинам на такое решиться труднее, чем нам, мужикам.

Разговаривать с Элвиссой все равно что общаться по телефону с шумным ребенком из южной глуши — кстати, она из Таллахесси, штат Флорида, — причем ребенок этот находится где-нибудь в городе Сидней, который в Австралии, или во Владивостоке, что в СССР. За каждой репликой вечно следует небольшая (может, в одну десятую секунды) пауза, как при спутниковой связи, и тебе начинает мерещиться, будто в твоих мозгах происходит диверсия — вражеский жучок утаивает от тебя всякую, в том числе секретную, информацию.

Что же до того, каким способом Элвисса зарабатывает себе на жизнь, — этого никто из нас точно не знает. Более того, все точно знают, что и не хотят это узнать. Она — живое доказательство теории Клэр: любой обитатель курортного местечка моложе тридцати лет занимается чем-то скользким. Я предполагаю, что ее работа как-то связана с финансовыми пирамидами или аферами Понзи[1], а может, вообще с сексом; однажды я видел ее в отеле «Риц-Карлтон», что расположен высоко в холмах цвета пшеничных сухариков, которые поднимаются над Ранчо-Мирадж. Она стояла у бассейна, одетая в закрытый купальник а-ля принцесса Стефания, и дружелюбно болтала с мафиозным типом, одновременно пересчитывая пачку купюр. Впоследствии она отрицала, что вообще там была. Если на нее нажать, она признается, что торгует никем-из-нас-не-виданными витаминизированными шампунями, алоэ-продуктами и посудой «Цептер», по поводу которой может с ходу выдать убедительный уничтожающий-червоточины-сомнения рекламно-информационный текст («Без этой кастрюльки меня бы уже и в живых не было!»).

Элвисса с Клэр появляются из моего бунгало. У Клэр вид одновременно мрачный и взволнованный; ее взгляд прикован к некоему не видимому никому, кроме нее, объекту, парящему перед ее носом. Элвисса, напротив, в превосходном расположении духа, на ней дурно сидящий купальник 30-х годов — такова ее попытка сойти за «стильную ретроградку». По мнению Элвиссы, этот день для нее — «случай побыть Молодой, вести себя По-Молодому с Молодежью моих лет». Она считает нас Молодежью. Но выбранный ею купальник только подчеркивает, насколько она оторвалась от современного буржуазного времени/пространства. Некоторым людям просто не следует играть в стильность; Элвисса мне по душе, но иногда она совершает кардинальные промашки.

— Зацените эту лас-вегасскую домохозяйку на химиотерапии, — шепчет нам с Дегом Тобиас, тщетно пытаясь завоевать наше расположение дебильными шуточками.

— И тебя мы тоже любим, Тобиас, — отвечает Дег, после чего с улыбкой обращается к девушкам: — Привет, лапушки. Хорошо посудачили?

Клэр апатично мычит, Элвисса улыбается. Дег вскакивает, чтобы поцеловать ее, Клэр между тем плюхается в желтый, выгоревший на солнце шезлонг. Общая атмосфера вокруг бассейна — ярко выраженный 49 год; диссонируют лишь флюоресцирующие зеленые плавки Тобиаса.

— Привет, Энди, — шепчет Элвисса и, наклонившись, клюет меня в щеку. Бросает беглое приветствие Тобиасу, после чего берет свой шезлонг и приступает к титаническому труду по шпаклеванию всех своих кожных пор кремом «ПАБА-29» — под восхищенным взглядом Дега, который похож на общительного пса, чей хозяин, к несчастью, дома практически не появляется. По другую сторону от Дега Клэр — в образе тряпичной куклы, обмякшей от тоски. Какие-то дурные вести, что ли?

— Хороший денек, правда? — замечает Элвисса в пространство.

— М-да, эта лабораторная крыса никак не оторвется от рычага, выдающего дозы радости.

---

[1] Имеется в виду известная в США жульническая финансовая компания.

— Ты и так сегодня мне всю голову заморочил, Дег, — отвечает Элвисса. — Прекрати, пожалуйста.

Проходит час безмолвного, животного времяпрепровождения. Тобиас со своим евробахвальством перестал быть центром всеобщего внимания, и теперь ему не по себе. Он садится, небрежно чистит перышки, разглядывает некий бугор в своих плавках и кошачьим движением приглаживает волосы.

— Ну-с, Дегвуд, — говорит он Дегмару, — похоже, ты подкачался с тех пор, как на моих глазах один вид твоего тела вызвал уличную пробку.

Разрабатывай свои извилины на тренажерах

Мы с Дегом, лежа на животах, переглядываемся, строим рожи и хором произносим, создав стереоэффект: «Катись колбаской». Это вынуждает его переключиться на Клэр, которая лежит, уткнувшись лицом в шезлонг, потерянная для мира. Замечали, как трудно вывести из себя человека, у которого глубокая депрессия?

Тобиас переводит свой хищный взгляд на Элвиссу, которая в данный момент красит ногти розовым лаком «Гонолулу-Чу-Ча». Во взгляде этом читается откровенное превосходство над его объектом. Я просто вижу, как в обеденное время он, в синем костюме от «Сэвил Роу» и с таким же выражением на лице, снисходит до посещения какого-нибудь нью-йоркского кафе; любая официантка — жертва его мужского обаяния и живое доказательство его droit de seigneur[1].

«В МЕЧТАХ ОН — ЯППИ»: подгруппа поколения Икс, верующая, будто мифический стиль яппи может принести человеку счастье и вдобавок этот стиль жизнеспособен. Такие люди часто по уши в долгах, регулярно чем-то себя одурманивают, а после третьей рюмки с упоением толкуют об Армагеддоне.

— Ты что это разглядываешь, мальчик-яппи?

— Я не яппи.

— Черта с два.

— Я слишком молод. И у меня не так много денег. Может, я и кажусь яппи, но это всего лишь видимость. Когда подошла моя очередь на блага вроде дешевой земли и крутой работы, их запасы... как бы это выразить... истощились.

Сенсация! Тобиас недостаточно богат? Это признание выпихивает меня из моих размышлений — так порвавшийся при попытке его завязать шнурок способен мгновенно перенести вас в иную плоскость реальности. Я понимаю, что Тобиас, несмотря на маску, такой же синдзинруй— такое же поколение Икс, как и мы.

Ну а он понимает, что опять оказался в центре внимания.

— Честно говоря, стараться сойти за яппи — дело довольно изнурительное. Я даже подумываю, не бросить ли весь этот маскарад, а то сальдо получается отрицательное. Может, податься в богему — как вы трое. Переехать в картонный ящик на крыше здания Ар-си-эй[2]; отказаться от потребления белков; работать живой приманкой в парке «Мир аллигаторов». В конце концов, я могу аж перебраться к вам, в пустыню.

(Упаси господи.)

— Этого еще не хватало, — бросается в штыковую атаку Элвисса. — Я вашего брата хорошо знаю. Все вы, яппи, одинаковы, и я сыта вами по горло. Дай-ка погляжу тебе в глаза.

— Что?

— *Дай-ка погляжу тебе в глаза.*

Тобиас подается вперед, позволяя Элвиссе взять его за подбородок и выудить правду из его глаз, голубых, как подарочные голландские тарелки. Это занимает ужасно много времени.

— Ладно. Может, ты и не такая уж сволочь. Возможно, через несколько минут я даже расскажу тебе одну историю, которая не для всех. Напомни, чтоб я не забыла. Но я

[1] Право господина (*франц.*).
[2] Известная фирма звукозаписи.

еще подумаю, рассказывать или нет. Сперва ты мне вот что скажи: ты умер, закопали тебя в землю, и летаешь ты себе в том мире, где мы все будем, — так вот, расскажи, чем тебе запомнилась Земля?

— Ты о чем? Не понимаю.

— Какое мгновение олицетворяет для тебя всю суть твоей жизни на этой планете? Что ты унесешь с собой?

Молчание. Тобиас не понимает, к чему она клонит, да и я, честно говоря, тоже. Она продолжает:

— Поддельные яппи-переживания, которые покупаются за деньги, — типа спуска на байдарках по водопаду или катания на слонах в Таиланде, — не в счет. Я хочу услышать рассказ об одном кратком мгновении твоей жизни, доказывающем, что ты и вправду жил.

Тобиас никак не соглашается расколоться. Похоже, ждет, что кто-нибудь подаст ему пример.

— Я могу сказать, — произносит Клэр.

Все взоры обращаются к ней.

— Снег, — говорит она нам. — Снег.

ПОСТАРАЙТЕСЬ ЗАПОМНИТЬ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ

— Снег, — произносит Клэр в тот момент, когда фонтан голубей взмывает к небу с бурого шелковистого чернозема в саду у наших соседей Макартуров. Всю прошлую неделю Макартуры пытались засеять новый газон, но голуби просто без ума от маленьких вкусных семян. А так как голуби — создания очаровательные и всякое прочее, то искренне рассердиться на них практически невозможно. Миссис Макартур (Айрин) иногда скрепя сердце их шугает, но голуби тихо-мирно взлетают на крышу их дома и, посчитав, что спрятались от врагов, устраивают восхитительные любовные игрища. — Я никогда не забуду, как увидела снег впервые. В двенадцать лет. Дело было сразу после первого и самого крупного родительского развода. Я приехала погостить к матери в Нью-Йорк и стояла на пешеходном островке посреди Парк авеню. До этого я никогда не выезжала из Л.А. Огромный город меня зачаровал. Я смотрела, задрав голову, на здание Пан-Американ и размышляла о главной проблеме Манхэттена.

— Которая состоит в... — спрашиваю я.

— Которая состоит в том, что вес распределен уж очень неравномерно: башни и лифты; сталь, камень, цемент. Так много массы на такой высоте, что сама гравитация может вывернуться наизнанку — стрясется кошмарная инверсия — произойдет культурный обмен земли с небом. (Обожаю, когда у Клэр начинаются такие вот закидоны.) Эта мысль вогнала меня в дрожь. Но как раз в этот момент братец Аллан дернул меня за рукав — зажегся зеленый свет для пешеходов. И когда я повернула голову, чтобы видеть, куда иду, мне в лицо — хло-оп! — ударилась первая в моей жизни снежинка. Она растаяла у меня в глазу. Я сначала даже не поняла, с чем это столкнулась, но потом увидела мил-ли-о-ны снежинок — белых, пахнущих озоном, тихо спускавшихся сверху, точно обрывочки кожи, сброшенной ангелами. Даже Аллан остановился. Машины сигналили нам, но время замерло на месте. Так что да — если я унесу с Земли одно-единственное воспоминание, это будет *то* мгновение. По сей день я считаю, что мой правый глаз заколдован.

— Бесподобно, — говорит Элвисса. Она поворачивается к Тобиасу. — Усек смысл?

— Дайте секундочку на размышление.

— У меня есть пример, — заявляет Дег с некоторым энтузиазмом (подозреваю, что энтузиазм этот частично вызван желанием заработать симпатию Элвиссы). — Это произошло в 1974-м. В Кингстоне, провинция Онтарио. — Он закуривает. Мы ждем. — Мы с отцом остановились на бензоколонке, и мне было поручено залить бензобак. У нас была «галакси-500», машина не хухры-мухры. Для меня задача наполнить ее бензобак была сопряжена с огромной ответственностью. Есть некий тип постоянно простужен-

ных мальчишек-недотеп, которые так толком ничему и не научаются: ни тебе бензобак залить, ни рыболовную леску распутать, — таков был и я. Вечно делал что-нибудь наперекосяк — ломал, губил вещи.

Итак, отец в киоске покупал карту, а я — снаружи — чувствовал себя настоящим мужчиной и гордился тем, что пока ничего не натворил — не поджег бензоколонку или типа того, — а бак был уже почти полон. Отец вышел в тот момент, когда я закачивал последние капли, — и тут пистолет просто-таки взбесился. Начал заливать все вокруг. До сих пор не знаю почему, но он брызгал как ненормальный бензином, брызгал на мои джинсы и кроссовки, на наши номера, на цемент под ногами — все было облито вроде как пурпурным ликером. Отец все видел, и я подумал, что сейчас мне будет выволочка. Я почувствовал себя маленьким-маленьким. Но вместо этого он улыбнулся и сказал: «Эх, старик. Правда, бензин обалденно пахнет? Закрой глаза и вдохни. Чистый-чистый. Будущим пахнет». Я так и сделал — закрыл глаза, как он велел, и глубоко вдохнул. И в это мгновение увидел яркий оранжевый свет солнца, проникающий сквозь веки, и почувствовал запах бензина — у меня аж ноги подкосились. Это был лучший момент моей жизни, и если вы меня спросите (всей душой надеюсь, что спросите), я скажу, что рай просто обязан быть похож на эти несколько секунд. Иначе мне он на фиг не нужен. Вот чем мне запомнится Земля.

— Бензин был обычный или этилированный? — спрашивает Тобиас.

— Обычный, — отвечает Дег.

— Класс.

— Энди, — Элвисса смотрит на меня, — ты?

— Я знаю, какое у меня останется воспоминание о Земле. Это запах — запах бекона. Было воскресное утро у нас дома, и мы все вместе завтракали — событие беспрецедентное, поскольку я и мои шестеро братьев и сестер унаследовали от мамы склонность по утрам ненавидеть не только запах, но и сам вид пищи. Вместо завтрака мы обычно спали.

Более того, не было даже особого повода для трапезы. Все мы вдевятером оказались на кухне случайно, и были веселы и добры друг к другу, и зачитывали вслух всякие гадости из газет. Было солнечно: никто не психовал и не злобствовал.

Я четко помню, как стоял у плиты и жарил бекон. Уже тогда я понимал, что нашей семье дано лишь одно такое утро — утро, когда все нормальны, все добры и знают, что любят друг друга, ничего не требуя взамен, и что вскоре (как это и случилось) мы все сдвинемся умом и разойдемся в разные стороны, что неизбежно происходит со всякой семьей по истечении энного количества лет.

Внимая всеобщим шуткам и подкармливая собаку кусочками яичницы, я едва не плакал. Я терзался ностальгией по событию, которое в этот самый момент происходило на моих глазах. Все это время в мои руки впивались иголочки кипящего жира, но я даже не вскрикивал. Для меня эти иголочки были столь же приятны, как щипки, которыми, бывало, награждали меня сестры, пытаясь вытянуть из меня, которую из них я люблю больше, — эти-то легкие уколы и запах бекона я и возьму с собой; это будет моим воспоминанием о Земле.

Тобиасу невтерпеж. Он подался вперед, как ребенок, сидящий в магазинной тележке и тянущийся за упаковкой сладких кукурузных палочек:

— Я знаю, какое у меня воспоминание! Теперь знаю!

— Ну так расскажи нам, — говорит Элвисса.

— Значит, это самое... (одному богу известно, что это будет). Когда-то каждое лето в Такома-парке (округ Вашингтон — я же знал, что он родом с востока) мы с отцом налаживали коротковолновый приемник, оставшийся с пятидесятых годов. На закате мы протягивали через сад проволоку и привязывали к липе — получалась антенна. Мы перебирали все частоты, и если пояс Ван-Аллена не создавал помех, ловилось буквально все: Йоханнесбург, «Радио-Москау», Япония, Пенджаб. Но чаще всего мы принимали сигналы из Южной Америки, всякую там забавную музыку призраков — болеро-самбу по трансляции из ресторанов Эквадора, Каракаса или Рио. Звук был тихий-тихий, но чистый. Как-то вечером мама вышла на террасу в розовом сарафане, держа в руках пол-

ный стеклянный кувшин лимонада. Отец подхватил ее, и они закружились под самбу — мама даже лимонад не поставила. Она взвизгивала, но ей было приятно. Мне кажется, она наслаждалась легким привкусом риска, который придавала танцу опасность разбить кувшин. Стрекотали сверчки, за гаражом гудели провода высоковольтной линии, и только мне, мне одному принадлежали мои в ту минуту совсем юные родители — они и эта тихая музыка, похожая на рай: далекая, отчетливая, ускользающая сквозь пальцы, она пришла из того неведомого места, где вечно стоит лето, где красивые люди только и делают, что танцуют, и куда, даже если очень захочется, невозможно позвонить по телефону. Вот что для меня Земля.

УЛЬТРАКРАТКОВРЕМЕННАЯ НОСТАЛЬГИЯ:
тоска по совсем недавнему прошлому: «Боже, как же все было хорошо еще на прошлой неделе!»

Да, кто бы мог подумать, что Тобиас способен на такое? Придется нам провести повторную экспертизу его личности.

— А теперь ты рассказывай — ты же обещала, — говорит Тобиас Элвиссе. Та приуныла, точно речь шла о каком-то пари, которое она сдуру заключила, а теперь жалеет.

— Хорошо-хорошо, расскажу, — бурчит она. — Клэр говорила, что вы иногда рассказываете истории, так что надеюсь, вы меня не посчитаете за идиотку. Только пусть никто не острит, ладно?

— Спокойно, — говорю я. — Это и есть наше основное правило.

ПОМЕНЯЙ ЦВЕТ

Элвисса приступает к рассказу.

— Эту историю я назвала «Мальчик с глазами колибри». Пожалуйста, сядьте поудобнее и расслабьтесь, я уже рассказываю. Все началось в Таллахесси, Флорида, где я росла. Жил по соседству мальчик Кертис; он был лучшим другом моего брата Мэтта. Моя мать звала его Кертис-ленивец, потому что по жизни он шел неспешным шагом, говорил редко, а все только молча жевал своими квадратными челюстями сандвичи с болонской колбасой, да еще, если у него появлялось такое желание, дальше всех отбивал бейсбольный мяч. Молчал он просто офигительно. И все-все умел. Я, разумеется, влюбилась в Кертиса по уши в тот самый момент, когда грузовик с нашими вещами подъехал к нашему новому дому и я впервые увидела его — он лежал на соседском газоне и курил сигарету. Мать, как заметила, чуть в обморок не упала — ему, насколько я помню, тогда и пятнадцати не было. Я сразу же начала подражать ему во всем. Чисто внешне — я скопировала его прическу (и по сей день чувствую, что мои волосы в некотором роде принадлежат ему), нестираные футболки, немногословность и походку пантеры. То же самое проделал и мой брат. И мы трое провели вместе энный период (который я и посейчас считаю самым счастливым временем в своей жизни), гуляя по нашему микрорайону, который почему-то так и остался недостроенным. Мы играли в войну внутри длиннющих домов, обжитых пальмами, и ризофорой, и всякими зверюшками: в розовых ваннах на перинках из листьев лежали робкие броненосцы, воробьи влетали и вылетали в парадные двери, распахнутые прямо в раскаленное добела флоридское небо; дымчатые испанские лишайники затеняли окна. Мать, разумеется, цепенела при одной мысли об аллигаторах, но Кертис-ленивец заявил, что одной рукой уложит любого хищника, который вздумает на меня напасть. Естественно, после этого я с нетерпением ждала встречи с хищником.

В наших «войнушках» я всегда была сестрой Мейерс[1] и должна была перевязывать раны Кертиса, которые с течением времени стали подозрительно часто концентрироваться в области паха и нуждаться во все более изощренном лечении. Заброшенная супружеская спальня в глубоком тылу Забытого микрорайона стала нашим походным гос-

[1] Героиня комедийного телесериала «M.A.S.H.», действие которого разворачивается в полевом госпитале во время американо-корейской войны.

питалем. Мэтта посылали домой за пайком — пакетиками воздушного риса и солеными палочками «Космические». Тем временем я должна была подвергать пах Кертиса ритуальным лечебным процедурам, которые он изобретал сам. В их названиях отражалось пристрастие к бульварной прессе: «Трипольский массаж а-ля Херши» или «Грязевая ванна ханойской путаны». Кертис читал только журнал «Солдат удачи»; ну а мне названия этих процедур ничего не говорили, и только много лет спустя при воспоминаниях о тех днях стали вызывать смех.

В этой сказочной болотистой комнате меня лишили девственности, но проделано это было так нежно, что даже сейчас я считаю, что мне здорово повезло — по сравнению с тем, что рассказывали про свою дефлорацию очень многие мои подруги. Я отчаянно привязалась к Кертису, как может привязаться разве что юная невеста старшего школьного возраста. Когда его семья переехала (мне было пятнадцать), я две недели ничего не ела. Разумеется, он даже не черкнул мне открытки, да я и не ждала, это было не в его стиле. Без него я долго-долго ходила как потерянная. Но жизнь продолжалась.

Прошло, должно быть, лет четырнадцать, прежде чем воспоминания о Кертисе обрели статус безболезненных; я вспоминала его лишь изредка — ощутив знакомый запах пота, исходящий от какого-нибудь незнакомца в лифте, или видя мужчин с похожей мускулатурой — чаще всего то были парни, что стоят на обочинах автострад с картонками, на которых написано «Работаю за еду».

И вот несколько месяцев назад здесь, в Палм-Спрингс, со мной случилось нечто необыкновенное...

Я была в «Спа де Люксембург». Я ждала постояльца, которому должна была продемонстрировать кой-какие алоэ-продукты, так что свободного времени у меня было до фига. Занималась я тем, что обитатели теплых мест проделывают редко, — лежала у бассейна, наслаждаясь солнышком. Передо мной в шезлонге сидел какой-то мужчина, но так как я вышла к бассейну с противоположной стороны, то не обратила на него особого внимания — заметила только, что это брюнет с хорошей стрижкой и красивым телом. Время от времени он начинал дергать головой вверх-вниз, а потом вправо-влево. Но не как паралитик, а так, словно то и дело замечал краем глаза что-то соблазнительное, и каждый раз вроде бы оказывалось, что он обмишурился.

И вот выходит из павильона минеральных вод эдакая богатая бабенка, натуральная Сильвия (Сильвиями Элвисса зовет богатых, хорошо одетых и удачно причесанных женщин), и семенит в своих туфельках-шмуфельках и платье от Лагерфельда прямо к парню, который сидит впереди меня. Что-то там такое мурлычет — уж не расслышала что, — а потом надевает золотой браслет ему на руку, которую он подставляет ей (язык жестов) с таким огромным энтузиазмом, словно Сильвия ему не браслет напяливает, а прививку делает. Целует она его в эту самую руку, говорит: «Буду в девять», — и ковыляет себе прочь.

Меня разобрало любопытство.

Спокойно-спокойно я прохожу к бару у бассейна — ты, Энди, в этом баре работал, — заказываю самый изысканный коктейль розового цвета, а затем топаю обратно к своему насесту, по дороге исподтишка рассматривая парня. И когда я увидела, кто это, я, честно, чуть не померла на месте. Конечно же, это был Кертис.

Он был выше, чем я запомнила, пухлые полудетские щеки осунулись; тело у него стало мускулистое, боксерское, как у парней, покупающих на бульваре Голливуд одноразовые шприцы, — ну знаете, тех, которые с противоположной стороны улицы кажутся немецкими туристами, а как подойдешь поближе... Факт тот, что он весь был, как веревочками, оплетен белыми шрамами. И — бог мой! — мальчик не раз побывал в салоне татуировщика. На внутренней стороне левой ляжки красовалось распятие, через левое плечо грохотал локомотив. Под колесами локомотива размещалось сердечко, надтреснутое, как тарелка; другое плечо украшал букетик из игральных костей и гортензий. Парнишка, верно, многое повидал на своем веку.

Я сказала: «Привет, Кертис», а он поднял голову и заорал: «Ух ты, черт возьми! Кэтрин Ли Мейерс!» Что дальше говорить, я не знала. Поставила бокал, села, подтянув к подбородку колени (этакая поза зародыша), в соседний шезлонг, уставилась на него, и

стало мне тепло. Он привстал, чмокнул меня в щеку и сказал: «Я скучал по тебе, куколка. Думал, так и не увижу до самой смерти».

На несколько минут все вокруг растворилось в счастье. Но вскоре мое время вышло. Появился клиент. Кертис рассказал, что привело его в наш город, но я так и не въехала в подробности — какая-то киногруппа из Л.А. (ну-ну). Но все время, пока мы разговаривали, он не переставал крутить головой и коситься невесть на что. Я спросила, что он высматривает, а он кратко ответил: «Колибри. Может, расскажу вечером». Он дал мне свой адрес (квартиры, а не гостиницы), и мы условились вечером, в половине девятого, поужинать. Ну не могла ведь я у него спросить: «А как же Сильвия?», это было бы слишком. Даже зная, что ей назначено на девять. Мне не хотелось, чтобы он подумал, что я сую нос в чужие дела.

Итак, наступило восемь тридцать, восемь тридцать плюс еще чуточку. Дело было в тот самый вечер, когда случилась буря... помните? Я еле-еле добралась по адресу в ужасный, построенный в семидесятых район кооперативных домов возле Ракет-клаб-драйв, в продуваемой всеми ветрами части города. Электричество отключилось, уличные фонари тоже накрылись. Канализационные решетки, рассчитанные на потоп, уже начало заливать, на ступеньках перед домом я из-за этой темнотищи споткнулась. Квартира — триста какая-то — была на третьем этаже, так что пришлось подниматься пешком по черной, как преисподняя, лестнице и стучать в дверь — но лишь затем, чтобы не получить ответа. Я просто взбесилась. Повернувшись, чтобы уйти, я заорала: «Чтоб ты провалился, Кертис Доннели», — тут-то он услышал мой голос и открыл.

Он был пьян. Попросил не обращать внимания на обстановку — квартира принадлежала его другу, манекенщику Ленни. «С ударением на «и», — уточнил он. — Сама знаешь, что за люди эти манекенщики».

Да, это был уже не тот маленький мальчик из Таллахесси.

В квартире отсутствовала мебель и, из-за неполадок с электричеством, свет; Кертис нашел в кухонном шкафу Ленни несколько пачек именинных свечей и начал зажигать их одну за другой. Они еле теплились.

Я с трудом разглядела, что стены оклеены черно-белыми фото моделей, выдранными (и довольно-таки неаккуратно выдранными, надо сказать) из журналов мод. Пахло там, как пахнут рекламные вкладыши с образцами духов. Модели были преимущественно мужского пола и с кислыми рожами; щуря марсианские глаза, выставляя напоказ свои атлетические мышцы и кости, они строили нам козьи морды из всех углов. Я старалась делать вид, что их не замечаю. Когда человек старше двадцати пяти лет выдирает из журналов всякую фигню и лепит скотчем к стенам, это просто-напросто страшно.

«Похоже, у нас с тобой судьба такая — встречаться только в нежилых помещениях, а, Кертис?» — сказала я, но, по-моему, он не уловил намека на наш давний походный госпиталь любви. Мы расстелили на полу одеяла, уселись у раздвижной двери и стали смотреть на бурю за окном. Чтобы снять напряжение, я быстренько заглотнула рюмку виски, но добавлять не стала. Мне хотелось удержать эту ночь в памяти.

Короче, завязалась классическая вялая, заторможенная беседа типа «сколько лет, сколько зим». Время от времени, как и положено на сеансах натужных воспоминаний, комната озарялась случайными тусклыми улыбками, но общая атмосфера была далеко не теплой. По-моему, мы оба задумались, а стоило ли вообще нам встречаться. Кертис допился до сентиментальности и, кажется, уже собирался разрыдаться.

Затем в дверь постучали. Это была Сильвия.

«Ох, бля, это Кейт, — прошептал он. — Молчи. Пусть орет, пока не устанет. Пусть уйдет».

Кейт с той стороны двери, на черной-пречерной лестничной клетке, вела себя почище стихии. И не подумаешь, что это та кроткая маленькая дневная Сильвия. Сам дьявол покраснел бы от словечек, которыми она обзывала Кертиса, требуя открыть дверь, вопя, что он трахает все, что шевелится и платит... какое там — все, что шевелится и не шевелится, лишь бы платили. Она требовала назад свои «талисманы» и угрожала прислать мужниных шестерок «за твоим последним яйцом». Соседи были если не в ужасе, то уж точно в восторге.

Но Кертис лишь крепко прижимал меня к себе и молчал в тряпочку. Наконец Кейт выдохлась, нарыдалась и беззвучно удалилась. Вскоре мы услышали, как на улице завелся автомобильный двигатель, взвизгнули шины.

Я чувствовала себя неуютно, но в отличие от соседей могла удовлетворить свое любопытство. Однако прежде чем я успела приступить к расспросам, Кертис сказал: «Не спрашивай. Спроси о чем угодно. О чем угодно. Только не об этом».

«Хорошо, — сказала я. — Давай поговорим о колибри». В ответ он рассмеялся и повалился на одеяло. Я обрадовалась — напряжение спало. Он стал снимать штаны со словами: «Не волнуйся. Ты все равно со мной не захочешь. Уж поверь мне, куколка». Потом, раздетый, он раздвинул ноги и подсунул ладонь под мошонку. «Смотри». Да, яичко было одно.

ТЫ особь своего личного пола

«Это случилось в ... », — сказал он (название страны я по своей дурости забыла, кажется, где-то в Центральной Америке). Он назвал ее «каморкой для слуг».

Он снова лег на одеяло в обнимку с бутылкой виски и начал рассказывать, как воевал там в качестве наемника. О дисциплине и товариществе. О банковских чеках, которые им тайно передавали господа с итальянским акцентом. Наконец-то он чувствовал себя в своей тарелке.

Он описывал в подробностях свои подвиги, показавшиеся мне не более интересными, чем хоккейный матч по телевизору, но я тактично не подавала виду. И тут он стал через каждые два слова вворачивать одно имя — Арло. Арло, как я поняла, был его лучшим другом, и даже больше, чем другом; такими друзьями (и как знать, только ли друзьями) мужчины становятся на войне.

Как бы там ни было, однажды Кертис с Арло были под огнем; схватка приобрела угрожающий характер. Им пришлось залечь и замаскироваться, направив раскаленные дула своих пулеметов в сторону врага. Арло лежал рядом с Кертисом; у обоих просто руки чесались открыть огонь. И тут вдруг прямо в глаза Арло стал пикировать колибри. Арло отмахивался, но тот упорно возвращался. Потом появился второй. За ними — третий. «Какого хрена они к тебе лезут?» — спросил Кертис, и Арло объяснил, что некоторых колибри привлекают предметы голубого цвета и они их подбирают, чтобы строить гнезда; похоже, сейчас им вздумалось пустить на гнезда глаза Арло.

В этот момент Кертис произнес: «Стоп, у меня ведь тоже глаза голубые...», но Арло, пытающийся отогнать птиц, так размахивал руками, что привлек внимание противника. По ним открыли огонь. Вот тогда-то пуля вошла в мошонку Кертиса, а другая пронзила сердце Арло, убив того на месте.

Что случилось потом, я не знаю. Но на следующий день, несмотря на ранение, Кертис присоединился к похоронной команде и вернулся на поле боя — собирать тела погибших. Когда нашли Арло, то ужаснулись даже бывалые солдаты похоронной команды, и не из-за пулевых ран (это привычное зрелище), а из-за дикого надругательства, совершенного над трупом: в глазах Арло остались одни белки, голубые радужные оболочки были выклеваны. Местные сыпали проклятиями и крестились, но Кертис просто опустил Арло веки и поцеловал его в каждый глаз. Он знал о колибри, но никому о них не рассказал.

В тот же вечер, списанный по ранению, он оцепенело сидел в кресле в салоне самолета, летящего в Штаты. Его занесло в Сан-Диего. И с этого момента его жизнь покатилась с горки. Началось то, о чем он не желал мне рассказывать.

«Так вот почему ты все время следишь за колибри», — сказала я. Но это было еще не все. Лежа на полу, освещенный печальной триадой именинных свечей, озарявших также угрюмые мясные рулеты на стене спальни, он заплакал. Господи, вернее сказать, разревелся. Он не плакал. Он рыдал, и все, что я могла сделать, это приникнуть подбородком к его сердцу и слушать, слушать, как он причитает над своей пропавшей без вести моло-

достью, сокрушается, что ничего-то не осталось от его былых взглядов на жизнь, представлений о том, что хорошо и что плохо; он превратился в слегка чокнутого робота. «Из-за увечья меня даже в порно сниматься не возьмут. Разве что за гроши». Какое-то время мы лежали молча. Потом он заговорил, но речь его напоминала колесо рулетки, когда оно еле вращается, уже собираясь остановиться. «Знаешь, куколка, — сказал он. — Иногда можно сдуру заплыть так далеко в океан, что уже не хватает сил повернуть к берегу. В этот момент, когда ты тихо себе дрейфуешь, птицы издеваются над тобой. Они напоминают о суше, до которой уже не добраться. Когда-нибудь, не знаю когда, один из этих крошечных колибри прицелится и вопьется в мой глаз, и когда это произойдет...»

Он мне так и не сказал, что тогда сделает. В общем-то, и не собирался говорить — вместо этого он отключился. Вероятно, было уже за полночь, и мне при свете именинных свечей оставалось лишь смотреть на его бедное, покрытое боевыми шрамами тело. Я пыталась придумать что-нибудь — что угодно, — что могла бы для него сделать, но в голову пришло лишь одно. Я легла на него — грудь к груди, — поцеловала в лоб и уцепилась, как за поручни, за татуировки с поездами, игральными костями, гортензиями и разбитыми сердцами. И попыталась перелить в него свою душу. Я представила, что моя сила — моя душа — это белый лазерный луч, идущий от моего сердца к его сердцу, как те световые пульсации в волоконных кабелях, способные за секунду перекачать миллион книг на Луну. Этот луч, которому ничего не стоит продырявить стальной лист, пронзил его грудь. Кертис мог принять или не принять от меня силу, которой ему явно не хватало: мне просто хотелось, чтобы он набрался ее про запас. Я бы отдала жизнь за этого человека, но в ту ночь я могла пожертвовать только тем, что осталось от моей молодости. Без сожаления. Так или иначе, когда дождь кончился, а я заснула, Кертис исчез из комнаты. И если судьба вновь не сведет нас (на что я мало надеюсь), — мы расстались навсегда. Он где-то там, неведомо где, и может, пока мы сидим и разговариваем, маленькая пернатая драгоценность с рубиновой шейкой клюет его в глаз. И знаете, что случится, когда его клюнут? Считайте это предчувствием, но когда это произойдет — поезд мыслей в его голове перейдет на запасной путь. И в следующий раз, когда в дверь постучится Сильвия, он откроет. Считайте это предчувствием.

Мы все молчим, нам ясно, чем запомнится Элвиссе Земля. К счастью, в моем доме звонит телефон и решительно, как это способен сделать лишь телефонный звонок, завершает эпизод. Тобиас пользуется случаем, чтобы извиниться и сбежать к своей машине, а когда я захожу в дом взять трубку, то вижу, как он, согнувшись, рассматривает глаза в зеркале заднего вида своего взятого напрокат «ниссана». И тут я понимаю, что между ним и Клэр все кончено. Считайте это предчувствием. Я поднимаю трубку.

ПОЧЕМУ Я ТАКОЙ БЕДНЫЙ?

На проводе Тайлер Принц Портлендский, мой младший (на пять лет) братец; осенний крокус нашей семьи; сварганенное напоследок дитя любви; избалованный маленький монстр, возвращающий матери тарелку разогретых в микроволновке макарон с воплем: «Середина холодная. Подогрей еще раз». (Я, два других моих брата и три сестры за подобную наглость получили бы затрещину, но королевские замашки Тайлера только укрепляют его власть.) «Здоро́во, Энди. Облучаешься?» — «Привет, Тайлер. Так и есть». — «Круто, круто. Слушай: Билл-в-кубе, Центр Мировой Торговли, Лори, Джоанна и я собираемся приехать восьмого января и пожить в свободном бунгало пять дней. Это день рождения Элвиса. Хотим устроить фестиваль в честь Короля[1]. Как с этим — без проблем?» — «Проблем пока не предвижу, только вы будете здесь как сельди в бочке. Надеюсь, вас это не пугает. Погоди, дай погляжу на всякий случай». (Билл-в-кубе — это трое друзей Тайлера, всех зовут Биллами. Центр Мировой Торговли — близнецы Мор-

[1] Король — прозвище Элвиса Пресли.

рисей, оба под два метра.) Я обшариваю весь дом в поисках книги бронирования номеров (хозяин оставил меня ответственным за аренду). Все это время я размышляю о Тайлере и его клике — Глобальных Тинейджерах, как он их называет, хотя большинству уже за двадцать. Мне кажется забавным и странным — не очень-то естественным — тот факт, что Глобальные Тинейджеры, насколько можно судить по друзьям Тайлера, живут очень уж *сообща*: вместе шляются по магазинам, путешествуют, бранятся, думают, дышат; прямо как семья Бакстеров.

(Неудивительно, что Тайлер через меня быстренько сдружился с братом Клэр — Алланом.)

До какой же степени зациклены на себе Глобальные Тинейджеры! Аж страх берет. К примеру, ни один из них не может поехать отдохнуть на недельку в Вайкики без того, чтобы не устроить несколько грандиозных прощальных вечеринок с подарками на одну из трех классических для студенческой культуры тем: «Турист-оборванец», «Покойные знаменитости» или «Тога». А как только один из них приезжает на место, сразу же начинаются ностальгические звонки: сентиментальные, закрученные потоки искусно структурированных коллективных переговоров текут через Тихий океан ежедневно, как будто веселый отпускник усвистал не на Кухио-стрит — шесть дней с утра до вечера потреблять дорогие «мэй-тэй»[1], — а в трехлетнюю экспедицию к Юпитеру. «Команда Тайлера» может и утомлять: ни наркотиков, ни иронии — лишь скромные возлияния, попкорн, какао и видеофильмы вечером по пятницам. А какой утонченный гардероб — какой гардероб! Ошеломляющие, дорогие, подобранные с изысканным вкусом вещи из лучших бутиков. Блистательные. Элегантность им по карману, так как, подобно большинству принцев и принцесс — Глобальных Тинейджеров, — живут они дома с родителями, экономя на оплате нелепо дорогих квартир в городе. Так что все свои заработки они носят на себе.

ОТСРОЧКА БУНТАРСТВА: встречающееся у молодых людей нежелание вести традиционный «молодежный» образ жизни, в том числе увлекаться художественным творчеством; вызвано стремлением приобрести солидную профессиональную квалификацию. К тридцати годам иногда переходит в траур по утраченной юности, который выражается в идиотских прическах и трате денег на дорогие, делающие своего обладателя всеобщим посмешищем наряды.

Тайлер похож на персонаж из одного старого телеспектакля — Денни Патриджа, который не хотел работать фасовщиком в бакалейной лавке, предпочитая сразу стать хозяином магазина. Друзья Тайлера наделены странными, не имеющими коммерческой ценности, но забавными талантами — вроде умения готовить отличный кофе или обладания поистине великолепной копной волос (видели бы вы Тайлерову коллекцию шампуней, гелей и муссов!).

Они славные ребята. Бойкие. Родителям жаловаться не на что. Они верят в эрзац-глобальность и фальшивую расовую гармонию, популяризируемые рекламой прохладительных напитков и свитеров компьютерного дизайна. Многие хотят пойти работать в Ай-би-эм, когда в зрелом возрасте (двадцать пять лет) их жизнь закончится. (*Простите, не могли бы вы поподробнее осветить вашу систему исчисления пенсионных выплат?)* Но каким-то темным, ускользающим от формулировок образом они же — «Доу», «Юнион карбайд», «Дженерал дайнэмикс»[2] и военная промышленность. Я подозреваю, что, разбейся их аэробус на ледяном плато в Андах, они в отличие от Тобиаса будут лопать своих погибших спутников, испытывая лишь самые слабые (или вовсе никаких) угрызения совести. Это я так, теоретизирую.

* * *

Бросив во время поисков книги бронирования взгляд в окно, обнаруживаю, что плотность населения в районе бассейна теперь равна нулю. Раздается стук, в дверь стремительно просовывается голова Элвиссы.

---

[1] Коктейли из рома, кюрасао и сока.

[2] Крупные корпорации, на предприятиях которых производятся, соответственно, химические продукты и вооружение.

— Я только попрощаться, Энди.

— Элвисса, мой брат звонит издалека. Подождешь секунду?

— Нет. Так лучше. — Она целует меня в высочайший пик моего носа — в точку между глаз. Влажный поцелуй напоминает мне, что девушки, подобные Элвиссе, взбалмошные, отчасти «дрянные девчонки», но несомненно живые, почему-то никогда не оказываются в одной постели с такими заторможенными «черными ящиками», как я. — Чао, бамбино, — говорит она. — Неаполитанской бродяжке пора уезжаюшки.

— Ты скоро приедешь? — кричу я; но она ушла, обогнула кусты роз и села в машину Тобиаса.

Ну и ну, ну и ну.

Возвращаюсь к телефону:

— Тайлер, восьмого — нормально.

— Отлично. Обсудим детали на Рождество. Ведь ты приезжаешь, верно?

— К несчастью, oui[1].

— Похоже, в этом году будет полный атас. Ты бы заранее обеспечил себе путь к отступлению. Закажи билеты на пять рейсов на разные дни. Да, кстати, что желаешь получить на Рождество?

— Ничего, Тайлер. Я и так пытаюсь отделаться от всех вещей в моей жизни.

— Я за тебя переживаю, Энди. Никаких жизненных устремлений. — Слышно, как он ест ложечкой йогурт. Тайлер хочет работать на большую корпорацию. Чем крупнее, тем лучше.

— Тайлер, ничего не хотеть — это нормально.

— Ладно уж. Только позаботься, чтобы все ненужные тебе шмотки достались мне. И смотри, чтобы они были от «Поло».

— По правде говоря, Тайлер, я думал сделать тебе в этом году минималистский подарок.

— Ась?

— Типа красивого камешка или скелета кактуса.

На том конце провода — молчание.

— Ты что, обкурился?

— Нет, Тайлер. Мне казалось, что нечто, прекрасное естественной красотой, будет вполне уместно. Ты до такого уже дорос.

— Ну ты и умора, Энди. Семинар по художественному вою, а не человек. Репсовый галстук и пара носков — вот все, что мне от тебя нужно.

Звонок в дверь, входит Дег. Почему никто никогда не ждет, пока я сам открою?

— Тайлер, ко мне пришли. Я должен идти. Увидимся на следующей неделе, хорошо?

— Размер ботинок — одиннадцатый, талия — тридцать, шея — пятнадцать с половиной.

— Адью.

КРИЧАЩИЙ МИНИМАЛИЗМ: тактика в области стиля жизни, схожая с подменой ценностей. Хвастовство своей материальной неустроенностью, выставляемой напоказ в качестве доказательства своего нравственного и интеллектуального превосходства.

ЗАСТОЛЬНЫЙ МИНИМАЛИЗМ: проповедование философии минимализма, не сопровождаемое претворением ее принципов в жизнь.

ИКСПРОПРИАЦИЯ: использование в повседневной речи, с целью создания иронического и/или комического эффекта, антикварных фраз, заимствованных из рекламных роликов, развлекательных программ и надписей на фирменной упаковке прошлых времен: «Дэйв и впрямь считает себя чуваком типа «Пейте, дети, молоко — будете здоровы», «Вечеринку имени Наших Любимых Знаменитых Покойников придумала Кэтлин. Она — молоток. Всем давно понять пора бы, как нежны Кэтлин и крабы».

[1] Да (*франц.*).

ЗНАМЕНИТОСТИ СМЕРТНЫ

После Тайлерова звонка минуло часа три; м-да, сегодня все как сговорились свести меня с ума. Просто не знаю, что и поделать. Слава богу, вечером на работу. Пусть у меня от нее мороз по коже, пусть она мутная, пусть монотонная — работа не дает мне съехать с катушек. Тобиас повез Элвиссу домой — и больше уже не вернулся. Клэр отметает все намеки на любовь-морковь между ними. У нее такой вид, будто она знает что-то мне неизвестное. Будем надеяться, попозже проговорится. Дег с Клэр куксятся на кушетках и друг с другом не разговаривают. Без устали лущат себе фисташки, кидая их холщовые скорлупки в давно переполненную пепельницу с надписью: «Всемирная ярмарка Спокан-74». (Та самая ярмарка, где непрерывно лил дождь и демонстрировали здания, выстроенные из алюминиевых банок от содовой.) Дег печалится, что Элвисса сегодня не уделила ему ни унции внимания, а Клэр — из-за плутония. Она все еще не хочет возвращаться домой. История с радиоактивным заражением взволновала ее сильнее, чем нам сперва показалось. Она заявляет, что отныне будет жить у меня. «Энди, радиация еще долговечнее, чем мистер Фрэнк Синатра. Считай меня своей постоянной квартирантской». Тем не менее Клэр таки совершает набеги в свое жилище — не дольше чем на пять минут в день — за вещами. Первая ее вылазка была не менее робкой, чем проникновение средневекового крестьянина в умирающий от чумы город (она разве что не махала дохлой козой, отгоняя нечисть).

— Какая отвага, — роняет Дег, на что Клэр отвечает злобным взглядом. Я говорю ей, что, по-моему, она впала в чистоплюйство.

— Там у тебя все стерильно, Клэр. Ты ведешь себя как пейзанка техновека.

— Можете смеяться, но ни у кого из вас нет в гостиной Чернобыля.

— Верно.

Выплюнув огромную фисташку-мутанта, Клэр делает глубокий вдох:

— Тобиас уехал с концами. Уж я-то чувствую. Вообразите, самое красивое из встречавшихся мне человеческих тел — Ходячий Оргазм — уплыло навечно.

— Я бы так не говорил, Клэр, — отвечаю я, хотя знаю, что она права. — Может, он заехал куда-нибудь поесть.

— Не вешай мне лапшу на уши, Энди. Прошло три часа. И сумку он забрал. Просто понять не могу, почему он вдруг взял и уехал.

Я могу.

Между тем обе собаки голодными глазами смотрят на фисташки, которые чистят Дег и Клэр.

— Знаете самый быстрый способ отделаться от собак, которые клянчат у стола? — спрашиваю я; в ответ — невнятное бормотание. — Дайте им вместо мяса кусочек морковки или оливку — главное, чтоб с искренним выражением лица. Они посмотрят на вас как на психа и исчезнут в одну секунду. Конечно, их мнение о вас изменится в худшую сторону...

Клэр пропускает мою речь мимо ушей.

— Естественно, это значит, что придется ехать за ним в Нью-Йорк. — Она встает и направляется к двери. — Похоже, мальчики, в этом году у меня будет Рождество со снегом. Черт, какая же это гадость — эмоции-фикс. — Рассматривает свое лицо в зеркало, висящее возле двери. — Мне еще даже не тридцать, а верхняя губа уже сморщивается. Я обречена. — Она уходит.

* * *

— За свою жизнь я встречался с тремя женщинами, — говорит мой босс и сосед, мистер Макартур, — и на двух из них женился.

Бар «У Ларри», поздний вечер. Два полулилипута — торговцы недвижимостью из Индайо — тянут «ай-

ВОЗДУШНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ:
ложное чувство единения, испытываемое сослуживцами по офису.

яй-яй» в выносной микрофон, принадлежащий нашей chanteuse[1] Лорейн, которая вместе со своим электронным хрипуном «ритм-напарником» отдыхает от показательной настройки инструментов и, млея от собственного очарования, пьет у стойки белое вино. Ночь вялая; чаевых кот наплакал. Мы с Дегом вытираем бокалы (довольно непыльное, как ни странно, занятие) и слушаем, как мистер М. откалывает свои коронные номера. Мы подбрасываем ему темы; ни дать ни взять телешоу Боба Хоупа, в котором напрямую участвуют телезрители. Никогда не смешно — и все же смешно.

Кульминацией вечера была престарелая Неудавшаяся За-За Габор, наблевавшая целую лужу «коктейлей с прицепом» на палас у игрового автомата «Всезнайка». Событие редкостное; клиенты бара при всей своей маргинальности строго блюдут правила хорошего тона. Но самое интересное произошло чуть позже. Дег позвал: «Мистер М.! Энди! Идите-ка сюда, посмотрите...» На паласе посреди слившихся в платонических объятиях кукурузы-и-спагетти лежало штук тридцать полупереваренных в желудке желатиновых капсул. «Ого-го. Если это не выигрыш в «Жизнь-лото» — не знаю уж, что тогда считать подарком судьбы. Эндрю, «скорую»!»

Это было два часа назад, а теперь, ублажив свои мужские гормоны беседой с бригадой «скорой помощи» и демонстрацией познаний в медицине («Стоп, — встревал Дег, — а может, применить раствор Рингера?»), мы слушаем историю личной жизни мистера М. — очаровательные, до-первой-брачной-ночи-ни-ни романы; исполненные целомудрия первое, второе, третье свидания; почти незамедлительно — свадьба, и вскоре — жуткая куча детей.

— А что же та, на которой вы не женились? — спрашиваю я.

— Она угнала мою машину. «Форд». Золотистый. Не сделай она этого, я, вероятно, женился бы и на ней. Я тогда был не сильно разборчив. Помню, раз по десять на дню дрочил за своим письменным столом и думал, что девушка почувствует себя оскорбленной, если свидание не приведет к свадьбе. Мне было одиноко, жил я в Альберте. МТВ в наше время еще не было.

* * *

С миссис и мистером М., Филом и Айрин, мы с Клэр познакомились в один прекрасный день много-много месяцев назад, когда заглянули через забор и были встречены миазматическими клубами дыма и радостным возгласом мистера М., облаченного в передник с надписью «Кушать подано». Нас тут же пригласили и всучили нам банки с прохладительными напитками и «Айрин-бургеры». Повеселились всласть. Как раз перед тем как мистер М. вышел в сад со своей укулеле[2], Клэр шепнула: «Я чувствую, что где-то около дома находится клетка с шиншиллами». (НА ЗВЕРОФЕРМЕ ЕДЯТ ОДНИ БИФШТЕКСЫ!)

СРЕДНИЙ КЛАСС НАДО изобрести вновь

По сей день мы с Клэр ждем не дождемся, пока Айрин отведет нас в сторонку и заговорщическим шепотом поведает нам священные тайны косметических продуктов (она их распространяет от фирм, то есть складирует в гараже, будто непривлекательных, с-рук-несплавлябельных котят). «Душенька, пока я не набрела на этот крем, у меня на локтях просто какая-то сосновая кора была».

Они милые. Они принадлежат к поколению, считающему, что в «стейк-хаузах» должно быть сумрачно и прохладно (черт побери, они всерьез воспринимают «стейк-хаузы»). На носу у мистера М. бледная паутина вен, вроде той, которую домохозяйкам Лас-Пальмаса за большие деньги убирают склеротерапией с внутренней стороны ног. Ай-

[1] Певица (*франц.*).
[2] Маленькая четырехструнная гавайская гитара.

рин курит. Оба носят купленные на распродажах спортивные костюмы — они лишь на закате жизни обнаружили, что у них есть тело. В них воспитали пренебрежение к телу, и это немного печально. И все же лучше поздно, чем никогда. Они — как бальзам на раны.

КОРЧИ НЕЛОВКОСТИ: дискомфорт, испытываемый молодежью в обществе старших, которые не замечают комизма своих поступков. "Семья отправилась в "Стейк хат", и Карен тысячу раз сгорела со стыда, пока ее отец торжественно дегустировал вино новой марки, перед тем как милостиво позволить налить его в бокалы".

В наших глазах Айрин с Филом — вечные жители 50-х. Они все еще верят в будущее с поздравительных открыток. Это их гигантскую коньячную рюмку, наполненную спичечными коробками, я вспоминаю, когда острю насчет гигантских-коньячных-рюмок-наполненных-спичечными-коробками. Рюмка покоится в гостиной на столе, рядом с генеалогической парковкой рамочек с фотографиями потомков Макартуров. По большей части это внуки с непропорциональными прическами под Фарраха, щурящие глаза с новенькими контактными линзами; почему-то кажется, что всем им уготована фантасмагорическая смерть. Клэр как-то заглянула в письмо, лежавшее на комоде, и прочла там фразу, что лишь спустя два с половиной часа спасатели добрались до потомка Макартура, напоровшегося на какой-то рычаг в перевернувшемся тракторе.

Мы терпимо относимся к безобидным расистским каламбурам и губительным-для-планеты слабостям («Я никогда не смогу ездить на машине, которая была бы меньше моего «катласса-сюприма») Айрин и Фила, поскольку их существование играет роль транквилизатора для нашего чуть-чуть-вышедшего-из-под-контроля мира. «Иногда, — говорит Дег, — мне крайне трудно вспомнить, жив какой-нибудь знаменитый человек или уже нет. Но потом я понимаю, что это вообще-то без разницы. Не хотел бы показаться мерзавцем, но примерно то же самое я испытываю в отношении Айрин и Фила — разумеется, в лучшем смысле этой концепции».

В общем...

* * *

На потеху нам с Дегом мистер М. начинает рассказывать анекдот:

— От этого вы просто умрете. Сидят на пляже во Флориде три старых еврея (вот он — расистский подтекст). Сидят, разговаривают, один спрашивает другого: «Так где ты взял бабки, чтобы на старости лет осесть здесь, во Флориде?», а тот отвечает: «Был у меня пожар на фабрике. Страшное дело. К счастью, она была застрахована». Ладно. Потом он спрашивает другого, откуда тот взял деньги, чтобы поселиться в Майами-Бич, и он отвечает: «Ты будешь смеяться, но, как и у моего друга, у меня тоже случился пожар на фабрике. Слава богу, она у меня была застрахована».

В этот момент Дег разражается громким смехом. Ритм повествования мистера М. нарушен; его левая рука, вытирающая изнутри пивной бокал старым кухонным полотенцем из серии «Птицы Аризоны», замирает.

— Эй, Дег! — произносит мистер М.

— Да?

— Почему ты всегда смеешься над моими анекдотами прежде, чем я успеваю досказать их?

— Что?

— Что слышал. Ты вечно начинаешь хихикать в середине моих анекдотов, словно, вместо того чтобы смеяться со мной, смеешься надо мной. — И опять принимается вытирать бокал.

— Да что вы, мистер М.! Я не смеюсь над вами. Просто у вас такие смешные жесты и выражение лица. Паузы вы выдерживаете, как профессионал. Вы — король смеха.

Мистер Макартур клюет на удочку.

— Ладно, только не обращайся со мной как с говорящим тюленем, хорошо? Уважай мою манеру. Я — человек, и к тому же плачу тебе зарплату. (Последнее звучит так,

ТРУЩОБНАЯ РОМАНТИКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ:
обычай предаваться развлечениям, присущим «нижестоящему» социальному слою. «Карен! Дональд! Давайте пойдем вечером в кегельбан! И не думайте вы об экипировке... Насколько я понял, ее дают напрокат!»

ТРУЩОБНАЯ РОМАНТИКА ОБЩЕНИЯ:
стыдливая радость, испытываемая при беседах, прелесть которых состоит в их абсолютной неинтеллектуальности. Одна из самых приятных сторон «трущобной романтики развлечений».

ТРУЩОБНАЯ РОМАНТИКА ПРОФОРИЕНТАЦИИ:
феномен, когда образованный, уже имеющий профессию человек устраивается на работу, которая абсолютно не соответствует уровню его квалификации. Способ избежать ответственности и/или возможной неудачи на поприще своего истинного призвания.

словно Дег — пожизненный пленник в этом увлекательном, но бесперспективном макрабстве.) Итак, на чем мы остановились? Ах, да. Словом, эти двое поворачиваются к тому, кто задавал вопросы, и говорят: «Ну, а ты? Откуда ты взял деньги, чтобы обосноваться во Флориде?» А он отвечает: «Да оттуда же, откуда и вы, друзья мои, — случилась у меня катастрофа. Произошло наводнение, и всю мою фабрику смыло. К счастью, как вы догадываетесь, она была застрахована». У обоих старых евреев отвисают челюсти, потом один из них спрашивает третьего: «Слушай, только один вопрос. Как тебе удалось организовать наводнение?»

Стоны. Мистер М., похоже, доволен. Он проходит вдоль всей стойки, поверхность которой, подобно узкой подковообразной полоске вокруг унитаза алкаша, похожа на лунный ландшафт в язвах проказы от затушенных сигарет. Пересекает фиолетово-оранжевое ковровое покрытие из орлона с узором «Фиеста», благоухающее корицей от дезодоранта «Для бара», и запирает входную дверь. Дег посылает мне взгляд. Что он означает? Надо мне и вправду в будущем быть поосторожней со смешками. Но я-то вижу, что Дег, как и я, разрывается между примитивной привязанностью к нелепым обломкам анекдотической культуры эпохи Макартура и безотрадностью жизни в грядущей цивилизации, заполненной угрюмыми (ноль ауры, ноль юмора) яппи, где не будет места даже шуточкам Боба Хоупа.

— Надо радоваться им, пока они еще с нами, Энди, — говорит он. — Ладно. Давай пошли. Может, у Клэр улучшилось настроение.

* * *

«Сааб» не заводится. Он чередует туберкулезное отхаркивание с чихом озадаченного кролика, производя впечатление одержимого дьяволом ребенка, который корчится в судорогах и выплевывает с кашлем маленькие кусочки гамбургера. Постоялец мотеля, расположенного у самой автостоянки бара «У Ларри», орет нам из заднего окошка: «Уебывайте отсюда», но его злоба не сумеет испортить нам эту чудесную ночь в пустыне. Впереди долгая прогулка до дома пешком. Спокойный прохладный воздух обтекает мое лицо, словно сухой фарфоровый ил; непомерно крутобокие горы сейчас янтарного цвета, как подводные снимки корабля «Андреа Дориа». Воздух до того чист, что перспектива искажена; горы так и норовят врезать мне по лицу.

АНТИОБЕЗЛИЧИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (АОУ):
модные аксессуары в сочетании с глубоко консервативной одеждой, призванные демонстрировать окружающим, что в данном человеке все еще тлеет искра индивидуальности: галстуки в стиле «ретро 40-х» или серьги в ушах — для мужчин; феминистские значки, серьги в носу — для женщин; а также прическа «мини-крысиный хвостик», ныне почти исчезнувшая, — для обоих полов.

Крохотульки-огоньки, вылитые фотовспышки, мигают на сторожевых пальмах 111-го хайвея. Их кроны шелестят, пропуская свежий воздух для несметного числа дремлющих в листве птичек, крыс и усиков бугенвиллей.

Мы заглядываем в витрины, навязывающие флюоресцентные купальники, электронные записные книжки, жуткие абстрактные картины, на которых, похоже, изображены жертвы автокатастроф, обсыпанные блестками. Я вижу шляпы, драгоценности, туфли — прелестные шмотки, умоляющие обратить на них внимание, как ребенок, не желающий ложиться спать. Хочется распороть себе живот, вырвать глаза и запихнуть все эти красоты в себя. Ох, Земля.

— Сейчас мы похожи: во-первых, на близнецов-идиотов, торгующих подержанными машинами в Индиане, — говорит Дег, намекая на наши суперклевые, голубые-как-яйца-дрозда боб-хоуповские куртки «Гольф классик» и белые панамы, — во-вторых, на пару бродяг — с нечестивыми и кровожадными намерениями в сердцах. На твой выбор.

— А я так думаю, Дег, что мы на шлемазлов похожи.

Хайвей 111 (известный также под именем «Палм-каньон-драйв») — главная городская «тропа развлечений», но сегодня он на удивление пустынен. В «фольксвагенах» с высоким задом туда-сюда бесцельно разъезжают несколько амбисексуальных блондинок из округа Оранж; фланируют бритоголовые морские пехотинцы в помятых «эль каминос»; лихачи визжат тормозами, но никогда не останавливаются. В городе сохраняется автомобильный тип культуры, и оживленными вечерами чувствуешь себя, цитируя удачную формулировку Дега, «как в забегаловке «Дейтона» — пышные сиськи, ассортимент: бургер и шейк, ребята в суперботинках и асбестовых куртках, хрустящие жареной картошкой «Крематорий», кабинки из оранжевого винила, имеющие форму классической черно-белой автопокрышки «Джи-Ти».

Завернув за угол, мы идем дальше.

— Вообрази, Эндрю: сорок восемь часов назад малютка Дег был еще в Неваде, — продолжает он, усаживаясь на капот зеленого, убийственно дорогого гоночного «астон-мартина» со съемным верхом и закуривая сигарету с фильтром. — Можешь вообразить?

Теперь мы в стороне от главной магистрали, на неосвещенной боковой улочке, где так глупо припарковано дорогостоящее «кресло» Дега. Задняя часть «астон-мартина» завалена картонными коробками с бумагами, одеждой, всяким хламом — просто мусорное ведро бухгалтера. Такое впечатление, что хозяин планирует скоропалительный побег из города. Для нашей дыры очень даже вероятная версия.

— Ночевал я в маленьком мотеле «семейное предприятие», в какой-то глухомани. Стены обшиты сосновыми сучковатыми панелями, лампы из пятидесятых, на стенах эстампы с оленями...

— Дег, слезь с машины. Что-то мне тут неуютно.

— ...и пахло розовым гостиничным мылом — знаешь, малюсенькие такие брусочки. Боже, как я обожаю этот запах. Такой мимолетный.

Я в ужасе: Дег прожигает огненным цветком своей сигареты дырки в крыше машины.

— Дег! Что ты делаешь, прекрати! Опять за старое?!

— Эндрю, говори по-ти-ше. Будь так добр. Куда девалась твоя крутизна?

— Дег, с меня хватит. Я ухожу.

Я отступаю на несколько шагов. Дег, как я уже говорил, вандал. Я безуспешно пытаюсь понять его поведение; то, что на прошлой неделе он поцарапал «катласс-сюприм», было лишь одним-единственным звеном в длинной цепи сходных событий. Похоже, он нападает исключительно на те автомобили, у которых на бамперах отвратительные (с его точки зрения) наклейки. Естественно, осмотрев заднюю часть машины, я обнаруживаю наклейку: «СПРОСИТЕ, КАК ДЕЛИШКИ У МОИХ ВНУЧАТ».

— Вернись, Палмер. Я заканчиваю. Через секунду. Кроме того, я хотел открыть тебе одну тайну.

Я останавливаюсь.

— Тайна касается моего будущего, — произносит он.

Плюнув на здравый смысл, я возвращаюсь.

— Дег, прожигать дырки... ну просто идиотизм какой-то.

— Успокойся, парень. Это считается мелким хулиганством. Статья 594 уголовного кодекса штата Калифорния. Просто дадут по рукам. Да никто и не видит.

Он стряхивает небольшую щепотку пепла с краев отверстия, оставленного сигаретой.

— Я хочу открыть гостиницу на полуострове Баха-Калифорниа. И если не ошибаюсь — я ближе к этому, чем ты думаешь.

— Что?

— Вот чем я хочу заниматься в будущем. Открыть гостиницу.

— Отлично. Теперь пошли.

— Нет, — он закуривает еще одну сигарету. — Сначала я тебе ее опишу.

— Только быстро.

— Я хочу открыть гостиницу в Сан-Фелипе. Баха имеет форму иголки, а Сан-Фелипе — на ее восточной стороне. Малюсенькая деревушка, вокруг одни пески, заброшенные урановые рудники да пеликаны. Открою маленькое такое заведение, только для друзей и чудаков, а в обслугу наберу исключительно старух-мексиканок, офигительных красавцев-серфингистов и прихиппованных ребят и девушек, у которых от наркоты мозги стали как швейцарский сыр. В баре будет принято пришпиливать к стенам и потолку деньги и визитки, а единственным источником света будут десятиваттовые лампочки, скрытые за подвешенными к потолку скелетами кактусов. Вечерами мы будем стирать друг другу с носов цинковую мазь, пить коктейли с ромом и рассказывать истории. Кто расскажет хорошо, может за постой не платить. В туалет тебя не пустят, пока не напишешь фломастером на стене что-нибудь смешное. И все комнаты будут обшиты сучковатыми сосновыми панелями, а в качестве сувенира каждому достанется маленький кусочек мыла.

Должен признаться, на словах гостиница Дега была хоть куда, но мне все же хотелось уйти.

— Прекрасно, Дег. В смысле, идея у тебя прекрасная, это без дураков, только давай смотаемся отсюда, ладно?

— Да, наверно. Я... — Он смотрит на то место, где прожигал дырку, пока я отвернулся. — Уя...

— Что случилось?

— О черт!

Алый уголек сигареты упал внутрь, в коробку с бумагами и прочим хламом. Дег соскакивает с машины, и мы оба завороженно смотрим, как маленький жаркий язычок проедает себе дорогу через пачку газет; вроде бы исчезает, но вдруг — у-уф — коробка мгновенно — так взлаивает разбуженная собака — воспламеняется, озарив наши искаженные ужасом лица злорадной желтой усмешкой.

— О черт!

— Бежим!

Меня уже нет. Мы оба несемся вниз по улице, сердца наши застряли где-то в глотках, оборачиваемся мы лишь однажды, и то на секунду, через два квартала, чтобы увидеть худшее из возможных последствий — «астон-мартин», объятый малиновой лавой шипучего пламени, радостной гренкой растекается по мостовой.

— Черт, Беллингхаузен, это самый кретинский, самый долбаный из фортелей, на какие ты способен.

Мы снова бежим, я впереди (сказываются занятия аэробикой). Дег сворачивает за угол позади меня, и вдруг я слышу тихий возглас и глухой удар. Обернувшись, я вижу, что Дег — везет как утопленнику! — налетел на Шкипера Всех Народов, бродягу из «Долины уродцев», который иногда захаживает в бар «У Ларри» (а Шкипером его прозвали, потому что фуражка у него — как у капитана из телесериала).

— Здорово, Дег. Бар закрыт?

— Привет, Шкип. А то. Опаздываю на свиданьице. Надо бежать, — уже на ходу говорит он, салютуя Шкиперу рукой, словно яппи, лицемерно обещающий как-нибудь вместе отобедать.

Пробежав еще десяток кварталов, мы в изнеможении, еле переводя дух, останавливаемся и начинаем класть земные поклоны.

— Никто не должен знать об этом проколе, Эндрю. Понял? Никто. Даже Клэр.

— Я что, похож на анэнцефала? Блин.

Уф, уф, уф.

— А как же Шкипер? — спрашиваю я. — Думаешь, у него хватит ума сделать очевидный вывод?

— Он? Не-а. У него мозги давно превратились в тосол.

— Ты уверен?

— Да. — Мы опять можем свободно дышать. — Быстро. Назови десять рыжеволосых покойников, — командует Дег.

— Что?

— У тебя пять секунд. Раз, два, три...

Я задумываюсь.

— Джордж Вашингтон, Дэнни Кей[1]...

— Он еще жив.

— Нет, мертв.

— И то правда. Призовое очко.

Остаток нашего путешествия от бара до дома был не столь занимателен.

Я НЕ РЕВНУЮ

Говорят, Элвисса, покинув наш бассейн, тем же вечером оседлала дворняжку («оседлать дворняжку» — стильный синоним словосочетания «поехать автобусом компании «Грейхаунд»[2]). Ее путешествие в северо-западном направлении длилось четыре часа: в Санта-Барбаре она вылезла и устроилась на новую работу — и зацените на какую! Садовником в монастырь. Мы сражены, на все сто процентов сражены этой краткой вестью.

— Вообще-то, — льет бальзам на рану Клэр, — это не настоящий монастырь. Женщины там ходят в мешковатых черных сутанах — японщина этакая — и коротко стригутся. Я видела в проспекте. Кроме того, она всего лишь ухаживает за садом.

— В проспекте?

— Ужас ужасом погоняет.

— Да, такой сложенный вдвое, как меню пиццерии, буклетик, его Элвиссе прислали вместе с письмом о ее зачислении. (Боже милосердный...) Она нашла работу по бумажке на доске объявлений «Новости нашего прихода»; говорит, ей нужно проветрить сознание. Но я другое подозреваю: ей кажется, что туда может занести Кертиса, и она хочет оказаться в нужном месте в нужное время. Эта женщина отлично умеет держать язык за зубами, когда хочет.

Мы сидим у меня на кухне, развалившись на табуретках из опаленной сосны, какие ставят у стойки бара; верх у них пурпурный, стеганный ромбиками, а ножки обгрызены собаками. Эти стулья месяц назад я бесплатно уволок с одной мрачноватой распродажи — ликвидировалось имущество должников из кооперативного дома на Пало-Фиеро-роуд. Для вящей «атмосферы» Дег вкрутил в патрон над столом модняцкую красную лампочку, а в данный момент смешивает кошмарные коктейли с кошмарными названиями, которым научился у подростков, заполонивших город на весенних каникулах. («Физра с минетом», «Химиотерапия», «Безголовая королева выпускного бала» — кто только выдумывает эти названия?)

Все одеты в «наряды для рассказов на сон грядущий»: Клэр во фланелевом домашнем халатике, отороченном кружевом из прожженных сигаретами дырок, Дег в пижаме искусственного шелка цвета бургундского вина, с «королевскими», под золото, аксельбантами (дом моделей «Лорд Тайрон»); я в обвислой ковбойке с длинными рукавами. Вид у нас разношерстный, малахольный и унылый.

---

[1] Известный актер кино и телевидения; умер в 1987 г.

[2] Greyhound (*англ.*) буквально — борзая.

— Надо нам все-таки ввести униформу в нашем балагане, — говорит Клэр.

— После революции, Клэр. После революции, — отвечает Дег.

Клэр ставит в микроволновую печь научно усовершенствованный попкорн.

— Мне всегда казалось, что я не еду ставлю в эту штуку, — говорит она, набирая на писклявом пульте время готовки, — а вставляю топливные стержни в реактор. — Она с силой захлопывает дверцу.

— Поосторожней, — кричу я.

— Извини, Энди. Я расстроена. Ты не представляешь, как мне сложно находить друзей моего пола. Если с кем я и дружила, это всегда были парни. Девицы только и знают, что юбками шуршать. Они видят во мне конкурентку. Наконец я в кои-то веки нашла стоящую подругу — и она уезжает в тот же день, когда меня бросает самое сильное наваждение моей жизни. Так что уж потерпи мои закидоны.

— Поэтому ты сегодня была такая кислая возле бассейна?

— Да. Она попросила меня помалкивать насчет ее отъезда. Прощания ей ненавистны.

Идея с монастырем, похоже, задела Дега за живое.

— Ничего не выйдет, — говорит он. — Тоже мне мадонна-блудница. Чтоб я на это купился?

— Дег, а никто тебя этим и не покупает. Что-то ты начал по-тобиасовски выражаться. И уж вряд ли она считает монашество своим жизненным призванием — так что оставь свой скепсис. Дай ей шанс. — Клэр вновь усаживается на табуретку. — И вообще, тебе бы больше понравилось, если бы она осталась в Палм-Спрингс и продолжала заниматься все тем же самым? Тебе бы понравилось через год-другой бегать с ней в супермаркет «Вонс» за одноразовыми шприцами? Или ты подыскал бы ей хорошую партию — какого-нибудь типа со съезда дантистов, чтобы она заделалась домохозяйкой в Пало-Альто?

В микроволновке громко лопается первое зернышко кукурузы; и до меня доходит, что Дег дуется не только потому, что отвергнут Элвиссой, но и из зависти — он восхищается ее решимостью изменить и упростить свою жизнь.

— Она отреклась от мирских благ, я так понимаю, — говорит он.

— Ее вещи достанутся соседкам по квартире, бедняжкам. У этой девушки СГДВ: синдром гипертофированно дурного вкуса. Абажуры в виде собачек да всякий «découpage»[1].

— Даю ей три месяца.

Клэр старается перекричать шквальные разрывы кукурузных зерен:

— Я не собираюсь до посинения обсуждать эту тему, Дег. Пусть ее порывы банальны, пусть они обречены на провал — нечего над ними издеваться. Чья бы корова мычала, а твоя бы... Господи, уж ты-то должен понимать, чего стоит попытка выкинуть из жизни все свое дерьмо? Элвисса вырвалась вперед, обогнала тебя, согласись! Она уже на следующем уровне. А ты, хоть и бросил мегаполис и свой бизнес-шмизнес, все еще цепляешься — за свою машину, свои сигареты, звонки по междугородке, коктейли, за свою *точку зрения*. Ты по-прежнему хочешь все контролировать. Ее поступок не глупее твое-

ТРУЩОБНАЯ РОМАНТИКА ПИТАНИЯ:
феномен, когда пища доставляет удовольствие не своими вкусовыми качествами, а за счет сложного комплекса социальных коннотаций, ностальгических импульсов и упаковочной семиотики: «Мы с Карен купили тюбик «Мультивипа» вместо настоящих сливок, так как подумали, что синтезированные из нефти искусственные сливки — именно то, чем жены летчиков из Пенсаколы потчевали своих мужей в начале 60-х, отмечая их повышение по службе».

ТЕЛЕПРИТЧИ:
повседневное морализаторство на базе телесериалов: «Ну это прям как в той серии, когда Йен потерял очки!»

КЬЮ-ЭМ-ПЭ (QUELLE МЕРЗОПАКОСТЬ).
Полный облом: «Джейми тридцать шесть часов припухал в римском аэропорту — ну просто Кью-Эм-Пэ, да и только».

КЬЮ-ЭС-БЭ (QUELLE СТИЛЕВАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ).
Жуткая безвкусица: «Ну, это была полная Кью-Эс-Бэ. Малярские шаровары, прикинь! Это же 1979-й, всякий дурак знает!»

[1] Вырезки (*франц.*).

го ухода в монастырь, а уж бог-то свидетель, сколько раз ты нам насчет этих своих планов толковал.

Кукуруза — очень к месту — перестает взрываться; Дег пялится на свои ноги. Смотрит на них, словно это два ключа на колечке, а он не может вспомнить, от каких они замков.

— Господи. Ты права. Сам себе не верю. Знаешь, как я себя чувствую? Как будто мне двенадцать лет, и я снова в Онтарио, и снова окатил бензином машину и себя; мне кажется — я в абсолютной глубокой заднице.

— Вылазь из задницы, Беллингхаузен. Просто закрой глаза, — говорит Клэр. — Закрой глаза и взгляни внимательно на то, что ты пролил. *Вдохни запах будущего.*

* * *

Красная лампочка — штука забавная, но глаза утомляет. Перебираемся в мою комнату — настал час «рассказов на сон грядущий». Горит огонь в камине, на своей овальной циновке блаженно посапывают собаки. Разместившись на моей застеленной покрывалом «Гудзонов залив» кровати, мы едим кукурузу; невероятно сильное ощущение тепла и уюта среди желтых восковых теней, которые дрожат на деревянных стенах, увешанных моими пожитками: блеснами, панамками, пальмовыми листьями, пожелтевшими газетами, тут же вышитые бисером ремни, веревки, ботинки и карты. Простые предметы для ничем не осложненной жизни.

Первой заговорила Клэр.

РАССТАНЬСЯ С ТЕЛОМ

Жила-была бедная маленькая богатая девочка по имени Линда. Она была наследницей огромного фамильного капитала, семена которого впервые проросли на ниве работорговли в Джорджии, размножились текстильными фабриками в Массачусетсе и Коннектикуте, рассеялись на запад сталелитейными заводами на Мононгахила-ривер в Пенсильвании и в конце концов принесли здоровые плоды в виде газет, кино- и авиаиндустрии в Калифорнии. Однако ж, пока деньги семьи умудрялись постоянно множиться и подстраиваться под эпоху, у самой семьи это не получалось. Она съеживалась, тощала и вырождалась, пока от нее не остались только два человека: Линда и ее мать Дорис. Линда жила в каменном особняке в сельском имении в Делавэре, но ее мать вспоминала делавэрский адрес, только когда заполняла налоговую декларацию. Она даже не приезжала туда по многу лет — ибо была она светской львицей, и обитала она в Париже, и жизнь ее была одним непрерывным полетом в первом классе. А вот если бы она туда приезжала, то, возможно, смогла бы помешать тому, что случилось с Линдой.

Понимаете, детство у Линды было безоблачное, как и у всех маленьких богатых девочек, — единственное дитя в детской на верхнем этаже каменного замка, где каждый вечер отец читал ей сказки, усадив к себе на колени. Под потолком порхали и пели десятки маленьких ручных канареек, иногда спускавшихся им на плечи и всегда запускавших клювы в прекрасные яства, приносимые горничными. Но однажды отец не пришел — и больше не приходил никогда. Какое-то время, от случая к случаю, сказки пыталась читать мать, но это уже было не то — от нее пахло спиртным; мать ударялась в слезы и отмахивалась от птиц, когда те подлетали. И птицы перестали подлетать.

Шло время, и в свои восемнадцать-двадцать лет Линда превратилась в прекрасную, но очень несчастную женщину, постоянно ищущую человека, идею, место, которые могли бы спасти ее от... ну, в общем, от ее жизни. Линда ощущала привилегированность и бессмысленность своего существования — абсолютное одиночество. К своему солидному наследству она питала смешанное чувство — чувство вины (ей не пришлось бороться за место под солнцем), но одновременно и чувство своей высокородности и из-

бранничества, которые, как она сама знала, до добра не доводят. Ее бросало из стороны в сторону.

Как все по-настоящему богатые и/или красивые и/или известные люди, она никогда не могла быть полностью уверена, реагируют ли люди на нее самое — лучик света, заключенный в капсуле плоти, — или они видят лишь лотерейный выигрыш, доставшийся ей при рождении. Она всегда была готова дать отпор вымогателям и вралям, рифмоплетам и шарлатанам.

Еще одна вещь, которую вы должны знать о Линде: она была умна. Могла поддержать разговор о квантовой физике — кварках и лептонах, бозонах и мезонах — и могла при этом отличить подлинного специалиста от человека, который просто прочел на эту тему статью в журнале. Она знала названия большинства цветов на свете и могла купить все цветы на свете. Она бывала в аудиториях Вильямс-колледжа и вкушала коктейли с кинозвездами в заоблачных бархатных высях Манхэттена, освещенных эпилептически мигающими лампами. Часто она в одиночку путешествовала по Европе. В средневековом, окруженном крепостным валом городе Сент-Мало на побережье Франции она жила в маленькой комнатке, пахнущей пылью и конфетами с ликером. Там в поисках любви, в поисках смысла она читала Бальзака и Нэнси Митфорд и спала с австралийцами, обдумывая, куда отправиться дальше.

В Западной Африке она увидела бескрайние лоскутные ковры гербер и щавеля — поля иных миров, где психоделические зебры жевали нежные цветы, за ночь проросшие из бесплодной земли, рожденные из семян, пробужденных от десятилетней комы взбалмошными дождями Конго.

Но то, что искала, Линда нашла в Азии — высоко в Гималаях, среди ржавеющих альпинистских кислородных баллонов и ко всему безучастных, накачанных опиумом, богом забытых студентов из Айовы она обрела то, что привело в действие механизм ее души. Она услышала о маленькой деревушке, где жила религиозная секта монахов и монахинь, достигавших состояния святости-экстаза-освобождения-через-строгий-пост-и-медитацию в течение семи лет, семи месяцев, семи дней и семи часов. В период обучения на святого учащийся должен не говорить ни слова и ничего не делать; единственное, что ему позволено — еда, сон, медитация и испражнение. Говорили также, что истина, обретаемая по истечении этих мук, столь восхитительна, что страдание и отречение ничто в сравнении с прикосновением к Высшему.

К несчастью, в день, когда Линда отправилась в эту деревушку, разыгралась буря. Линда вынуждена была повернуть обратно, а на следующий день вернуться в Делавэр на совещание со своими юрисконсультами по недвижимости. Так что ей так и не удалось попасть в святую деревню.

Вскоре ей исполнился двадцать один год. По условиям завещания отца она унаследовала львиную долю его состояния. А Дорис в наэлектризованной обстановке пропахшего табаком офиса делавэрских адвокатов узнала, что будет получать неизменное, но далеко не квазибасноловное месячное содержание.

Видите ли, из капиталов мужа Дорис хотела приготовить полноценный обед, а хватило только на закуску. Она взбесилась, и деньги послужили первопричиной неустранимой трещины во взаимоотношениях Линды и Дорис. Дорис пустилась во все тяжкие. Она превратилась в отлично экипированную, до блеска отлакированную гражданку тайного мира больших денег. Жизнь стала чередой английских курортов с лечебными водами; покупных венецианских жиголо, таскавших у нее из сумочки драгоценности; бесплодных экспедиций за следами НЛО в Андах; санаториев у Женевского озера и антарктических круизов, где она бесстыдно льстила эмиратским принцам на фоне бледно-голубых льдов Земли Королевы Мод.

Таким образом, Линде было предоставлено право самой принимать решения, и, за отсутствием чьих-либо возражений, она решилась на духовное освобождение посредством медитации длительностью в семь лет, семь месяцев и семь дней.

Но чтобы сделать это, пришлось принять ряд предосторожностей, дабы внешний мир не помешал ей. Она укрепила ограду усадьбы, сделав ее выше и снабдив лазерной

сигнализацией. Боялась она не грабителей, а просто всех, кто может случайно отвлечь ее от медитации. Были составлены бумаги, гарантирующие, что проблемы налогов и всякое такое будут решаться соответствующими лицами. В них также заранее объяснялись причины ее поведения — на случай, если кто-то усомнится в ее здравом уме.

САМ себя симулируй

Слуг она рассчитала, оставив только одну девушку по имени Шарлотта. Въезд машинам на территорию усадьбы был закрыт, а садам и цветникам было дозволено расти свободно, дабы не шумели газонокосилки. Секьюрити постоянно патрулировали вокруг усадьбы, а еще одно охранное агентство уполномочили следить за караульными и не допускать расхлябанности. Ничто не должно было помешать ее шестнадцатичасовой ежедневной медитации.

Итак, в начале марта начался период молчания.

Сад быстро зарастал. Строгая монокультура лужаек разбавилась нежными туземными цветочками, сорняками и травками. Анютины глазки, незабудки, кервель, новозеландский лен смешались с травой, которая начала заполонять и разрыхлять покрытые гравием дорожки и тропинки. Долговязые, раздобревшие, болезненные тела розовых кустов, их бутоны, колючки и ветви закрыли застекленный балкон; глициния удушила веранду; терновник и плющ выплеснулись над башнями, как закипевший суп. В сад нахлынули толпы всяких мелких зверюшек. Летом верхушки травы постоянно заволакивала дымка солнечного света, усеянная глупыми вялыми бабочками, молью и мошками. В эту воздушную жидкость ныряли голодные, охрипшие сойки и иволги. Таков был мир Линды. С рассвета до сумерек она молча, безучастно наблюдала за ним со своей циновки во внутреннем дворике.

Осенью, до наступления холодов, Линда куталась в шерстяные одеяла, которые приносила ей Шарлотта. Потом она следила за своим миром сквозь высокие стеклянные двери спальни. Зимой она видела спячку мира; весной — его обновление; а летом смотрела на почти удушающее буйство жизни.

Так продолжалось семь лет; за это время волосы ее поседели, у нее прекратились менструации, огрубевшая кожа туго обтянула кости, а голосовые связки атрофировались, и она не смогла бы заговорить, даже если бы и захотела.

* * *

Однажды, когда период медитации Линды уже подходил к концу, далеко-далеко, на другой стороне Земного шара, в Гималаях, монах по имени Ласки читал немецкий журнал «Штерн», оставленный в местной деревне альпинистами. В нем он наткнулся на нечеткий, сделанный телеобъективом снимок женщины, Линды, которая медитировала в каком-то запущенном пышном саду. Читая подпись под снимком, где описывались тяжкие труды молодой богатой наследницы из Америки, вознамерившейся приобщиться к идеям нью-эйджа, Ласки почувствовал, что его сердце забилось быстрее.

ЯИЗМ:
попытка индивида, не получившего традиционного религиозного воспитания, самостоятельно создать религию, которая была бы подогнана под его душу и фигуру. Чаще всего — мешанина из идей реинкарнации, общения с Богом, образ которого представляется крайне неясно, натурализма и лозунгов типа: «Глаз за глаз, карма за карму».

На следующий день Ласки прилетел в аэропорт Кеннеди лайнером «Джапан эйрлайнс». В рясе и с матросским рундуком, крайне встревоженный, он являл собой странное зрелище, когда пробивался сквозь вечернюю толпу еврошушеры, потрошимую таможней уцененных авиарейсов. Ласки надеялся, что лимузин вовремя доставит его из аэропорта в имение Линды. Время было на исходе!

Ласки стоял у стальных ворот и слушал доносящиеся из дома охраны звуки набирающей обороты вечеринки. Сегодняшний вечер, как он правильно понял из заметки о Линде в отделе «Курьезы» журнала «Штерн», был последним вечером медитации — караульные отмечали окончание службы. Бдительность была

утрачена. Оставив рундук у ворот, Ласки тихо проскользнул вовнутрь и, никем не остановленный, зашагал по освещенным закатом остаткам въездной дороги.

Яблони оккупировали злые вороны; голубые низкие кустарники льнули к его ногам; на надломленных стеблях клонили головы изможденные подсолнухи; словно tricoteuses[1], у земли их облепляли улитки. Посреди этого великолепия Ласки остановился, чтобы переодеться: вместо светло-коричневой рясы он надел куртку из сверкающего металла, которую вынул из рундука у ворот и принес с собой. Дойдя до дома Линды, он открыл входную дверь и вошел в прохладное, темное безмолвие, свидетельствующее об изобилии редко используемых комнат. Поднялся по широкой центральной лестнице, крытой черно-красным ковром — цвета гранатового сока; руководствуясь интуицией, миновал много коридоров и оказался в спальне Линды. Шарлотта, празднующая с караульными, не увидела на экране его вторжения.

БУМАГОБЕШЕНСТВО: **обостренная чувствительность к захламлению окружающей среды.**

Потом во дворике-патио он увидел усохшую фигуру Линды, которая смотрела на янтарное солнце, наполовину ушедшее за горизонт. Ласки прибыл вовремя — период молчания и медитации Линды заканчивался через несколько секунд.

Ласки посмотрел на нее, такую молодую, но превратившуюся в древнюю старуху. Ему показалось, что тело ее едва не скрипнуло, когда она повернулась к нему лицом — страшно изнуренным, лицом агонии, похожим на сдувшийся резиновый матрас, слишком долго пролежавший на солнце.

Она медленно распрямила узловатое тело. Похожая на неуклюжую птицу, сделанную из макаронин ребенком, Линда прошаркала через патио в свою спальню — так легкий ветерок проникает в запертую комнату.

Казалось, ее не удивило присутствие Ласки, сверкающего своей металлической курткой. Проходя мимо него, она сложила губы в довольную улыбку и направилась к кровати. Когда она ложилась, Ласки услышал наждачное шуршание грубых армейских одеял о ее платье. Она смотрела в потолок; Ласки встал рядом.

— Вы, дети Европы... Америки... — произнес он, — вы, с вашими странными маленькими доморощенными религиями, как ни стараетесь, всё понимаете неверно. Да, следуя моей религии, ты должна была медитировать семь лет, семь месяцев, семь дней и семь часов, но по моему же календарю. По вашему календарю это время составляет один год. Ты промедитировала в семь раз дольше, чем было нужно... ты зашла слишком далеко... — тут Ласки осекся. В глазах Линды появилось выражение, которое он видел у тех, с кем сталкивался днем в аэропорту, — у иммигрантов, готовящихся пройти через раздвигающиеся двери таможни и войти наконец в мир, ради которого они сожгли все мосты.

Да, Линда все сделала не так и тем не менее победила. Это была странная победа — и все же победа. Ласки понял, что встретил человека, превзошедшего его. Он быстро снял свою ритуальную куртку — куртку, которой давно перевалило за две тысячи лет. На ней все время появлялись новые украшения, а старые исчезали. На золотые и платиновые нити, перемешанные для прочности с пряжей из шерсти яка, были нанизаны бусины из вулканического стекла и пуговицы из нефрита. Здесь был рубин, преподнесенный Марко Поло, и крышка от бутылки воды «Севен ап», подаренной первым пилотом, приземлившимся в деревне Ласки.

Ласки накрыл курткой Линду; с ее телом начали происходить сверхъестественные метаморфозы. Ребра ее захрустели, она издала гортанный писк экстаза. «Бедное дитя», — прошептал он и поцеловал ее в лоб.

От того поцелуя череп Линды раскрошился, как ломается в руках хрупкое зеленькое пластмассовое ведерко, пролежавшее всю зиму на улице. Да, ее череп раскрошился

[1] Вязальщицы (*франц.*); во времена Французской революции так называли женщин, которые, не переставая вязать, присутствовали на всех заседаниях Конвента и Революционного трибунала.

и рассыпался в прах, а тот лучик света, что был подлинной Линдой, покинул свой старый сосуд и упорхнул на небо, где и уселся — словно маленькая желтенькая птичка, знающая все песни, — по правую руку своего бога.

ВЫРАЩИВАЙТЕ ЦВЕТЫ

Давным-давно, когда у меня появились первые мизерные заработки, я каждую осень приходил в наш местный цветочный магазин и покупал пятьдесят две луковицы нарциссов. Потом, вооружившись колодой в пятьдесят две игральные карты с глянцевой рубашкой, я выходил во двор родительского дома и раскидывал карты по газону. Где бы ни падала карта, на ее месте я сажал цветок. Разумеется, я мог бы разбрасывать сами луковицы, но весь смысл и был в том, чтобы этого не делать. Мой способ посадки луковиц создает эффект естественного рассеивания: все тот же ускользающий от формулировок алгоритм, что диктует стайке воробьев ее вращающий момент, а плывущей по реке деревяшке — ее маневры и предписывает этой механической процедуре успех. И вот приходит весна, и после того, как нарциссы прочли миру свои изящные хокку и расточили свой холодный, нежный аромат, их пожухлые, луковые, бумажные останки напоминают нам, что скоро лето и пора стричь газоны.

Все очень-очень хорошее и очень-очень плохое длится очень-очень недолго.

Я просыпаюсь; сейчас, должно быть, полшестого утра. Мы втроем раскинулись на неразобранной кровати, где вчера вечером заснули. Собаки дрыхнут на полу у догорающего камина. На улице едва начинает светать, олеандры затаили дыхание, голуби еще не воркуют. Я чувствую теплый угарный запах сна и замкнутого помещения. Живые существа в одной комнате со мной — те, кто любит меня, те, кого я люблю. Когда мы вместе, кажется мне, мы превращаемся в какой-то странный, недоступный посторонним сад. Я готов умереть от счастья. Как мне хочется, чтобы это мгновение длилось вечно.

Я опять засыпаю.

Часть III

ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ

Пятнадцать лет назад, в день, который, быть может, останется самым антистильным днем моей жизни, мы вдевятером (вся наша семья) пошли в местное фотоателье сделать групповой портрет. Бесконечное позирование в духоте обернулось тем, что последующие пятнадцать лет все мы храбро пытались допрыгнуть до планки вскормленного попкорном оптимизма, веселеньких волн шампуня и отполированных электрощеткой сияющих улыбок — планки, и по сей день висящей над нами в образе этого фото. Может, на снимке мы кажемся старомодными, зато выглядим безупречно. Мы лучезарно улыбаемся вправо — вроде как будущему, но на самом деле — фотографу мистеру Леонарду, одинокому пожилому вдовцу с вживленными волосами, сжимающему в левой руке нечто таинственное и произносящему: «Птичка».

Впервые появившись дома, снимок, наверное, с час триумфально простоял на полке камина, простодушно водруженный туда отцом; под натиском настойчивых, подоб-

ных лесному пожару голосов детей, испугавшихся насмешек сверстников, отец был вынужден почти немедленно его убрать. Снимок переехал в ту часть отцовского кабинета, куда чужие не заглядывают, и пребывает там по сей день, как всеми забытый, умирающий от истощения хомячок. Очень редко, но вполне намеренно к этому снимку приходит каждый из нас девятерых, когда, в период межсезонья между жизненными взлетами и падениями, мы нуждаемся в хорошей дозе «как невинны мы были когда-то», дабы добавить к своим печалям эту истинно литературную нотку мелодрамы.

Ладно, это было пятнадцать лет назад. В этом году все мы наконец перестали жить с оглядкой на эту чертову фотографию и обещанные ею полуправдоподобные миражи. В этом году мы решили покончить с этими глупостями — во имя нормальной жизни — и пошли по пути всех семей: каждый решил быть просто самим собой, и гори оно все синим пламенем. В этом году никто не приехал домой на Рождество. Только я, Тайлер и отец с матерью.

— Замечательный ведь был год, Энди? Помнишь? — Я говорю по телефону со своей сестрой Дейдре; она имеет в виду год, когда была сделана фотография. Теперь Дейдре завязла в самой гуще «жуть какого» развода с мужем — полицейским из Техаса («Энди, четыре года я думала, пока не поняла: он только на псевдоблизость способен; какой же он слизняк»), ее голос пропитан трициклическими антидепрессантами. Она была Королевой Красоты и Обаяния среди всех девочек Палмер — а теперь обзванивает родных и близких в полтретьего ночи и пугает их до смерти своими пустопорожними, слегка наркоманскими монологами. — Мир казался сияющим и новым. Энди, я знаю, что говорю банальности. Господи! Я загорала — и не думала о саркоме; ехала в джипе Бобби Вильена на вечеринку, где будет куча незнакомых людей, — и чуть не лопалась от счастья, что живу, и дышу, и пою.

КОСБИЗМ:
особая чувствительность, характерная для людей, выросших в большой семье. Редко встречается у тех, кто рожден после 1965 г. Симптомы косбизма — быстрое освоение интеллектуальных игр, умение эмоционально обособиться в многолюдной обстановке и глубинная потребность в неприкосновенном личном пространстве. (Косби — многодетный отец, герой телесериала.)

Звонки Дейдре пугают по нескольким причинам, и не последняя из них — то, что в ее болтовне содержится истина. В прощании с юностью и вправду есть что-то бессловесное и унылое; юность, по словам Дейдре, это печальные, бередящие память духи, чей аромат составлен из множества случайных запахов. Аромат моей юности? Пьянящая смесь запахов новых баскетбольных мячей, исчерканного коньками льда на катке и горячих от беспрерывного прослушивания дисков «Супертрэмпа»[1] проводов стереосистемы. И разумеется, дымное, подсвеченное галогеном варево в «джакузи» близнецов Кимпси вечером в пятницу,— горячий суп, приправленный хлопьями отмершей кожи, алюминиевыми банками из-под пива и незадачливыми крылатыми насекомыми.

* * *

У меня три брата и три сестры, но у нас не были приняты «щедрые проявления родственных чувств». Я вообще не помню, чтобы родители меня хоть раз обняли (и, откровенно говоря, этот обычай меня нервирует). Мне кажется, что для определения стиля наших семейных отношений больше всего подойдет термин «крученая подача эмоций». Я был пятым из семерых детей — абсолютно средний ребенок. Чтобы добиться внимания домашних, мне приходилось напрягаться сильнее, чем остальным.

У детей Палмеров, у всех семерых, были солидные, благоразумные, не располагающие к теплым объятиям имена во вкусе поколения наших родителей — Эндрю, Дейдре, Кэтлин, Сьюзен, Дейв и Ивэн. Тайлер — un peu[2] экзотично, но он ведь дитя любви. Я как-

[1] «Супертрэмп» — английская рок-группа, исполняющая мелодичную музыку с элементами арт-рока.
[2] Немного (*франц.*).

то сказал Тайлеру, что хочу сменить свое имя на какое-нибудь новое, хипповское, например Гармоний или Джинс. Он уставился на меня: «Совсем с ума сошел. Эндрю отлично смотрится в резюме — чего еще надо? Чудики с именами типа Сникер или Болбейс даже до менеджеров среднего звена не дорастают».

Дейдре встретит это Рождество в Порт-Артуре, Техас, в депрессии от своего неудавшегося, слишком раннего замужества.

Дейв — старший из братьев, который должен был стать ученым, а вместо этого отрастил тонкий, как паутинка, хвостик и теперь продает пластинки в магазине альтернативной музыки в Сиэтле (и он, и его подружка Рейн носят только черное), — сейчас в городе Лондоне, страна Великобритания, принимает экстази и шляется по ночным клубам. Когда вернется, еще полгода будет говорить с натужным британским акцентом.

Кэтлин, вторая по старшинству, настроена против Рождества по идеологическим соображениям; ей не по вкусу почти все буржуазные сантименты. Она держит преуспевающую феминистскую молочную ферму в свободной от аллергенов зоне на востоке Британской Колумбии и говорит, что, когда наконец начнется «нашествие», оно застанет нас всех в магазинах поздравительных открыток, и вообще так нам и надо.

Сьюзен, моя любимая сестра, самая веселая, самая артистичная в семье, несколько лет назад после окончания колледжа вдруг запаниковала, ушла в юриспруденцию и выскочила замуж за кошмарного всезнайку, адвоката-яппи по имени Брайан (союз, способный привести только к беде). За один день она стала нездорово серьезной. Так бывает. Много раз сам наблюдал.

Они живут в Чикаго. Рождественским утром Брайан будет снимать на «полароид» крошку Челси (имя выбрал он) в кроватке, в переднюю спинку которой, как мне кажется, вставлен крюгерранд[1]. И, должно быть, весь день они проведут за работой, не отвлекаясь даже на еду.

Надеюсь, когда-нибудь я избавлю Сьюзен от ее безрадостного удела. Как-то мы с Дейвом решили нанять специалиста по дезомбированию и даже звонили на теологический факультет университета, чтобы узнать, где его можно найти.

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ:
подгруппа поколения Икс, в основном известная своим обычаем одеваться во все черное.

ЧЕРНЫЕ НОРЫ:
ареал обитания «черных дыр». Как правило, неотапливаемые складские помещения, расписанные флюоресцирующей краской, заваленные изуродованными манекенами, сувенирами, связанными с Элвисом Пресли, переполненными пепельницами, разбитыми зеркальными скульптурами. Музыкальный фон — звучащий откуда-то из угла «Велвет андеграунд».

РАЗМНОЖЕНИЕ ПО СТРЭНДЖЛАВУ:
обзаведение детьми для преодоления своего неверия в будущее.

СКВАЙРЫ:
самая распространенная подгруппа поколения Икс — единственная испытывающая удовольствие от размножения. Сквайры существуют почти исключительно парами. Их легко узнать по отчаянным стараниям воссоздать в своей повседневной жизни видимость изобилия эры Эйзенхауэра — назло непомерно вздутой стоимости жилья и необходимости работать в нескольких местах одновременно. Характерная черта сквайров — непреходящая усталость, вызванная жадной погоней за мебелью и безделушками.

Кто еще? С Тайлером вы уже знакомы, остается Ивэн в Юджине, штат Орегон. Соседи родителей называют его «единственным нормальным из палмеровских деток». Но есть вещи, о которых соседи не знают: как он пьет запоем, просаживает зарплату на кокаин, с каждым днем становится все облезлее, рассказывает нам с Тайлером и Дейвом, как гуляет от жены, к которой на людях обращается голоском мультипликационного персонажа Элмера Фуда. Ивэн не ест овощей, и мы все убеждены, что когда-нибудь его сердце просто взорвется. Серьезно, разлетится на мелкие ошметки. А ему все равно.

Ах, мистер Леонард, отчего мы все оказались в таком дерьме? Мы во все глаза высматриваем «птичку», которую вы держите в руке, — вправду смотрим, — но больше ее не видим. Подскажите, пожалуйста, где ее искать.

[1] Валюта ЮАР.

* * *

До Рождества двое суток, аэропорт Палм-Спрингс битком набит загорелыми до клюквенного цвета туристами и дебильноватыми, бритыми наголо морскими пехотинцами, направляющимися домой за ежегодной порцией традиционных семейных мелодрам: во гневе прерванных застолий и с треском захлопнутых дверей. Клэр в ожидании своего рейса в Нью-Йорк курит, нервно и непрерывно; я жду свой — в Портленд. Дег держится с эрзац-непринужденностью; он не хочет показывать, как одиноко ему будет без нас всю эту неделю. Даже Макартуры уезжают на праздники в Калгари.

Неврастения Клэр — защитная реакция.

— Я знаю, вы считаете — раз я еду за Тобиасом в Нью-Йорк, значит, я бесхребетная подстилка. Перестаньте смотреть на меня так.

— Вообще-то, Клэр, я всего лишь читаю газету, — говорю я.

— Да, но ты хочешь на меня поглазеть. Я чувствую.

Какой смысл втолковывать ей, что это просто мания преследования? С тех пор как Тобиас уехал, их с Клэр разговоры по телефону были выдержаны в духе крайней пустопорожности. Она щебетала, на ходу строя всевозможные планы. Тобиас безучастно слушал, как посетитель ресторана, которому долго рассказывают о гвоздях сегодняшнего меню — махи-махи, там, рыба-меч, камбала, — обо всем том, чего, как он заранее знает, он в жизни не закажет.

Словом, мы сидим в зале ожидания и ждем своих крылатых автобусов. Мой отправляется в путь первым, и, когда я направляюсь к дверям, ведущим на летное поле, Дег просит меня соблюдать хладнокровие и постараться не спалить родительский дом.

* * *

Как я уже упоминал, мои родители, Фрэнк и Луиза, превратили дом в музей «Жизнь на Земле пятнадцать лет назад» — именно тогда они в последний раз обновили мебель, тогда был сделан Семейный портрет. С той поры большая часть их энергии уходит на уничтожение улик, которые могли бы свидетельствовать, что время не стоит на месте.

Не спорю, несколько чисто символических примет передовой культуры было допущено в дом — это, например, оптовые закупки продовольствия. Их гнусные картонные улики громоздятся в кухне, но родители ничуть не стыдятся («Я знаю, что это безвкусно, малыш, но какая экономия»).

В доме есть несколько высокотехнологичных новшеств, в основном купленных по настоянию Тайлера: микроволновая печь, видеомагнитофон, телефон с автоответчиком. Что касается последнего, я замечаю, что родители, оба телефонофобы, наговаривают на него тексты с той же нерешительностью, с какой миссис Стюйвезент Фиш записывала граммофонные пластинки для капсулы времени.

— Мам, а что, если вы с отцом на этот раз плюнете на Рождество и рванете на Мауи? У нас с Тайлером уже заранее депрессия.

— Может, в будущем году, сынок, когда у нас будет посвободнее с деньгами. Ты ведь знаешь, какие сейчас цены...

— Ты говоришь это каждый год. Пожалуй, хватит вам стричь купоны. И притворяться бедными.

— Уж позволь это нам, родной. Нам нравится изображать голь перекатную.

«БЕДНОСТЬ ПОДСТЕРЕГАЕТ ТЕБЯ ЗА УГЛОМ»:
боязнь нищеты, исподволь перенятая в детстве от родителей, которые на своей шкуре испытали, что такое «великая депрессия».

ДЕЛЕЖ ПИРОГА:
навязчивая потребность детей прикидывать в уме размеры наследства, которое оставят им родители.

СОПРИЧАСТНОСТЬ:
стремление в любой ситуации занимать сторону слабейшего. У потребителей это выражается покупкой неказистых с виду, «унылых» либо не пользующихся спросом продуктов. «Я знаю, что эти венские сосиски — инфаркт на вилке, но они выглядели такими несчастными среди всей этой мажорской жратвы, что я просто была вынуждена их купить».

Мы выезжаем из портлендского аэропорта в знакомый ландшафт: зеленые поля, припорошенные дождичком. Уже через десять минут все успехи на ниве духовного и психологического самосовершенствования, которых я добился вдали от семьи, испаряются либо теряют силу.

— Так вот какая у тебя теперь стрижка, сынок?

Мне напоминают: как ни старайся, для родителей я навсегда останусь двенадцатилетним. Родители искренне стараются не воспламенять тебе нервы, но их суждения как бы «не в фокусе» и вне масштаба. Обсуждать личную жизнь с родителями — все равно что, увидев в зеркале заднего вида один-единственный прыщик у себя на носу, из-за отсутствия контекста и контраста решить, что у тебя сыпь и рак кожи одновременно.

— Слушай, — говорю я. — Неужели и впрямь в этом году только мы с Тайлером?

— Похоже на то. Хотя мне кажется, Ди может приехать из Порт-Артура. Она скоро вернется в свою старую спальню. Есть признаки.

— Признаки?

Мать увеличивает скорость движения дворников и включает фары. Что-то ее тяготит.

— Вы все уезжали и возвращались, уезжали и возвращались столько раз, что я даже не вижу смысла говорить друзьям, что дети разъехались. Да и тема эта больше не обсуждается. Мои друзья со своими детьми проходят через то же самое. Когда мы сталкиваемся в «Сэйфвэе»[1], то больше не спрашиваем друг друга о детях, как раньше, — это как бы не принято. А то было бы одно расстройство. Кстати, ты помнишь Аллану дю Буа?

— Красотку?

— Обрила голову и ушла в секту.

— Да что ты?!

— Но сначала продала все материнские драгоценности, чтобы заплатить за место в Лотосовой Элите у своего гуру. Расклеила по всему дому бумажки со словами: «Я буду молиться за тебя, мама». Мать в конце концов выставила ее из дому. Теперь она в Теннесси, выращивает репу.

— Все облажались. Никто не вырос нормальным. Ты кого-нибудь еще видела?

— Всех. Только я не помню, как их зовут. Донни... Арнольд... Я помню их маленькими, когда они забегали к нам за леденцами. А сейчас они все такие побитые, постаревшие — какая-то преждевременная дряхлость. А вот Тайлеровы друзья, надо сказать, все живчики. Совсем другой коленкор.

— Тайлеровы друзья живут в мыльных пузырях.

— Это и неправда и несправедливо, Энди.

Она права. Я просто завидую, что друзьям Тайлера будущее не страшно. Завистник и трус.

СОКРАЩАЙ
ОЧИЩАЙ
ОПРЕСНЯЙ
НАСТАВЛЯЙ

— Ладно, извини. Так почему ты думаешь, что Ди может вернуться домой? Ты начала говорить...

Мы едем по почти пустынному бульвару Сэнди в сторону центра, к стальным мостам — мостам цвета облаков, мостам столь замысловатым и огромным, что мне вспоминается Нью-Йорк из рассказа Клэр. Я задумываюсь, способна ли их масса совратить законы притяжения.

— Ну, когда вы, дети, звоните и начинаете грустить о прошлом или ругаете свою работу — я понимаю, что пора стелить чистое белье. Или если все *слишком* хорошо. Три месяца назад Ди звонила и рассказывала, что Ли покупает ей молочный магазин. Я никогда не слышала такого восторга в ее голосе. И я тут же сказала отцу: «Фрэнк, руку даю на отсечение — еще весна не наступит, а она вернется в свою комнату рыдать над школьными фотографиями». Похоже, я скоро выиграю пари.

---

[1] «Сэйфвэй» — сеть супермаркетов.

Или когда Дэви единственный раз устроился на более-менее пристойную работу — его взяли художественным редактором в журнал, и он взахлеб рассказывал, как ему там нравится. А я знала, что не пройдет и двух минут, как эта работа ему наскучит. И точно — дин-дон, звонок в дверь, стоит Дэви с этой девушкой, Рейн, вылитые беглецы из детского концлагеря. Влюбленная парочка прожила у нас в доме полгода, Энди. Тебя не было; ты ездил в Японию или еще куда-то. Ты представить себе не можешь этот кошмар. Я до сих пор повсюду нахожу обрезки ее ногтей... Отец, бедняга, обнаружил один в морозильнике — черный отполированный ноготь — просто жуть.

2 X 2 = 5:
капитуляция после долгого сопротивления рекламной кампании, направленной прямиком на ваш слой потребителей: «Ну ладно, ладно, куплю я вашу дурацкую колу. А теперь проваливайте».

ПАРАЛИЧ РЕШИТЕЛЬНОСТИ:
неспособность сделать выбор, когда возможности ничем не ограничены.

— А сейчас вы с Рейн друг друга терпите?

— Едва-едва. Не скажу, что очень огорчилась, когда узнала, что она встречает Рождество в Англии.

Дождь усилился; один из любимых моих звуков — стук дождя по металлической крыше автомобиля. Мать вздыхает:

— А я-то возлагала на вас такие надежды. Ну как можно было думать иначе, глядя на ваши личики? Но мне пришлось перестать обращать внимание на то, что вы вытворяете со своими жизнями. Надеюсь, тебя это не обижает? Потому что после этого моя жизнь стала намного-намного легче.

Подъезжая к дому, я вижу Тайлера, который впрыгивает в свою машину, прикрывая тщательно завитую голову красной спортивной сумкой.

— Привет, Энди! — кричит он, забираясь в свой теплый, сухой мирок и захлопывая дверь. Затем, высунувшись в окно, добавляет: — Добро пожаловать в дом, забытый временем.

ДА — MTV, НЕТ — ПУШКАМ

Канун Рождества. Сегодня, ничего никому не объясняя, я покупаю огромное количество свечей. Церковные свечки, именинные свечи, свечи на случай отключения электричества, столовые свечи, еврейские свечи, рождественские свечи и свечи из магазина индуистской книги с кое-как намалеванными богами-человекоидами. Все годятся — пламя-то одинаковое. В «Дарст-трифти-марте» на 21-й улице у Тайлера, обескураженного моей свечеманией, язык отнялся от стыда; чтобы придать тележке более праздничный и менее безумный вид, он кладет в нее замороженную индейку.

— Все-таки что такое церковные свечи? — глубоко вдыхая дурманящий синтетически-черничный аромат столовой свечи, интересуется Тайлер, обнаруживая одновременно свою обескураженность и атеистическое воспитание.

— Их зажигают, когда молятся. В Европе они есть в каждой церкви.

— О, вот эту ты пропустил, — он передает мне красную круглую настольную свечу, покрытую сеточкой, какие бывают в семейных итальянских ресторанах. — Люди косятся на твою тележку, Энди. Ты не можешь сказать, для чего эти свечи?

— Это рождественский сюрприз, Тайлер. Встань-ка в очередь.

Мы идем к кассе, которая, как всегда в эти дни, перегружена; в наших поношенных нарядах, извлеченных из моего старого шкафа, где они хранились с былых панковских дней, мы кажемся на удивление нормальными — Тайлер в старой кожаной куртке, вывезенной мной из Мюнхена, и я — в ветхих рубашках одна поверх другой и джинсах.

Снаружи, разумеется, дождь.

Сидя в машине Тайлера, катящей домой по Бернсайд авеню, я пытаюсь рассказать Тайлеру Дегову историю о конце света в супермаркете «Вонс».

— Есть у меня один друг в Палм-Спрингс. Так вот, он говорит, что, когда врубятся сирены воздушной тревоги, первым делом люди кинутся за свечами.

— Ну и?

— Я думаю, потому-то в «Дарст-трифти-марте» на нас так и косились. Удивлялись, почему не слышно сирен.

— М-м-м-м. И за консервами, — отвечает он, поглощенный номером «Вэнити фейр»[1] (за рулем — я). — Как ты считаешь, стоит мне осветлить волосы?

* * *

— Ты все еще пользуешься алюминиевыми кастрюлями и сковородками, а, Энди? — спрашивает отец, заводя в гостиной наши старинные часы с маятником. — Выбрось их, понял. Алюминий на кухне — прямой путь к болезни Альцгеймера.

Два года назад у отца случился удар. Не самый серьезный, но неделю он не мог двигать правой рукой, а теперь вынужден принимать лекарство, которое, помимо всего прочего, блокирует работу слезных желез, — теперь он не способен плакать. Надо сказать, что это испытание напугало его и он довольно радикально изменил образ жизни. Особенно — режим питания. До удара он ел, как фермер в поле, — только успевал нарезать себе куски красного мяса, напичканного гормонами, антибиотиками и еще бог знает чем, а в придачу — горы картофельного пюре и реки виски. Теперь, к большому облегчению матери, он ест курятину и овощи, частенько заглядывает в магазины экологически чистых продуктов и установил на кухне полочку с витаминами, источающую хипповский аромат витамина В, отчего кухня напоминает аптеку.

Подобно мистеру Макартуру, отец только на закате жизни заметил, что у него есть тело. Лишь столкновение со смертью отвратило его от многовековых кулинарных мифов, порожденных железнодорожными рабочими, скотоводами, а также нефтехимическими и фармацевтическими фирмами. Но опять же — лучше поздно, чем никогда.

— Нет, пап. Никакого алюминия.

— Хорошо-хорошо. — Повернувшись, он смотрит в телевизор в другом конце комнаты и, глядя на толпу рассерженных молодых людей, протестующих где-то против чего-то, пренебрежительно бурчит: — Вы только посмотрите на этих парней. Неужели никто из них не работает? Подыщите им какое-нибудь занятие. Покажите им по спутниковому каналу видеоклипы, которые Тайлер смотрит, — да что угодно — главное, их занять. Ох ты господи! — Отец, подобно бывшей Деговой коллеге Маргарет, не верит, что люди способны конструктивно тратить свободное время.

Потом Тайлер сбегает с ужина. В комнате остаются я, мать, отец, четыре перемены блюд и вполне объяснимое напряжение.

— Мам, да не хочу я никаких подарков на Рождество. Не хочу допускать в свою жизнь вещи.

— Рождество без подарков? Ненормальный. Ты что, там у себя перегрелся?

Позже, в отсутствие большинства своих детей, мой сентиментальный отец бродит по пустым комнатам нашего дома, словно пробивший днище собственным якорем танкер в поисках порта — места, где мог бы заварить рану. Наконец он решает сложить чулки возле камина. В чулок Тайлера он кладет подарки, в покупку которых каждый год вкладывает всю душу:

ПОДУШНЫЙ НАЛОГ:
издержки вступления в брак — занятные ребята на глазах превращаются в зануд: «Спасибо за приглашение, но мы с Норин собирались полистать каталог кухонной посуды, а позже посмотреть «Магазин на диване».

МАЛЬЧИДЕВИШНИК:
модифицированная сквайрами древняя традиция смотрин грудного младенца. Теперь на такие церемонии приглашают вопреки обычаю не только женщин, но и мужчин. Таким образом, количество друзей, дары приносящих, увеличивается вдвое, и совокупная стоимость подарков поднимается до стандартов эйзенхауэровской эры

[1] Иллюстрированный журнал, издающийся в США.

крошечные бутылочки с полосканием для рта, японские апельсины, арахис в сахаре, штопоры, лотерейные билеты. Когда же дело доходит до моего чулка, он просит меня выйти из комнаты, хотя, я знаю, дорожит моим обществом. Теперь моя очередь шататься по дому, слишком большому для нашей маленькой компании. Даже елка, наряженная в этом году скорее по привычке, не поднимает настроения.

Телефон мне не друг; в этот момент Портленд — Город Смерти. Друзья либо переженились и погрязли в тоске и депрессии; либо, не женившись, погрязли в тоске и депрессии; либо сбежали от тоски и депрессии — то есть из нашего города. А некоторые купили дома, что для индивидуальности все равно что поцелуй смерти. Когда друзья сообщают тебе: «Мы только что купили дом» — это, считай, признание в том, что свою индивидуальность они потеряли. Сразу можно безошибочно домыслить, как они живут: люди эти застряли на ненавистной работе; в карманах у них пусто; каждый вечер они смотрят видеофильмы; у них килограмм семь лишнего веса; и они больше не прислушиваются к новым идеям. Удручающая картинка. Но самое худшее — этим людям даже не нравятся их дома. И счастливы они лишь в те редкие минуты, когда грезят, как будут «доводить дом до ума».

РЕДУКЦИЯ ГНЕЗД:
наблюдающаяся в среде родителей тенденция переселяться после того, как дети отделились, в маленькие, без специальных гостевых комнат, дома, дабы дети в возрасте от 20 до 30 не возвращались домой, аки бумеранги.

ЗАВИСТЬ К ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ:
чувство ревности, пробуждающееся в юных и отверженных при знакомстве с душераздирающей статистикой стоимости жилья.

Господи, с чего это я так разбрюзжался?

Мир превратился в один большой тихий дом, как у Дейдре в Техасе. Нет, так жить нельзя.

Чуть раньше я сдуру брякнул, что дом у нас какой-то невеселый, а отец пошутил:

— Не зли нас, а то мы, как сделали родители всех твоих друзей, переедем в кооперативную квартиру, где не будет ни комнаты для гостей, ни лишнего постельного белья.

Ничего остроумнее не мог придумать...

Отлично.

Как будто они могут переехать. Я знаю, что этого не произойдет никогда. Они будут сопротивляться переменам; изобретать защитные талисманы, вроде бумажных «полешек» для растопки камина, которые мать скручивает из газет. Они будут бесцельно слоняться по дому, пока, словно жуткий чумной бродяга, не вломится будущее и не сотворит какое-нибудь зверство — смерть, болезнь, пожар или (вот чего они по-настоящему боятся) банкротство. Визит бродяги окончательно стряхнет с них благодушие; подтвердит, что беспокоились они не напрасно. Они знают, что его кошмарный приход неизбежен; перед глазами у них стоят гнойники на его коже — зеленые, как больничная стена, — его лохмотья, выкопанные в мусорных ящиках за складом бойскаутского клуба в Санта-Монике, где он и ночует. И им известно, что он не владеет недвижимостью, он не будет обсуждать телепередачи, зато будет заманивать воробьев в птичью клетку.

Но они не хотят говорить о нем.

Одиннадцать. Отец с матерью спят, Тайлер где-то празднует. Короткий телефонный разговор с Дегом возвращает мне уверенность в том, что где-то во Вселенной существует другая жизнь. Новость дня — «астон-мартин» попал на седьмую страницу «Дезерт сан» (больше ста тысяч ущерба возводят дело в ранг уголовного преступления), а Шкипер заходил выпить в бар «У Ларри», высосал море, а когда Дег попросил его расплатиться, просто ушел. Дег по глупости отпустил его. Похоже, наше дело труба.

СОКРАЩАЙ что можешь

— Ах да. Мой братец-джинглописец прислал мне старый парашют, чтобы укрывать «сааб» на ночь. Подарочек, а?

Позже, сидя перед телевизором, я приканчиваю целую пачку шоколадного печенья. А еще позже, направляясь в кухню, чтобы порыться в холодильнике, понимаю, что сейчас упаду в обморок от скуки. Не стоило мне ехать домой на Рождество. Вырос я из этого. Было время, когда,

возвращаясь из разных учебных заведений или путешествий, я ждал, что увижу свой дом как-то по-новому. Такого больше не происходит — время откровений, по крайней мере в отношении родителей, прошло. Не подумайте чего: у меня остались два милых сердцу человека — больше, чем у многих других; но пора двигаться дальше. Мне кажется, каждый из нас потом оценит это по достоинству.

УСТРОЙ ТРАНСФОРМАЦИЮ

Рождество. С раннего утра я в гостиной со своими свечами — сотнями, а может, и тысячами свечей, — а также с кучей рулонов сердито шелестящей фольги и стопками одноразовых блюдец. Я ставлю свечи на все доступные плоские поверхности — фольга не только предохраняет их от капающего стеарина, но и удваивает пламя за счет отражения. Свечи повсюду: на пианино и на книжных полках, на кофейном столике, на каминной полке, на подоконнике — защищая комнату от как-по-заказу-сумрачного глянцевито-сырого дня. На одной только стереодеке в дубовом корпусе стоит по меньшей мере пятьдесят свечей: этакий портрет международной семьи эсперантистов всех видов и габаритов. Члены профсоюза мультперсонажей стоят между серебряными кругляшами, среди лимонных и зеленых шпилей. Клубнично-красные колоннады, белые просеки — пестрый демонстрационный набор для тех, кто никогда не видел свечей.

Я слышу наверху шаги, отец зовет:

— Это ты там внизу, Энди?

— С Рождеством, пап. Все встали?

— Почти. Мать как раз мутузит Тайлера по животу. Что ты там делаешь?

— Это сюрприз. Обещай мне. Обещай мне, что вы не спуститесь еще пятнадцать минут. В пятнадцать минут я уложусь.

— Не волнуйся. Столько времени Его Высочество затрачивает на то, чтобы сделать выбор между муссом и гелем. Причем это минимум.

— Так обещаешь?

— Пятнадцать минут. Время пошло.

Вы когда-нибудь пытались зажечь тысячу свечей? Это не такое быстрое дело, как кажется. Используя в качестве трута обыкновенную белую столовую свечу и держа под ней блюдце, чтобы не накапать, я поджигаю свои драгоценные фитильки — частокол церковных свечей, отряды «ярцайтов»[1] и малочисленные колонны песочного цвета. Поджигая их, я чувствую, что в комнате становится жарче. Приходится открыть окно — впустить кислород и холодный воздух. Я заканчиваю.

Вскоре три имеющихся в наличии члена семьи Палмер собираются наверху у лестницы.

— Ты готов, Энди? Мы идем, — кричит отец под аккомпанемент перкуссии Тайлеровых ног, топающих по лестнице, и его бэк-вокала: «Новые лыжи, новые лыжи, новые лыжи, новые лыжи...»

Мать говорит, что чувствует запах воска, но ее голос обрывается. Я понимаю, что они дошли до угла и уже видят масляный желтый отблеск огней, вырывающийся из гостиной. Они обогнули угол.

— О боже... — произносит мама, когда они входят в комнату. Онемев, все трое медленно оглядывают обычно такую тоскливую гостиную, усыпанную трепещущими, живыми белыми огоньками — пламя охватило все поверхности; ослепительное недолговечное царство безупречного света. В мгновение ока мы избавляемся от вульгарной силы тяжести; попадаем во Вселенную, где наши тела, как астронавты на орбите, могут выделывать акробатические трюки под аплодисменты лихорадочных, лижущих стены теней.

---

[1] Поминальные свечи, по еврейскому обычаю зажигаемые в годовщину смерти близких родственников (от нем. Jahrzeit — время года).

— Как Париж... — произносит отец (подразумевая, клянусь, собор Парижской Богоматери), вдыхая воздух — горячий, даже обжигающий; так, верно, пахнет воздух на пшеничном поле, где оставила выжженный круг летающая тарелка.

Я тоже смотрю на плоды своего труда. Мне по-новому открывается эта старая комната, погруженная в золотистое пламя. Результат превзошел мои ожидания; свет безболезненно, беззлобно, точно ацетиленом, прожигает в моем лбу дыры и вытягивает меня из моего тела. Он также, пусть на какое-то мгновение, открывает разнообразие форм существования в сегодняшнем дне, чем жжет глаза членам моей семьи.

— Ой, Энди, — говорит, садясь, мать. — Знаешь, на что это похоже? На сон — такие бывают у каждого: человек неожиданно обнаруживает в своем доме комнату, о существовании которой не догадывался. Едва увидев ее, он говорит сам себе: «Ну конечно, естественно, она всегда здесь была».

Отец с Тайлером усаживаются — с очаровательной неуклюжестью людей, только что выигравших крупный приз в лотерее.

— Это видеоклип, Энди, — говорит Тайлер. — Прямо видеоклип.

Есть лишь одна загвоздка.

Вскоре жизнь вернется в прежнее русло. Свечи медленно догорят, и возобновится обычная утренняя жизнь. Мама пойдет за кофейником; отец, предохраняя нас от звукового шока, отключит актиниевое сердце противопожарной сигнализации; Тайлер опорожнит свой чулок и начнет разбираться с подарками («Новые лыжи! Ну, теперь и умереть не жалко!»).

А у меня возникает чувство...

Я чувствую, что наши эмоции, какими бы прекрасными они ни были, существуют в вакууме, и виной тому — наша принадлежность к среднему классу.

Понимаете, когда принадлежишь к среднему классу, приходится мириться с тем, что история человечества тебя игнорирует. С тем, что она не борется за твои интересы и не испытывает к тебе жалости. Такова цена каждодневного покоя и уюта. Оттого все радости стерильны, а печали не вызывают сострадания.

И все мельчайшие проблески огненной красоты, такие, как это утро, будут напрочь забыты, растворятся во времени, как оставленная под дождем фотопленка, без звука, без шума, мгновенно вытесненные тысячами безмолвно растущих деревьев.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ИЗ ВЬЕТНАМА, СЫНОК

Пора сматываться. Я хочу вернуться в свою реальную жизнь со всеми ее прикольными запахами, пустотами одиночества и долгими поездками в автомобиле. Хочу друзей и отупляющую работу на раздаче коктейлей героям вчерашних дней. Мне не хватает жары, сухости и света.

— Тебе нормально живется в Палм-Спрингс, а? — двумя днями позже спрашивает Тайлер, когда мы с ревом поднимаемся в гору, чтобы по пути в аэропорт посетить мемориал вьетнамской войны.

— Ладно, Тайлер — колись. Что говорили папа с мамой?

— Ничего. Все больше вздыхали. Но эти вздохи и рядом не стоят со вздохами о Ди или Дэви.

— Да?

— Слушай, но что ты там все-таки делаешь? У тебя ни телевизора. Ни друзей...

— Друзья у меня есть, Тайлер.

— Ну хорошо, есть у тебя друзья. Но я за тебя волнуюсь. Во-от. Такое впечатление, что ты всего лишь скользишь по поверхности жизни, вроде водомерки — словно у тебя есть какая-то тайна и она не пускает тебя в мирскую, повседневную жизнь. Ну и ладно, только мне как-то страшно за тебя. И если ты, ну, исчезнешь или типа того, я не знаю, сумею ли это перенести.

— Господи, Тайлер. Никуда я не денусь. Обещаю. Успокойся, ладно? Заруливай вон туда...

— Но ты дашь мне знать? Если решишь уехать, перемениться или что ты там задумал...

— Не ной. Хорошо, обещаю.

— Только не бросай меня. Вот и все. Я знаю — со стороны кажется, что моя жизнь и все остальное мне в кайф, но знаешь что: в этом участвует лишь половина моего сердца. Ты на меня и моих друзей всех собак вешаешь, я знаю, но я бы в одну секунду отдал все это, если б кто предложил хоть сколько-нибудь приемлемую альтернативу.

— Тайлер, перестань.

— Я так устал всему на свете завидовать, Энди... — Да, этого мальчика уже не остановишь. — И меня трясет от страха, потому что я не вижу будущего. И я сам не пойму, откуда у меня эта инстинктивная самоуверенность. Серьезно, меня вправду трясет. Может, я и не похож на человека, который замечает, что вокруг него происходит, но, Энди, я все замечаю. Я просто не позволяю себе это показывать. Сам не знаю почему.

ОТТЕНКИ ЧЕРНОГО:
умение отличить ревность от зависти.

Поднимаясь на холм к воротам мемориала, я обдумываю услышанное. Должно быть, мне придется (как говорит Клэр) «добавить капельку юмора в свое отношение к жизни». Но это трудно.

* * *

В Бруклинском заливе выловлено 800 000 фунтов рыбы, в Кламат-Фолс с большим успехом прошла выставка коров абердинской породы. А в Орегоне поистине текут медовые реки: в 1964 году в этом штате, согласно официальной статистике, насчитывалось 2 000 пчеловодов.

Вьетнамский мемориал называется «Сад утешения». Он построен в виде спирали, наподобие музея Гуггенхайма; спираль проходит по склонам горы, похожим на груды обильно политых водой изумрудов. Поднимаясь по винтовой тропе, от подножия холма к вершине, посетители читают высеченный на каменных плитах рассказ о событиях вьетнамской войны, перемежаемый хроникой повседневной жизни в Орегоне. Под этими параллельными повествованиями — имена наголо стриженных орегонских парней, погибших в чужой грязи.

Мемориал — одновременно замечательный документ и заколдованная страна. Круглый год здесь можно встретить туристов и скорбящих всех возрастов и обликов, на различных стадиях духовной надломленности, отремонтированности и возрождения, оставляющих после себя маленькие горки цветов, писем, рисунков, часто исполненных нетвердой детской рукой. И конечно же слезы. Во время осмотра мемориала Тайлер ведет себя с некоторой почтительностью — другими словами, воздерживается от плясок и пения, которые вполне мог бы себе позволить, будь мы в торговом центре округа Клакамас. Его недавний выброс откровенности завершился и, могу поклясться, больше не повторится.

— Что-то не пойму я тебя, Энди. Здесь, конечно, клево и все такое, но с чего вдруг ты заинтересовался

ЗУД В ОБЛАСТИ ИРОНИИ:
инстинктивная потребность безотчетно, словно так и надо, уснащать самые банальные бытовые разговоры легкомысленными ироничными замечаниями.

ПРЕЗУМПЦИЯ НАСМЕШКИ:
особая тактика поведения; нежелание проявлять какие бы то ни было чувства, дабы не подвергнуться насмешкам со стороны себе подобных. «Презумпция насмешки» — основной стимул «зуда в области иронии».

ПОЧИВАТЬ НА ГИПОТЕТИЧЕСКИХ ЛАВРАХ:
придерживаться убеждения, что бессмысленно заниматься той или иной деятельностью, если на ее поприще нельзя стать мировой знаменитостью. Хотя этот феномен легко спутать с ленью, он имеет намного более глубокие корни.

Вьетнамом? Война закончилась, когда у тебя еще даже вторичные половые признаки не появились.

— Я, конечно, не специалист по Вьетнаму, Тайлер, но кое-что я помню. Так, смутно, конечно, — черно-белые телевизионные картинки. Когда мы росли, Вьетнам был точно цвет фона, на котором протекала жизнь, типа как красный, синий, золотой, примешивался ко всем оттенкам. А потом в одночасье испарился. Представь себе, однажды ты просыпаешься и обнаруживаешь, что пропал зеленый цвет. Я приезжаю сюда, чтобы увидеть цвет, которого нигде больше не могу увидеть.

НОСТАЛЬГИЯ это оружие

— Да, а я ничего не помню.

— Ну, это и к лучшему. Гадкое было время...

Я абстрагируюсь от наводящих вопросов Тайлера.

Да, думаю я про себя, гадкое было времечко. Но вместе с тем это был единственный исторический — Исторический, с большой буквы — период на моей памяти, до того как «история» переродилась в пресс-релизы, стратегию маркетинга, орудие циничных рекламных кампаний. Учтите, не так уж много подлинной Истории я застал — я появился на ее арене слишком поздно, под конец финального акта. Но я видел достаточно, и сегодня, когда мы имеем фантасмагорическое отсутствие всякого исторического присутствия, мне нужна связь со значительными событиями былого, любая тонюсенькая ниточка.

Я моргаю, словно выходя из транса.

— Эй, Тайлер, ты готов отвезти меня в аэропорт? До рейса 1313 в город Глупстон осталось не так много.

* * *

Самолет делает промежуточную посадку в Финиксе, а через несколько часов такси везет меня по пустыне — Дег на работе, а Клэр еще не вернулась из Нью-Йорка.

Небо — из сказочного тропически-черного бархата. Томные пальмы-бабочки склоняются к полной луне, нашептывая ей соленые анекдоты о фермерских дочках и коммивояжерах. Сухой воздух пискляво сплетничает о пыльце — о ее неразборчивости в связях, а подстриженные лимонные деревья источают самый чистый в моей жизни запах. Вяжущий такой. Собак нет, и я догадываюсь, что Дег выпустил их погулять.

Дойдя до маленькой кованой калитки, открывающейся в общий двор наших бунгало, я ставлю на землю сумки и вхожу. Подобно ведущему телевикторины, приветствующему нового участника состязания, я кричу: «Здравствуйте, двери!» входным дверям Дега и Клэр. Подходя к своему дому, я слышу, как за дверью звонит телефон. Но это не мешает мне остановиться на крыльце и легонько поцеловать мою дверь. Спорим, вы бы тоже так сделали?

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ РИСКА — ЭТО ДИСНЕЙЛЕНД

Клэр звонит из Нью-Йорка. В ее голосе появилась нотка уверенности, которой там сроду не было, — прибавилось слов, выделенных энергичным курсивом. После краткого обмена праздничными любезностями я перехожу к делу и задаю Основной Вопрос:

— Как прошло с Тобиасом?

— Comme ci, comme ça[1]. Тут без сигареты не разберешься, ягнюша; подожди — одна должна была остаться в шкатулке. «*Булгари*», можешь себе представить? Новый матушкин муженек, Арманд, купается в деньгах. Он держит патент на две маленькие кнопочки на телефонах — звездочку и решетку. Все равно что право на использование Луны. Можешь ты в такое поверить? — Слышится «чик-чик» — она подносит зажигалку к стиб-

[1] Так себе; кое-как (*франц.*).

ренной у Арманда сигарете. — М-да, Тобиас. Угу, угу. Тяжелый случай. — Глубоко затягивается. Тишина. Выдыхает дым.

Я посылаю пробный шар:

— Когда вы увиделись?

— Сегодня. Веришь? На пятый день после Рождества. Невероятно. Мы договаривались встретиться раньше, но у этого... гондона вечно возникали непредвиденные обстоятельства. Наконец мы решили позавтракать в Сохо, хотя после ночной гулянки с Аллаком и его приятелями я еле глаза продрала. Я даже ухитрилась приехать в Сохо раньше времени — и только ради того, чтобы обнаружить, что ресторан закрыт. Проклятые кооперативные дома, они все под себя метут. Ты бы не узнал Сохо, Энди. Полный Диснейленд, только сувениры и прически поприличнее. У всех коэффициент интеллекта 110, но они пыжатся, как будто он не меньше 140, и каждый второй из прохожих — японец с литографиями Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна под мышкой, которые ценятся на вес урана. И все чертовски довольны собой.

— Так что Тобиас?

— Да, да, да. Словом, я пришла раньше. А на улице хо-лод-но, Энди. Дико холодно. Холодрыга — уши отваливаются, поэтому мне пришлось необычно долго торчать в магазинах, разглядывая всякую ерунду, которой в другое время я не уделила бы и двух минут, — все для того, чтобы побыть в тепле. Так вот, стою я в одном магазине, и кого же я вижу — из галереи Мэри Бун выходят Тобиас и суперэлегантная старушенция. Ну, не совсем старушенция, но такая... крючконосая, а надето на ней — половина ежегодно производимой в Канаде пушнины. Красота скорее мужская, чем женская. Ну знаешь этот тип. Рассмотрев чуть пристальней черты лица, я заподозрила, что она доводится Тобиасу матерью. Гипотезу подкреплял тот факт, что они ссорились. Глядя на нее, я вспомнила одну идею Элвиссы — если у кого-то из супружеской четы сногсшибательная внешность, им надо молить Бога, чтобы родился мальчик, а не девочка, потому что из девочки получится не столько красавица, сколько насмешка природы. Так родители Тобиаса его и завели. Теперь понятно, откуда его внешность. Я поскакала здороваться.

— И?

— Похоже, Тобиас был рад отвлечься от ссоры. Он одарил меня поцелуем, от которого наши губы практически смерзлись — такой холод стоял, — и развернул меня к этой женщине со словами: «Клэр, это моя мать, *Элина*». Представь, знакомить кого-то со своей матерью и при этом произнести ее имя таким тоном, словно это каламбур какой-то. Это же просто хамство.

Как бы там ни было, Элина была уже не той, что когда-то танцевала в Вашингтоне румбу с кувшином лимонада в руке. Сейчас она скорее напоминала набальзамированную психоаналитиками мумию; мне даже померещилось, что я слышу, как гремят в ее сумочке пузырьки с таблетками. Разговор со мной она начала так: «Боже мой, какой у вас цветущий вид. Вы такая загорелая». Даже не поздоровалась. Она была вполне вежлива, но, кажется, ее голос работал в режиме «разговор-с-продавщицей-в-магазине».

Когда я сказала Тобиасу, что ресторан, куда мы собирались, закрыт, она предложила взять нас на ленч в «свой ресторан» в Верхнем Нью-Йорке. Я подумала: «Как это мило!», но Тобиас колебался, что не имело никакого значения — Элина просто приказала ему, и все. Насколько я понимаю, он избегает показывать матери людей, с которыми общается; видимо, она помирала от любопытства.

Короче, пошли мы к Бродвею, они оба горячие, как гренки, в своих мехах (Тобиас тоже был в шубе — ну и мажор), а у меня, в стеганой хлопчатобумажной курточке, зуб на зуб не попадал. Элина рассказывала о своей коллекции произведений искусства («Я живу и дышу искусством!»), а мы топали мимо почерневших зданий, пахнущих чем-то

солено-рыбным, как икра; мимо взрослых мужиков с волосами, стянутыми в хвост, в костюмах от Кензо, и психически больных бездомных носителей СПИДа, на которых никто не обращал внимания.

— В какой ресторан вы пошли?

— Мы поехали на такси. Я забыла название: где-то в восточной части Шестидесятых улиц. Надо сказать, trop chic[1]. В наше время всё très trop chic[2]: кружева, свечи, карликовые нарциссы и хрусталь.

Пахло приятно, как сахарной пудрой; перед Элиной просто на пол стелились. Нас отвели в банкетный зал, меню было написано мелом на грифельной доске — мне это нравится; так уютнее. Но что странно — официант держал доску лицом только ко мне и Тобиасу, а когда я хотела повернуть ее, Тобиас сказал: «Не волнуйся. У Элины аллергия на все известные виды продуктов. Она ест одно просо и пьет дождевую воду, которую в цинковых баках доставляют из Вермонта».

Я засмеялась, но очень быстро осеклась, поняв по лицу Элины, что это правда. Подошел официант и сообщил, что ей звонят, и она не возвращалась, пока ленч не кончился.

— Да, Тобиас тебе привет передает — хочешь бери, хочешь нет, — говорит Клэр, закуривая еще одну сигарету.

— Ого! Какой внимательный.

— Ладно, ладно. Сарказм не прошел незамеченным. Может, здесь уже и час ночи, но я еще что-то соображаю. Так на чем я остановилась? Да — мы с Тобиасом впервые остались одни. И что же, думаешь, я спрашиваю его о том, что меня действительно занимает? Типа — почему он сбежал от меня в Палм-Спрингс и куда катится наш роман? Естественно, нет. Мы сидели, болтали, ели; еда, надо сказать, была и вправду изысканная: салат из корней сельдерея под ремуладом и рыба-солнечник под соусом «Перно». М-м-м. Ленч, в общем-то, пролетел быстро. Не успела я оглянуться, Элина вернулась и — zoom[3]: мы выходим из ресторана; zoom: меня чмокнули в щеку; zoom: она в такси уезжает в сторону Лексингтон авеню. Неудивительно, что Тобиас так груб. Представь себе его воспитание.

Мы остались на тротуаре — в полной пустоте. По-моему, меньше всего нам хотелось разговаривать. Мы потащились вверх по Пятой авеню в музей Метрополитен, где было красиво, тепло, ходило множество хорошо одетых ребятишек и жило музейное эхо. Но Тобиас не мог не испакостить атмосферу нашей встречи: он учинил большой-большой скандал в гардеробе — заставлял бедную женщину повесить его шубу подальше, чтобы борцы за права животных не кинули в нее бомбочкой с краской. После этого мы поспешили в зал с египетскими скульптурами. Господи, люди тогда были просто крошечные.

— Мы не слишком долго разговариваем?

— Нет. Все равно Арманд платит. Итак. Суть в том, что перед черепками коптской керамики, когда мы оба чувствовали, что занимаемся ерундой и зря прикидываемся, будто нас что-то связывает, хотя на самом деле ни фига между нами нет, — он наконец решился высказать свои мысли вслух... Энди, подожди секундочку. Я умираю от голода. Дай сбегаю к холодильнику.

КОНТРОЛЬ это не контроль

— Сейчас? На самом интересном месте... — Но Клэр бросила трубку. Пользуясь этим, я снимаю измятую в поездке куртку и наливаю стакан воды из-под крана, выждав пятнадцать секунд, чтобы стек ржавый ручеек. Затем включаю лампу и удобно устраиваюсь на софе, положив ноги на кресло.

— Я вернулась, — говорит Клэр, — с очень милым пирожком с сыром. Ты завтра помогаешь Дегу в баре на вечеринке Банни Холландера?

---

[1] Слишком шикарный (*франц.*).
[2] Очень уж слишком шикарно (*франц.*).
[3] Наезд кинокамеры (*англ.*).

(Какой вечеринке?)

— Какой вечеринке?

— Наверно, Дег еще не успел тебе сказать.

— Клэр, что сказал Тобиас?

Я слышу, как она набирает в грудь воздуха.

— Он сказал мне как минимум часть правды. Сказал: он знает, что мне нравится в нем только внешность — «не отрицай, ни за что не поверю». (Как будто я пыталась.) И знает, что его, кроме как за внешность, любить не за что — вот он на красоте своей и выезжает, ничего другого не остается. Разве это не грустно?

Вслух я поддакиваю, но в то же время вспоминаю, что́ на прошлой неделе сказал Дег — будто Тобиас встречается с Клэр по каким-то своим, темным мотивам: мог бы поиметь любую на свете, а вместо этого мчится к нам в горы. Нет, пожалуй, с этой его исповедью дело посерьезнее. Клэр читает мои мысли:

— Оказывается, не только я его использовала, но и наоборот. Он сказал, что потянулся ко мне в основном потому, что ему померещилось, будто я знаю какую-то тайну о жизни — что у меня какая-то магическая проницательность и она дает мне энергию, чтобы уйти от повседневности. Он сказал, что ему было интересно, какую такую новую жизнь мы с тобой и Дегом организовали тут, на краю калифорнийской пустыни. Он хотел выведать мою тайну, сам надеясь удрать, но, послушав наши разговоры, понял, что ему этого сроду не осилить. Нет у него мужества, чтобы жить абсолютно свободной жизнью. Отсутствие правил вселило бы в него страх. Не знаю. Мне это показалось неубедительной чушью. Уж слишком в точку, как заученный урок. Ты бы ему поверил?

Разумеется, я бы не поверил ни единому слову, но тут я не стал высказывать свое мнение.

— Я промолчу. По крайней мере, обошлось без грязи — без смрадного последа...

— Без грязи? Когда мы вышли из музея и пошли по Пятой авеню, мы даже докатились до давай-останемся-просто-друзьями. Во какая безболезненность. Так вот, когда мы шли, мерзли и думали о том, как легко нам обоим удалось избежать ярма, я нашла палку. Это была ветка-рогулька, оброненная парковыми рабочими с грузовика. Настоящий прут лозоходца. Да! Он был ниспослан мне свыше, это уж точно! Ветка просто встряхнула меня, ни разу в жизни я ни к чему так инстинктивно не кидалась — словно этот прутик был моей неотъемлемой частью, вроде ноги или руки, нечаянно потерянной двадцать семь лет назад.

Я рванулась к нему, подняла, осторожно потерла — на моих черных кожаных перчатках остались кусочки коры, потом взялась за «рога» и стала вращать руками — классические пассы лозоходца.

Тобиас сказал: «Что ты делаешь? Брось, мне стыдно с тобой идти», — как и следовало ожидать, но я крепко сжимала ветку всю дорогу от Пятой на Пятидесятые к Элине, куда мы шли пить кофе. Оказалось, что Элина живет в огромном кооперативном доме, построенном в тридцатых в стиле модерн; внутри все белое, поп-артовские портреты взрывов, злющие карманные собачонки, горничная на кухне соскребает пленку с лотерейных билетов. Все как полагается. В его семейке с художественным вкусом полный вперед.

Когда мы вошли, я почувствовала, что сытный ленч и вчерашняя затянувшаяся гулянка дают себя знать. Тобиас пошел в дальнюю комнату звонить, а я сняла куртку и туфли и легла на кушетку — понежиться и понаблюдать, как угасает за Помадным тюбиком[1] солнце. Это было как мгновенная аннигиляция — ну знаешь, внезапно наваливается смутная, гудящая шмелем, беспечная дневная усталость, и все. Не успела я проанализировать ее, как превратилась в неодушевленный предмет.

И проспала, наверно, не один час. Просыпаюсь — за окном темно; и похолодало. Я была укрыта индейским одеялом (племя арапахо), а на стеклянном столике лежала всякая всячина, которой прежде не было: пакеты картофельных чипсов, журналы... Я на все

[1] Небоскреб в форме тюбика от помады.

это смотрела — и ни черта не понимала. Знаешь, как иногда, прикорнув днем, просыпаешься и тебя от беспокойства трясет? Именно это произошло со мной. Я не могла вспомнить, кто я, где я, какое сейчас время года — ничего. Все, что я знала: я существую. Я чувствовала себя такой голой, беззащитной, как огромное и только что скошенное поле. Когда же из кухни вошел Тобиас со словами: «Привет, соня», я внезапно все вспомнила и так этому обрадовалась, что заплакала. Тобиас подошел ко мне и сказал: «Эй, что случилось? Не залей слезами одеяло... Иди сюда, малышка». Но я только схватилась за его руку и дала волю слезам. Мне кажется, он смутился.

Через минуту я успокоилась, высморкалась в бумажное полотенце, лежавшее на кофейном столике, потянулась за своей лозой и прижала ее к груди. «О господи, да что ты зациклилась на этой *деревяшке*? Слушай, я, *честно*, не ожидал, что наш разрыв так на тебя подействует. Извини». — «Извини? — говорю я. — Наш разрыв меня не так уж нервирует, благодарю за заботу. Не льсти себе. Я думаю о другом». — «О чем же?» — «О том, что я теперь — наконец-то — точно знаю, кого полюблю. Это открылось мне во сне». — «Так поделись же новостью, Клэр». — «Возможно, ты и поймешь, Тобиас. Когда я вернусь в Калифорнию, я возьму эту ветку и пойду в пустыню. Там я буду проводить все свободное время в поисках воды. Жариться на солнце и отмеривать в пустоте километр за километром — может, увижу джип, а может, меня укусит гремучая змея. Но однажды, не знаю когда, я взойду на бархан и встречу человека, который тоже будет искать воду лозой. Не знаю, кто это будет, но его-то я и полюблю. Человека, который, как и я, ищет воду».

Я потянулась за пакетом картофельных чипсов на столе. Тобиас говорит: «Просто отлично, Клэр. Не забудь надеть портки в обтяжку — на голое тело, без трусов; не исключено, что ты еще будешь ездить стопом и, как байкерская телка, трахаться в фургонах с незнакомцами».

Я проигнорировала этот комментарий, потому что, потянувшись за чипсами, обнаружила за пакетом пузырек лака для ногтей «Гонолулу-Чу-Ча».

Ну дела.

Я взяла пузырек в руки и уставилась на этикетку. Тобиас улыбнулся, а у меня отключились мозги, а потом возникло жуткое такое ощущение — как в ужастиках, которые Дег рассказывает: когда человек едет один в «крайслере-К-каре» и внезапно понимает, что под задним сиденьем спрятался бродяга-убийца с удавкой.

Я схватила туфли и стала их надевать. Затем куртку. Буркнула, что мне пора идти. Вот тут-то Тобиас и принялся хлестать меня своим медленным раскатистым голосом: «Ты ведь такая возвышенная, Клэр! Ждешь со своими тепличными недоделанными друзьями прозрения в пальмовом аду? Так вот что я тебе скажу. Мне *нравится* моя работа в этом городе. Нравится сидеть в кабинете с утра до ночи, и битвы умов нравятся, и борьба за деньги и престижные вещи, и можешь считать меня полным психом».

Но я уже направлялась к двери и, проходя мимо кухни, мельком, но очень ясно увидела в дверном проеме пару молочно-белых скрещенных ног и облачко сигаретного дыма. Тобиас, последовавший за мной в прихожую, а потом к лифту, едва не наступал мне на пятки. Он не унимался: «Знаешь, когда я впервые тебя встретил, я подумал, что наконец-то мне выпал шанс узнать человека выше меня. Развить что-нибудь возвышенное в себе. Так вот — на х... возвышенное, Клэр. Не хочу я этих ваших прозрений. Мне надо все и сейчас. Я хочу, чтобы злые грудастые девки били меня по голове ледорубами. Злющие удолбанные девки. Можешь ты понять, как это здорово?»

БЫТЬ МОЖЕТ, при новом порядке вещей ты станешь НИКЕМ

Я нажала кнопку вызова лифта и уставилась на двери, которые, похоже, не собирались открываться. Он отпихнул ногой одну из увязавшихся за нами собак и продолжил тираду:

«Я хочу, чтобы жизнь была боевиком. Хочу быть паром из радиаторов, который ошпаривает цемент на

автостраде Санта-Моника после того, как тысячи машин столкнулись и взгромоздились друг на друга, и чтоб на заднем плане, из динамиков всех этих разбитых тачек, ревел кислотный рок. Хочу быть человеком в черном капюшоне, включающим сирены воздушной тревоги. Хочу, голый, обветренный, лететь на самой первой ракете, которая мчится разнести на х... все до единой деревушки в Новой Зеландии».

К счастью, двери наконец открылись. Я вошла внутрь и молча посмотрела на Тобиаса. Он продолжал прицеливаться и палить: «Да иди ты к черту, Клэр. Ты со своим взглядом сверху вниз. Все мы декоративные собачонки; только случилось так, что я знаю, кто меня ласкает. Но учти — чем больше людей вроде тебя выходят из игры, тем легче победить людям вроде меня».

Дверь закрылась, и я лишь помахала ему на прощание, а когда начала спускаться, почувствовала, что слегка дрожу, но убийца под задним сиденьем исчез. Наваждение меня отпустило, и когда я спустилась в вестибюль, то уже поражалась, какой же безмозглой обжорой я была — не могла наесться сексом, унижением, псевдодрамой. И я тут же решила никогда больше так не экспериментировать. Все, что можно сделать с тобиасами этого мира, — вообще не впускать их в свою жизнь. Не соблазняться их товарами и услугами. Господи, я почувствовала только облегчение — ни капли злости.

Мы оба обдумываем ее слова.

— Съешь пирожок с сыром, Клэр. Мне нужно время, чтобы все это переварить.

— Не-а. Не могу есть, не тянет. Ну и денек. Да, кстати, сделай одолжение... Не мог бы ты завтра, перед моим возвращением, поставить в вазу цветы? Ну например, тюльпаны? Мне они понадобятся.

— О! Означает ли это, что ты вновь переселяешься в свой домик?

— Да.

ПЛАСТИК НЕ РАЗЛАГАЕТСЯ

Сегодняшний день — редкостный метеорологический феномен. Пыльные торнадо обрушились на холмы Тандерберд-Коув в долине, где живут Форды; все города пустыни — на чрезвычайном положении, ибо возможно внезапное наводнение. В Ранчо-Мирадж олеандровая живая изгородь оказалась дырявым ситом — теперь колючая взвесь из перекати-поля, пальмовых листьев и высохших стаканчиков от мороженого «Ням-ням» бомбардирует стену детской клиники имени Барбары Синатра. И все же воздух теплый и вопреки здравому смыслу светит солнце.

— С возвращением, Энди, — кричит Дег. — Вот такая погода была здесь в шестидесятых. — Он зашел в бассейн по пояс и что-то собирает сетью с поверхности воды. — Ты только посмотри на это небо — большое-пребольшое, а? И знаешь еще что — пока тебя не было, наш хозяин польстился на дешевизну и купил с рук покрытие для бассейна. Смотри, что из этого вышло...

МОГИЛЬНИК С ЧАСАМИ: **феномен, когда, видя какой-то предмет, человек автоматически начинает вычислять примерный период его «полураспада»: «Хуже всего с горнолыжными ботинками. Они из бронебойной пластмассы. Проваляются до тех пор, пока наше солнце не вспыхнет сверхновой звездой».**

А вышло следующее: пузырчатая пластиковая пленка, пролежавшая много лет на солнце в испарениях гранулированной хлорки, не выдержала; органическая смола покрытия начала разлагаться, выпуская в воду тысячи изящных, трепещущих пластиковых лепестков, прежде заключавших в себе пузырьки воздуха. Любопытные собаки, постукивая золотистыми лапами по цементному бортику бассейна, смотрят на воду, нюхают, но не пьют, потом косятся на ноги Дега, вокруг которых шныряют мелкие чешуйки гниющего пластика, — при виде этого мне вспоминается один апрельский вторник в Токио и лепестки, падающие на землю с отцветающих вишен. Дег рекомендует собакам отвалить — ничего здесь съедобного нет.

— Спасибо, не хочу смотреть. Наслаждайся сам. Слышал, что произошло с Клэр?

— Что она избавилась от мистера Слизняка-ЛТД? Да, она утром звонила. Должен заметить — я восхищен романтическим духом этой девушки.

— Да, она просто прелесть, это точно.

— Она вернется сегодня часов в одиннадцать вечера. К завтрашнему дню мы тебе сюрпризик заготовили. По нашему разумению, тебе понравится. Ты ведь никуда завтра не собираешься?

— Нет.

— Отлично.

Мы говорим о праздниках и том, что они по определению не способны доставить человеку радость; все это время Дег трудолюбиво гоняет воду через сеть. О Шкипере и «астон-мартине» я пока не спрашиваю.

— Знаешь, я всегда думал, что пластик неистребим, а он, оказывается, гниет. Да ты смотри, смотри — это же замечательно. И знаешь, я тут еще придумал, как избавить мир от плутония — без всякого риска и навсегда. Пока вы себе шлялись, я работал головой.

— Рад слышать, что ты разрешил крупнейшую проблему современности, Дег. По-чему-то мне кажется, что ты сейчас об этом расскажешь.

— Какая проницательность. Итак, надо сделать вот что... — Ветер гонит комок лепестков прямо в сеть Дега. — Собираем весь плутоний, который валяется под ногами, — все эти глыбы, которыми на атомных электростанциях двери подпирают. Глыбы обливаем сталью, как драже «Эм энд Эм» — шоколадом, а потом загружаем ими ракету и запускаем ее в небо. Если запуск не удается, собираем конфетки и — вторая попытка. Но с ракетой-то ничего не случится, и плутоний улетит прямо к солнцу.

— Красиво. А что, если ракета упадет в воду и плутоний затонет?

— А ты запускай ее в сторону Северного полюса, и она приземлится на лед. А затонет — пошлем подводную лодку и поднимем его. И все дела. Бог мой, какой я умный.

— Ты уверен, что это еще никому не приходило в голову?

— Кто его знает. Но на данный момент это все равно самая блестящая идея. Кстати, ты сегодня мне помогаешь на большом приеме у Банни Холландера. Я внес тебя в список. Будет прикольно. Разумеется, если ветер до вечера не разнесет все наши дома в щепки. Боже, ты только послушай, как они скрипят.

ДЕСЯТОЧКА:
первое десятилетие нового века.

— Дег, а что Шкипер?

— А что Шкипер?

— Как ты думаешь, он тебя заложит?

— Даже если заложит, я скажу, что этого не было. И ты так скажешь. Двое против одного. Мне что-то неохота обзаводиться собственным уголовным делом.

Мысль о суде и тюрьме приводит меня в ступор. Дег замечает это по моему лицу.

— Не боись, друг. До этого не дойдет. Обещаю. И знаешь что? Ты не поверишь, чья это была машина...

— Чья?

— Банни Холландера. Чувака, чей прием мы сегодня обслуживаем.

— О господи!

* * *

Взбалмошные сизые лучи дуговых прожекторов мечутся как шальные в затянутом облаками небе — кажется, то вырывается на свободу содержимое ящика Пандоры.

Я в Лас-Пальмасе, за стойкой алкогольного бара на новогоднем балу Банни Холландера (стразы, стразы и еще раз стразы). Нувориши тычутся своими лбами мне в лицо, требуя одновременно коктейлей (парвеню-богатеи обслугу ни в грош не ставят) и моего одобрения, а возможно, заодно и интимных услуг. Общество не самой высокой зрелищной категории: теледеньги состязаются с киноденьгами; полно тел, в запоздалую реставрацию которых вбухано слишком много денег. Смотрится красиво, но блеск это фальши-

вый; обманчивое псевдоздоровье загорелых жирных людей; стандартные лица, какие бывают у младенцев, стариков и тех, кому часто делали подтяжки. Казалось бы, должны присутствовать знаменитости, но их-то как раз и нет; губительный это симбиоз: сумасшедшие деньги плюс отсутствие известных людей. Хотя вечеринка определенно проходит на ура, хозяин, Банни Холландер, явно недоволен нехваткой великих мира сего.

МЕТАФАЗИЯ:
неспособность воспринимать метафоры.

ДОРИАНГРЕЙСТВО:
нежелание отпустить свое тело на волю и милостиво разрешить ему стареть.

Банни — знаменитость местного значения. В 1956-м он поставил на Бродвее шоу «Целуй меня, зеркало» или еще какую-то там хренотень, которая имела грандиозный успех, и с тех пор тридцать пять лет почивает на лаврах. Волосы у него седые, лоснящиеся, как мокрая газета, на лице неизменно злобное выражение, придающее ему сходство с растлителем малолетних, — результат регулярных подтяжек кожи, которые он начал делать еще в шестидесятых. Но Банни знает кучу похабных анекдотов и хорошо обращается с обслугой — лучшего сочетания и не придумаешь. Оно-то и компенсирует его недостатки.

Дег открывает бутылку белого:

— У Банни такой вид, словно под верандой его дома закопан расчлененный бойскаут.

— Милый, у нас у всех под верандами расчлененные бойскауты, — произносит Банни, незаметно (несмотря на свою тучность) вынырнувший откуда-то сзади, и протягивает Дегу свой бокал.

— Пожалуйста, льду для коктейльчика-перчика. — Он подмигивает и, вильнув задом, уходит.

Дег, как ни удивительно, смущенно краснеет.

— Впервые встречаю человека, окруженного таким количеством тайн. Жаль его машину. Лучше бы ее хозяином оказался кто-нибудь, мне ненавистный.

Позже, пытаясь найти ответ на вопрос, который не решаюсь задать прямо, я исподволь завожу с Банни разговор о сгоревшей машине:

— Банни, я тут читал в газете насчет твоей машины. Это у нее была наклейка на бампере: «Спросите, как делишки у моих внучат»?

— А, это. Проделка моих друганов из Вегаса. Огонь-парни. О *них* мы не говорим. — Разговор окончен.

Особняк Холландера был построен во времена первых полетов на Луну и напоминает воплощенную грезу невероятно тщеславного и ужасно испорченного международного фармазона той эпохи. Повсюду подиумы и зеркала. Скульптуры Ногучи и мобили Кальдера; все кованые решетки изображают строение атома. Стойка, обшитая тиковым деревом, вполне сошла бы за бар в преуспевающем лондонском рекламном агентстве эпохи Твигги. Освещение и обстановка подчинены единой цели — все должны выглядеть об-во-ро-жи-тель-но.

Несмотря на отсутствие знаменитостей, вечер об-во-ро-жи-тель-ный, о чем не забывают напоминать друг другу гости. Светский человек — а Банни вполне заслуживает этого наименования — знает, что́ требуется для общего улета.

— Без байкеров, трансвеститов и фотомоделей вечеринка не вечеринка, — мурлычет он у сервировочных столиков, заваленных утятиной без кожи в чилийском черничном соусе.

Разумеется, за этим заявлением стоит знание того факта, что все эти (а также многие другие) социальные типы на вечеринке представлены. На непринужденное веселье способны одни только дети, по-настоящему богатые старики, чертовски красивые люди, извращенцы, люди, которые не в ладах с законом... К тому же, к большому моему удовольствию, на вечеринке нет яппи; этим наблюдением я делюсь с Банни, когда он подходит за своим девятнадцатым джин-тоником.

— Приглашать яппи — все равно что звать в гости столбы, — отвечает он. — О, смотри — монгольфьер! — Он исчезает.

Дег чувствует себя как рыба в воде, потихоньку практикует самообслуживание —

у него своя программа потребления коктейлей (и никакой профессионально-барменской этики), — болтает и возбужденно спорит с гостями. Большую часть времени его вообще нет за стойкой — он носится по дому или по ярко освещенному кактусовому саду, время от времени возвращаясь для краткого отчета.

— Энди, сейчас был такой прикол. Я помогал чуваку с Филиппин кормить ротвейлеров бескостными тушками цыплят. Собак на сегодня заточили в клетку. А шведка с чудом бионики на ноге — у нее там нейлоновая такая шина — это дело снимала 16-миллиметровой камерой. Говорит, она упала в карьер в Лесото, отчего ее ноги едва не превратились в osso buco[1].

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ: усnащение повседневных разговоров названиями исчезнувших с карты мира стран, забытых фильмов и малоизвестных книг, имен покойных телеведущих и т.д. За этой склонностью стоит подсознательная тяга показать свою образованность, а также желание обособиться от мира массовой культуры.

— Отлично, Дег. Передай мне две бутылки красного, будь добр.

— Прошу. — Передав вино, закуривает сигарету; ни малейшего намека на то, что он собирается поработать в баре. — Еще я разговаривал с дамой по фамилии Ван-Клийк — такой старой-престарой, в гавайской рубашке и с лисой на шее. Она владеет половиной газет на Западном побережье. И она рассказала, что в начале второй мировой войны ее совратил в Монтеррее родной брат Клифф, который потом умудрился утонуть в подводной лодке у Гельголанда. С тех пор она может жить только в жарком, сухом климате, являющем собой прямую противоположность миру изувеченных, обреченных на гибель подлодок. Но судя по тому, *как* она это излагала, она рассказывает это каждому встречному.

Как Дег вытягивает такие откровения из незнакомых людей?

У главного входа, где семнадцатилетние девочки из Долины с убитыми перекисью русалочьими волосами «охмуряют» продюсера студии звукозаписи, я замечаю нескольких полицейских. Стиль вечеринки таков, что я думаю: не очередные ли это «социальные типы», которых шутки ради зазвал Банни? Банни болтает с ними и смеется. Дег полицейских не видит. Банни ковыляет к нам.

— *Герр Беллингхаузен*, если бы я знал, что вы закоренелый преступник, то пригласил бы вас не барменом, а в качестве гостя. Стражи закона спрашивают вас у входа. Не знаю, чего они хотят, но если затеешь скандал, сделай одолжение — не стесняйся в жестах.

Банни вновь упорхнул; у Дега белеет лицо. Он строит мне гримасу, затем выходит в открытую стеклянную дверь и идет не к полиции, а в самый дальний угол сада.

— Пьетро, — прошу я, — подмени меня на время. Надо по делам отлучиться. Десять минут.

— Зацепи и мне, — говорит Пьетро, решив, что я иду на автостоянку — взглянуть, как обстоят дела с наркотиками. Но, разумеется, я иду за Дегом.

* * *

— Я давно гадал, что́ буду чувствовать в тот момент, — говорит Дег, — когда наконец попадусь. А чувствую я облегчение. Как будто ушел с работы. Я тебе рассказывал историю о парне, жутко боявшемся подцепить какую-нибудь венерическую болезнь? — Дег достаточно пьян, чтобы быть откровенным, но не настолько, чтобы нести чушь. Я нашел его неподалеку от дома Банни. Его ноги свешиваются из раструба огромного цементного стока, устроенного на случай внезапного наводнения.

— Он десять лет изводил своего врача анализами крови и пробами Вассермана, пока в конце концов (уж не знаю как) не подцепил что-то. Тут он говорит доктору: «М-да, ну ладно, тогда пропишите мне пенициллин». Прошел курс лечения и навсегда забыл о болезнях. Ему просто хотелось, чтобы его наказали. Вот и все.

[1] Жаркое из телятины с мозговой костью (*итал.*).

Трудно представить себе менее подходящее место для посиделок в такое время. Внезапное наводнение — оно и есть внезапное наводнение. Только что было все путем, а еще секунда — и накатывается пенистое белое варево из шалфея, выброшенных на улицу диванов и захлебнувшихся водой койотов.

Стоя под трубой, я вижу только ноги. Акустика классная — голос Дега превратился в зычный, раскатывающийся эхом баритон. Я карабкаюсь наверх и сажусь рядом. Все залито лунным светом, но луны не видно, светится только кончик сигареты Дега. Дег кидает в темноту камешек.

— Шел бы ты в дом, Дег. Пока копы не стали стращать гостей пистолетами, требуя сообщить, где ты скрываешься.

— Скоро пойду, дай мне одну минуту — похоже, Энди, похождениям Вандала Дега пришел конец. Сигарету дать?

— Не сейчас.

— Знаешь что? Я немного обалдел. Может, расскажешь коротенькую историю — любую, и я пойду.

— Дег, сейчас не время.

— Всего одну, Энди, как раз сейчас — время.

Я хватаюсь за голову, но, как ни странно, одна короткая история мне вспоминается.

— Ну ладно, слушай. Когда много лет назад я был в Японии (по программе студенческого обмена), я жил в семье, в которой была девочка лет четырех. Славная такая крошка.

Так вот, когда я въехал (прожил я там с полгода), она не желала замечать мое присутствие в доме. Игнорировала меня, когда я за обедом к ней обращался. При встречах в коридоре просто проходила мимо. В ее мире я не существовал. Естественно, это было обидно; каждому нравится считать себя обаятельным человеком, которого инстинктивно обожают животные и дети.

СОЛНЦЕ НЕ ТВОЙ ВРАГ

Ситуация раздражала еще и тем, что поделать-то ничего было нельзя; все попытки заставить ее произнести мое имя или отреагировать на мое присутствие заканчивались неудачей.

Однажды я пришел домой и обнаружил, что бумаги в моей комнате, письма и рисунки, над которыми я немало потрудился, порезаны на кусочки, искромсаны и размалеваны явно злой детской рукой. Я пришел в бешенство. А когда она вскоре прошествовала мимо моей комнаты, я не сдержался и начал довольно громко по-японски и по-английски бранить ее за проказу.

Разумеется, я тут же почувствовал себя свиньей. Она ушла, а я подумал, не перегнул ли палку. Но через несколько минут она принесла мне своего ручного жучка в маленькой клетке (распространенная забава азиатских детей), схватила меня за руку и потащила в сад. Там она стала рассказывать о тайных похождениях этого насекомого. Суть в том, что она не могла вступить в общение до того, как ее за что-нибудь не накажут. Сейчас ей, должно быть, лет двенадцать. Месяц назад я получил от нее открытку.

Мне кажется, Дег не слушал. А следовало бы. Но ему просто хотелось слышать человеческий голос. Мы еще немного пошвырялись камешками. Потом, ни с того ни с сего, Дег спросил, знаю ли я, как умру.

— Беллингхаузен, перестань меня грузить. Иди и разберись с полицией. Они, вероятно, хотят просто задать несколько вопросов.

— Fermez la bouche[1], Энди. Вопрос был риторический. Я сам расскажу, как, мне кажется, я умру. Это произойдет примерно так. Мне будет семьдесят лет, я останусь здесь в пустыне, никаких вставных челюстей — все зубы свои, — и буду одет в серый твидовый костюм. Я буду сажать цветы — тоненькие, хрупкие цветочки, которым в пустыне день

[1] Закройте рот (*франц.*).

житья, вроде бумажных цветов, какими клоуны украшают свои головы, — в маленьких горшочках типа клоунских шапок. Не будет слышно ни единого звука, только жужжание жары; мое тело, согнувшееся над лопатой, звякающей о каменистую почву, не будет отбрасывать тени. Солнце будет в самом зените, и вдруг позади послышится ужасающее хлопанье крыльев — громкое, громче, чем у всех птиц на свете. Медленно обернувшись, я едва не ослепну, увидев спустившегося ангела, золотистого и нагого, выше меня на целую голову. Я поставлю на землю маленький цветочный горшок — почему-то мне будет стыдно держать его в руках. И сделаю вдох, последний.

Ангел обхватит мои хрупкие кости, поднимет меня на руки, и не пройдет и нескольких секунд, как он бесшумно и с безграничной нежностью понесет меня к солнцу и швырнет прямо в его недра.

Дег бросает сигарету и прислушивается к звукам празднества, плохо различимым в овраге.

— Ну, Энди, пожелай мне удачи, — говорит он, выпрыгивает из цементной трубы на землю, отходит на несколько шагов, останавливается, разворачивается и просит меня: — Нагнись на секундочку. — Я повинуюсь, после чего он целует меня, а перед моими глазами встает разжиженный потолок супермаркета, опрокинутым водопадом несущийся к небу. — Вот. Мне всегда хотелось это сделать.

Он возвращается в блестящее многолюдье вечеринки.

ЖДИ МОЛНИИ

Первый день нового года. Окутанный трепещущими миражами дизельных выхлопов (каждый — верная эмфизема), я жарюсь в дорожной пробке возле Калексико, Калифорния, в очереди перед пограничным КПП — и уже чувствую метановый запах Мексики, до которой рукой подать. Моя машина отдыхает на косичкообразном шестиполосном шоссе, полуразрушенном, озаренном лучами усталого зимнего заката. По этому линейному пространству ползу — дюйм за дюймом — не только я, но и целый подарочно-коллекционный набор всех типов людей и транспортных средств: татуированные фермеры теснятся по трое в кабинах пикапов, бодро транслирующих на всю округу кантри и ковбойские баллады; закондиционированные, в фирменных солнцезащитных очках яппи (тихо веет Генделем и Филипом Глассом[1]) отягощают своим присутствием седаны с зеркальными стеклами; местные Hausfrauen[2] в бигуди, по пути на дешевые мексиканские рынки потребляющие передачу «Дайджест всех сериалов», — а сидят они в «хёнде» с веселенькими наклейками; канадские супруги-близнецы пенсионного возраста спорят над рвущимися по швам картами США, которые слишком часто разворачивали и сворачивали. На обочине, в будочках яркой леденцовой раскраски, меняют песо люди с японскими именами. Слышен собачий лай. Если мне захочется получить «левый» гамбургер или мексиканскую страховку на машину, все окрестные коммерсанты наперегонки ринутся исполнять мой каприз. В багажнике моего «фольксвагена» две дюжины бутылок воды «Эвиан» и бутылка иммодиума — средства от поноса: некоторые буржуазные привычки неистребимы.

* * *

Закрыв бар в одиночку, я вернулся домой в пять утра, абсолютно измотанный. Пьетро и еще один бармен смылись раньше — снимать телок в ночном клубе «Помпея». Дега за какой-то надобностью увели в полицейский участок. Когда я пришел домой, ни в одном бунгало не горел свет, и я сразу завалился спать — новости о трениях Дега с законом и приветственная речь для Клэр могут и подождать.

---

[1] Филип Гласс — современный авангардный композитор, привлекший внимание широкой молодой аудитории к жанру оперы.

[2] Домохозяйки (*нем.*).

Проснувшись утром около одиннадцати, я обнаружил на своей входной двери записку, приклеенную скотчем. Рукою Клэр было написано:

Привет, заяц,

мы уехали в сан-фелипе! мексика зовет. мы с дегом обговорили это на праздниках, и он убедил меня, что сейчас самое время; купим небольшую гостиницу... составь нам компанию, согласен? В смысле — а куда нам еще податься-то? и вообрази, мы — содержатели гостиницы! голова кругом идет.

собак мы похитили, но тебе предоставляем свободу выбора. ночью холодновато, поэтому привези одеяла. и книги. и ручки. городок малюсенький, так что найдешь нас по деговому авто. ждем тебя très нетерпеливо. с надеждой увидеться сегодня же вечером

целую-целую,

Клэр

Ниже Дег написал:

ПАЛМЕР, СНИМИ СО СЧЕТА ВСЕ СБЕРЕЖЕНИЯ. ПРИЕЗЖАЙ. ТЫ НАМ НУЖЕН. P. S. ПРОСЛУШАЙ СВОЙ АВТООТВЕТЧИК.

На автоответчике я обнаружил следующее послание:

Мое почтение, Палмер. Вижу, ты прочел записку. Извини за сумбурную речь, но я полностью ухайдакался. Пришел утром в четыре и даже спать не ложился — посплю в машине по дороге в Мексику. Я говорил тебе, что у нас для тебя сюрприз. Клэр сказала (и в этом она права), что, если мы дадим тебе слишком много времени на раздумья, ты никогда не приедешь. Очень уж ты все анализируешь. Так что не думай — а просто приезжай, ладно? Обо всем здесь поговорим.

А правосудие... Знаешь, что произошло? Вчера прямо у «Ликерного погребка» Шкипера задавил «джи-ти-оу», доверху набитый Глобальными Тинейджерами из округа Оранж. Вот уж quelle[1] везуха! В его кармане нашли адресованные мне психописьма, где он пишет, что спалит меня, совсем как ту машину, и тому подобное. Moi! Страшно, аж жуть! Ну, я сказал полиции (и, заметь, почти не соврал), что видел Шкипера на месте преступления и полагаю — он испугался, что я заявлю на него. Все четко. Так что дело закрыто, но скажу тебе — твой знакомый проказник сыт вандализмом на девять жизней вперед.

Итак, увидимся в Сан-Фелипе. Рули осторожнее (господи, что за гериартрический совет) и — увидимся вече...

* * *

— Эй, мудак, двинь жопой! — не выдерживает позади темпераментный Ромео и почти въезжает в меня своей ржавой приплюснутой жестянкой цвета шартреза.

Поздравляем с возвращением в реальность. Пора показывать зубки. Пора начинать жить. Но это тяжко.

Уходя от столкновения, я ползу вперед, на один корпус машины продвигаясь к границе, на одну единицу измерения приближаясь к новому, менее отягощенному деньгами миру, где пожирающие и пожираемые образуют совсем иную, пока неведомую мне цепь питания. Как только я пересеку границу, автомобилестроение таинственным образом застопорится на несомненно техлахомском 1974 году, после которого устройство автомобильных двигателей настолько усложнилось, что они перестали поддаваться мелкому ручному ремонту, а проще говоря, разборке на части. Характерной чертой ландшафта будут изъеденные ржавчиной, разрисованные пульверизатором, простреленные во всех мес-

КЛИНИЧЕСКАЯ WANDERLUST:
болезнь, обычно поражающая детей из семей среднего класса, чье детство прошло «на чемоданах». Неспособные укорениться где бы то ни было, они постоянно переезжают, всякий раз надеясь обрести на новом месте идеальную общность с идеальными соседями. (Wanderlust по-немецки — «тяга к странствиям».)

[1] Какая (*франц.*).

тах «полумашины» — урезанные в длину, высоту и ширину, раздетые искателями запчастей, культурологически невидимые, вроде обряженных в черные капюшоны актеров-кукловодов из японского театра Бунраку.

Дальше, в Сан-Фелипе, где когда-нибудь появится моя — *наша* — гостиница, я увижу изгороди из колючей проволоки, в которую вплетены китовые кости, хромированные бамперы от «тойот» и кактусовые скелеты. А на городских горячечно-белых пляжах увижу тощих уличных мальчишек с лицами, одновременно недо- и переэкспонированными на солнце, без всякой надежды на успех предлагающих замызганные ожерелья из фальшивого жемчуга и пузатенькие цепочки самоварного золота.

ТАЙНАЯ ТЕХНОФОБИЯ:
сокровенное, неафишируемое убеждение, что от прогресса больше вреда, чем пользы.

ПО ДЕВСТВЕННЫМ ПРОСЕЛКАМ:
выбор маршрута по принципу «куда никто больше не попрется».

ОБЕЗЬЯННИЧАНЬЕ-ОТУЗЕМЛИВАНИЕ:
желание человека, находящегося в чужой стране, казаться ее аборигеном.

СОЛИПСИЗМ ОТЪЕЗЖАНТА:
поведение человека, который приезжает в чужую страну, надеясь оказаться ее первооткрывателем, но обнаруживает там множество конкурентов, приехавших за тем же. Раздраженный этим обстоятельством, человек отказывается даже разговаривать с ними, так как они заставили его разочароваться в собственной оригинальности и элитарности.

Вот что будет моим новым ландшафтом.

Глядя на Калексико через лобовое стекло, я вижу потные орды, бредущие пешком через границу с соломенными кошелками, которые под завязку набиты лекарствами от рака, текилой, двухдолларовыми скрипками и кукурузными хлопьями.

На границе я вижу забор, пограничный забор в сеточку, напоминающий мне некоторые фотографии австралийских пейзажей, — фотографии, на которых заграждения против кроликов разделили местность надвое: по одну сторону плодоносящая, обильная, утопающая в зелени земля, по другую — зернистая, иссушенная, доведенная до отчаяния лунная поверхность. Думая об этом контрасте, я также думаю о Деге и Клэр — о том, что они по доброй воле избрали жизнь на лунной стороне и каждый подчиняется своей нелегкой участи: Дег обречен вечно с тоской смотреть на солнце, а Клэр с веткой будет кружить в песках, исступленно ища под землей воду. Я же...

Да, а что же я?

Я тоже на лунной стороне, в этом-то я уверен. Не знаю, когда и где, но я сделал свой выбор со всей определенностью. Очень возможно, что он принесет мне ужас и одиночество, — но я не жалею.

С моей стороны забора меня ждут два дела — два дела, которые стали делом жизни героев двух коротеньких историй; сейчас я их вам быстренько расскажу.

Первая история, которую я несколько месяцев назад поведал Дегу и Клэр, не имела тогда успеха. Она называется «Молодой Человек, который страстно желал, чтобы в него ударила Молния».

Как явствует из названия, это история о молодом человеке. Он тянул лямку в одной чудовищной корпорации, а однажды послал подальше все, что имел, — раскрасневшуюся, разгневанную молодую невесту у алтаря, перспективы служебного роста, все, ради чего вкалывал всю жизнь, — и лишь затем, чтобы в битом «понтиаке» отправиться в прерии гоняться за грозой. Он не мог смириться с мыслью, что проживет жизнь, так и не узнав, что такое удар молнии.

Я сказал, что мой рассказ не имел успеха, потому что история закончилась ничем. В финале Молодой Человек по-прежнему был где-то в Небраске или Канзасе — бегал себе по степи, подняв к небу карниз от занавески, позаимствованный в ванной, и моля о чуде.

Дегу с Клэр до смерти хотелось знать, чем же все завершилось, но рассказ о судьбе Молодого Человека остался неоконченным; зная, что Молодой Человек скитается по злым степям, я спокойнее сплю по ночам.

Вторая же история... Да, она чуть посложнее, я еще никому ее не рассказывал. Она о молодом человеке... ладно, назовем вещи своими именами — она обо мне.

Она обо мне и еще об одном событии — мне нестерпимо хочется, чтобы это событие произошло со мной.

Вот чего мне хочется: лежать на острых, как бритва, сверху напоминающих человеческий мозг скалах полуострова Баха-Калифорниа. Хочу лежать на этих скалах, и чтоб вокруг — никакой растительности, на пальцах — следы морской соли, а в небе пусть пылает химическое солнце. И чтоб ни звука — полная тишина, только я и кислород, ни единой мысли в голове, а рядом пеликаны ныряли бы в океан за рыбками — блестящими ртутными капельками.

НАУТЕК ОТ ПРОГРЕССА: миграция в населенные пункты, мало затронутые техническим прогрессом и информационной революцией, свободные от вещизма.

Из маленьких порезов на коже, оставленных камнями, сочилась бы, на ходу сворачиваясь, кровь, а мозг мой превратился бы в тонкую белую нить, вибрирующую, как гитарная струна, протянувшуюся в небо, до самого озонового слоя. И, как Дег в свой последний день, я услышу хлопанье крыльев, но это будут крылья пеликана, летящего с океана, — большого, глуповатого, веселого пеликана, который приземлится рядом со мной и на своих гладких кожаных лапах вперевалочку подойдет к моему лицу и без страха, элегантно, как официант, предлагающий карту вин, положит передо мной подарок — маленькую серебряную рыбку.

За этот подарок я отдал бы что угодно.

1 ЯНВ. 2000 ГОДА

Я ехал в Калексико мимо Солтон-Си, огромного соленого озера, самой низкой точки Соединенных Штатов. Ехал через Бокс-каньон, через Эль-Сентро... Калипатрию... Брооули. Землей округа Империал хочется гордиться — это «зимний сад Америки». После сурового бесплодия пустыни — ошеломляющее плодородие; бесчисленные поля с посевами шпината, отарами овец и стадами коров далматинской расцветки — какой-то сюрреализм от биологии. Здесь все плодоносит. Даже лаосские финиковые пальмы, колоннадой возвышающиеся вдоль хайвея.

Около часа назад, когда я ехал по этому царству торжествующего плодородия в сторону границы, со мной произошло нечто необыкновенное; по-моему, об этом обязательно надо рассказать. А случилось вот что.

Я только-только въехал с севера в низину Солтон-Си через Бокс-каньон. На душе у меня было светло — я как раз пересек границу края около плантаций цитрусовых возле небольшого городка под названием Мекка и украл с придорожного дерева теплый апельсин размером с шар для кегельбана. Меня засек фермер, выезжавший на тракторе из-за угла; он лишь улыбнулся, сунул руку в мешок за спиной и кинул мне еще один апельсин. Милосердие фермера показалось мне просто-таки вселенским. Сев в машину, я закрыл окна, чтобы не выпускать запах очищенного апельсина. Я заляпал руль клейким соком и ехал, вытирая руки о штаны. Поднявшись на гору, я неожиданно впервые за день увидел горизонт — над Солтон-Си, — а на горизонте нечто, заставившее мою ногу непроизвольно нажать на тормоз, а сердце — едва не выпрыгнуть изо рта.

Я увидел оживший рассказ Дега: ядерный гриб до самого неба, далеко-далеко на горизонте, злющий и плотный, со шляпкой в форме наковальни, размером со средневековое королевство и темный, как спальня ночью.

Апельсин упал на пол. Я притормозил у обочины под пронзительную серенаду едва не протаранившего меня сзади ржавого «эль-камино», набитого батраками-иммигрантами. Но сомнений не было; да, гриб торчал над горизонтом. Он мне не померещился. Именно таким он представлялся мне с пяти лет: бесстыдным, изможденно-помятым, всепожирающим.

Меня охватил ужас; кровь прилила к ушам; я ждал сирен; включил радио. Биопсия дала положительный результат. Неужели кризис произошел после полуденного выпуска новостей? Удивительно, но на радиоволнах все было спокойно — сплошной музон для

конькобежцев да жалкие струйки еле слышных мексиканских радиостанций. Неужели я спятил? Почему никто и ухом не ведет? Навстречу мне проехали несколько машин; ни одна и не думала спешить. Делать было нечего; охваченный противоестественным любопытством, я двинулся дальше.

Гриб был таким огромным, что, казалось, бросал вызов перспективе. Я понял это, подъезжая к Броули, небольшому городку в пятнадцати километрах от границы края. Каждый раз, когда я думал, что достиг эпицентра взрыва, оказывалось, что гриб все еще далеко. Наконец я подъехал так близко, что его черная, как автопокрышка, ножка расползлась на все ветровое стекло. Горы — и те не кажутся такими огромными, но горы при всех своих амбициях не способны аннексировать атмосферу. А ведь Дег меня уверял, что эти грибы — маленькие-маленькие.

Наконец, круто повернув вправо на перекрестке с 86-м хайвеем, я увидел корни гриба. И тут доподлинно оказалось, что его натура проста и тривиальна: на маленьком пятачке фермеры жгли стерню, вот и все дела. У меня камень с души упал. Черный, упирающийся макушкой в стратосферу монстр родился от хлипких бечевок оранжевого пламени, вьющихся на полях. Налицо было уморительное несоответствие деяния и произведенного им впечатления — ведь облако дыма виднелось за пятьсот миль. Да что там, даже из космоса.

Событие это превратилось в своеобразный аттракцион для зевак. Проезжая мимо горящих полей, машины переходили с рыси на медленный шаг, а многие, как и я, вообще останавливались. Роль pièce de rèsistance[1], помимо дыма и огня, выполнял кильватерный след пламени — выгоревшая, покинутая на произвол всех ветров земля.

Эти поля обуглились до абсолютно черного цвета — совершенно космического, не имеющего к нашей планете никакого отношения. То была засасывающая чернота, не желавшая уступить внешним наблюдателям ни одного фотона; черный снег, бросивший вызов трехмерности пространства, повисший перед глазами зрителей, как листок бумаги в форме трапеции. Чернота была столь глубокой, интенсивной, безупречной, что в машинах переставали бузить усталые, искапризничавшиеся в дороге дети. Даже коммивояжеры останавливали свои бежевые седаны и, вытянув ноги, принимались за поедание гамбургеров, подогретых в микроволновых печах на месте их приобретения — в «Севен-Элевен».

Меня окружали «ниссаны», «эф-250», «дайхатсу» и школьные автобусы. Большинство водителей сидели, скрестив на груди руки; откинувшись в креслах, они молча созерцали диво — жаркую шелковую черную простыню, чудо античистоты. Это было успокаивающее, объединяющее занятие — вроде наблюдения издалека за торнадо. Мы улыбались друг другу.

Потом я услышал шум автомобильного мотора. Подъехал фургон — помпезная красно-полосатая, как леденец, суперсовременная модель с тонированными стеклами — и оттуда, к моему удивлению, высыпало около дюжины умственно отсталых подростков, мальчиков и девочек, веселых, общительных и шумных, размахивающих руками и радостно кричащих мне: «Привет!»

Шофером был сердитый человек лет сорока, с рыжей бородой и, похоже, с огромным опытом чичероне. Он управлял своими подопечными ласково, но твердо, подобно матери-гусыне, которая с равными долями нежности и суровости берет своих гусят за шкирку и задает им направление движения.

Шофер отвел своих подопечных подальше от нас и наших машин — к деревянной изгороди, отделяющей поле от дороги. Удивительно, но через несколько минут говорливые подростки затихли.

Не прошло и секунды, как я увидел, что же заставило их замолчать. С запада летела белая, как кокаин, цапля, птица, которую я никогда не видел живьем; ее плотоядные инстинкты пробудились при виде восхитительных даров пожара — многочисленных вкусных мелких тварей, которых выгнал на поверхность огонь.

---

[1] Основное блюдо (*франц.*).

Птица кружила над полями, а мне казалось, что ее место скорее у Ганга или Нила, а не здесь, в Америке. Контраст белизны ее крыльев с чернотой обугленных полей был настолько удивителен и резок, что большинство моих ближних и даже дальних соседей разразились шумными вздохами.

Смешливые, непоседливые подростки теперь все как один стояли завороженные, словно любуясь фейерверком. Они охали и ахали, а птица с ее невероятно длинной лохматой шеей просто-напросто отказывалась садиться. Она кружила и кружила, выписывая дуги и закладывая умопомрачительные виражи. Восторг детей был заразителен, и я осознал, что, к большому их удовольствию, охаю и ахаю вместе с ними.

Потом птица, кружась, стала удаляться на запад, прямо над дорогой. Мы подумали, что обряд, предшествующий ее трапезе, закончился; послышались робкие свистки. Но внезапно птица описала еще одну дугу. Мы вдруг сообразили, что она планирует прямо на нас. Мы чувствовали себя избранными.

Один из подростков пронзительно вскрикнул от восторга. Это заставило меня обернуться и посмотреть на него. В эту минуту ход времени, по-видимому, ускорился. Внезапно дети повернулись уже ко мне, и я почувствовал, как что-то острое оцарапало мне голову, и услышал звук — «свуп-свуп-свуп». Цапля задела меня — ее коготь распорол кожу у меня на макушке. Я упал на колени, но не отводил взгляда от птицы.

Все мы разом повернули головы и продолжали следить за тем, как птица садится на поле; все внимание было приковано к ней. Мы завороженно смотрели, как она выуживает из земли мелких тварей, и это было так красиво, что я даже забыл о своей ране. И только когда я случайно провел рукой по волосам, а после увидел на кончике пальца кровь, я понял, насколько тесно мы с птицей соприкоснулись.

Я поднялся на ноги и рассматривал эту капельку крови, когда пухленькие ручки (грязные пальчики, обломанные ногти) обхватили меня вокруг пояса. Умственно отсталая девочка в небесно-голубом ситцевом платье пыталась заставить меня нагнуться. С высоты своего роста я видел длинные пряди ее прекрасных светлых волос; пуская слюни, она несколько раз произнесла что-то вроде «ить-ца» — птица, дескать.

Я вновь опустился на колени перед ней, и она стала обследовать ранку, поглаживая мою голову, осторожно выбивая по ней обнадеживающее, целительное стаккато «вот-уже-не-больно», — так утешает ребенок оброненную на пол куклу.

Потом я почувствовал прикосновение еще одной пары рук — к девочке присоединился один из ее товарищей. Еще одна пара рук, и еще... Неожиданно я оказался в кучемале этой внезапно возникшей семьи, в ее влюбленных, целительных, милых, ласковых, некритичных объятиях; каждый из ребятишек хотел показать, что любит меня сильнее остальных. Они начали тискать меня — слишком крепко, как куклу, не подозревая, с какой силой они это делают. Мне было трудно дышать, меня пихали, мяли и давили.

Бородач подошел их отогнать. Как я мог объяснить ему, этому господину с его благими намерениями, что это неудобство, эта боль меня совсем не обременяют, что ничего, подобного этим тискам любви, я в жизни не испытывал.

Хотя, может быть, он и понял. Он отдернул руки, словно от его подопечных шли разряды статического электричества, и позволил им по-прежнему мять меня в своих теплых объятиях. Бородач сделал вид, что смотрит на птицу, кормящуюся на черном поле.

Не помню, поблагодарил ли я его.

ЦИФРЫ

Процент бюджета США, расходуемый:
на нужды престарелых — 30;
на нужды образования — 2

Число мертвых озер в Канаде: 14 000

Число работающих, приходящихся на одного человека, получающего пособие :
в 1949 — 13
в 1990 — 3,4
в 2030 — 1,9

Процент мужчин в возрасте 25—29 лет, никогда не состоявших в браке:
в 1970 — 19
в 1987 — 42

Процент женщин в возрасте 25—29 лет, никогда не состоявших в браке:
в 1970 — 11
в 1987 — 29

Процент замужних женщин в возрасте 20—24 лет:
в 1960 — 72
в 1984 — 43

Процент людей в возрасте до 25 лет, живущих в бедности:
в 1979 — 20
в 1984 — 33

Количество людей, которых можно убить одним фунтом измельченного в порошок плутония (при попадании в организм через дыхательные пути): 42 000 000 000
Запас плутония в США на 1984 год, в фунтах: 380 000
Произведение этих чисел: 16 000 000 000 000 000

Доля дохода (в процентах), необходимая в качестве вступительного взноса при первом приобретении дома в рассрочку:
в 1967 — 22
в 1987 — 32

Процент домовладельцев среди лиц в возрасте от 25 до 29 лет:
в 1973 — 43, 6
в 1987 — 35,9

Реальные изменения в цене за период с 1957 по 1987 г. (в процентах):
золотого 18-каратового кольца с алмазом в 1 карат: + 322
гарнитура для столовой из восьми предметов: + 259
билета в кино: + 180
авиабилета до Лондона (Великобритания): — 80

Шанс попасть на телеэкран для американца: 1 к 4
Процент американцев, утверждающих, что они не смотрят телевизор: 8
Количество часов, проводимых за одну неделю у телеэкрана теми, кто утверждает, что не смотрит телевизор: 10
Количество убийств, которое среднестатистический ребенок успевает увидеть по телевизору к 16 годам: 18 000.
Количество рекламных роликов, которое американские дети успевают увидеть по телевизору к 18 годам: 350 000.
То же количество, выраженное в днях (при условии, что средняя продолжительность рекламного ролика — 40 секунд): 160,4.
Количество телевизоров:
в 1947 — 170 тысяч
в 1991 — 750 млн.
Рост дохода для граждан старше 65 лет — за период с 1967 по 1987 г. (в процентах): 52,6
для всех остальных граждан — 7

Процент женатых мужчин в возрасте 30—34 лет, проживающих со своими супругами:
в 1960 — 85, 7
в 1987 — 64, 7

Процент замужних женщин в возрасте 30—34 лет, проживающих со своими супругами:

в 1960 — 88,7
в 1987 — 68, 2

Процент граждан США в возрасте 18—29 лет, согласных с утверждением, что «нет смысла выполнять работу, которая не может принести тебе полного удовлетворения»: 58
несогласных: 40.

Процент граждан США в возрасте 18—29 лет, согласных с утверждением, что «при нынешнем положении дел нашему поколению будет гораздо труднее добиться комфортной жизни, чем предыдущим»: 65
несогласных: 33.

Процент граждан США в возрасте 18—29 лет, ответивших «да» на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы ваша супружеская жизнь была похожа на жизнь ваших родителей?»: 44
ответивших «нет»: 55

СВЕТЛАНА СИЛАКОВА

ПОКОЛЕНИЕ ДВОРНИКОВ И(КС) СТОРОЖЕЙ

Когда года два назад на страницы московской прессы выпорхнуло претенциозное словечко «иксер», о его происхождении особо не задумывались: понятно было, что это представитель какого-то там «поколения Икс», очередной молодой поросли, которая выбирает что-то неудобоваримое, одевается в спонсирующих данное издание магазинах и, как всегда, считает себя умнее всех. Органы столичной интеллигенции — «Общая» и «Литературная» газеты — попытались прибрать термин к рукам, организовав молодежные странички с этим названием, где, помимо материалов на предсказуемые темы (FM-радио, мода, обзор глянцевых журналов), были статьи о наших молодых современниках, которые собираются по квартирам и поют Галича.

Теперь мы знаем, что термин «иксер» ведет свою родословную от романа канадца Дугласа Коупленда. Книга стала бестселлером, термин прижился и сделался, благодаря все тем же средствам массовой информации, расхожим обозначением того поколения, которое называют также «детьми демографического спада». «Подростки восьмидесятых чувствуют себя гнусно обобранными — им кажется, что в прошлом и родители больше любили своих детей, и школы были лучше, и жизнь — легче» (Донна Гейнс, «Пустыня отрочества», 1990). По мнению «детей спада», старшее поколение — «бэби-бумеры», шестидесятники, дети цветов — смолоду успело погулять, понежиться на зеленых лугах экономического процветания и свободной любви до-СПИДовской эпохи, а теперь, заполнив в обществе все экологические ниши, заедает век собственным детям и младшим братьям. Пока поколение шестидесятников учило своих детей: «Кем захочешь, тем и станешь», гипотетическое блестящее будущее утонуло в серой мгле — рейганомика 80-х сделала свое разрушительное дело. На долю иксеров не осталось ни рабочих мест, ни сносного, относительно недорогого жилья, ни иллюзий. Одна безысходность. Соответственно, верой в будущее и трудолюбием они не страдают. Смысл еще одного самоназвания поколения – «слакеры» (от глагола «to slack» – делать спустя рукава, относиться наплевательски) – вполне ясен из следующего примера: в 1996 году в Лондоне был поставлен спектакль под названием «Обломов, или Комедия слакеров».

В американской прессе по поводу «поколения Икс» шли словесные баталии, весьма похожие на дискуссии в наших журналах конца 80-х на тему «Легко ли быть молодым?». Сходство поразительное — вплоть до подборок читательских писем, где учитель-пенсионер советовал иксерам заняться созидательным трудом, две юные девы объяснялись в любви к смерти, а также в ненависти к существованию «с девяти до пяти», а еще одна юная барышня заявляла, что нечего вешать ярлык на все поколение: дескать, далеко не все его представители режут себе по вторникам вены. Подытоживая, общество внезапно обнаружило в собственных домах и офисах совершенно новую, неуправляемую породу людей и стало мучительно подбирать к ней ключик. Как тут не вспомнить легенду (а скорее всего, не легенду) о партийных функционерах ранней перестройки, которые собирались при закрытых дверях и слушали «Аквариум», дабы разобраться, чего этим молодым не хватает. А музыкальным знаменем иксеров стала группа «Нирвана», повторившая путь грандов советского рока – от подвалов до стадионов, под шипение: «Продались...» со стороны любящей публики.

Звездный час термина «поколение Икс» пришелся в масс-медиа на 1995 год. Вот лишь несколько заголовков: «Поколение Икс: время делать инвестиции», «Лицемеры дефицита», «Журналы поколения Икс хворают болезнью роста», «Разбитые мечты поколения Икс», «Иксы — рафинированные, циничные и «сетевые», «Как обучать иксеров». Судя по всему, словосочетание «поколение Икс» трактовалось как

© С. Силакова, 1998

«поколение-загадка», «поколение-уравнение» (которое общество должно решить).

Активнее всего ключ к поколению искали те, чей доход напрямую от этого зависел: специалисты по рекламе. Доходило до анекдота. Приняв газетный образ иксеров за чистую монету, некая компания выпустила пробную партию напитка «О'кей-сода» в новаторском, нарочито унылом оформлении: на банках был изображен меланхоличный юноша, прислонившийся к запертым воротам явно неработающей фабрики. Иксеры, раздраженные этим дешевым заискиванием, проголосовали долларом — и «О'кей-сода» канула в Лету. Зато отлично известный нам ролик «Спрайта» («Имидж — ничто, жажда — все») имел огромный успех. По мнению специалистов, до иксеров может достучаться лишь та реклама, которая делает упор на практические достоинства продукта. Или абсолютно алогичная. Директор одного из агентств признался, что предпочитает нанимать неопытных режиссеров — в результате получается полная лабуда, но в том-то и состоит весь смысл.

Из образного самоназвания нового племени термин вскоре превратился в обычное газетное клише. Сами иксеры, естественно, вознегодовали — и принялись строчить свои статьи, растолковывая, что журналисты на материале их неоднозначных индивидуальностей малюют карикатурные схемы. «Нас считают нытиками, родительской обузой. Мы, дескать, разочаровались и зарываем свои таланты в землю. Отнюдь. Мы — позитивные личности, мы принимаем жизнь».

Но «принимают» они ее иначе, чем другие. Персонажи Коупленда не рвутся к славе, не делают карьеру, не устраивают свою семейную жизнь — даже романов, в сущности, не заводят. Не ищут рецептов счастья в «чужих» религиях и традициях. Только разговаривают и смотрят на небо. Не «любуются небом», а именно «смотрят». А если и любуются бессознательно, то вслух об этом никогда не скажут. Дворники Ивановы и сторожа Сергеевы калифорнийского разлива, они сидят сложа руки и никуда вроде бы не движутся.

О чем они беседуют в своих тихих заводях? Когда отсутствуют малые сюжеты повседневной суеты («пригласят – не пригласят», «прибавят зарплату – не прибавят»), сами собой приходят мысли о глобальном сюжете — судьбах человечества. Но планов переделки мира коупленовские персонажи не строят. Вместо этого они пытаются вообразить, как будет выглядеть конец света, к примеру, из окна супермаркета. Они размышляют о том, что самая непреходящая вещь на свете — пластиковые лыжные ботинки. Ничего не будет — а лыжные ботинки останутся. Как в анекдоте про нейтронную бомбу: «Стаканы с горилкой стоят — а нас нема». Эта неистребимость плодов человеческих рук удручает героев Коупленда как ничто другое. Ведь они появились на свет в эпоху, когда идея «человек — насильник матери своей, Земли» стала достоянием широкой общественности.

С материальным миром вообще и предметами массового потребления в частности герои Коупленда находятся в особых отношениях. Всякий объект накрепко впаян для них в конкретный ломоть времени. Современность мертвецов-яппи, признающих только дорогостоящие радости, современность рекламных роликов («Непреходяще-устойчивый вкус», «Ничего вчерашнего, только завтрашнее») они не приемлют. Им свойствен «вещизм» альтернативный, опрокинутый в прошлое: чем старомоднее и нелепее предмет, тем лучше. Они с первого взгляда отличают пластмассовую вазочку 1960 года от почти такой же вазочки 1965-го. Провидят в этих милых и убогих артефактах массовой культуры «тщету всего сущего». Читают по ним жизнь безвестных людей иных времен — каких-нибудь жен летчиков с заштатной авиабазы, официанток из Ванкувера, зубных врачей из Орегона.

«Обывательское спокойствие надо не высмеивать, а ценить на вес золота. Без него нам каюк — без него мы просто животные, и точка». Но миром среднего класса «иксеры» при этом любуются с безопасного расстояния. Ценность артефакта тем выше, чем меньше он связан с агрессивной современностью. Когда же подобным артефактом прошлого оказывается не анонимная вазочка с блошиного рынка, а родительский дом или, не приведи господь, его главное украшение — давний студийный фотопортрет семейства, этакий букет из образцово-показательных улыбок, неминуема бурная неприязнь. Отношения коупленовских героев с родителями — это одновременно притяжение и отторже-

ние. Ибо родители — живое подтверждение того феномена, что время неумолимо идет вперед, а ты по-прежнему сидишь на обочине.

Черт, до чего же похоже: наша альтернативная культура 70—80-х тоже ведь стояла на чужих артефактах. Умиление каким-нибудь случайным номером «Лайф» помните? Умиление потому и только потому, что эта вещь, этот компендиум текстов находится вне контекста. Он НЕ НАШ, он просочился из недостижимого, непостижимого мира — короче, ОТТУДА. И параллельно — ощущение, что ТАМ жизнь летит вперед, а тут — «сегодня тот же день, что был вчера» (Гребенщиков образца 1976 года). Впрочем, мы всегда могли свалить вину за свое бездействие на внешний фактор — власть. Кроме того, аксиома о существовании параллельного, идиллического мира («ближайший ночной бар — в Хельсинки») способствовала попыткам этот мир воссоздать. Начиная с языка — ибо в основе нашего хипповского сленга лежит английская лексика.

Когда открыли границы, умиление над пространственным импортом выветрилось, сменившись умилением над импортом времени — артефактами побежденного социализма, что уже ближе к подходу героев Коупленда. Ибо для них невероятна сама мысль, что рай может существовать в пространстве. ОТТУДА для них всегда означало С ТОЙ СТОРОНЫ ВРЕМЕНИ. Из той геологической эпохи, когда мама была молодая и о кислотных дождях никто не ведал.

Книги Коупленда можно рассматривать как полевые дневники культуролога, скрупулезно фиксирующие взаимоотношения людей и созданных ими вещей. «Возможно, в вашем городе найдется здание или сооружение, до того величественное и прекрасное, что его мысленный образ сделался настоящей *архитектурой* вашего сознания — скелетом, на котором держатся все ваши мечты, замыслы и надежды. В моем городе, Ванкувере, такое сооружение есть — это сказочный мост под названием «Львиные ворота», пишет Коупленд в своей новейшей книге «Фотоснимки от мертвецов». Мир Коупленда буквально напичкан названиями. Он не говорит «цветок», «гора», «шоколадка», а почтительно называет все эти объекты по именам либо торговым маркам. И хотя для устной и письменной речи американцев эта бытовая черта вообще крайне характерна, у Коупленда она возводится в прием.

В своем «раздрайном» и полустебном интервью 1994 года, изданном под названием «Полузабытая беседа с Дугласом Коуплендом», он говорит: «Индивидуальная память уходит первой, корпоративная — последней. И когда ты забудешь свою семью, ты еще долго будешь помнить «Мальборо».

Впрочем, по известному афоризму «определить — значит ограничить», страсть назвать все предметы и создания по именам порой оборачивается зловещей стороной. Имена становятся оковами. Таков подтекст одного замечания из пронзительного эссе Коупленда «Немецкий журналист». Повествователь и его спутник наблюдают за стайкой пожилых туристов: «Мы задумались, не суждено ли нам, как ни старайся, превратиться в итоге в членов турклуба *«Беспокойный странник»* и скитаться по миру, высматривая смысл жизни из окошка автобуса фирмы *«Вечнозеленое побережье»* с *орегонскими номерами»* (курсив мой. — *С.С.*).

У процитированного выше анекдота про нейтронную бомбу есть свое продолжение. Выслушав разъяснения эрудированного приятеля о различиях между нейтронной и атомной бомбой (на примере стаканов с горилкой), один из персонажей задает почти гоголевский вопрос: «Так что же это за бомба прилетела, если мы с тобой сидим, а горилки в стаканах — нема?!»

Похожее впечатление производит мир Коупленда: стряслась какая-то смутная катастрофа, и что-то – даже не объяснишь что – мистическим образом исчезло. Все не так, ребята.

Любой из элементов коуплендовского мира невозможно определить иначе как через отрицание. Любовь-Икс — это не любовь. Жизнь-Икс — это не жизнь. Литература-Икс — не литература. Отрицание при этом направлено на внешний мир, мир старших. «Мне кажется, мое поколение пришло в мир, чтобы убить штампы. Потому-то очень многие из нас боятся всерьез заняться своей жизнью — они воспринимают мир как один сплошной штамп», — так говорит Бек — певец, музыкант, звезда музыки в стиле пост-гранж[1].

[1] В хите Бека «Я — неудачник» саркастически вышучивается общая беда «поколения Икс» — ощущение бессилия.

Герой-повествователь книги «Рабы «Майкрософта» влюбляется. Девушка отвечает взаимностью. Для традиционного литератора это повод распахнуть перед читателем душу героя. Коупленд, напротив, задергивает занавес. Точнее, отключает компьютер. Рассказчик просто-напросто временно перестает вести дневник — а потом лишь отмечает, что теперь они живут вместе. На уровне «правды жизни» — абсолютно достоверная ситуация: чем сокровеннее переживание, тем меньше хочется — и можется — его фиксировать. На уровне «правды литературы» возникает мысль: «Неправильный какой-то герой. А может, и любовь у него неправильная?»

Но Коупленд отказывается расставлять капканы на «нормальных» читателей. Его интересуют люди, воспринимающие мир в том же диапазоне. При первом знакомстве с романом «Поколение Икс» меня поразила полная автономия главных героев — Энди, Дега и Клэр — от культурной традиции в нашем, русском понимании. Книг они не читают (по крайней мере, «в кадре»). Музыку не слушают. Художественным творчеством не балуются (опять же «в кадре»). То есть общеизвестные — а следовательно, позорно заштампованные — методы эскапизма они презрели. И пусть свой метод, вокруг которого и организуется книга («сказки на сон грядущий»), Энди вынес с собраний «Анонимных алкоголиков» — но тем выше его ценность, ибо элементы внешнего мира, выдержавшие пересадку в мир-Икс, вдвойне доказывают свою жизнеспособность.

В «Рабах «Майкрософта» целая компания (все как один программисты) увлекается учебником для дорожных инженеров. Потому что ЧУЖОЕ. Слишком чужое, чтобы представлять собой угрозу, — в отличие от «мелких торговцев облигациями», вроде того, кто читал Клэр мораль в «Поколении Икс». И в то же время не такое уж чужое — ребята тому и умилились, что труд дорожного инженера оказался, по сути, сходным с работой программиста.

Русскому читателю может броситься в глаза и еще одна деталь — практически полное отсутствие традиционной религиозной образности. Вернемся к интервью Коупленда.

Интервьюер. В духе какой конфессии вы были воспитаны? Не кажется ли вам, что даже в наше время любая культура тяготеет к некоей религиозной ортодоксии и не способна полностью избавиться от религиозной идеологии в какой бы то ни было форме?

Коупленд. Я получил абсолютно светское, нерелигиозное воспитание. Микроб иудеохристианского мышления там изначально отсутствовал. Вы и вообразить себе такого не можете. Его там просто не было. Вы думаете, будто я — что-то вроде отпавшего от веры христианина. Ничего подобного. Я начал с нуля.

И. Вы имеете в виду атеизм? Чем отличается светское воспитание от атеистического отрицания Бога, с одной стороны, и христианского постулата, что Бог — основа всего, с другой?

К. В атеизме ничего нового нет. Этой концепции уже много тысячелетий. А вот чего раньше никогда не было: в 50-х, 60-х, 70-х некоторые родители пришли к выводу, что воспитывать детей вообще без всякой религии — это огромная свобода. Есть маленькая кучка людей, вроде меня, которые выросли вообще безо всякой религии. А есть христиане пасхально-рождественские. И вот эти люди, которые вроде меня, достигают возраста, когда отрочество кончается. Мы тянем его и тянем, аж до четвертого десятка. Но когда оно кончается, принимаешься искать какой-то фундамент для мозга, какую-то подкладку: чтобы твоя жизнь — не очень-то веселая в большинстве случаев — обрела смысл. А раз в детстве у тебя не было рождественских елок или картинок с Иисусом, которые могли бы указать дорогу к чему-то еще, то... Короче, у тебя ничего нет. И ты должен — ex nihilo[1] — построить какую-то основанную на эмпирическом опыте рациональную систему для осмысления всего на свете.

Но, попытавшись сформулировать, что же за мир изображен в романе, приходишь к неожиданному выводу — мы имеем дело с вполне традиционной культурой так называемого «архаического типа». Трое молодых людей, покинув мир, где родились и выросли, уезжают в пустыню и там ежевечерне рассказывают друг другу притчеобразные истории. Постоянные мотивы этих историй — время, Земля, конец света,

[1] Из ничего (*лат.*).

смерть. По сути, перед нами — классическая инициация, знаменующая переход от детства под родительской опекой к самостоятельной жизни.

Архаические культуры четко различают «время повседневности» и «время ритуала, время праздника». Эти два вида времени могут отождествляться с различными точками пространства. «Время праздника» посвящено ритуализованному рассказыванию, точнее, воспроизводству мифов. Оно как бы выключено из повседневности — все бытовые дела на это время прерываются. Крайнее выражение этого принципа — суббота у иудеев.

Такое «время праздника», точнее, «время инициации» и длится в городе Палм-Спрингс («где никакой погоды просто не бывает — совсем как на ТВ»). Все, кто вовлечен в орбиту этого времени, живут не ради быта, а — говоря очень приблизительно — ради того, чтобы выйти на следующий уровень реальности. Несмотря на внешнюю пассивность героев, в их душах кипит работа. Всякий их поступок следует интерпретировать не в материальном, а в духовном (не вкладывая в это слово ни капли пафоса) плане.

Показательна история Элвиссы. У нее два финала. Вначале мы узнаем, что Элвисса ушла в монастырь. Это финал «палм-спрингсовский», абсолютно логичный в ситуации инициации. Затем выясняется, что Элвисса уехала с Тобиасом — то есть вернулась в «нормальный мир». Финал опять же абсолютно логичный, но уже согласно законам нормального мира, где благополучный красавец Тобиас — король. Оба финала в пространстве книги мирно сосуществуют.

Важно также, что, лишь покидая зачарованную пустыню Палм-Спрингса, герои оказываются перед необходимостью претворить свои взгляды в жизнь, то есть доказать, что инициационные испытания они прошли. По сути, и Энди, и Клэр это удается — но Коупленд не столь банален, чтобы привести книгу к однозначному хэппи-энду. Вроде бы случайное стечение обстоятельств — Дегу не сошел с рук очередной акт вандализма — буквально выпихивает героев из Палм-Спрингс. А едут они в Мексику, где время «застопорилось на несомненно техлахомском 1974 году», где вместо земли «зернистая, иссушенная, доведенная до отчаяния лунная поверхность», — чтобы создать уже свое пространство инициации.

К концу книги каждый из героев сформулировал для себя, чем станет заниматься в жизни. «Клэр с веткой будет кружить в песках, исступленно ища под землей воду». Дег примется сажать в пустыне цветы. Энди надеется, что к нему что-то слетит с неба — либо молния, либо пеликан с серебристой рыбешкой. В начале повествования юный Энди лежал на зеленом поле и смотрел на солнечное затмение. В финале мы видим его на другом поле — выжженном, зимнем — под сенью зловещей, похожей на атомный гриб тучи. Но на это черное поле слетает белая птица и, скажем так, официально закрепляет переход Энди во взрослость.

Сцена в духе сентиментально-коммерческих самоучителей: «Как найти своего ангела-покровителя». Но — в том-то и секрет писательского обаяния Коупленда и вообще секрет прелести «культуры-Икс» — это «благословение» выглядит абсолютно естественно. Не в последнюю очередь именно потому, что в тексте (и в сознании героев) отсутствуют прямые отсылки к каким бы то ни было традициям. Острое неприятие штампов разлито в самой атмосфере книги — и потому-то сюжетные ходы, которые в другой, принадлежащей к «нормальной литературе» книге показались бы надуманными, здесь работают. Как резюмировал Энди свой побег из покоев японского магната: «Искренних порывов нечего стыдиться».

Пожалуй, единственный деятель так называемой «общечеловеческой культуры», которого у Коупленда все-таки цитируют в открытую, — это Рильке. И не зря. Действие «Поколения Икс» и «Записок Мальте Лауридса Бригге» происходит в одном и том же мире — мире обостренных переживаний, где ничто не существует просто так. В каждом прохожем, в каждой детали мира внешнего герой видит себя, аллегорию своей трудной судьбы. Каждый шаг — инициационное испытание.

Подыскивая Коупленду аналог среди уже известных аудитории писателей, рецензенты журналов «Космополитэн» и «Тайм-аут» остановили свой выбор на Сэлинджере («Коупленд — что-то вроде современного Сэлинджера, сидящего на расширяю-

щих сознание наркотиках»). И действительно, вся история поездки Клэр в промерзший рождественский Нью-Йорк — это миниатюрный римейк «Над пропастью во ржи». Общее ощущение холода, фальши, потаенного неблагополучия вроде бы благополучных нью-йоркцев (Тобиаса и его матери). Искать воду в пустыне или дежурить над пропастью во ржи — это одно и то же. А чисто «иксерская» привязанность Холдена Колфилда к его странному головному убору — охотничьей шапке?

Всякое впечатление, всякую мысль Холден прежде всего проверяет на искренность. «Брехня, фальшь, кретины», — слышим мы постоянно. И для иксеров смертный бой со штампами — этим враньем в квадрате — стал, как уже говорилось, главным делом. Но здесь же мы обнаруживаем и одно радикальное отличие. Холден зациклен не только на своих мыслях, но и на своем чувственном восприятии. Его неистовство в значительной мере объясняется этим болезненным раздражением органов чувств, не выдерживающих запахов и картин реальной, немытой жизни. По сути, за этим стоит неистовство плоти — явление, принципиально чуждое героям романа Коупленда. Инициационные испытания не затрагивают их тел. Возможно, таким образом они бессознательно обособляются от предыдущего поколения — нынешних «лысохвостиков», в молодости пытавшихся обрести себя и общечеловеческую гармонию на путях свободной любви. Пожалуй, к иксерам ближе герои зрелого Сэлинджера — Глассы, умеющие воспринимать жизнь с иронией и любовью, не срываясь на пафосную ярость.

Тем временем пресловутое поколение потихоньку взрослеет и перерастает миф о самом себе. Летом 1997-го в «Тайм» появилась статья, разоблачающая миф об иксерах, — социологические опросы показали, что они смотрят на вещи трезво и стремятся прежде всего к материальному благополучию, ради которого готовы поступиться любыми принципами.

Иксеры не только мечтают, но и действуют — чтобы высокомерные старшие ими не помыкали, они создают собственные фирмы. Некоторые процветают. «Тайм» с придыханием повествует о сказочно богатых 26-летних. Обозреватель «Тайм» объясняет это тем, что иксеры выросли при рейгановской администрации, с малолетства впитав в себя ее негласный лозунг: «Сам о себе не позаботишься — никто о тебе заботиться не будет». Они не доверяют ни правительству, ни родителям, а потому стараются решать свои проблемы самостоятельно. Возможно, именно благодаря их усилиям экономика США пошла на поправку и сейчас, по оценкам экспертов, во многом напоминает последний «золотой век» — начало 60-х.

Сложно сказать, есть ли у нас аналоги коуплендовскому поколению Икс. Стопроцентных, видимо, нет. Иксерство в России как бы размазано по разным эпохам. Голова — в «поколении дворников и сторожей» конца 70-х — начала 80-х, с его лирической созерцательностью и сомнениями в себе. А хвост — вероятно, в душах нынешних «двадцати-с-чем-то-летних». Закончим словами иксера нашего времени и места Ивана Охлобыстина: «Кризис как таковой — он в том, что я и мои друзья уже достигли определенного возраста, но как бы продолжаем барахтаться в неотчетливо оформленном времени. То есть раньше, например при сталинизме, кто-то строил всякие ГЭС, кто-то сидел в ЦК, кто-то — на Колыме, но это было поколение. А сейчас — смутные времена, нет формации, то есть река как бы изменила русло, прежний мост оказался проложенным посуху, а новый еще не построен. И свайки переносятся туда, где теперь река. Но еще нет платформы, и мы стоим, как одинокие столбики, мы вынуждены оставаться наедине с самими собой и не можем объединиться в поколение...»

■

ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ

ПОКОЛЕНИЕ ИКС: ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ?

В демократических обществах
каждое последующее поколение —
это поколение людей нового типа.

Алексис де Токвиль

КОУПЛЕНД ДУГЛАС (род. 1961 г.)[1]

Уроженец Ванкувера (Канада), чья писательская карьера началась с внушительного аванса (22 500 долларов), полученного им за будущую книгу, задуманную как документальное повествование о его поколении. Вместо этого ***К.*** написал «Поколение Икс» — роман, полный тонких наблюдений с опорой на маргинальную эстетику, в центре которого — судьба трех неудачников. К 1995 г. книга с подзаголовком «Сказки для ускоренного времени» была продана в количестве 400 тыс. экземпляров. Из культового текста, слухи о котором передавались из уст в уста, роман превратился в явление культуры, а его заглавие дало имя новой эре в молодежной культуре. ***К.*** упрочил свою репутацию, опубликовав ряд интересных и основательных эссе в таких изданиях, как, например, «Нью рипаблик», а также усовершенствовал свой минималистский стиль в романах «Планета Шампунь» и «Жизнь после Бога», в оформлении которого были использованы заставки МТВ. В 1995 г. ***К.*** опубликовал более удачный роман «Рабы «Майкрософта», который родился из истории о шести служащих компании «Майкрософт». По мотивам романа был снят получасовой видеофильм «Близкий друг», в котором отразились особенности коуплендовского стиля: легкий юмор и пристрастие к ироническому использованию клише масс-медиа, характерные для писателя современной эры.

Неологизм «поколение Икс» распространился ныне до такой степени, что вскоре его будут писать (если уже не пишут) в подъездах и на заборах. Однако, как это бывает сплошь и рядом, популярность термина далеко не означает понимания того, что он выражает, — так некогда Фимочка Собак щеголяла заковыристым словом «гомосексуализм» перед своей подругой Эллочкой Щукиной. Существует ли вообще поколение Икс, и если да, то в какой действительности? Скрывается ли за этим термином некая универсалия или же это название мимолетного поветрия в одной, отдельно взятой стране?

24-я буква латинского алфавита с давних пор служит общепризнанным иероглифом неизвестной величины (истинное значение которой может быть любым), универсальным заменителем полного имени, псевдонимом тайны. Можно увидеть в ней и некоторый намек на гонимость и неприкаянность. Крестный отец иксеров, канадский романист ***Дуглас Коупленд***, заглавие для своего романа попросту позаимствовал: ведь именно так в Британии начала 60-х называлась серия бульварных книжек о «рассерженной молодежи», а позже — группа популярного американского панкера Билли Айдола. Для Коупленда поколение Икс было явлением вполне конкретным и служило общим знаменателем для персонажей его романа: он писал о своих младших калифорнийских сверстниках, так называемых слакерах — говоря современным языком, пофигистах.

Коупленд имел в виду прежде всего их быт — с отсутствием привлекательной карьеры и определенных жизненных перспектив, с неустроенностью, которая, за неимением альтернатив, постепенно превращается в жизненное кредо, сочетающее иронию по отношению к обществу с беспомощностью перед его лицом, неприятие никаких ценностей — с полным отсутствием установки на протест. В еще большей степени, чем о самих слакерах, роман этот — об их языке, изобилующем многочисленными словечками, возникающими и исчезающими как пузырьки пены в бурном информационном потоке, специфическая насыщенность которого воспринимается как особая примета конца тысячелетия. Отсюда — примененный Коуплендом метод

[1] На полях этого текста цитируются словарные статьи из справочной энциклопедии «Alt. Culture» (London, 1995), в которой собраны описания нескольких сот реалий, персоналий и понятий, прочно вошедших в «альтернативную» культуру 90-х. Книга эта представляет собой также и путеводитель по Интернету: в конце большинства словарных статей приводится электронный адрес, по которому можно получить более полную информацию.

© И. Кормильцев, 1998

«глосс», когда речь персонажей сопровождается отдельными вставками на полях — подобно тому как течение телевизионной передачи перебивается вставками рекламы.

Америка живо откликнулась на зарисовку Коупленда, усмотрев в ней постановку культурной и социальной проблемы далеко не частного порядка. Пишущая братия с вожделением ухватилась за «иксерскую» концепцию; при этом само понятие со временем наполнялось все более и более широким и, следовательно, размытым, содержанием. Для этого, несомненно, имелись определенные основания: ведь в конце 80-х стало очевидным, что подходит к концу культурное доминирование так называемого ***поколения бума***. Подходит к концу именно в то самое время, когда его политическое могущество достигло пика с приходом к власти администрации Клинтона — образцового во всех отношениях «бумера». Да и на всех других ключевых постах бумеры достигли поры своего цветения, лихо перепрыгнув через головы старших братьев — поколения нынешних шестидесятилетних, прозванного «молчаливым», — и непосредственно сменив в креслах ветеранов второй мировой.

Культура, конечно, делается не в административных кабинетах, но и среди ключевых фигур американской культуры мы встречаем блестящих представителей когорты бумеров — в их числе и Спилберг, и много кто еще. У всех у них есть общий знаменатель, присущий всему поколению «свидетелей Вудстока», — бескомпромиссный идеализм, порожденный глубокой уверенностью в том, что человека и человеческое общество можно и нужно переделать к лучшему. Сперва в Америке, а затем — повсеместно. На протяжении более чем двадцатилетнего, рекордно долгого для динамичной американской истории царствования бумеров эта «основная идея» переживала непростые зигзаги: ее бросало из стороны в сторону — от безграничного либерализма 60-х до нынешнего непоследовательного консерватизма ***«семейных ценностей»*** .

Но во всей порожденной этой идеей смеси культурных реалий, пестрой, эклектичной и включающей в себя такие разноплановые явления, как «новые левые» и хиппизм, яппи и «новую корпоративную этику», политкорректность и «нью-эйдж», всегда можно найти общий знаменатель — позитивную устремленность в будущее, даже если это будущее чревато глобальными катастрофами и конфронтациями.

В этом смысле идеология бумеров вполне укладывается в контекст традиционного «пионерского» менталитета американского общества, что

ПОКОЛЕНИЕ БУМА (БУМЕРЫ)

Граждане США, появившиеся на свет в годы послевоенного демографического бума (1946 — 1960). Именно они были создателями молодежной культуры 60-х, а в настоящее время продолжают держаться за нее — отсюда попытки институционализировать рок-н-ролл и появление «Зала славы героев рок-н-ролла». Пик влияния бумеров на формирование культуры приходится на 80-е, когда благополучный экономический и социальный статус этого поколения превратил их в привлекательную платежеспособную аудиторию. Идиллия, в которой пребывали бумеры, резко оборвалась с появлением поколения Икс. Для этого нового поколения ненависть к бумерам с их благополучием и попытками продлить свою юность стала своеобразным кредо. Масс-медиа подчеркнули и зафиксировали этот разрыв между поколениями.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Термин с широким значением, используемый для всех консервативных течений и взглядов — в первую очередь в отношении политиков, придерживающихся религиозных убеждений и выступающих против абортов, сексуальных меньшинств, феминизма, свободного секса. Этот термин постепенно стал антонимом понятия «альтернатива». Возник в 1966 г. в момент подъема молодежной контркультуры. Был введен Эндрю М. Грили — писателем и католическим священником. К 1976 г. понятие ***«с. ц.»*** стало частью платформы Республиканской партии. Через 16 лет в ходе очередных президентских выборов идеал, обозначаемый этим термином, определил понятие «культурной войны», объявленной кандидатом от республиканской партии Патриком Бьюкананом.

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ

Космополитическая философия, которая отстаивает сохранение различных расовых, этнических и религиозных особенностей, в противовес идее «плавильного котла», которой придерживались первые поколения переселенцев в США. Консерваторы и некоторые либералы, вошедшие в истеблишмент, расценивают ***м.*** как подрыв основ западной цивилизации.

Влияние ***м.*** постоянно возрастает — многие школы вводят обязательные предметы типа изучения речевых кодов и принципов культурного диалога. Рост афро-американского и азиато-американского среднего класса и достижения этнических культур в разных областях (вплоть до моды на изучение идиш или предпочтения латиноамериканского соуса привычному кетчупу) по-прежнему активно воздействуют на учебные программы и на поп-культуру.

и позволило ей, по крайней мере в своем политическом аспекте, сомкнуться на излете с идеологией фундаменталистов в отношении таких социальных тем, как «война с наркотиками» или проблема ***мультикультурализма.***

Длительная стагнация культурного вектора, пусть даже крайне продуктивная, не могла не вызвать как ответную реакцию смену его знака на противоположный: идеализм провоцирует цинизм, прожектерство —приземленный прагматизм и т. д. Именно такого ответа следовало ждать от следующей фазы культурного развития, и он не замедлил последовать. Способствовали этому, несомненно, и внешние перемены, главной из которых стало окончание Великого Противостояния Систем, — публицистически чуткий легендарный рок-н-роллльщик Игги Поп (тоже, кстати, бумер) отреагировал на это следующим куплетом: «Верните мне Берлинскую стену, без нее в нашей жизни что-то безвозвратно утеряно» («Loui Loui», 1995).

Окончание противостояния привело к развороту от «внешнего врага» к «врагу внутреннему». «Реставрировать» образ внешнего врага не удалось, как и заменить его чем-либо: полумифический «международный терроризм» на эту роль никак не тянет — он все же скорее внутри, чем снаружи. Вожделение, испытываемое Клинтоном к Саддаму, имеет не меньше культурологических причин, чем геополитических. Против внутреннего врага, будь то вирус ВИЧ, или торговцы наркотиками, или экологические проблемы, всей нацией в едином порыве бороться сложно — с ним, как с насморком, каждому приходится сражаться в меру своих сил и возможностей. Крестовые походы на него впечатления не производят.

МАКДЖОБ

Термин, в 1983 г. введенный в обиход «Макдональдсом» для рекламы своей программы по трудоустройству инвалидов. К концу 80-х стал означать общую тенденцию на рынке труда — сдвиг к низкоквалифицированным и низкооплачиваемым видам работ, особенно в «фаст-фуд» — закусочных типа «Макдональдс». ***М.*** описаны Дугласом Коупленом в его знаменитом романе «Поколение Икс» (1991); с тех пор это слово широко используется в книжной и телевизионной рекламе. Продолжающееся исчезновение «синих воротничков» (рабочих высокой квалификации) обусловило увеличение пропасти между доходами выпускников средних школ и выпускников колледжей; с другой стороны, повышение зарплат менеджмента компаний в начале 90-х привело к понижению спроса на специалистов, получивших высшее образование.

Вот в такой-то изменившейся обстановке и произошло явление иксеров, выросших на обломках семейного уюта, разрушенного духовными метаниями пап и мам—бумеров, и способных наконец оценить со стороны итог этих метаний.

Поколение иксеров, как оно описано Коуплендом, — это вполне определенная и хорошо знакомая автору генерация калифорнийских молодых людей, не надеющихся никогда обзавестись собственными (слишком дорогими) домами и посему путающимися под ногами у предков-бумеров, которые к детям (особенно таким) относятся примерно как герой Хармса: выкопать бы в центре города большую яму, сложить туда всех детей и посыпать известью. Работой с предсказуемой и тягомотной карьерой обзаводиться иксеры не торопятся, предпочитая обеспечивать свое существование не требующими высокой квалификации ***«макджобами»***[1].

[1] В русском тексте романа Коупленда термин «McJob» переведен как «Макрабство» (*прим.ред.*).

Строительство семьи тоже не по карману и слишком сближает с ненавистными родителями. Разумный компромисс между свободой и безопасностью иксеры находят в концепции ***«серийной моногамии»***.

Список специфических иксерских примет можно продолжать долго — и многие из них можно найти в романе Коупленда. В крайнем своем выражении сопутствующая такому образу жизни унылая безнадежность хорошо выражается заглавием песни лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна (также ставшего одной из культовых икон иксерства): «Я ненавижу себя и хочу умереть».

Выпущенные на свободу силой литературного слова, коуплендовские слакеры начали действовать самостоятельно, обросли шкурой интервью, социологических исследований, комиксов и в конце концов — что вполне закономерно — стали писать о себе сами. Писать, в основном отрицая свое собственное иксерство, клеймя его как обобщающий ярлык, выдуманный все теми же бумерами. Для этого у них было более чем достаточно оснований — ведь в понятие «поколение Икс» стали включать вообще все новое и модное: от фильмов Тарантино и ***трансгрессивной литературы*** до нового сектантства нью-эйджевского толка (типа «Храма солнца») и компьютерных хакеров.

К середине 90-х выражение «поколение Икс» со всей присущей ему атрибутикой в контексте американской культуры стало восприниматься скорее иронически — как всякое зашедшее за грань разумного обобщение. Сам Коупленд в беседе о своем последнем романе «Рабы Майкрософта» призывал отказаться от этого термина, как от уже исчерпавшего себя.

Однако иксерство к этому времени уже пошло за пределы Нового Света — что называется, на экспорт. Там его ждала культурная и социальная реальность, неизбежно отличавшаяся от американской в очень многих аспектах. И тем не менее именно там этот термин обрел второе дыхание, а в некоторых регионах (в числе которых, очевидно, и Россия) пик его употребления (и злоупотребления им) только наступает.

Очевидно, в самом сочетании слов «поколение Икс» содержится нечто притягательное для современного сознания и, возможно, скрывается реальность куда более обширная, чем представлялось Коупленду и его комментаторам. Этому не противоречит и разочарование Америки в концепции иксерства — ведь в процессе своей эволюции понятие это действительно превратилось в трюизм, обозначающий попросту «современный образ жизни».

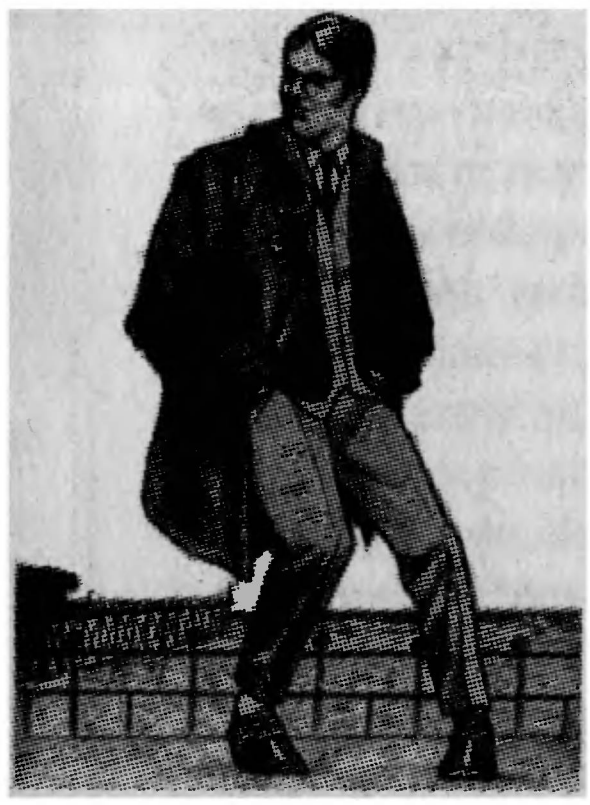
Первое «поколение Икс» попало впросак, сва-

СЕРИЙНАЯ МОНОГАМИЯ

Стабильная семейная жизнь; визиты к родителям друг друга, соблюдение супружеской верности; затем — разрыв и все сначала, с кем-нибудь другим. Сочетание супружеской верности с отсутствием долгосрочных обязательств — это и есть ***с. м.***, которая является реакцией на принцип «свободной любви» эпохи сексуальной революции. Специфическая черта ***с. м.*** — не адюльтер, а разрыв отношений. Именно этот тип связей наиболее популярен среди нынешних выпускников колледжей — в то время как количество традиционных браков продолжает снижаться.

ТРАНСГРЕССИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Современное течение в литературе, развивающее постмодернистскую технику Томаса Пинчона и минимализм Раймонда Карвера. Для этой литературы характерно обращение к психоделии, пограничным состояниям сознания, связанным с наркотиками и сексом, к болезненным взаимоотношениям в духе де Сада и У. Берроуза, к психическим извращениям, свойственным серийным убийцам. Количество этих книг растет настолько быстро, что в 1994 г. магазин «Тауэр» в Нью Йорке открыл для продажи ***т. л.*** специальную секцию, оформленную в стиле андеграундных книжных лавочек.



БРЭНДИНГ

Редкая экстремальная форма украшения тела, когда рисунки выжигаются на коже при помощи горячего металла, что напоминает клеймение крупного рогатого скота. Этот странный ритуал первоначально возник в университетских негритянских кварталах. Другие формы ***б.*** вместе с нанесением рубцов возникли на левом крыле культуры современного примитива (начало 90-х), как только татуировки и ***пирсинг*** превратились в явление мейнстрима и распространились среди супермоделей и попзвезд. В некоторых садомазохистских субкультурах обряд выжигания клейма нередко снимается свидетелями на видеокамеру и предстает как общинный ритуал обретения наслаждения через страдание.

ПИРСИНГ

Древняя практика в странах Востока, распространившаяся в Америке вначале среди ряда субкультур — садомазохистов, панков и металлистов, — а затем вошедшая и в культуру мейнстрима. При ***п.*** прокалываются не только уши, но и другие участки тела: пупок, ноздри, соски, брови, язык. Некоторые решительные приверженцы пирсинга рискуют своими гениталиями. Апологеты ***п.*** утверждают, что грамотно выполненная процедура не приносит сильной боли и может — в случае, когда система капилляров не нарушена, — вызывать прилив крови и даже обострять чувствительность сексуального органа.

лившись в яму, выкопанную его родителями-бумерами. В поисках идентичности оно столкнулось с новым фактом бытия — миром, в котором само понятие идентичности лишено смысла. Но парадоксальным образом в контексте такого мира понятие «поколение Икс» приобретает новый, глобальный смысл, позволяющий ему укорениться в мировом масштабе и преодолеть свою изначальную временную и географическую ограниченность. Попробуем вскрыть возможные грани этого нового, не-коуплендовского смысла.

Вернемся для начала к звонкой фразе де Токвиля, с которой начинается это эссе. «Новые люди» де Токвиля — это те, кто совершил сознательный выбор «нового», неприемлемого для людей «старых». Отсюда и неслучайное упоминание демократии — возможность такого «отрицательного» выбора предполагает определенные гарантии со стороны политического и социального механизма. Но она предполагает и гашековские «свободу и прогресс в рамках умеренности и законности», иначе говоря — идеологию, в пределах которой такой выбор может осуществляться.

А как быть, если этих рамок *нет*? Если поверить на слово нещадно восхваляемому и ругаемому Фукуяме, то приходится сделать логический вывод: «порогу истории» должен соответствовать «порог поколений». Именно история как смена культурных и социальных фаз — с присущей им взаимонеприемлемостью — гарантирует существование поколений. Там, где «линейная» история рушится, подменяясь циклической или даже «броуновской», отсутствует и дитя веры в прогресс — поколение. Или веры в регресс — смена знака не нарушает принципа оси. Традиционным обществам, закрученным

в колесо вечного космического возвращения, известны только биологические поколения.

Если пробежаться беглым взглядом по морю статей и публикаций на тему «поколение Икс», можно наглядно увидеть, насколько далеко новое, глобальное содержание этого понятия ушло от первичного: подобно взбесившемуся пылесосу, термин всосал в себя широкий спектр, казалось бы, совсем разнородных элементов — английскую рейв-культуру «химического поколения» и музыкальный стиль «брит-поп», «новую молодежь» Восточной Европы и — в нашем далеком краю — московскую клубную публику, отмороженных малолетних бандитов и романы Пелевина. Не становится ли в таком случае поколение Икс неким особым ярлыком для «потребительской корзины» современных и модных товаров, лишь теоретически ориентированной на определенный возрастной слой, но потенциально доступной кому угодно? И если так, то не является ли поколение Икс тем самым последним поколением за порогом истории? Ведь предыдущие «классические» поколения характеризовались присущим им в силу исторических условий воспитания имманентным *духовным модусом*, а для поколения Икс показателен прежде всего некоторый подвижный и постоянно расширяющийся *список товаров* — куда входят не только материальные объекты, но и особые, нередко экзотические *стили существования*.

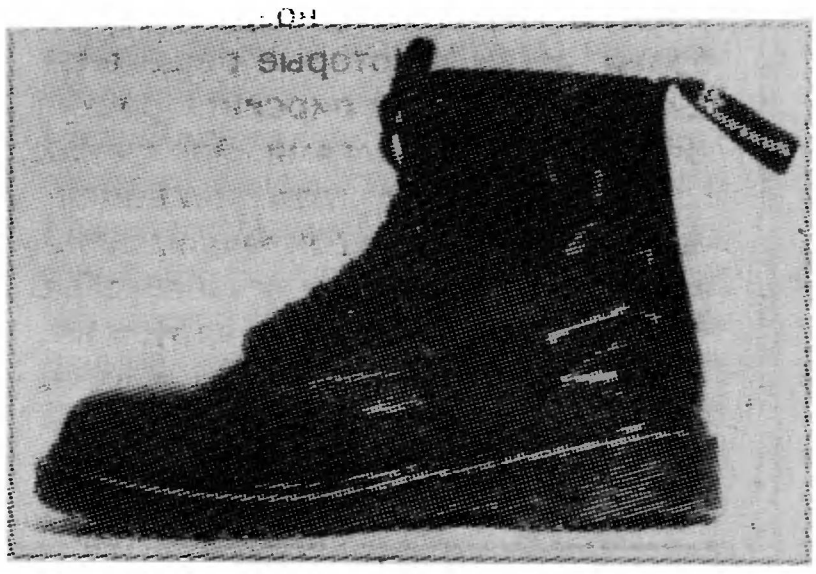
Для героев Коупленда одной из главных забот является поиск уникальных предметов — тех, что нельзя приобрести в супермаркете: какой-нибудь фотографической рамочки с авиабазы 69 года, пластмассовой занавесочки образца года 71-го и так далее. Этот «технологический антиквариат»

ВЕГАНИЗМ

Строгая растительная диета, исключающая любую пищу животного происхождения. Не путать с вегетарианцами, употребляющими яйца и молочные продукты — сыр, молоко, — или диетами, которые исключают яйца, но разрешают молочные продукты. Согласно данным «Веджетариан таймс», более 12 млн. американцев считают себя вегетарианцами, при этом только 10% вегетарианцев — веганисты. ***В.*** часто сопряжен с участием в движениях защиты животных. Родителей-веганистов неоднократно порицали за то, что они лишают детей сбалансированного питания: по утверждениям врачей, такие дети страдают расстройствами пищеварительных функций. Производители пищевых продуктов, стремясь удовлетворить потребность в продуктах, не содержащих мяса, приступили к выпуску так называемых «аналогов мясных продуктов» — таких, как «Псевдобекон».

СТРЭЙТ-ЭДЖ

Воздержание от наркотиков, алкоголя, табака, мяса (в некоторых случаях — от секса), которого придерживается ряд неопанков. Это движение возникло в 1982 г. благодаря композиции «Главная угроза», в которой Иен Маккей — лидер знаменитой группы «Фугаци» — провозглашает своеобразное кредо: «У меня есть кое-что получше... Я не желаю есть таблетки/ Мне смешно, что можно нюхать клей... Моя жизнь — стальной стержень». Эта группа (и более конкретно — эта песня) дала начало новой субкультуре — хардкору, пропагандирующему «здоровый образ жизни» и все еще популярному сегодня среди белых подростков. В 90-х мораль в духе «стального стержня» уделяет особое внимание защите животных и ***веганизму***.



ИСКУССТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Компьютеры, запрограммированные в большей степени не на анализ, а на подражание жизненным процессам и живым организмам. В настоящее время биоимитирующие компьютерные модели оказывают воздействие на теорию игр, медицину, искусственный интеллект, робототехнику, гибкую логику и нанотехнологию. ***И. ж.*** также стала артефактом, определившим стилистику компьютерного кича. Варианты программы LIFE Дж. Конвея для любого персонального компьютера доступны через Интернет. При помощи программы BOPPERS Р. Ракера пользователь может «монтировать» ДНК и моделировать сексуальное поведение колоний живых организмов. Работы над ***и. ж.*** позволяют выдвинуть тезис о том, что компьютеры должны рассматриваться как часть эволюции человека.

WWW — «УОРЛД УАЙД УЭБ» («ПОВСЕМЕСТНО ПРОТЯНУТАЯ ПАУТИНА»)

Графический интерфейс компьютерной сети «Интернет», появившийся в 1994—1995 гг., стал самым распространенным программным обеспечением для создания ***гипертекста*** и электронных изданий. В своих основных чертах ***WWW*** была разработана в Европейской лаборатории физики элементарных частиц между 1989 и 1992 гг. — для обмена не только текстами, но снимками и рисунками. Когда в конце 80-х появление электронных издательств популяризировало качественную технику печати, создались благоприятные условия для широкого распространения ***WWW***. Потенциальные возможности ***WWW*** были признаны на Уолл-стрит в августе 1995 г., когда «Нетскейп» (ведущий поставщик сетевого программного обеспечения, не имевший тем не менее значительных доходов) акционировал свой капитал и совладелец компании, 24-летний Марк Андресен, получил 50 млн. долларов от продажи своего пая. Несмотря на все достоинства, из-за недостаточной оперативности при передаче информации и многочисленных ограничений при использовании движущихся изображений и звука ***WWW*** пока не составляет конкуренцию телевидению. Но ситуация может измениться, поскольку язык программирования ***WWW*** эволюционирует в сторону мультимедийности.

призван заполнить пустоту на месте ликвидированной Истории, дать точку отсчета, по отношению к которой можно *быть*. Но в наше время любая, самая немыслимая стилизация тотчас же ставится на поток и наполняет супермаркеты (в развитых странах) и оптовые рынки (в странах не столь развитых). Цивилизация достигла способности производить любой товар для любого потребителя, причем временной отрезок между возникновением спроса и его удовлетворением оказывается пренебрежимо мал. Отсюда и сочетание *тоски по подлинности* с *восторгами шопинга* в гигантских торговых залах, где деятельность покупателя напоминает скорее азартный восторг первобытного собирателя, наталкивающегося в джунглях на все новые и новые съедобные ягоды и корневища.

А безграничное удовлетворение спроса предполагает, в свою очередь, ту самую «резиновость идеологии», которая снимает обычные ограничения на ассортимент этих товаров. Общим обозначением для обслуживающей эту ситуацию идеологии стало понятие «нью-эйдж» — закономерный итог исканий бумеров. Нью-эйджу удалось вобрать в себя все, что только можно было объединить под эгидой туманной «космической ответственности» человечества: и самопознание 60-х, и экосознание 80-х, и «современное варварство» 90-х. В безграничных рамках нью-эйджа заурядным и доступным товаром стали такие ранее табуированные и традиционно относившиеся к социальным маргиналиям явления, как, скажем, ***брэндинг*** или ***пирсинг***.

Это поставило современную альтернативу — в культуре ли, в идеологии — в непростую ситуацию, которая заставляет вспомнить один рекламный ролик зари нового русского капитализма: «Несмотря на все богатство выбора, альтернативы нет». Вернее, ее нет именно благодаря богатству выбора. Стеллажи наших домов (а у кого есть — каминные полки) прогибаются под тяжестью объектов, подобранных на помойке духа: амулеты соседствуют с иконами, стереосистема — с репликой вавилонской астролябии. Так и в культуре: мы словно бродим между полками, подобными тем, которые можно увидеть в любой эзотерической лавке вроде «Пути к себе». Здесь все на соседних стеллажах: вот христианство, вот буддизм, а вот Блаватская и Ошо — выбирай, что больше нравится. Что-нибудь не столь традиционное? Пожалуйте, вот вам ***веганизм***, а вот вам ***стрэйт-эдж***.

По этому своеобразному супермаркету бродит не только новое поколение — в меру сил и возможностей среди повсеместно протянутых прилавков идем и все мы. Разница между теми, кто постарше, и теми, кто помоложе, только в одном — первые еще помнят времена, когда Бог или Партия (в зави-

симости от национального контекста) регулярно инспектировали ассортимент и накладывали на него обидные ограничения. Но эти времена стремительно уходят в прошлое. Хотя — в отличие от Бога и Партии — и они тоже широко представлены на прилавках: в соответствующих отделах. Наряду со всем остальным...

Наиболее ярким символом 90-х стал Интернет (или ***WWW — «Уорлд Уайд Уэб»***) — немедленно включенный в уже и без того длинный список примет иксерства. Сочетание Интернета и постисторической фазы культурного процесса на глазах порождает новую реалию, которую мы рискнем назвать Всемирным Виртуальным Интерактивным Супермаркетом. Этот Супермаркет, вполне вероятно, представляет собой будущую среду обитания поколения Икс в его расширенном понимании.

Начавшись как сеть обмена информацией, Интернет стремительно превращается в сеть обмена товарами и услугами, в том числе (а возможно, и в первую очередь) культурно значимыми. В этой ситуации в еще большем масштабе, чем во времена экспансии телевидения (процесс, бывший в определенной степени прообразом нынешнего роста «Паутины»), вышеупомянутые прилавки, полные всякой всячины, теперь проникают в каждый дом. И хотя той части человечества, которая не соприкасается с «Паутиной», перспектива такого проникновения кажется далекой, она становится повседневностью для тех, кто в «Паутину» уже попал (а число последних в России, например, ежемесячно возрастает на 30%).

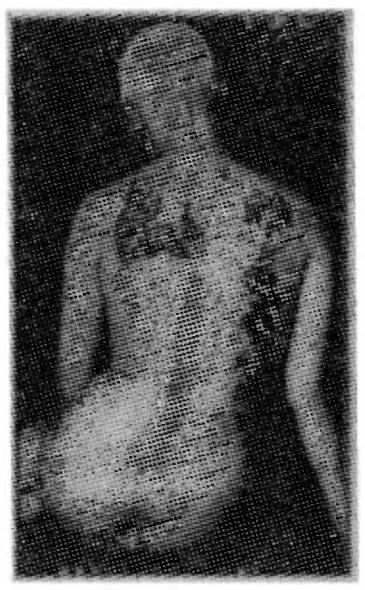
Безграничная потребность Супермаркета в не ограниченном ничем (кроме, возможно, человеческой биологии) ассортименте товаров ведет в мировых масштабах к перепроизводству духа. Не будем сейчас говорить о природе этого духа — духи, как известно, бывают всякие. Констатируем лишь то, что впервые в истории цивилизации таксономия артефактов количественно превзошла таксономию живой и неживой природы. Предпринимаются, впрочем, и первые попытки включить эту самую нерукотворную природу в рамки артефакта (см. ***Искусственная жизнь***).

Как в замысловатом многовариантном паззле, продукты духа перетасовываются на полках Супермаркета, образуя химерические сочетания. Всякие дискуссии о постмодернизме теряют предмет: как иксерство — не более чем «современная жизнь», так и постмодернизм — всего лишь «описание современной жизни». Так же переставшее быть стилем или литературной школой в обычном смысле, как поколение Икс — поколением.

Подлинную автономность существования в

МЕМ

Единица культурного смысла. Термин введен Ричардом Даукинсом, экстравагантным оксфордским зоологом, который является также автором теории «эгоистичного гена» и источником инспирации для таких постмодернистских критиков, как Жан Бодрийар и Артур Крокер. Меметика (наука о ***м.***) утверждает, что многие явления культуры, как тривиальные (поп-песни, черный юмор, модные поветрия), так и монументальные (религия, языки, философские школы), размножаются способом, который можно уподобить размножению вирусов, — и с той же быстротой. Эта идея стала центральной в монографии Дугласа Рушкова «Осторожно: вирус массовой информации!» (1994); Рушков предполагает, что современные СМИ подобны живым существам, образующим «датасферу», в которой живут и развиваются ***м.***



ГИПЕРТЕКСТ

Термин, введенный в 1974 г. компьютерным утопистом Теодором Нельсоном в книге «Компьютер — машина снов» для описания электронных текстов, связанных с другими текстами. Подобные связи разрушают привычную линейную схему повествования, присущую письменной литературе, и вынуждают читателя/пользователя, имеющего дело с огромным объемом информации, изыскивать собственные пути. Идея *г.* доказала свою плодотворность в начале 90-х с появлением ***«Уорлд Уайд Уэб»***, где «гипермедиа» включают, помимо текста, звук, картинки и движущееся изображение. Пришествие *г.* в литературу было зафиксировано в цикле рассказов Роберта Кувера, опубликованных в «Нью-Йорк таймс бук ревью». Эти рассказы эксплуатируют идею гиперлитературы с присущим ей «виртуальным воображением»

«Паутине» приобретают такие единицы, как ***мемы***: самовоспроизводящийся дух, скрываясь за необязательными псевдонимами, лишенными пола и национальности, творит и буйствует. Правда, пока он еще чересчур связан с биологической природой своих создателей (60% ресурсов Интернета носят порнографический характер), но это воспринимается как атавизм — хвостик или аппендикс, — который со временем, несомненно, отомрет или будет удален. Или перерастет в нечто качественно иное.

Рядом с огромным ***гипертекстом*** Интернета уже устарели разговоры писателей о создании нелинейного многовариантного романа. Роман этот написан. Интернет — это «Улисс» на каждый день, а пользователи его — современные блумы-иксеры в их блужданиях по лабиринтам помойки-Супермаркета, где каждый артефакт самодвижущегося духа привлекательно упакован и соответственно разрекламирован.

Сделаем некоторые выводы. Стремительная экспансия термина «поколение Икс» за пределы среды и времени, в которых он зародился, вызвана, очевидно, реальными (и глобальными) переменами в образе жизни человечества, наметившимися в начале 90-х. Родившись как обозначение *поколения*, он стал описывать скорее *фазу развития* цивилизации в целом (и культуры, в частности). Молодежь же сейчас он подразумевает всего лишь как часть популяции, наиболее подверженную новациям.

А как же быть с «поколением» в обычном понимании этого слова? Действительно ли поколение Икс — последнее «историческое» поколение, и далее нас ждет тотальное превращение в клиентов Всемирного Виртуального Интерактивного Супермаркета, национальные и возрастные различия между которыми станут второстепенными — более того, как фантастично это ни звучит, их тоже можно будет выбирать как товар (разумеется, при наличии соответствующих средств)?

Любая линейная интерполяция содержит в себе ошибку, основанную на недооценке обратных связей в модели, — что убедительно демонстрирует опыт социальных и научно-фантастических утопий. Мир до сих пор не заполнен полчищами взбунтовавшихся роботов, а небо — сонмами дирижаблей. Конец света (в мирском понимании) — не более чем несбыточная мечта человечества.

Можно предположить, что безграничная свобода неосознанного выбора вызывает — как свою противоположность — сознательно выбранное ограничение свободы. Текст, разрушающийся в собственной фрактальности и мертвых петлях бесконечного самоцитирования, имеет своей противоположностью текст, декларативно определяющий свою инакость по отношению к предмету описания (не случайно романы основных бытописателей поколения Икс весьма классичны по форме — никто не знает капканов лучше того, кто их ставит).

Не покупайте товаров, без которых вы можете обойтись, и не пускайте всякий дух веять, где он того хочет. Тогда, возможно, поколение Икс окажется не последним поколением в истории человечества. Несмотря на всех фукуям мира сего.

■

ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ

В ГУЩЕ ГРОЗЫ

Вступление и перевод с испанского АНАТОЛИЯ ГЕЛЕСКУЛА

В самом начале века Хосе Ортега-и-Гассет, тогда еще студент, мечтавший стать журналистом, опубликовал свой первый очерк, пару страниц прозы — кстати, прекрасной, — где по ходу впечатлений и размышлений обронил фразу, похожую на вздох: «Думать легче, чем любить». Это юношеское признание Ортеги кажется зернышком, из которого выросла и разветвилась его «философия жизни».

Альбер Камю выразительно сформулировал «фундаментальный вопрос философии» — стоит жизнь или не стоит того, чтобы ее прожить. «Фундаментальность» подобного вопроса Ортега осознал намного раньше, с той лишь разницей, что считал жизнь «единственно достоверным в человеке» и не оспаривал ее. Вопрос ставился иначе — как прожить ее, чтобы она того стоила. Вопрос, не Ортегой поставленный, стар как мир. Ответа домогались и мудрецы, и простые смертные, но уверенно и безапелляционно отвечали лишь законоучители и моралисты. Ортега — ни то, ни другое, и его жизненную установку, кратко и крайне огрубленно, можно свести едва ли не к парадоксу: конечный ответ в том, что сам вопрос ставится и решается на каждом шагу. Ортега говорил: «Жизнь, данную нам, мы не получаем готовой, а должны сделать ее, каждый свою. Мы должны внутренне оправдать свой выбор, то есть понять, в каком из возможных действий мы полнее осуществимся, в каком из них больше смысла, какое из них наиболее наше. Не решив это, мы обманем и предадим себя, убьем частицу нашего жизненного срока, тем более что времени у нас в обрез».

Совет ясен и прост, но несколько опасен и на первый взгляд толкает к полному произволу, поскольку выбрать можно все, чего душа пожелает, а уж «внутренне оправдать свой выбор» — и вовсе дело нехитрое. Но это лишь на первый взгляд. Ортега не имморалист, и девиз Ницше, которого он ценил, едва ли не любил и постоянно оспаривал, — «Над жизнью судьи нет» — для него неприемлем. Другое дело, что «судьям» он не доверял и вообще их недолюбливал.

Для Ортеги жизнь подсудна, потому что жизнь — это поручение. Чье поручение, он выносит за скобки. Действительно, чье? Тех, кто рожал в муках и растил в трудах и тревогах. Народа, в котором растем, проникаясь его культурой и этикой. Человечества с его тяжким опытом борьбы и выживания. Законов живой природы и других, неведомых, перед которыми опыт и знание уступают место вере. «Жизнь как поручение» смахивает на гиперболу, но гипербола только в литературе — преувеличение, а в математике ее ветви уходят в бесконечность.

Все это Ортега не обходит стороной, но сосредоточен он на тех, кому поручение дано: «Жизнь всегда единственна, это жизнь каждого, жизни «вообще» не бывает». И если поручение не выполняется, то жизнь, по словам Ортеги, становится лишь неудачным самоубийством. «Наша жизнь — стрела, пущенная в пространство, но стрела эта сама должна выбирать мишень. Поэтому ничто так достоверно не говорит о человеке, как высота мишени, на которую нацелена его жизнь. У большинства она ни на что не нацелена, что тоже своего рода целенаправленность». Эту злосчастную целенаправленность Ортега исследовал в своей знаменитой книге «Восстание масс» и вообще на протяжении всей жизни. Уже в эмиграции, накануне мировой войны, он писал: «Если тигр не может перестать быть тигром, не может «растигриться», то человек постоянно рискует расчеловечиться. И для этого не обязательно, чтобы с ним, как с любым животным, что-то стряслось, — человек просто-напросто перестает им быть. Это правда, и не отвлеченная, а применимая к каждому из нас».

Взгляды Ортеги с годами, естественно, варьировались, надежды сменялись разочарованиями, но его жизненная установка в корне не менялась. В сущности, о чем бы он ни писал, все было лишь поводом для ее утверждения.

Ортега — из «поколения 98 года»; так окрестили в начале века цвет испанской интеллигенции, тех немногих, кто счел своим долгом вернуть народу достоинство. В 1898 году стала «суверенной» последняя из заокеанских колоний, и слово «империя» окончательно смени-

---

© А. Гелескул. Перевод и вступление, 1998

лось словом «Испания», а национальная самоуверенность — растерянностью и разбродом. Имперский принцип блистательно сформулировала наша Екатерина Великая: «Люди народятся, а зе́мли — нет». С утратой чужих земель и необходимостью обустраивать свою подобная убежденность испаряется: оказывается — люди наперечет, и неизвестно, народятся ли новые, и как скоро, и не займут ли их место не́люди. Надо сказать, философская публицистика Ортеги звучит вполне современно и вчитываться в нее стоит. Бог весть, появится ли в России «поколение 98 года», а так хотелось бы.

Ортега любил Испанию без сантиментов, мужской любовью, требовательной и едва ли не суровой, но непритворной. На его глазах Испания становилась европейским захолустьем, и он искал возбудителя этой сонной болезни: «В Испании господство массы, но массы с наибольшей властью, массы высшего и среднего классов». Название самой известной его книги — «Восстание масс», привычное словосочетание нашего века, — иронично и способно сбить с толку, особенно тех, кто, по словам автора, читает в книгах одни названия. Ни восстаний, ни масс в обычном понимании там нет. Масса у Ортеги — понятие внеклассовое: массовый человек, детище нашего стандартизированного мира, человек без корней, не наделенный ни культурой, ни исторической памятью, трутень с неразвитой душой и хорошо развитым желудком, одинаков на всех ступенях социальной лестницы и на самом верху проявляется лишь отчетливей и разрушительней.

Массовый человек — это «всякий и каждый, кто ощущает себя таким же, «как и все», и не только не удручен, но доволен своей неотличимостью. Не обманываясь насчет собственной заурядности, он утверждает свое право на нее и навязывает ее всем и всюду... Специфика нашего времени не в том, что посредственность полагает себя незаурядной, а в том, что она безбоязненно провозглашает и утверждает свое право на пошлость, или, другими словами, утверждает пошлость как право». И беда нашей цивилизации, по убеждению Ортеги, в том, что она плодит именно такой, гибельный для нее человеческий тип.

Ортега пришел к выводу, что достигнутый прошлым веком технический и социальный прогресс повысил уровень жизни и понизил уровень самого человека — словом, улучшил покрой, но ухудшил материал, а в итоге сделал человека бо́льшим варваром, чем был он сто лет назад: «В массу вдохнули силу и спесь современного прогресса, но забыли о духе; естественно, она и не помышляет о нем». Авансцену истории захватил новый герой, неспособный выдумать порох, но вполне способный им воспользоваться. Уже не обремененный нуждой, но еще не обремененный культурой, он торопится завладеть плодами цивилизации и бездумно подрывает ее корни. Потребительский эгоизм и массовая косность избавляют от личной ответственности за мир и свои действия в нем — и автоматически ведут к вождизму, стадности и добровольному превращению в безликую деталь безликой государственной машины. Так, по словам Ортеги, «скелет съедает тело».

В сущности, «Восстание масс» посвящено болезни века, унесшей столько жизней. Ортега исследовал не облик, а природу тоталитаризма, общую для всех его ипостасей, и нащупал корни еще до того, как расцвела их буйная поросль. Недаром немецкий перевод «Восстания масс» был в третьем рейхе одной из самых читаемых подпольных книг.

Предисловие к французскому изданию «Восстания масс» Ортега написал десятилетие спустя после окончания книги, в Голландии, куда вызволил его из растерзанной Испании историк Йохан Хёйзинга. Предчувствовал ли Ортега, что это начало эмиграции и родину он увидит не скоро? Бог знает. Но предчувствовал он многое — и годами раньше в одном из выступлений выкрикнул: «Нас ждет катастрофа, и вы это скоро поймете. А я уже понял». Профессор метафизики, увы, не мог отсрочить землетрясение, но предупреждал о нем и, главное, внушал, что жизнь на этом не кончится и уцелевшим придется прожить ее. Будет ли она того стоить?

Целиком предисловие равно по объему трети самой книги. Это отдельная работа Ортеги, и с книгой, к которой автор явно относился прохладней, чем читатели, она связана лишь косвенно, зато с тревогами дня — напрямую. Отсюда слегка усталый и печальный тон, лишенный воинственного блеска «Восстания масс». Ортега старается говорить ровно и спокойно. Но остается верен себе — в предисловии к французскому изданию он корит французов и хвалит англичан, а в синхронном предисловии к английскому, наоборот, корит англичан, упрекая их в близоруком пацифизме. Это не издержки бойцовского темперамента, а скорее творческий принцип Ортеги. Он видел в читателе не профана, раздавленного грузом доказательств, а равного — собеседника, готового спорить и думать. И поэтому с доказательствами не слишком осторожничал. Можно, конечно, лишь усмехнуться, когда Ортега уподобляет европейские войны семейным сварам. И державная шутка Карла V касательно ненавистного французского кузена и родственного влечения обоих к миланским богатствам как-то не вызывает улыбки. Историки знают, какую резню «кузен Франциск» учинил в Милане, а военный трофей, оттуда им вывезенный, знают не только историки: трофеем стал Леонардо да Винчи, он умер во Франции, а его единственную скульптуру — конную статую на миланской площади, поражавшую современников дерзостью замысла и силой исполнения, — раскрошила пьяная солдатня. Европа самоуничтожалась не меньше, а едва ли не больше, чем любой другой регион человеческого

обитания. Но суть написанного Ортегой не в доводах, а в отчаянном призыве к европейской солидарности.

Отсюда и его неловкие комплименты англосаксам. Назвать Ортегу западником не поворачивается язык, западнее Испании — одна лишь Атлантика. Но он нашел свой Запад. Англия была вечным соперником, а порой — заклятым врагом Испании, и это закрепилось в народном сознании. Раскрепощая сознание, Ортега стремился вытеснить из него образ заведомого врага и внушал, что к удачливому сопернику стоит приглядеться и многому от него можно научиться, была бы охота. Но главное даже не это. Ортега не раз писал о фашизме, и особенно беспощадно — в «Восстании масс». Но он недооценил его грозную мощь, хотя бы потому, что реальной политической силой тогда был лишь итальянский фашизм, крикливый и сравнительно мягкий. Зрелости твердого шанкра он достиг в Германии — стране, где Ортега учился, которая была для него второй родиной, Германией философии, музыки и любимого им Гёте. «Дубы растут на болоте», — сказал когда-то Гейне. Чувствуя, как болото засасывает Европу, Ортега увидел в Англии островок твердой земли под ногами, и чутье историка его не подвело. Британия не первой приняла удар, но первой выдержала его, будучи практически безоружной (как известно, Черчилль во время патриотического радиообращения к народу: «Мы будем бить врага на каждом дюйме наших отмелей...» и т.д. — отвернулся от микрофона и буркнул: «Только не знаю чем. Пивными бутылками?»). И упреки в пацифизме, и надежды Ортеги оправдались — Англия два года держала удар в одиночку.

Но сегодня, когда читаешь Ортегу, мысли невольно обращаются не к давней истории — великим армадам, английским каперам и прочему героическому разбою — и не к нашей, недавней и памятной, а к великому англичанину, из-за которого, впрочем, как из-за Колумба, спорит немало народов — евреи, ирландцы, испанцы и даже цыгане. Герой Чаплина — не просто маленький человек, не просто эмигрант, изгой и бродяга. Это рыцарь Печального Образа, горестный символ европейца, утратившего Европу. Для его маски или, если хотите, герба Чаплин выбрал облик бывшего парижанина — безошибочный выбор гения. Именно Париж с его блеском и нищетой, пламенностью и пошлостью, с его борделями и баррикадами долго был нервным центром Европы и едва ли не олицетворял ее. Скиталец Чарли, этот кургузый Дон Кихот в котелке вместо шлема Мамбрина, храбро отстаивает в Новом Свете старые европейские ценности — умение любить, рисковать и жертвовать собой.

Конечно, сопоставлять трагикомического бродяжку и европейского мыслителя, мягко говоря, некорректно, а выражаясь жестче — нелепо. Но, может быть, это позволит понять одиночество Ортеги и различить за россыпью рассуждений связующую нить, единую сквозную ноту — тоску по Европе, которую столько проклинали, и всегда поделом, которую столько раз хоронили, но утратить которую немыслимо, потому что заменить нечем.

Из предисловия к французскому изданию «Восстания масс»

Эта книга — если признать ее книгой — датируется... Публиковаться она начала в 1926 году в мадридской газете, и на содержании, слишком человеческом, не могло не сказаться время. К тому же бывают периоды, когда мир убыстряется и движется с головокружительной скоростью. На нашу долю выпала одна из таких эпох, чересполосица подъемов и падений. Поэтому события обогнали книгу. Немало ее предвидений вскоре сбылось и уже стало прошлым. Кроме того, за годы хождения этой книги вне Франции многие ее положения дошли до французского читателя в анонимном виде и успели стать общим местом. Словом, налицо прекраснейшая возможность совершить доброе дело, самое гуманное в наши дни, — не печатать лишнюю книгу. Сам я так и поступал — вот уже пять лет, как издательство «Stok» предложило мне перевести эту вещь. Однако я убедился, что органическое целое изложенных в ней мыслей французскому читателю неведомо, и верно оно или нет, но предложить его для читательских размышлений и критики представляется нелишним.

В последнем я не слишком уверен, но это не столь уж и важно. Важно, однако, чтобы к чтению приступали без неоправданных надежд. Перед вами всего-навсего ряд статей, опубликованных в мадридской газете широкого хождения. Как почти все мной написанное, эти страницы адресованы немногим испанцам, с которыми свела меня судьба. Кто поручится, что мои слова, сменив адресата, донесут до французов то, что собирались? Трудно рассчитывать на удачу, особенно мне, убежденному, что говорить — занятие призрачное, куда призрачней, чем принято думать. Впрочем, как и все или почти все, что делает человек. Речь именуется средством для выражения наших мыслей. Но всякое определение верно, если оно иронично и подразумевает исключения, а воспринятое иначе — ведет к печальным недоразумениям. Так уж повелось.

Не суть важно, что речь — это еще и сред-

ство скрывать мысли, то есть попросту лгать. Ложь не могла бы существовать, не будь наша речь изначально и обычно искренней. Фальшивая монета ходит, опираясь на полноценную; в конце концов, обман — убогий прихлебатель честности. Нет, не этим опасно вышеупомянутое определение — опасно то благодушие, с которым мы привыкли его выслушивать. Ведь само по себе это определение не уверяет нас, что с помощью языка мы можем выразить все наши мысли достаточно адекватно. Этого оно нам не обещает, но и не позволяет также взглянуть в лицо истине: люди не понимают друг друга и, обреченные на фатальное одиночество, изнемогают от усилий достучаться к ближнему. Язык — одно из этих усилий, способное иногда с наименьшей приблизительностью выявить то, что творится у нас внутри. Только и всего. Но обычно мы не пользуемся этой возможностью. Наоборот, когда человек раскрывает рот, он делает это потому, что верит, будто может высказать все, что думает. Это иллюзия. Язык не дает нам такой возможности. Он передает более или менее часть того, что мы думаем, и ставит неодолимую преграду перед остальным. Если для математических изложений и доказательств он еще пригоден, то применительно к физике уже неточен и недостаточен. И соответственно, когда речь заходит о более важном, более человеческом, более «реальном», неточность, неясность и неуклюжесть языка стремительно растут. Следуя застарелому предрассудку, мы говорим и слушаем с такой простодушной уверенностью, что нередко понимаем друг друга хуже, и намного хуже, чем в те минуты, когда молча силимся угадать чужие мысли.

Упускается из виду, что говорить — не просто говорить что-то. Всегда кто-то говорит кому-то, всегда налицо передатчик и приемник, отнюдь не сторонние к значению слов. И значение меняется, когда меняются они. Duo si idem dicunt, non est idem[1]. Слово условно. По сути своей речь — это диалог, и все иные виды речи уступают ему в действенности. Думаю, книга лишь тогда хороша, когда втягивает нас в потаенный диалог и мы чувствуем, что автор умеет конкретно видеть своего читателя, а последний способен ощутить руку, которая тянется к нему из-за строк, чтобы приласкать либо дать пощечину.

Злоупотребление словом подорвало к нему доверие. Злоупотребление, как водится, состояло в неосторожном употреблении, без знания возможностей инструмента и пределов этих возможностей. Почти два века считалось, что говорить — значит говорить urbi et orbi[1], то есть говорить всем и никому. Я ненавижу эту манеру и страдаю, когда не знаю конкретно, кому я говорю.

Рассказывают, не настаивая, впрочем, на достоверности, что в юбилей Виктора Гюго были устроены торжества в Елисейском дворце, где соревновались в поздравлении представители разных стран. Великий Гюго стоял посреди приемного зала в позе статуи, опершись локтем на камин. Посланники представали перед публикой и вручали торжественный адрес гению Франции. Церемониймейстер голосом Стентора объявлял: «Представитель Англии!» И Виктор Гюго с драматической дрожью в голосе, закатив глаза, восклицал: «Англия! О Шекспир!» Глашатай продолжал: «Представитель Испании!» И Виктор Гюго возводил очи горе: «Испания! О Сервантес!» Герольд: «Представитель Германии!» И Виктор Гюго: «Германия! О Гёте!»

И вдруг очередь дошла до невзрачного господина, плюгавого, обрюзгшего и слегка косолапого. Церемониймейстер объявил: «Представитель Месопотамии!» Виктор Гюго, дотоле невозмутимый и неуязвимый, осекся. Его глаза стали тревожно блуждать, словно он искал что-то в недрах мироздания и не находил. Однако нашел и вновь почувствовал себя хозяином положения. Кургузого представителя он почтил с тем же уверенным пафосом: «Месопотамия! О человечество!»

Упоминаю об этом с единственной целью — заверить, без вышесказанной торжественности, что я никогда не писал для Месопотамии и не говорил с человечеством. Апелляция к человечеству, самая величавая, потому и самая низменная черта демократии, вошла в моду где-то к 1750 году благодаря увлекшимся интеллектуалам, которые заблуждались относительно себя и своих масштабов и, будучи по роду деятельности ораторами, людьми логоса, употребляли последний без оглядки и почтения, забыв, что слово — таинство и требует особого подхода.

Утверждение, что у слова слишком ограниченный радиус действия, казалось бы, опровергается тем фактом, что эта книга нашла читателей почти во всех европейских странах. Думаю, однако, что сей факт говорит скорее о другом и крайне серьезном — о пугающе однородном состоянии, к которому скатывается Запад. Со времени появления книги благодаря механизму, в ней же и описанному, однородность обрела уже тревожный масштаб. Говорю «тревожный» потому, что переживаемые какой-либо страной трудности тиражируются

[1] Двое, говоря одно, говорят разное (*лат.*). (*Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, — прим. перев.*)

[1] Всему миру (*лат.*).

и множат свое гнетущее воздействие, поскольку каждый, кто их терпит, убеждается, что вряд ли есть уголок в Европе, где не творится абсолютно то же. Прежде, чтобы проветрить застойный воздух страны, достаточно было распахнуть окна в соседнюю. Сегодня это бесполезная затея, поскольку в смежном помещении так же затхло. Отсюда гнетущее чувство удушья. Иов, этот отчаянный pince-sans-rire[1], вопрошал своих доброжелателей, странствующих по миру купцов: «Но где премудрость обретается? И где место разума?»

Тем не менее в этой уравнительности различаются две величины, разнонаправленные и полярные по своей сути.

Рой европейских народов, влетевший в историю с развалин античного мира, всегда жил двойственной жизнью. Сложилось так, что, хотя каждый народ обретал свой особый облик, между ними или, скорей, над ними вырастал общий свод идей, пристрастий и стремлений. Больше того. Ход событий, делавший народы все более однородными и одновременно все более разрозненными, может быть понят лишь во всей его парадоксальности. Потому что однородность не противилась разнообразию. Наоборот, она лишь расцветала всякий раз, как появлялось новое единообразующее начало. Христианская идея рождает национальные церкви, тень Римской империи вызывает к жизни разнообразные формы государства, «возрождение классиков» в XV веке разводит литературные дороги во все концы, унитарный взгляд на человека как на «чистый разум» создает различные стили мышления вплоть до самых крайних математических абстракций. И наконец, в довершение всего даже сумасбродная идея XVIII века, согласно которой все народы должны иметь одинаковое устройство, приводит к романтическому результату — пробуждению национального самосознания, что ведет каждого из нас к сознанию собственного призвания.

И для всех этих народов, именуемых европейскими, жить означало всегда — по крайней мере начиная с XI века, с Оттона III, — двигаться и действовать в общем пространстве. Другими словами, для каждого из них существовать означало сосуществовать с остальными. Безразлично, становилось ли это сосуществование мирным или воинственным. У внутриевропейских войн почти всегда была любопытная черта, делавшая их похожими на домашние скандалы. Они не замышляли стереть врага с лица земли и были скорее войнами состязательными, борьбой соперников, подобной потасовкам парней или спорам наследников. Каждый на свой лад, но все шли к одному. Eadem sed aliter. В общем, как говорил Карл V о Франциске I: «Мой кузен Франциск и я полностью единодушны — оба хотим Милан».

Вовсе не обязательно, чтобы общее историческое пространство, где западный человек чувствует себя как дома, совпадало с тем физическим пространством, которое география именует Европой. Историческое пространство измеряется длительностью сосуществования, это пространство общественное. Сосуществование и общество — равнозначные понятия. Общество создается самим фактом сосуществования. Последнее неизбежно и самопроизвольно вырабатывает обычаи, нравы, язык, право и политический строй. Одной из грубейших ошибок «нового» мышления, от которого мы все еще не можем отмыться, было то, что оно путало общество с сообществом. Но общество и объединение — понятия едва ли не полярные. Общество не создается по добровольному согласию. Наоборот, всякое добровольное согласие предполагает существование общества, людей, которые сосуществуют, и согласие лишь уточняет ту или иную форму этого сосуществования, этого общества, которое уже имеется. Полагать общество договорным, то есть юридическим, объединением — нелепейшая попытка поместить телегу впереди лошади. Потому что право, реальность «права», а не соображения на этот счет философа, юриста или демагога, — это, выражаясь метафорически, непроизвольная секреция общества, продукт его жизнедеятельности и не может быть чем-то иным. Прошу прощения за категоричность, но добиваться, чтобы право устанавливало отношения между людьми, еще не составившими общества, значит иметь самое курьезное представление о праве.

Неудивительно, однако, что такое представление господствует, потому что европейцы — и в этом одна из главных бед нашего времени — перед лицом жесточайших потрясений оказались плохо экипированными, с самыми нескладными и устарелыми понятиями об обществе, коллективности, личности, жизнеустройстве, законах, справедливости, революционности и так далее. Немало смут нашего века — от несоответствия между высочайшим уровнем физических идей и скандальным состоянием наших «гуманитарных знаний». Таковые у министра ли, профессора, знаменитого физика или литератора на уровне местечкового парикмахера. Надо ли удивляться, что последний задает тон везде и во всем?

Но вернемся к сути. Я пытался внушить, что европейские народы — общество в том же смысле слова, какой применяется к каждому из народов, в него входящих. У этого единства все признаки общества: существуют европейские нравы, европейские обычаи, европейское общественное мнение, европей-

[1] Каверзник (*франц.*).

ская политическая власть. Но все эти общественные признаки существуют на той стадии развития, на которой находится это европейское общество, уступающее в развитии своим составным частям — национальным государствам.

Поясню. Форма социального принуждения, каким является власть, есть в любом обществе, включая самые примитивные, где нет еще специальных институтов такого принуждения. Если подобный, специально выделенный институт именовать государством, можно сказать, что в иных обществах нет государственной власти, но говорить, что там нет власти вообще, нельзя. Может ли не быть ее там, где есть общественное мнение, если власть — всего лишь оружие, им заряженное? Ну а то, что европейское общественное мнение существует не один век и мощь его все растет, равно как и умение манипулировать им, оспаривать не приходится.

Посему советую читателю сдержать ухмылку, когда в последних главах моей книги он натолкнется на крайне смелое, в нынешних обстоятельствах, утверждение о возможном государственном единстве Европы. Не спорю, что Соединенные Штаты Европы — одна из самых расхожих фантазий, и не приемлю того смысла, который в это словосочетание вкладывается. Но с другой стороны, кажется невероятным, чтобы такое зрелое общество, как общность европейских народов, не двигалось к созданию государственного механизма, который конкретизировал бы уже существующую европейскую общественную власть. Не склонность к фантазиям и не тяга к «идеализму», которого я не терплю и с которым всю жизнь борюсь, заставляют меня так думать. Это исторический реализм помогает мне видеть, что Европа как единое общество — не какой-то «идеал», а данность, давным-давно ставшая повседневной. А раз уж это очевидно, возможность общего государства становится необходимостью. Толчком к завершению этого процесса может послужить что угодно — к примеру, появление за Уралом китайской косички или извержение мусульманской лавы.

Это государство будет, разумеется, выглядеть иначе, чем привычные уже формы, подобно тому как наши национальные государства отличаются от античных государств-городов. На страницах книги я пытался рассвободить умы, чтобы они сумели остаться верными традиционно европейской идее государства и общества.

Античной мысли всегда было нелегко представить себе мир как динамизм. Она не могла оторваться от видимого и его подобий, как ребенок от книги, в которой ему понятны только картинки. Все усилия древних философов преодолеть эту ограниченность были тщетными. В их попытках понять неизменно присутствует, как парадигма, материальный объект, который для них «вещь» по преимуществу. Им удавалось представить лишь такое общество, такое государство, в котором единство принимало форму зримого соприкосновения, соседства, — например, город. Совершенно иначе мыслит европеец. Для него все видимое — именно вследствие своей очевидности — всего лишь внешняя личина скрытой силы, которая непрерывно создает эту видимость и является ее подлинной реальностью. Там, где действующая сила, dynamis[1], объединяет, там *реально* существует единство, хотя внешние свидетельства этого могут выглядеть чем-то разрозненным.

Было бы по-античному ограниченным видеть общественную власть лишь там, где она носит уже привычную и как бы сросшуюся с обществом личину государственной, то есть в отдельных европейских странах. Решительно не согласен, что реальная власть общества в каждой из них проявляется исключительно во внутренней или национальной политике. Надо сразу сказать, что вот уже много веков европейские народы живут — и по меньшей мере четыре века сознают это — под властью, которая по своей сугубо динамической природе не поддается никакому иному определению, кроме почерпнутого из области механики, — «европейское равновесие», или balance of power[2].

Это и есть историческое европейское правительство, которому подчиняется в своем полете рой народов, дружных и неуживчивых, словно пчелы, слетевшие с руин античного мира. Единство Европы — не фантазия, а самая что ни на есть реальность; как раз фантазия — это вера в то, что Франция, Германия, Италия или Испания действительно самостоятельны и независимы.

Понятно, что не для всех европейская реальность очевидна, потому что Европа — не «вещь», а равновесие. Еще в XVIII веке историк Робертсон назвал европейское равновесие «the great secret of modern politics»[3].

Секрет великий и, бесспорно, парадоксальный! Ибо равновесие сил — это реальность, основанная на множественности, на плюрализме. Если оно исчезнет, это динамическое единство развеется. Европа действительно рой — множество пчел в едином полете.

Эту единую природу великолепного европейского разнообразия я бы назвал здоровой общностью, плодотворной и желанной, заставившей еще Монтескье сказать: «Европа — единая нация, состоящая из многих», а Бальзака — повторить в более романтическом клю-

---

[1] Сила (*греч.*).
[2] Равновесие сил (*англ.*).
[3] Великий секрет современной политики (*англ.*).

че: «Великая континентальная семья, все силы которой отданы бог ведает какому таинству цивилизации».

Это европейское разноцветье, которое коренится в изначальном единстве и, выплескиваясь наружу, питает его, — драгоценнейшее достояние Запада. Столь акробатическая идея общности, при которой надо без устали кувыркаться, перескакивая от утверждения плюрализма к осознанию единства и наоборот, не для тупых мозгов. Темные головы природа фабрикует для восточных деспотий.

Однако сейчас на всем континенте утверждается форма общности, грозящая уничтожить наше достояние. Повсеместно воцаряется массовый человек, предмет моей книги, человеческий тип, изготовленный на скорую руку из немногих и немудреных абстракций и потому по всей Европе, из конца в конец, одинаковый. Это ему европейская жизнь обязана сегодня своим растущим удушливым однообразием. У этого массового человека заблаговременно отбита историческая память, выхолощено прошлое, и потому он податлив для всяческих назиданий, именуемых «интернациональными». Это не столько человек, сколько оболочка, муляж человека, подобие пустотелых идолов, которому недостает «нутра»; в нем нет личностного начала, непреклонного и неотчуждаемого, нет того «я», которое нельзя упразднить. Поэтому он вечно кого-то изображает и полагает, что у него есть одни права, не подозревая, что существуют обязанности и что вообще «благородство обязывает». Его-то оно не обязывает ввиду полного отсутствия: это человек sine nobilitate — snob[1].

Этот вселенский снобизм, характерный и для рабочей среды, закупорил души, уже неспособные понять, что если мы хотим преобразить весь сегодняшний строй европейской жизни, то делать это надо без непоправимой утраты ее внутреннего многообразия. Поскольку у сноба нет предназначения, нет собственной судьбы, нет дела, для которого он рожден, он совершенно не способен представить, что существуют призвания и служения самые разные. Поэтому к либерализму он питает такую же неприязнь, как глухой к словам. Свобода всегда означала для европейца возможность стать тем, кто ты есть на самом деле. Понятно, что она отвращает тех, кто лишен и своего дела, и самого себя.

Сегодня всем миром ниспровергают и поносят старый либерализм с удивительным единодушием. Это подозрительно. Людей, как правило, сплачивает агрессивность и неразумие. Я не утверждаю, что старый либерализм единственно прав. Да и как ему быть таковым, если он старый и он «изм»! Но я утверждаю, что его общественные воззрения глубже и ценнее, чем коллективизм его хулителей, основанный на невежестве. Либерализм был дальновидней и проницательней в отношении Европы и обладал завидной интуицией.

Когда, например, Гизо, противопоставляя европейскую цивилизацию иным, отмечает, что она никогда не знала абсолютного господства какой-либо одной идеи, принципа, сословия или класса, слух невольно настораживается. Этот человек знает, что говорит. Фраза недостаточна, поскольку негативна, но доносит до нас увиденное зоркими глазами. От него, как от всплывшего водолаза, исходит запах глубин, и чувствуется, что этот человек действительно вернулся из недр европейского прошлого, куда сумел погрузиться. Просто невероятно, что в самом начале XIX века, во времена сумятицы и риторики, возникает такая книга, как «История цивилизации в Европе». Она и сегодня учит видеть, как нераздельны свобода и плюрализм и как неизменно они были душой Европы. <...>

Я предложил бы читателю несколько тезисов — не для того, чтобы он с ними согласился, но чтобы взвесил за и против и сделал выводы.

I. Персоналистский либерализм — плод XVII века; отчасти он воплотился в законодательстве Французской революции и угас вместе с нею.

II. Детищем XIX века стал коллективизм. Идея коллективизма была первым открытием новорожденного века, и на протяжении ста лет она лишь росла и развивалась, пока не заслонила горизонт.

III. Эта идея — французского происхождения. Впервые она появляется у архиреакционеров Луи де Бональда и Жозефа де Местра. Ее суть немедленно подхвачена всеми, кроме разве что Бенжамена Констана, этого «пережитка» прошлого. Но апогея она достигает у Сен-Симона, Баянша, Конта и пускает ростки повсюду. Например, лионский врач М. Амар еще в 1821 году *персонализму* противопоставил *коллективизм*.

Но куда важнее другое. Когда по ходу века мы приближаемся к великим теоретикам либерализма — Стюарту Миллю и Спенсеру, то с удивлением обнаруживаем, что предполагаемая защита личности строится не на запросах личности и ее заинтересованности в свободе, а совершенно противоположным образом — на запросах и интересах общества. Воинственное название, которое Спенсер выбрал для своей книги «Личность против государства», превратно

---

[1] В Англии при переписи населения указывались профессия и сословие. Рядом с фамилиями простых горожан ставилась аббревиатура s.nob, то есть sine nobilitate (неблагородный, чернь). Так произошло слово «сноб». (*Прим. авт.*)

понято теми, кто читает одни названия. Поскольку «личность» и «государство» в этом названии всего лишь органы единственного персонажа книги — общества. И обсуждается лишь одно — какой из этих органов лучше служит определенным общественным интересам. Только и всего. Пресловутый «индивидуализм» Спенсера постоянно боксирует в коллективистской среде спенсеровской социологии. В конечном счете он, как и Стюарт Милль, обращается к личности с той же общинной безжалостностью, с какой термиты обходятся с иными своими собратьями, которых откармливают, дабы потом высосать. Таков был примат коллективизма, общий фон, очевидный сам по себе, что бы там ни выплясывали его простодушные идеи.

Отсюда понятно, почему моему лоэнгриновУ порыву встать на защиту старого либерализма недостает убежденности и убедительности. Причина та, что я не «старый либерал». Открытие коллективного было бесспорно значительным и фундаментальным, но слишком недавним. Люди не столько увидели, сколько ощупью натолкнулись на ту истину, что коллектив не сводится к простой сумме индивидов, но толком не знали, что он такое и каковы его свойства. Кроме того, социальные условия времени затемняли подлинную экономику коллектива, поскольку тогда ей вменялось в обязанность хорошо питать индивидов. Не настал еще час обезлички, расхищения и дележа на всех уровнях.

Поэтому «старые либералы» слепо доверились коллективизму, едва вдохнув его воздух, но когда непредвзятому взгляду ясно, что этот социальный феномен таит в себе не только преимущества, но и опасности, необходим радикально новый либерализм, не столь наивный и порядком искушенный в ратном деле, либерализм, который уже дает ростки и вот-вот возникнет на горизонте.

Эти люди отнюдь не страдали близорукостью, и было бы странно, если бы время от времени они не догадывались о тех мытарствах, которые готовил нам их век. Вопреки общепринятому мнению, угадывать будущее — для истории обычная вещь. У Маколея, Токвиля, Конта мы находим эскизы сегодняшнего дня. Перечтите написанное Стюартом Миллем больше восьмидесяти лет тому назад: «Исключая особые взгляды отдельных мыслителей, в мире растет и все усиливается стремление утвердить в самых крайних формах власть общества над индивидуумом посредством как общественного мнения, так и законодательства. Поскольку все перемены, происходящие в жизни, ведут к росту общественных сил и подавлению индивидуальных, это половодье зла не спадет само по себе, а, напротив, будет становиться все более угрожающим. Стремление людей, будь то правители или сограждане, навязать другим как норму поведения свои мнения и вкусы находит такую решительную поддержку со стороны как наилучших, так и наихудших свойств человеческой природы, что не довольствуется ничем, кроме полноты власти. И поскольку эта власть явно не клонится к упадку, а, напротив, растет, следует ожидать, если только мощная преграда нравственности не встанет на пути зла, следует ожидать, повторяю, что при современном состоянии мира упомянутое стремление будет лишь возрастать».

Но особенно близка нам в Стюарте Милле его обеспокоенность «дурной однородностью», в которую на его глазах погружалась Европа. Поэтому он так ухватился за великую мысль, высказанную в молодости Гумбольдтом. Чтобы человеческая природа расцветала, крепла и совершенствовалась, необходимо, согласно Гумбольдту, «многообразие ситуаций». Внутри одного народа или в сообществе народов необходима разнообразная среда, самые различные обстоятельства и возможности. Тогда, если один выход закроется наглухо, останутся распахнутыми другие. Безрассудно ставить европейскую жизнь на одну-единственную карту, делать ставку на один и тот же человеческий тип, на одну и ту же «ситуацию». Стремление избежать этого — секрет европейских успехов, и все, что звучало, внятно или невнятно, из уст неистребимого европейского либерализма, рождено сознанием упомянутого секрета. В этом сознании распознавал себя как безусловную ценность, как благо, а не как зло европейский плюрализм. Я должен был все это прояснить, чтобы выдвинутая в моей книге идея европейского сверхгосударства не толковалась превратно. Пока все идет так, как есть, и «многообразие ситуаций» упорно сокращается, мы движемся прямой дорогой к византийщине. Тогда ведь тоже было время масс и зловещей однородности.

Еще при Антонинах с имперским населением начало твориться нечто странное, историками едва замеченное и не исследованное как дóлжно, — люди стали глупеть. Процесс шел уже давно. Считается, и не без основания, что стоик Посидоний, учитель Цицерона, был последним человеком античности, способным подойти к явлениям пытливо и деятельно, с готовностью их исследовать. После него началась закупорка мозгов, и все, кроме александрийцев, лишь повторяли и тиражировали старое.

Но самый зловещий симптом и результат того состояния, равно однородного и отупелого — одно с другим связано, — в которое впала жизнь на всем имперском пространстве, обнаруживается там, где меньше всего можно его ждать и где, насколько я знаю, никто еще не искал его, — в языке. Каждому в отдельности

язык не позволяет выразить то, что хотелось бы высказать, но он разоблачает и помимо нашей воли доводит до слуха скрытое самочувствие общества, на нем говорящего. Исключая эллинизированную часть населения, вся империя говорила на живом языке — так называемой «вульгарной латыни», прародительнице наших романских языков. Мы о ней мало знаем, и большей частью приходится ее реконструировать. Но и скудных знаний хватает с лихвой, чтобы ужаснуться. Во-первых, немыслимому упрощению грамматики по сравнению с классической латынью. Сочная индоевропейская сложность, которую сохранял язык верхов, была вытеснена плебейским говором, упрощенным и легким, но при этом или, скорее, поэтому грубо механическим, как рабочий инструмент, с невнятной и приблизительной грамматикой — наугад и невпопад, как у детей. В общем, младенческий язык, детский лепет, не способный ни гранить мысли, ни расцвечивать чувства. Язык, лишенный светотени, лишенный яркости и душевного жара, убогий язык, бредущий на ощупь. Слова — словно старые медяки, захватанные и бесформенные от бесконечного блуждания по средиземноморским кабакам. Сколько жизней, не ведающих себя, оскопленных, обреченных на прозябание, угадывается за этим языковым суррогатом!

Вторая пугающая черта вульгарной латыни — это как раз однородность. Лингвистов, которые, возможно, наименее склонны — после авиаторов — чего-либо пугаться, похоже, не смущает обстоятельство, что так одинаково говорили в таких неодинаковых странах, как Ливия и Галлия, Тингитания и Далмация, Испания и Дакия. Я, напротив, довольно боязлив и не в силах унять дрожь перед таким фактом. Мне он кажется просто чудовищным. Правда, я стараюсь представить себе, чем было изнутри то, что снаружи нам кажется невозмутимой однородностью, стараюсь под этим мертвым слепком обнаружить живую действительность. Разумеется, были африканизмы, испанизмы, галлицизмы. Но это лишь подтверждает, что корпус языка был общим и одинаковым несмотря на расстояния, на разобщенность, на отсутствие связей и неучастие литературы в упрочении языка. Что же могло так уравнять кельтибера и белга, жителя Карфагена и Лютеции, ливийца и дака, если не общий пресс, который придавил и расплющил их жизни? Вульгарная латынь пылится в архивах, как леденящая душу окаменелость, мертвый свидетель того, как под пятой вульгарной однородности агонизировала история, утратив животворное «многообразие ситуаций».

Я не политик, и книга моя далека от политики. Ее тема — то, что предваряет политику. Мой труд — это подземный шахтерский труд впотьмах. Задача так называемых «интеллектуалов» в какой-то степени противоположна задачам политиков. Труд интеллектуала, часто напрасный, — как-то прояснить положение вещей, дело политика — затемнить его как можно больше. Быть левым, равно как и правым, — один из бесчисленных человеческих способов быть глупым; и то и другое — в конечном счете разновидность одностороннего нравственного паралича. К тому же привычность этих определений еще более фальсифицирует нашу «действительность», и без того фальшивую, поскольку политическое экспериментаторство завершило мертвую петлю и сегодня мы наблюдаем, как правые козыряют революцией, а левые — тиранией.

Наболевшие вопросы надо решать. Это наш долг. И я делаю это всю жизнь. Я всегда был на линии огня. Но сегодня требуют — такова «тенденция», — чтобы все поголовно, даже ценой умственного помрачения, занялись политикой sensu stricto[1]. Требуют, разумеется, те, кому заняться больше нечем. И даже подкрепляют это цитатами из Паскаля, рекомендующими abêtissement[2]. Но я давно уже приучил себя настораживаться, когда цитируют Паскаля. Чисто гигиеническая предосторожность.

Всеобщая политизация, поглощение политикой всех и вся — не что иное, как восстание масс. Мятежная масса утратила малейшую способность к религии и знанию. Она не может вместить ничего, кроме политики — политики раздутой, безудержной, хлынувшей через край, чтобы вытеснить религию, знание, sagesse[3], словом, то единственное, что способно по своей природе завладеть человеческим разумом. Политика отнимает у человека его сокровенное, лишает одиночества, и потому проповедью всеобщей политизации пользуются, чтобы обобществить человеческую личность.

Если кто-то спросит, какой вы партии, или поспешит с уже привычной для всех бесцеремонностью завербовать в одну из них, надо не объясняться с насильником, а на вопрос ответить вопросом, что такое, по его разумению, человек, что такое природа, история, личность и общество, что такое коллективизм и государство, обычай и право. Европейская мысль обязана внести полную ясность в эти вопросы. Затем она и существует, а не для того, чтобы распускать павлиний хвост на академических конференциях. <...>

При виде городского скопища человеческих существ, которые снуют по улицам и теснятся

---

[1] В строгом смысле слова (*лат.*).
[2] Поглупение (*франц.*).
[3] Мудрость (*франц.*).

на представлениях и митингах, меня преследует одна мысль. Может ли сегодня двадцатилетний юноша наметить личную жизненную программу, требующую собственных усилий и независимых решений? Мысленно развивая ее, не убедится ли он, что задуманное если не безнадежно, то маловероятно, потому что нет в его распоряжении пространства, где он мог бы осуществляться и действовать по собственной воле? Он быстро увидит, что его программа упирается в ближнего и жизнь ближнего стесняет его собственную. Разочарование и свойство молодости легко приспосабливаться заставят его отказаться не только от самостоятельных поступков, но даже от собственных желаний, и скорее всего он найдет иной выход — представит себе стандартную жизнь с ее общими для всех запросами и поймет, что удовлетворить их сможет лишь в коллективе, среди себе подобных. Отсюда общая установка — действовать массой.

Судьба незавидная, но, думается, я не утрирую картину того, что ждет европейцев. В переполненной тюремной камере никто не может шевельнуть рукой по своему желанию. В такой обстановке любое движение должно совершаться сообща и даже дыхание подчиняется общему ритму. Такой была бы Европа, превращенная в муравейник. Но даже эта зловещая картина — еще не развязка. Человеческий муравейник невозможен, потому что существовал так называемый «индивидуализм», который обогатил всех и *каждого,* и это богатство дало сказочный рост человеческой поросли. Если бы последние остатки этого «индивидуализма» исчезли, Европу охватила бы чудовищная византийская дистрофия и муравейник бы рассыпался, словно от дыхания грозного и мстительного бога. Перевелись бы все те, кто чуть выше остальных.

Перед грозной патетикой подобной перспективы, которая, помимо нашей воли, уже приоткрывается, вопросы «социальной справедливости», столь превозносимой, тускнеют и становятся такими мелкими, что кажутся притворными романтическими вздохами. Но в то же время они направляют на верный путь, позволяющий достичь того, что достижимо из этой «социальной справедливости», и осуществить то, что справедливо, на путь, ведущий не к унылой социализации, а к достойной солидарности. Впрочем, это слово малоупотребительно, потому что все еще не сконцентрировало в себе мощный сгусток исторических и социальных идей, а, напротив, отдает туманной филантропией.

Для улучшения нынешнего положения дел прежде всего необходимо понимание его непомерной тяжести. Лишь это поможет атаковать зло в тех глубинных тайниках, где оно в действительности зарождается. По правде говоря, действительно трудно спасать цивилизацию, когда она во власти демагогов. Демагоги были душителями цивилизаций. Греческая и римская задохнулись в лапах этих омерзительных двуногих, заставивших Маколея воскликнуть: «В любом веке самые худшие образчики человеческой породы представлены демагогами». Но демагог — не просто человек, взывающий к толпе. Взывать — это порой священный долг. Сущность демагога — в его мышлении и в полной безответственности по отношению к тем мыслям, которыми он манипулирует и которые он не вынашивал, а взял напрокат у людей действительно мыслящих. Демагогия — форма интеллектуального вырождения, и как массовое явление европейской истории она возникла во Франции к середине XVIII века. Почему именно тогда? Почему именно во Франции? Это один из самых болезненных моментов в судьбе Запада, и особенно в судьбе Франции.

С этого момента Франция, а под ее воздействием и весь континент уверовали, что способ разрешения огромных человеческих проблем — революция, под которой понималось то, что еще Лейбниц назвал «всеобщей революцией»[1]: стремление одним махом изменить все и во всех сферах[2]. Именно поэтому такая чудесная страна сегодня так неблагополучна. У нее революционные традиции или, по крайней мере, вера в то, что они есть. И если нелегко быть просто революционером, насколько тяжелей и парадоксальней быть революционером наследственным! Да, во Франции была одна великая революция и еще несколько, грозных или смехотворных, но если обратимся к беспристрастным анналам, то убедимся, что благодаря всем этим революциям во Франции как нигде все столетие, кроме считанных недель или даже дней, держался в той или иной мере авторитарный или контрреволюционный режим. А такой моральной рытвиной, какой стали два десятилетия Второй империи, французская история отчетливо обязана сумасбродству революционеров 48 года, большинство которых, по при-

---

[1] «Я нахожу, что подобные взгляды понемногу проникают в высшее общество, в умы людей, которые управляют другими и от которых зависит состояние дел, и проскальзывают в книги, предуготовляя все и вся ко всеобщей революции, которая грозит Европе» («Новые опыты о человеческом мышлении», т. IV, гл. XVI). Из этого следуют два вывода. Первый — в 1700 году (приблизительно тогда Лейбниц написал эти строки) человек был способен предвидеть то, что произошло век спустя. Второй — истоки сегодняшних бед Европы хронологически и потенциально глубже, чем принято думать. (*Прим. авт.*)

[2] «...Наш век, который видит себя призванным изменить законы во всех сферах...» (Д'Аламбер. «Вступительное слово к энциклопедии». Сочинения, 1821, т. I, стр. 56). (*Прим. авт.*)

знанию самого Распая, были его пациентами.

В революциях абстрактное пытается восстать против конкретного, поэтому революция обречена на провал, она с ним единосущна. Человеческие проблемы, в отличие от астрономических или химических, не абстрактны. Они предельно конкретны, потому что они историчны. И единственный способ мыслить, дающий какие-то шансы на успех в разрешении таких проблем, — это «исторический разум». Если обозреть общественную жизнь Франции за последние полтора века, бросится в глаза, что ее геометры, ее физики и ее медики почти всегда ошибались в своих политических выкладках, а вот историки, напротив, умудрялись попадать в цель. Но физико-математический рационализм во Франции слишком гордился собой, чтобы не властвовать в общественном сознании. Мальбранш порвал со своим другом, увидав у него на столе Фукидида.

Месяц назад, разгоняя одиночество на парижских улицах, я вдруг понял, что у меня в огромном городе, кроме статуй, ни единого знакомого. А вот они, напротив, мои старые друзья, давние вдохновители или вечные наставники. И поскольку мне больше не с кем было перекинуться словом, с ними и беседовал я о делах человеческих. Не знаю, увидят ли когда свет мои «Беседы с памятниками», скрасившие мне горький и бесплодный отрезок моей жизни.

И естественно, больше всего мне хотелось выслушать нашего общего учителя Декарта, человека, которому Европа обязана как никому. По воле случая, который не раз перетряхивал мою жизнь, я пишу эти строки в том уголке Голландии по имени Эндегеест, где обитал в 1642 году новый провозвестник разума, и деревья над его домом затеняют и мое окно. Сейчас это дом сумасшедших. Дважды в день, предостерегающе близко, я вижу, как безумные и слабоумные выгуливают на свежем воздухе свою человеческую несостоятельность.

Три столетия «рационализма» заставляют освежить в памяти чудесный картезианский raison[1], его блеск и ограниченность. Raison — это математика, физика, биология. Его торжество над природой, превзошедшее самые смелые мечты, лишь подчеркивает его беспомощность в делах сугубо человеческих и требует его включения в более всесторонний «исторический разум».

Тогда выявляется бесплодность любой «всеобщей» революции, любой попытки разом изменить общество и начать историю заново, как замышляли смутьяны 89 года. Революционному методу противостоит метод, единственно достойный нашего векового опыта. Революции, безоглядные в своей нетерпеливой спешке, лицемерно щедрые на обещания всевозможных прав, попирают первейшее право человека, настолько первейшее, что оно определяет человеческую сущность, — право на непрерывность, на преемственность. Единственное коренное отличие «естественной истории» от человеческой в том, что последняя не может начинаться заново. Кёлер и другие показали, что орангутанг и шимпанзе отличаются от человека не тем, что принято называть умственным развитием, а короткой памятью. Бедные животные начинают новый день, не помня почти ничего из пережитого вчера, и потому их интеллект вынужден обходиться жалкими крохами опыта. Современный тигр таков же, как и шесть тысяч лет назад, потому что каждый тигр должен заново становиться тигром, словно у него нет и не было предшественников. Напротив, человек, благодаря своей способности помнить, копит собственное прошлое, владеет им и извлекает из него пользу. Он никогда не окажется первым на земле человеком — его существование начинается на определенной высоте, на вершине накопленного. Это единственное богатство человека, его привилегия и его родовой признак. И наименее ценно в этом богатстве то, что кажется удавшимся и достойным памяти: главное и самое важное — это память об ошибках, позволяющих избегать их. Подлинное богатство человека — это богатство человеческих ошибок, накопленный тысячелетиями жизненный опыт. Поэтому высший человеческий тип Ницше определил как существо «с самой долгой памятью».

Попытка порвать с прошлым, начать все с нуля — это попытка стать или притвориться орангутангом. Мне отрадно, что нашелся француз, Дюпон-Уайт, который в 1860 году отважился воскликнуть: «Преемственность — это право человека, это дань уважения всему, что отличает его от животного».

Передо мной журнал с описанием празднеств, которыми Англия отметила коронацию нового короля. Всем известно, что английская монархия давно уже существует лишь номинально. Это верно, но главное в другом. Действительно, монархия не играет в Британской империи никакой видимой роли. Не правит, не вершит правосудие, не распоряжается войсками. Но не потому она бесплотна и кажется нематериальной. У монархии в Англии весьма определенное и крайне действенное назначение — она символизирует. Поэтому английский народ с нарочитой торжественностью празднует сегодня коронацию.

Это народ, который всегда первым достигал будущего, опережая других почти во всем. Собственно, слово «почти» можно опустить. И

---

[1] Разум (*франц.*).

вот он, с несколько вызывающим дендизмом, заставляет нас присутствовать при старинном ритуале и видеть, как вступают в силу — ибо они никогда ее не утрачивали — самые древние и магические символы его истории, корона и скипетр, которые у нас правят лишь карточной игрой. Англичанин вынуждает нас убедиться, что его прошлое, именно потому, что оно прошло, а значит — было, продолжает для него существовать. Из будущего, до которого мы еще не добрались, он свидетельствует о живом присутствии и полноправии своего прошлого. Этот народ накоротке со временем, он действительно хозяин своих столетий и толково ведет хозяйство. Это и значит быть людьми — следуя прошлому, жить будущим, то есть действительно пребывать в настоящем, ибо настоящее — лишь наличие прошлого и будущего, то единственное место, где они реально существуют.

Символическим ритуалом коронации Англия в очередной раз противопоставляет революционности преемственность, единственное, что позволяет избежать того патологического крена, который превращает историю в вечный бой паралитиков с эпилептиками. <...>

Не без насилия над собой я в своей книге выделил из той общей проблемы, которую представляет для человека, и в особенности для западного человека, его ближайшее будущее, лишь одну-единственную линию — характеристику заурядности, которая начинает сегодня господствовать. Это потребовало от меня сурового аскетизма, обета молчания по поводу многого, затронутого походя. Более того, это часто вынуждало представлять вещи в таком ракурсе, который был наилучшим для освещения упомянутой темы и наихудшим для выражения моих взглядов на этот предмет. Приходилось лишь обозначать проблему, пусть и фундаментальную. Я мерил сегодняшнего среднего человека мерой его способности продолжать современную цивилизацию и его причастности к культуре. Возможно, кто-то скажет, что то и другое — цивилизация и культура — не моя тема. Но что бы ни говорили, в действительности именно о них все написанное мною, начиная с самых первых страниц. Однако я не мог усложнять вопрос. Каковы бы ни были наши взгляды на цивилизацию и культуру, есть нечто первостепенное, с чем нельзя не считаться, — аномалия в лице массового человека. И грубо обрисовать его было делом безотлагательным.

Большего французский читатель не должен ждать от этой как бы книги, а в сущности — попытки просвета в гуще грозы.

Голландия, май 1937

Заметки на полях

Два рода эпох: времена, когда борьба идет за то, кому править, и времена, когда борются, чтобы никто не правил. К последним относится прошлый век и те чувства, что его обуревали.

* * *

У нашей цивилизации два изъяна: она учит правам, а не обязанностям и ей недостает исконности; другими словами, она заключается в средствах, а не конечных целях и оставляет невозделанной, неокультуренной глубину существования, то, что в жизни человека абсолютно или тяготеет к абсолютному. В этом смысле наша цивилизация поверхностна, и потому принимать или отвергать ее, принимать целиком или частично — это дело вкуса, если не прихоти. Оттого так легко и чем дальше, тем легче люди отмахиваются от ее заповедей либо хватаются за ту, что в данный момент их устраивает.

* * *

Нигилист, не уважая себя, сознавая свою бесплодность, возмещает ее тем, что шельмует жизненные ценности. Так он становится с ними вровень. Сравнительно с ним Люцифер — это святой, потому что его действия предполагают, во-первых, восхищенное признание того, что в мире есть наивысшее — Бог, во-вторых, стремление уподобиться этому наивысшему и, в-третьих, возникшую отсюда убежденность, что есть и другое наивысшее — он сам, подобный Богу.

Для нигилиста Люцифер слишком наивен, поскольку верит, что в мире есть нечто стóящее, и относится к нему признательно. Это райский сноб.

* * *

Однажды в афинской бане столкнулись киник Диоген и аристократ Аристипп[1]. Последний, уходя, рассеянно натянул рваную тунику Диогена. Но Диоген наотрез отказался пред-

[1] Диоген Киник (404—323 гг. до Р. Х.) — греческий философ, проповедовал возврат к природе; Аристипп (V—IV в. до Р. Х.) — ученик Сократа.

стать перед людьми в пурпурных одеждах Аристиппа.

* * *

Когда наступает подлинный кризис культуры? Культура, строго говоря, — система коренных убеждений, окончательный взгляд человека на жизнь, тот его мир, в который он уверовал безотчетно и всецело. Эта вера может опираться или не опираться на знание, может быть религиозной или наоборот. Важно, чтобы человек видел с абсолютной отчетливостью строение своего мира. Потому что жить — это вникать в окружение, свыкаться с ним, домогаться и остерегаться его. Если окружение, в которое вживаешься, целиком теряет очертания, если исчезают ориентиры, по которым можно определиться, если человек совершенно искренне не понимает, что возможно и что — нет, тогда и сама жизнь его становится недостоверной. Поскольку нет больше оснований поступать так, а не наоборот, он привыкает жить подставной, промежуточной жизнью. Это ли не драматично? Жизнь у каждого одна, и делать эту единственную жизнь чем-то промежуточным...

Кризис культуры тогда неподделен, когда человек не находит мира, в котором ему жить — то есть окончательно и бесповоротно осуществить свою жизнь, то единственное, что для него бесповоротно. Мир — это структура окружения, взаимосвязь всего, что нас окружает, окончательная перспектива того, что в жизни возможно и что неосуществимо, что до́лжно и что запретно (и не только из соображений морали, умозрительной или житейской, но и с позиций менее моральных и более эгоистичных).

Агностицизм минувшего века ослабил в людях врожденную тягу к «окончательному», к вечным вехам существования и приучил мысль довольствоваться «предпоследним», каковое вполне резонно становится чистым допущением, и можно принимать его, отвергать и заменять чем угодно. Крайний пример — физика. Она, бесспорно, великолепна, но, поскольку она не решила свои коренные проблемы, не обосновала свою собственную суть, вполне естественно, что люди к ней глухи. То же самое с техникой. Автомобиль — великолепное устройство, чтобы спешно попасть бог знает куда. Но на черта спешить, если мне там нечего делать?

Нашей культуре всегда не хватает какой-то последней зацепки, чтобы удержать нас. Культуру, какой она была прежде, культуру, которая не дает человеку устраниться от нее, потому что она вплавлена в его личную жизнь, — такую культуру я называю укорененной, вошедшей в человека, исконной.

Современная же, с ее допущениями вместо необходимого и непреложного, превращается в мифологию и плодит идолов, сиюминутных и взаимозаменяемых, но отнюдь не обязательных. Лишь перспектива окончательности побуждает заменять одного другим — предпоследним. И только когда современный человек почувствует смертную нужду добраться куда-либо, только тогда дойдет до него смысл автомобиля.

Жизнь без «мира», то есть без неразменного окружения, без твердой почвы под ногами, — это жизнь неукорененная, недостоверная и ненастоящая.

Нужен здоровый радикализм, первооснова, краеугольность.

Мы — не тело, утратившее тень, а тень, утратившая тело.

Все это кончится, как только человек отчаянно затоскует... о мире.

* * *

Для Испании существенно не то, что инквизиция жгла еретиков, а то, что не нашлось ни одного еретика, достойного пламени. А если такой и появлялся по чистой случайности, то, подобно Сервету [1], подавался как можно дальше и там шел на костер.

Огонь — не диковина, и пользовались им повсюду. На одну инквизицию испанцам не списать свою умственную спячку.

* * *

Старинный обычай таитян: когда ищут любви, закладывают цветок за левое ухо, а когда находят, перемещают его за правое. Похоже, Х. не ошибается, уверяя, что у нас имеются и правые и левые.

* * *

Шлегель как-то сказал: «Невежда — пародия на самого себя».

* * *

То испанское, что вошло в кровь народов Центральной и Южной Америки, несомненно, могло бы способствовать нашему влиянию на них. Но не способствует нисколько, потому что упомянутые народы куда острей, чем свое испанство, ощущают нужду в идеях и средствах, без которых не утвердиться в современном мире. Чтобы их потенциальное испанство стало действительным, надо, чтобы мы для них были не испанцами, а современными людьми.

* * *

Двойственность нашего времени, которой я так озабочен, — это не навязчивая идея и не просто особенность, но сущность нашего времени. Мы оказались в ситуации поистине не-

[1] Мигель Сервет (1509—1553) — испанский ученый, врач и теолог, сожженный в Женеве по приказу Кальвина.

бывалой. В человечестве произошла коренная перемена иррационального свойства — и как раз в то время, когда человек удивительно зорок и проницателен по отношению к себе. Впервые он наблюдает собственную мутацию — меняется и знает, что меняется. Прежде он считал себя окончательным и, как бы при этом ни менялся, не рассматривал себя — свое мировоззрение и образ жизни — как нечто переходное. И потому, меняясь, не ощущал перемены.

Река Гераклита осознала свой бег. Струйка, которая сбегает по склону, видит себя бегущей и, следовательно, отдельной от реки, неподвижной.

У человека нет иного выхода, как учиться жить в этой двойственности и чувствовать себя одновременно преходящим и вечным. Прежде художественный стиль, научная идея, политическая доктрина захватывали тем, что казались окончательными. Пора убедиться, что окончательны мы лишь тогда, когда отлично вмещаемся в наше сиюминутное, летучее пространство — иначе говоря, когда принимаем «наше время» как судьбу, без ностальгии и утопизма. (Не поймите меня превратно. Тоска о былом и мечта о несбыточном — законные проявления мощной жизненности. Надо только жизненно не зависеть от них, не жить ими и ради них, потому что тогда они — признаки немощи. Жизнь — это вечное сейчас, ностальгия и утопия — бегство от него.)

Великие исторические сдвиги обычно наступали при сумерках разума. Сильно сомневаюсь, что когда-либо еще столь мощное вторжение иррациональных сил, стремительно меняющих человеческую сущность, совпадало, как в наши дни, с таким безоблачным светом мысли.

* * *

Говорят, идеологи не годятся для политической борьбы. И это сущая правда. Как бороться с другими, когда борешься с самим собой? С другими борются фанатики, то есть те, кто с собой живет в полном согласии. Разве хватит духу оспаривать других у того, кто вечно спорит с собой? Тот, кому ясно, что внутренний спор — естественное состояние человека, у того нет позыва всегда брать верх. Иное дело — фанатик, тот, кто для себя уже не человек, окаменелость, непреклонный борец за веру. Лишь те, кто не мыслит себя, стремятся убедить остальных.

* * *

Любопытный факт. Китайский социалист Мо-Цзы в пятом веке от Рождества Христова написал книгу, половину которой посвятил всеобщему человеколюбию, а другую половину — крепостной артиллерии.

* * *

Принимать «наше время» как судьбу — не значит принимать его вслепую. Так поступают именно те, кто не желает замечать в событиях жизни серьезность и тяжесть судьбы и превращает их в ролики, на которых катит по поверхности существования, не задерживаясь ни на том, ни на сем, ни на пятом, ни на десятом, — короче, не становясь ничем. Подобные существа вечно пребывают в состоянии праздной готовности и потому так охотно и бесцеремонно хватаются за все, что ни привалит. Отсюда и парадоксальный результат: почти всегда те, кто пуще других, казалось бы, идет в ногу со временем, на самом деле не имеют отношения ни к этому времени, ни вообще к любому другому. Они «на уровне» своего времени, но суть у них вневременная — ни сегодняшняя, ни вчерашняя, ни третьего дня, а просто никакого (например, дама из общества, которая лезет вон из кожи, чтобы держаться так, как держатся, и носить то, что носят, по складу своему существо не датированное и с равным успехом могла бы жить и вчера, и во времена фараонов).

Нет, речь не о том, чтобы принимать все без разбору. Совсем наоборот. Каждое «наше время» приносит свои правила и свои неправильности, свои подлинные заповеди и поддельные. Поэтому надо придирчиво следить за его чистотой, избавлять его от постоянных искажений, мерить «наше время» его собственной мерой. Чем серьезнее принимают «наше время», тем решительнее не мирятся с его шарлатанствами.

Самое распространенное из них, самое пошлое и легкодоступное — экстремизм. Для прирожденного жулика — весьма живучей разновидности человека — существа, абсолютно неспособного что-либо создать, кроме иллюзии, что он тоже творит, что он тоже некто, нет иного выхода, как только хвататься за новую идею и доводить ее до абсурда. Удобнейший способ! Пристроиться к чужой идее и следовать ей до конца, никуда не сворачивая. Это и есть антипод творчества, предел рутины. Прямолинейность инертна, экстремисты — это лодыри истории. Они движутся в одном направлении, в ту сторону, куда их однажды толкнули.

Человек творческий, то есть человек, который живет по-настоящему, знает пределы своих самобытных истин, а потому он всегда наготове и отбрасывает их, как только они начинают оборачиваться ложью.

* * *

Из живых существ наименее восприимчив, в наименьшей степени живет восприятиями и от них отталкивается взрослый человек. Другими словами, взрослым менее всего движет то, что он видит перед собой и каким оно ему видится. Богатейшая кладовая его памяти и особенно скопленные там «признанные теории» непрерывно противоборствуют его восприяти-

ям, лишая их сущности и превращая в простые инструменты памяти, то есть в напоминания о мире, который давно знаком и о котором мы знаем заранее. Это внутренний мир, внутренний человек — его домыслы, убежденности, предвзятости, — господствующий над человеком внешним, над чистым восприятием. У ребенка и животного все обстоит иначе. Лишь они умеют видеть, именно потому, что у них нет предварительного, априорного знания. Для них существует «то, что есть», очевидное, явное и сиюминутное, а именно сквозная, прерывистая канва восприятий.

За взрослого решают уже не глаза, а теории, которые формуют восприятие и заставляют его, волей-неволей, принимать заданную форму.

И в то же время плоть наших теорий — это, бесспорно, все воспринятое нами, единственное, что не может быть придумано. Можно поэтому утверждать, что интеллектуальное богатство человека зависит в конце концов от того, что он увидел ребенком. Искусство и подавно живет лишь детским видением, теми трофеями, что добыли новорожденные глаза. Я уже как-то говорил, что поэзия — неперебродившее детство.

* * *

У всех греческих классиков — ребяческий облик, детские лица. Все серьезное — позади.

* * *

Я говорил, что в наши дни преимущественно живут неокончательной, промежуточной жизнью и потому временной. Но ведь и все временно, и в том его очарование. Вечная жизнь была бы невыносимой. Жизнь человека драгоценна потому, что ее краткость уплотняет ее, прессует и делает алмазной. Прелесть отлета, хрупкую дрожь клинка дарит всему живому его мимолетность. Едва рассвело — и день мой стремглав уже спешит в неотвратимые сумерки. Галилей взывал о наивысшей каре, когда молил, чтобы detrattori della corruttibilità[1] обратились в статуи. А старый японский поэт говорил:

Наша жизнь — росинка.
Пусть лишь капелька росы
Наша жизнь — и все же...[2]

* * *

Дух возникает или рождается на вершинах муки и на вершинах наслаждения. Плоть, доведенная до крайнего напряжения и достигшая своего предела, становится духом. Тому свидетельство и едва ли не символ — у раненого животного появляется почти человеческое выражение. Как и в миг соития.

* * *

Загадка истории — загадка счастья. Ведь историк силится понять, какой была жизнь той или иной эпохи в своих сокровенных глубинах. Так вот: любая эпоха чувствует себя в конечном счете счастливой. Жизнь неизменно счастлива в своем огромном, общем кубле. Подтверждением служит то, что ни одна эпоха всерьез не хотела бы стать какой-либо иной из нам известных. Смутное стремление переселиться в те или другие времена, прошлые или будущие, — это милая прихоть жизни, помогающая лучше вглядеться в облик эпохи. Но беды — всего лишь метеоры, которые падают на неизменную, надежную и неуязвимую планету счастья. Жалобы на «времена и нравы» — это разновидность наслаждения, сладость слез, удовольствие от жалости к себе. Об этом догадывался Гегель, но никто не оценил его догадку и не развил ее. У каждого времени — своя жизнь, и время ощущает ее своей потому, что в ней, такой как есть, оно счастливо. Неверно думать, будто счастье исключает боль и тревогу. Напротив, это его составные части. Историк не раскусит время, пока не доберется до той сердцевины, где оно счастливо. Чудовищна тайна жизни, вечно блаженной, так полно и невозмутимо погруженной в себя!

* * *

Карлейль[1] рассказывает, что герцог Орлеанский, дед Филиппа Эгалите[2], был изрядным маньяком и не только не верил в существование смерти, но запретил даже упоминать о ней. Однажды его секретарь обмолвился: «Покойный король Испании...» — «Что?! — загремел возмущенный герцог. — Покойный король?!» — «Это его новый титул», — успокоил секретарь.

1930

---

[1] Продажные клеветники (*итал.*).
[2] Кобаяси Исса (1763—1827), «На смерть маленького сына». Перевод В. Марковой.

---

[1] Томас Карлейль (1795—1881) — английский историк.
[2] Луи Филипп Жозеф Орлеанский (1747—1793) — двоюродный брат короля и видный деятель Великой французской революции, принявший имя Филипп Эгалите (Филипп Равенство).

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ

«Я — натурщик, художник и фотограф; теперь я выживу даже на Луне». Так назвал Спиридон один из своих автопортретов. Столь смело может заявить о себе лишь человек, уверенный в том, что ему удалось самореализоваться. Или человек, для которого искусство стало, по определению критика, «способом выжить» и одновременно — способом сотворения особой среды обитания, некоего идеального мира. Спиридон действительно успел добиться многого, хотя умер он, не дожив двух лет до тридцати.

Маркус Невен-Дюмон (1967—1995) принадлежал к старинному кёльнскому роду, который владеет местными газетами и издательствами. Перед потомком столь могущественного клана открывались самые широкие возможности. Маркус выбрал путь свободного художника. Он бросил университет, отдав предпочтение самообразованию. Много путешествовал, стажировался в мастерских известных живописцев и фотографов, брал уроки пения в стиле спиричуэлс, интересовался экспрессивным танцем, снимал фильмы и видеоклипы. И еще увлекался философией, эзотерикой, медитировал... Не случайно он взял себе псевдоним Спиридон. Обыгрывая смысл нового имени, на одной из картин художник написал: «On spirit. Spiridon. Don Spiri». Он отыскивал путь, который привел бы его к подлинной независимости, отыскивал свое место в явно не устраивавшем его укладе современной жизни. Он пытался решить проблемы, которые стояли перед его сверстниками. Критики писали о нем как о молодом художнике, «чьи жизнь и творчество, основной путь и его ответвления, душевные взлеты и депрессии, победы и поражения сконцентрировали в себе проблемы целого поколения».

Художник Спиридон добился признания. Искусствоведы отметили его безусловную одаренность и чрезвычайную работоспособность. У него состоялось несколько персональных выставок. Одна из них проходила в 1995 году в петербургском Русском музее. В каталоге к этой выставке Карл Руберг писал: «Мне редко приходилось встречать таких молодых людей, как этот художник, в столь значительной степени движимый лихорадочной неугомонностью и творчески продуктивной моторной нервозностью: вечно он в пути к новым берегам, не испытывая никогда удовлетворения... Его идеи, кажется, подгоняют друг друга, и стоит ему обратиться к очередному замыслу, как он уже сменяется следующим».

В творчестве Спиридона есть два лейтмотива. Это прежде всего тема «space in space» («пространство в пространстве»), которой посвящен большой цикл картин, выполненных в смешанной технике. Спиридон помещает небольшой вполне реалистический фотоснимок в недра живописно-экспрессивного хаоса. Так раскрывается идея несоответствия, контраста внутреннего и внешнего мира человека. В его картинах реальная жизнь — лишь фрагмент внутри огромных духовных, воображаемых пространств. Реальность у Спиридона может распадаться и на серию маленьких кадров, а точнее — она сводится к бытовым эпизодам, несоизмеримым с многообразием творческой фантазии.

Как ни парадоксально, другой важной темой — входящей во вполне очевидное противоречие с первой — было стремление свести воедино разные виды искусства. Спиридон создавал то, что немцы именуют Gesamtkunstwerk, используя при этом, в частности, новейшие компьютерные технологии. Целый ряд проектов он задумал и осуществил вместе со своим другом Симоном Штокхаузеном, сыном великого музыкального новатора. Спиридон много экспериментировал, например, микшировал живопись и компьютерную графику, работал над «сближением изображения и звука».

Спиридон стремился включить в новый творческий синтез все: живопись, фотографию, музыку, хореографию, литературу, а далее и себя самого. Его личность, биография, даже его быт тоже входят в это синтетическое произведение искусства. И тем не менее подобный синтетизм нередко вызывает у художника ощущение неполноты. Он хочет добавить еще одну грань, еще одну... Неожиданно приходит осознание того, что жизнь все-таки неисчерпаемее искусства.

Недаром в названии одной из своих картин Спиридон высказал догадку, видимо, очень важную для того поколения, к которому он принадлежит: «Величайшее из искусств — это искусство жить».

О. ХЛЕБНИКОВА

У КНИЖНОЙ ВИТРИНЫ

ИСАЙЯ БЕРЛИН

Чувство реальности: этюды об идеях и их истории

Sir Isaiah Berlin. The Sense of Reality: Studies in Ideas and Their History

Farrar, Straus and Giroux, 1997

Увидел свет седьмой — последний — том собрания эссе Исайи Берлина (1909—1997), известного английского философа и историка. В книгу вошло девять работ, восемь из которых ранее не публиковались. Их темы — Кант, Белинский, романтизм, проблемы взаимоотношений философии и авторитарной власти. Критики называют эссе Берлина «записанными беседами» и отмечают, что они доступны самому широкому кругу читателей. Последний том собрания эссе Берлина, как и предыдущие, вышел под редакцией Генри Харди.

ТОМАС ПИНЧОН

Мейсон и Диксон

Thomas Pynchon. Mason & Dixon

Henry Holt and Company, 1997

Новый роман известного американского писателя лауреата Пулицеровской премии Томаса Пинчона пресса встретила восторженно. Пинчон — фигура весьма неординарная как в литературном плане (его называют «постмодернистом от науки, шифрующим высокое научное знание в литературных образах»), так и в отношениях с публикой (он не дает интервью, запрещает выдвигать свои произведения на премии и печатать свои фотографии).

По мнению критиков, новая книга подтвердила славу Пинчона как блестящего мастера языковой игры. В основу романа легли материалы об экспедиции английских астрономов Мейсона и Диксона в США (XVIII век). Но достоверное описание далеких событий перемежается множеством откровенно фантастических историй. Большое место в книге отведено воспроизведению бесконечных перебранок между астрономами, хотя за этими словесными баталиями скрывается глубокая и трогательная привязанность друг к другу (недаром роман уже успели назвать «одним из величайших в литературе всех времен и народов произведений о мужской дружбе»).

СОЛ БЕЛЛОУ

Действительность

Saul Bellow. The Actual

Viking, 1997

Новый роман известнейшего американского писателя лауреата Нобелевской премии Сола Беллоу (род. в 1915 г.) критики назвали продолжением его «чикагской эпопеи». Главный герой книги — неудачливый бизнесмен Гарри Трельман. От его лица и ведется рассказ: он описывает свои отношения с женщиной, в которую влюблен со школьной скамьи, а также с работодателем — престарелым миллиардером Адлецки, возложившим на Трельмана функцию «мозгового центра» финансовой империи. Сол Беллоу наделил Гарри Трельмана весьма важной с точки зрения сюжетного развития чертой — острой наблюдательностью, что помогает писателю, по словам одного из рецензентов, «снова и снова подвергать резкой критике чикагское общество, а также косность американской политической системы».

ФИЛИП РОТ

Американская пастораль

Philip Roth. American Pastoral

Houghton Mifflin, 1997

Новое, 22-е по счету, произведение знаменитого американского писателя Филипа Рота — масштабное повествование о переменах, произошедших в США в период между второй мировой и вьетнамской войнами. Роль повествователя Рот вновь предоставил своему любимому персонажу (и своему альтер эго) — писателю Цукерману. От его лица и идет рассказ о трагическом конфликте двух поколений, символизирующих две противоположные силы в историческом движении страны. Главный герой романа преуспевающий бизнесмен Симор Левов истово верует в труд и прогресс. Но мир

Левова рушится, когда его дочь («олицетворение темной стороны американского индивидуализма, ярости, насилия и отчаяния») становится террористкой.

АЛАН ИСЛЕР

Любитель Бэкона

Alan Isler. The Bacon Fancier

Viking, 1997

Это новая книга англичанина Алана Ислера, много лет прожившего в Нью-Йорке. Свой первый роман «Принц Вест-Эндский» (см. «ИЛ», 1997, № 11), Ислер опубликовал уже после того, как ему исполнилось 60 лет. Он принес автору большой успех, критики стали сравнивать писателя с Солом Беллоу. «Любитель Бэкона» состоит из четырех новелл, объединенных одной темой — судьба евреев в чуждой им культурной среде. Действие происходит в разные исторические эпохи и в разных странах. Например, в первой новелле Ислер саркастически переосмысливает сюжет «Венецианского купца» Шекспира, делая Шейлока положительным героем. В следующих новеллах читатель переносится в Англию XVIII века, на пароход, пересекающий Атлантику в начале XX века, в современный Нью-Йорк... Критики особо отмечают мастерство, с каким Ислер создает психологически сложные, неоднозначные образы, а также смысловую многослойность его текстов.

ДЖЕЙ ПАРИНИ

Переход Беньямина

Jay Parini. Benjamin's Crossing

Henry Holt and Company, 1997

Новый роман известного американского поэта и прозаика Джея Парини посвящен судьбе немецкого философа Вальтера Беньямина (1892—1940). По жанру это роман-биография. В историю последних месяцев земного существования Беньямина — от бегства из захваченного немцами Парижа до самоубийства на испанской границе — вкраплены ретроспективные фрагменты, и это позволяет автору создать цельную картину жизни героя. Отмечая, что Беньямин был крайне неоднозначной фигурой, рецензенты высоко оценивают мастерство Парини, сумевшего великолепно справиться со своей задачей и нарисовать достоверный драматический портрет философа.

ГЕРМАН ГЕССЕ

Музыка

Hermann Hesse. Musik

Insel & Suhrkamp, 1997

«Музыка обладает первобытной силой, чары ее целебны, ибо как никакое другое искусство способна она сливаться с природой и замещать ее», — писал Герман Гессе. В музыкальной серии издательства «Зуркамп» вышла книга немецкого классика XX века, где собраны разные его тексты, так или иначе связанные с музыкой: стихотворения и наблюдения, письма и наброски, в которых речь идет о музыке или музыкантах, а также рецензии на различные события музыкальной жизни, размышления о роли музыки в жизни, высказывания о композиторах и исполнителях.

ТОМАС КЛИНГ

Маршрут

Thomas Kling. Itinerar

Suhrkamp, 1997

Многие немецкие критики с удивлением отмечают, что в конце XX века определенная часть молодежи все еще предпочитает дискотекам и барам поэтические вечера в маленьких клубах. Учитывая это обстоятельство, издательство «Зуркамп» начало выпуск серии поэтических книг под условным названием «Клуб молодых поэтов». Одна из новинок серии — сборник известного и популярного поэта Томаса Клинга. В стихах интеллектуала из Дюссельдорфа, который слывет также блестящим исполнителем собственных произведений, звучит и русский мотив.

ПЕТЕР ХАНДКЕ

Однажды темной ночью я покинул свой тихий дом

Peter Handke. In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus

Suhrkamp, 1997

Увидел свет новый роман известного австрийского писателя Петера Хандке. Герой повествования, аптекарь, возвращаясь с работы, решает заехать в лесной ресторанчик, расположенный недалеко от аэропорта. Из-за этого вполне невинного желания он волей судьбы попадает в достаточно опасную ситуацию. Но оказывается, что именно опасность-то и манит его. Вместе с двумя завсегдатаями ресторанчика (один прежде был знаменитым лыжником, другой — популярным поэтом) аптекарь принимает уча-

стие в рискованных событиях. Такова завязка, из которой вырастает мастерски написанный приключенческий роман.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

И все же я люблю жизнь

Heinrich Heine. Ich liebe doch das Leben

Insel, 1997

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Полное собрание стихотворений

Heinrich Heine. Sämtliche Gedichte

Insel, 1997

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Во сне я плакал

Heinrich Heine. Ich hab im Traum geweint

Insel, 1997

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Эстетический и политический портрет

Heinrich Heine: Ästhetisch-politische Profile

Insel, 1997

К 200-летию со дня рождения Генриха Гейне (13 декабря 1997 г.) издательство «Инзель» выпустило серию книг, посвященных жизни и творчеству немецкого классика. До сих пор еще далеко не все его произведения известны широкой публике. Первая книга серии «И все же я люблю жизнь» объединяет двенадцать прозаических отрывков Гейне, посвященных самым разным областям жизни, и связанные с ними документальные свидетельства и комментарии. Гейне-поэт представлен Полным собранием стихотворений, а также книгой «Во сне я плакал», которая включает 44 его стихотворения с анализом и разбором. Том составлен известным немецким критиком Марселем Райх-Раницки. «Эстетический и политический портрет» — свод документов и материалов, посвященных отдельным произведениям поэта.

ПЬЕТРО ЧИТАТИ

Свет в ночи

Pietro Citati. La luce della notte

Mondadori, 1996

Эта книга известного итальянского романиста, биографа и литературоведа Пьетро Читати долгое время занимала в Италии одно из первых мест в списке бестселлеров. В ней исследуются проблемы, связанные с ролью, которую играли мифы в истории человечества. Автор увлекает читателей в путешествие по векам, странам и континентам, становится гидом, учителем, а также толкователем того, что «родилось вместе с основанием мира» и продолжает обогащать жизнь миллионов людей до наших дней.

АНЖЕЛО РИНАЛЬДИ

Ночной выпуск последних известий

Angelo Rinaldi. Derniers nouvelles de la nuit

Grasset, 1997

Французская пресса широко откликнулась на новый роман известного писателя и критика Анжело Ринальди. Мнения рецензентов резко разделились, хотя многие готовы назвать «Ночной выпуск» шедевром. Действие книги происходит в наши дни. Герой возвращается в Париж из Рима и узнает печальные новости о своих друзьях, завсегдатаях кафе «Белая королева»: один из них заразился СПИДом, другой покончил с собой, хозяйка кафе готовится закрыть свое заведение... Это роман об одном поколении, роман о разочаровании, потерянности, неспособности найти место в жизни.

ЕЖИ СТЕФАН СТАВИНСКИЙ

Глупая любовь

Jerzy Stefan Stawinski. Glupia miłość

Wydawnictwo warszawskie, 1996

Новая книга известного польского писателя особенно интересна в контексте хорошо знакомых российскому читателю предыдущих его автобиографических романов («В погоне за Адамом», «Час пик», «Записки молодого варшавянина»). «Глупая любовь» предлагает еще один вариант послевоенной судьбы человека, прошедшего в юности через Варшавское восстание, лагерь, освобождение, нелегкий выбор между жизнью на Западе и возвращением в «новую Польшу». Однако в последнем романе Ставинского послевоенную биографию героя определяет лишь «роковая любовь», заслоняющая и разочарование, и страшные реалии социалистической жизни.

ГЭВИН ЮАРТ

Избранные стихотворения. 1933—1993

Gavin Ewart. Selected Poems. 1933—1993

Hutchinson, 1997

По мнению критиков, выход в свет сборника избранных стихов поэта Гэвина Юарта (1916—

1995) свидетельствует о возвращении моды на «легкую», ироническую поэзию. Темы и стиль поэзии Юарта почти не менялись на протяжении его долгой творческой жизни. Он живописал абсурдный калейдоскоп современной городской жизни, «нелепости секса», злоключения «среднестатистического чувственного человека». Литературоведы называют его «мастером жанра, находящегося на стыке забавных юмористических стишков и настоящей, наполненной социальным и философским содержанием поэзии». Юарт донес до наших дней главные достоинства английской поэзии 30-х годов: остроумие, виртуозное владение формой, готовность использовать комические приемы для достижения серьезных целей.

Аптечка первой помощи: стихи для странных времен. Составители Джо Шэпкотт и Мэтью Суини

Emergency Kit: Poems for Strange Times. Ed. by Jo Shapcott and Matthew Sweeney

Faber, 1997

Эта поэтическая антология заслужила самые высокие отзывы критиков. Одним из главных ее достоинств признана тонко продуманная композиция, благодаря которой собранные в книгу стихи читаются как «одна длинная полифоническая поэма». В антологию вошли произведения почти ста пятидесяти англоязычных поэтов, написанные в последние сорок лет. В предисловии составители назвали сборник «опасным путешествием в подсознание и обратно».

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА (LUIGI MALERBA; род. в 1927 г.) — итальянский писатель. Автор романов «Змея» («Il serpente», 1966; отмечен премией Кампьелло), «Протагонист» («Il protagonista», 1973), «Голубая планета» («Il pianeta azzurro», 1986), «Греческий огонь» («Il fuoco greco», 1991), «Летающие камни» («Le pietre volanti», 1992; премия Виареджо), «Маски» («Le Maschere», 1995), повести «Сальто-мортале» («Salto-mortale», 1968; французская премия Медичи, 1970, за лучшую иностранную книгу года; рус. перев. в «ИЛ», 1976, № 5), сборника рассказов «Серебряная голова» («Testa d'argento», 1988; премия Гринцане Кавур). Вместе с Чезаре Дзаваттини Л. Малерба написал сценарий по повести Н. В. Гоголя «Шинель». В «ИЛ» печатались рассказы Л. Малербы «Мафиозо» и «Два миллиарда» (1980, № 4), «Серая девушка» (1984, № 8). Его произведения переведены на многие языки.
Роман «Итака навсегда» вышел в Италии в 1997 году («Itaca per sempre». Milano, Arnoldo Mondadori).

НАЙДЖЕЛ ДЖЕНКИНС (NIGEL JENKINS, род. в 1949 г. в Южном Уэльсе, Великобритания) — уэльский поэт, журналист, литературный критик, пишущий на английском языке. Изучал литературу в Эссекском университете. Автор книг стихов «Песня и танец» («Song and Dance», 1981), «Реальные сны» («Practical Dreams», 1983), биографической книги об уэльском поэте «Джон Трипп» («John Tripp», 1989), лирического очерка об Уэльсе в иллюстрированном издании «Уэльс: характер местности» («Wales: the Lie of the Land», 1989), а также повести о деятельности уэльских миссионеров в Индии «Уэльс среди гор Хазиа» («Gwalia in Khasia», 1995), удостоенной премии Уэльского совета по культуре как лучшая книга года.
Публикуемые стихи взяты из сборника «Единение» («Acts of Union. Selected Poems 1974—1989», 1990). Статья «Дракон с двумя языками: литература Уэльса» («The Dragon Has Two Tongues») была напечатана в справочном издании «Литературный Уэльс» («Literary Wales», 1997).

ЙОЗЕФ РОТ (JOSEPH ROTH; 1894—1939) — австрийский писатель. Автор реалистических и сатирических романов из жизни послевоенной Европы: «Отель «Савой» («Hotel Savoy», 1924; рус. перев. 1925), «Бунт» («Die Rebellion», 1924; в рус. перев. «Мятеж», 1925), «Циппер и его отец» («Zipper und sein Vater», 1927; в рус. перев. «Циппер и сын», 1929), «Бегство без конца» («Die Flucht ohne Ende», 1927), «Марш Радецкого» («Radetzkymarsch», 1932; рус. перев. 1939), «Склеп капуцинов» («Kapuzinergruft», 1938), «Иов» («Hiob», 1930; рус. перев. в «ИЛ», 1995, № 8); повести «Легенда о святом пропойце» («Die Legende vom heiligen Trinker», 1967; рус. перев. в «ИЛ», 1996, № 1).
Рассказ «Бюст императора» («Die Büste des Kaisers», 1935) взят из собрания сочинений писателя в 6-ти томах («Gesammelte Werke in 6 Bänden». Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1989—1991).

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1966 г.) — критик, культуролог, переводчик с английского; автор работ, посвященных творчеству И. Бродского, В. Аксенова, Дж. Оруэлла, М. Кундеры, проблемам кино. Неоднократно публиковался в «ИЛ»: перевод рассказа «Энтропия» Т. Пинчона (1996, № 3); статья «Камилла Палья: черная овца в стаде американского феминизма» (1996, № 10) и др.

ТАМА ЯНОВИЦ (TAMA JANOWITZ) — американская писательница. Автор романов «Американский папочка» («American Dad», 1981), «Каннибал в Манхэттене» («A Cannibal in Manhattan», 1988), «На прибрежье Гитчи-Гюми» («By the Shores of Gitchee Gumee», 1996). Рассказы «Рабы Нью-Йорка» и «Спички» взяты из сборника «Рабы Нью-Йорка» («The Slaves of New York». New York, Washington Square Press, 1986).

ДУГЛАС КОУПЛЕНД (DOUGLAS COUPLAND; род. в 1961 г.) — канадский писатель. Автор романов «Планета Шампунь» («Shampoo Planet», 1992), «Жизнь после Бога» («Life After God», 1994), «Рабы «Майкрософта» («Microserfs», 1995).
Роман «Поколение Икс» («Generation X») печатается по изданию London, Little, Brown and Company, (UK) 1994.

СИЛАКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА — переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии «Страннику» (1996), присуждаемой издательством «Terra Fantastica» (Санкт-Петербург). В «ИЛ» напечатаны переводы эссе Т. Пинчона (1996, № 3) и Д. Рэмптона (1996, № 10). В ее переводе выходили также произведения Р. Матесона, Д. Адамса, Д. Бишоффа.

КОРМИЛЬЦЕВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ (род. в 1959 г.) — поэт, переводчик с английского и

итальянского языков. В его переводе в «ИЛ» напечатаны роман «Пока мы лиц не обрели» английского писателя Клайва Ст. Льюиса (1997, № 1), повесть «Садовник» Ежи Косинского (1997, № 10); в разные годы публиковались также переводы рассказов Р. Дала, Ф. Макдональда, Дж. Балларда, «малая проза» Дж. Р. Р. Толкиена и др.

ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ (JOSÉ ORTEGA Y GASSET; 1883—1955) — испанский философ, теоретик искусства. Литературно-публицистической деятельностью занимался с 1904 года. Автор работ «Размышления о Дон Кихоте» («Meditaciones del Quijote», 1914), «О точке зрения в искусстве» («Sobre el punto de vista en las artes», 1924), «Дегуманизация искусства» («La deshumanización del arte», 1925), «Мысли о романе» («Ideas sobre la novela», 1925), книг «Испания с перебитым хребтом» («Espana invertebrada», 1920), «Тема нашего времени» («El tema de nuestro tiempo», 1921), «Восстание масс» («La rebelión de las masas», 1930), «Человек и люди» («El hombre y la gente», 1950). На русском языке изданы его книги «Эстетика. Философия культуры» (М., 1991), «Избранные труды» (М., 1997), «Размышления о Дон Кихоте» (СПб., 1997), «Веласкес и Гойя» (М., 1997). В «ИЛ» напечатано «Эссе об Испании» (1993, № 4).
В номере публикуются фрагменты из предисловия к французскому изданию «Восстания масс» (печатается по изданию «La rebelión de las masas». Madrid, Espasa-Calpe, 1937) и из эссе «Заметки на полях» («Revés de almanaque», печатается по изданию «El Espectador de José Ortega y Gasset». Madrid, Sanchez Leal, 1961).

■Переводчики:

ДВИН ФРИДЕНГА МИХАЙЛОВНА — переводчик с итальянского. В ее переводе изданы романы «Татарская пустыня» Д. Буццати, «Исчез перед рассветом» Дж. Понтиджи, «Греческий огонь» и «Змея» Л. Малербы. В «ИЛ» напечатаны: книга «Делать фильм» Ф. Феллини (1981, № 9—11), сценарий Ф. Феллини и Т. Гуэрры «И плывет корабль» (1984, № 9), фрагменты книги «Тот кегельбан над Тибром» Микеланджело Антониони (1985, № 7, 8), сказки А. Моравиа (1990, № 4), повести «Собаки Иерусалима» Ф. Карпи и Л. Малербы (1994, № 4), «Джульетта» Ф. Феллини (1995, № 4) и др. произведения. Лауреат премии «ИЛ» (1985).

КЕЛЬБЕРТ ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА — филолог, переводчик с английского. В ее переводе публиковалась английская детская поэзия, в том числе в книге Элизабет Гоудж «Белая лошадка» (1995).

КАЦУРА АННА ГЕННАДИЕВНА — переводчик с немецкого. В 1997 году окончила Литературный институт имени А. М. Горького, отделение художественного перевода. В настоящее время — аспирант этого института. Перевод рассказа «Бюст императора» — ее первая работа в деле художественного перевода.

ПРОРОКОВА ВЕРА ВЯЧЕСЛАВОВНА — филолог, переводчик с английского. В ее переводе публиковались романы Т. Саутерна, Дж. Крэнц, В. Кауи и др.

ЯРЦЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1968 г.) — переводчик с английского и датского языков. В его переводе издан роман «Меньше, чем ноль» Брета Истона Эллиса; переводил также английские и датские фильмы для телевидения.

ГЕЛЕСКУЛ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.) — переводчик. В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Ф. Гарсиа Лорки, Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и др.; польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского; французских — П. Верлена, Г. Аполлинера. В «ИЛ» в его переводе печатались стихи Сесара Вальехо (1983, № 8), андалусская песенная поэзия «Канте хондо» (1986, № 7), поэзия испанских мистиков (1993, № 11), стихи поэтов Арагона (1995, № 5), «Поздние мысли» Поля Верлена (1996, № 7). Лауреат премии «ИЛ» (1993) и премии «Инолиттл» (1995).

■

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1998, №3 , 1 — 256.

ИНДЕКС 70394